11. 1975

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ

Ново Место *(Словения)*. Старинная гравюра.

СОДЕРЖАНИЕ

Из югославской прозы. ИВАН ДОНЧЕВИЧ. БРАНКО ЧОПИЧ. МОМЧИЛО МИЛАНКОВ. МИХАИЛО ЛАЛИЧ. СИМОН ДРАКУЛ. АНТОНИЕ ИСАКОВИЧ *(Рассказы. Переводы Александра Романенко, И. Харитонова, О. Кутасовой)* 4

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ — Стихи *(Перевод с сербско-хорватского и вступление Маргариты Алигер)* 55

ЖОРЖИ АМАДУ — Тереза Батиста, уставшая воевать *(Роман. Перевод с португальского Ю. Калугина)* 63

ХОСЕ АГУСТИН ГОЙТИСОЛО — Из книги «Псалмы на ветру» *(Стихи. Перевод с испанского Натэллы Горской)* 160

БОБ ДЕН ОЙЛ — Рассказы *(Перевод с голландского С. Белокриницкой)* 168

КРИТИКА

ХОСЕ МАРИА КАСТЕЛЬЕТ — Поэзия Хосе Агустина Гойтисоло *(Перевод с испанского Натэллы Горской)* 200

Ю. КАГРАМАНОВ — Вестерн вчера и сегодня 208

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях

С. Потабенко — Неоднозначное кино Индии. Николай Пальцев — Американо-британская энциклопедия 217

ПУБЛИЦИСТИКА

Поездка в СССР. БЕРНАР КЛАВЕЛЬ. ЭММАНЮЭЛЬ РОБЛЕС. МИШЕЛЬ БАТАЙ. АНДРЕ СТИЛЬ *(Перевод с французского Н. Иваниной)* 226

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

11
НОЯБРЬ
1 9 7 5

СОДЕРЖАНИЕ

Н. ФЕДОРЕНКО — Плодотворный диалог 229

ИВО АНДРИЧ — Лицо земли *(Перевод с сербско-хорватского и предисловие Александра Романенко)* 237

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Георгий Марков — Решение и доверие. И. С. Ли — Языком Эзопа. Л. Степанов — Золотое слово берберов 261

Издано за рубежом

Р. Доронина — Как создавалась поэзия. Ю. Брагин — Встречи Шалайко. Ф. Наркирьер — Человек, который шел за весной. М. Коренева — Как быть мужчиной 266

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ 273

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 286

На обложке: картина югославского художника ДЕТОНИ МАРЬЯНА «Ночь на Зеленогоре».

На цветной вкладке: работы английского художника ДЖОЗЕФА УИЛЬЯМА ТЕРНЕРА.

© «Иностранная литература», 1975.

Из югославской прозы

В суровые дни антифашистской борьбы 1941—1945 гг. в рядах партизанской армии Югославии плечом к плечу с рабочими и крестьянами сражались писатели, художники, музыканты.

Участниками народно-освободительного движения были и известные югославские писатели Михаило Лалич, Бранко Чопич, Антоние Исакович, Иван Дончевич, чьи рассказы мы публикуем в этом номере. Вместе со своим народом — неотъемлемая его часть — прошли они через грозовые испытания военных лет. Своим фронтовым товарищам — землякам и близким, многих из которых уже нет в живых, и посвятили они эти рассказы. Взятые из жизни и опаленные дыханием военных дней, они стоят, пожалуй, на грани между документальной прозой и традиционной новеллой, ибо в них воплотился и непосредственный личный человеческий опыт, и, кроме того, за судьбами конкретных героев возникают широкие и глубинные литературные связи.

Вместе с рассказами более молодых, Момчило Миланкова и Симона Дракула, эти произведения представляют собой еще одно свидетельство художника и человека о том тяжелом, но светлом времени — времени надежд и веры, времени испытаний и проверки всех человеческих качеств.

Тема борьбы, тема Революции и Сопротивления фашизму, по-прежнему продолжает оставаться одной из главенствующих в творчестве писателей Югославии. Подобно заветам отца сыновьям, она переходит от писателей старших поколений к молодежи, к тем, кто благодаря подвигу отцов не испытал ужасов войны.

И сегодня, празднуя вместе с народами социалистической Югославии ее тридцатилетие, мы предлагаем читателям несколько рассказов, посвященных теме героической антифашистской борьбы, написанных видными мастерами современной югославской прозы.

ИВАН ДОНЧЕВИЧ

Случай в автобусе

В течение многих лет автобус из Загреба на Чазму отправлялся ежедневно, кроме воскресенья, ровно в пять часов пополудни. Он уходил от «утолщения» на Влашской улице, с того самого места, где улица переходила в площадь, лежавшую позади главного почтамта между архиепископской семинарией, хмурой и заплесневелой от сырости, и скопищем старых домов с просторными въездами для телег, грубо вымощенными дворами, деревянными гале-

реями под стрехами, со сводчатыми складами и мастерскими,— дома эти в свое время именно здесь, под палисадами Каптола [1], в тени собора выстроили торговцы зерном, пекари, шорники, каретники, шляпники, канатники и кузнецы. Вряд ли найдется в Загребе еще один такой уголок, который сохранил бы столь запущенный провинциальный вид, как это «утолщенное место», возникшее, вероятно, случайно в ту пору, когда в начале нашего века строился новый Загреб,— именно здесь наступление венгерской королевской готики и сецессиона было приостановлено, хотя они и вторглись частично одним своим флангом в торгашескую атмосферу Влашской улицы, создав это «утолщение»: словно бы змея проглотила жабу и тут же на месте издохла! Позже в домах Влашской улицы вместо каретников, кузнецов и торговцев земными дарами и зерном (они подвинулись чуть подальше на окраину) поселились часовщики, галантерейщики, слесари, механики, кондитеры и представители иных современных профессий, возникли буфеты, бистро и комиссионные лавки, а в мрачных комнатах с окнами во двор стали обитать проститутки низшего пошиба, то есть такие, что обладали особым опытом в обхождении с хитрыми и прижимистыми провинциалами, с разными там зеленщиками, рыбниками и прочими, которых, наряду с живодерами, большинство людей презирает до глубины души, потому что они продают лягушек на Долаце. Однако вопреки модернизации жизни и переменам в составе народонаселения этот уголок Загреба, эта площадь чем-то чуть-чуть отличалась, менее всего своей неизбывной провинциальной тоской, от какого-нибудь уголка в Крижевцах, Копривнице или Иваничграде. С этой-то площади в течение многих лет и отправлялся автобус на Чазму ежедневно, кроме воскресенья, ровно в пять часов пополудни.

Владельцем автобусной линии был некий Антун Вребец, или Зебец, или Клепец (точно имя уже не помню), но звали его все попросту Тончек. На меня он почему-то всегда производил странное впечатление. Он владел одновременно тремя машинами, различными по типу, вместимости (от сорока до шестидесяти мест) и по цвету (красная, белая, голубая), и в те времена, когда хорватский национальный флаг был вне закона, Тончек выпускал из гаража свои автомобили «в порядке трехцветного флага», дерзко размахивал в течение трех дней этим своим запрещенным знаменем — автобусами по посавским и мославачским селам от Чазмы до Загреба и обратно, начиная всегда с красной машины в день, которым начинается неделя, то есть в понедельник. «Пусть они знают! Пусть знают, черт возьми, что мы хорваты...» Странным казался этот человек еще и потому, что всегда вел автобус сам, хотя располагал необходимыми средствами для того, чтобы этого не делать, наняв кого-нибудь, ведь он мог бы прокатиться раз-другой, взглянуть хозяйским глазом, как идут дела, да и просто-напросто мог бы пересчитывать тысячные ассигнации за конторкой. Однако он поступал иначе, вероятно, из скупости. Поэтому же иногда он сознательно нарушал порядок цветов в движении. Это случалось, например, во время ежегодной ярмарки в Загребе, когда в город стекалась огромная толпа перекупщиков и было уж вовсе глупо не использовать ту машину, которая могла забрать больше народу и дать максимальную прибыль, а такой машиной был неуклюжий белый автобус. И хозяину приходилось использовать пузатую белую колымагу. Тогда у него резко портилось настроение, он хмурился, цедил слова, дергал плечами, сигналил как безумный на крутых поворотах Посавского шоссе; подобное настроение владело им до тех пор, пока не восстанавливался обычный и столь любезный его сердцу порядок «милой

[1] Каптол — резиденция главы католической церкви в Загребе. *(Здесь и далее — примечания переводчиков.)*

трехцветки»... Воистину, каких только сумасбродов не водилось в те времена!

Я, конечно, не запомнил его фамилии, но его внешность моя память живо сохранила до сих пор. Это был человек среднего роста, грузный, с широкими, чуть вислыми плечами и выпуклой грудью; огромная квадратная голова, вовсе без шеи, неподвижно покоилась на плечах, и он походил на быка некрупной, но крепкой породы. Рыжие огненные волосы у него вились кольцами, лицо было бледное, густо усыпанное веснушками, и глядели на вас с тупой хитрецой два круглых, словно сделанных из фарфора, бледно-голубых глаза. Вероятно, он был туговат на ухо, потому что все время кричал. Голос у него звучал грубо, как-то нечисто и напоминал звук, возникающий при сильном ударе по треснувшему жестяному ведру. Симпатии он у меня никогда не вызывал. Не знаю почему, но стоило мне его увидеть, как тотчас же возникала смешная мысль, что этот человек ночью ужасающе храпит. Я был убежден в том, что он груб, подл, злопамятен, вспыльчив, сварлив, драчлив, что он ест чеснок и пьет ракию ведрами. Правда, два обстоятельства, вероятно, удивили бы любого. Во-первых, его зубы, которые сверкали, когда он ругался или заливался необузданным смехом, и, во-вторых, его руки. Зубы были невероятно чистые, молочно-белого цвета, покрытые пузырьками прозрачной слюны, которая непрерывно омывала и без того ослепительную эмаль, а правильный строй этих зубов, их форма и порядок напоминали тончайшие произведения неких тончайших аппаратов, обтачивающих и обрабатывающих кость. В самом деле, они казались изумительными, эти зубы, каких в жизни мне ни у кого не приходилось видеть, даже у тех, кого я слепо обожал. Руки же его были совсем некрупные, узкие, длинные веретенообразные пальцы постоянно двигались, мяли друг друга, сгибались, вытягивались, словно щупальца водяного чудовища, и эти пальцы-щупальца не могла изуродовать даже его профессия. Вероятно, из-за его рук, из-за его зубов, из-за его бычьего взгляда к нему довольно откровенно липло множество женщин, и на это временами становилось противно глядеть. Правда, я никогда не видел, чтоб он хоть раз воспользовался одним из таких предложений, взглядом или жестом дал понять, что он его принимает.

Поскольку моя мать, которая тогда еще была жива, находилась у родственников в деревне возле Чазмы, я, чтоб с нею повидаться, должен был ездить на одном из трех Тончековых автобусов. Поэтому хорошо и запомнил их владельца. Запомнил ли он меня в лицо, я тогда не знал, как не знал и того, какого он обо мне мнения, если оно вообще у него существовало. Люди склонны к несложным выводам. Я не испытывал к нему симпатии, значит, он ко мне тоже. Подобное заключение казалось мне вполне обоснованным и, вероятно, показалось бы таковым большинству обычных людей. Носится, говорят, что-то в воздухе, что уже с первого взгляда определяет отношения между людьми, как бы бегло и мимолетно они ни встречались... Однако все обстояло иначе. Не знаю, почему было не так, но так не было. Возможно, поверхностные суждения о людях, возникшие импульсивно, по воле минутного настроения, ошибочны и несправедливы, а возможно и то, что человек никогда не показывает своего подлинного лица и по той или иной причине перед чужими взорами его скрывает. Обнаруживается оно неожиданно и вызывает разочарование или восторг... Как бы там ни было, владелец автобусов Тончек в нужную минуту показал свое совсем иное лицо, чем я вообще мог себе представить. Незнакомое лицо. Сверх ожидания прекрасное. Это истина. Все же остальное может показаться весьма запутанным и надуманным, открывающим дорогу различным предположениям...

В тот день, а была последняя суббота августа, я решил окончательно покинуть Загреб. Трудно стало жить в городе, к которому я со временем привык и который, по тысяче мелких и крупных причин, большей частью личных, полюбил. В этом веселом городе (мне нигде не доводилось видеть столько озорных глаз и слышать столько звонкого смеха), словно бы что-то надломилось, словно люди покинули его, в угнетающей пустоте лишь вяло грохотали по эстакаде поезда, увозя куда-то на север пушки, танки и части самолетов, а по пустынным улицам с глухой угрозой отдавались шаги немецких и усташских[1] патрулей. Сколько страшных видений! Сколько ужаса наяву, более жуткого, чем самые невероятные сны!.. Я повернул ключ в замке, сунул его в карман и, насвистывая, стал спускаться по ступенькам: ухожу, дескать, в библиотеку или кафе, куда я в те дни частенько заглядывал. Подлая морда консьержки показалась за стеклянной дверью; она целыми днями прислушивалась к любому шуму на лестнице. Я вызывающе крикнул этой морде:

— Добрый день, сударыня. Мое почтение. Сегодня воистину *отличный день,* не правда ли?

Она застыла в изумлении, а я вышел.

Я ничего не видел, ничего не хотел видеть: не желаю страдать ни от чего, а менее всего от воспоминаний. Возле университета встретил старого товарища по школе. Он спросил, куда я иду. Этот мой одноклассник был замкнутый, молчаливый, внешне болезненный юноша, которого ничто в мире, казалось, не интересовало, кроме машиностроения, которое он изучал. А я заподозрил его. Он буднично спросил, куда я иду, а я с разбегу подумал, будто имею дело с усташским шептуном, и постарался грубо от него избавиться. Вот как изуродованная жизнь уродует человека! Позже меня, может быть, будет грызть совесть, но человек быстро тупеет...

Маленькая площадь за почтой под безжалостным солнцем августовского дня выглядела пустынной более, чем обычно, грязной и пыльной. Но автобус Тончека уже стоял на своем месте перед буфетом «Веселый Йоже». Этот автобус, красный «альфа-ромео», казался обессиленным — словно неуклюжее животное, истомленное жарою, подвернуло под пузатое туловище свои четыре лапы и дремлет на солнце. На тротуаре перед буфетом, загромоздив его во всю ширину, валялись в беспорядке большие и малые сетки под птицу, разные корзинки, коробки и мешки. Из буфета неслись голоса, звон стекла и освежающее журчанье воды.

Через двадцать минут будет пять часов! Не вызываю ли я подозрений, бесцельно слоняясь по тротуару, останавливаясь и пяля глаза на окна с опущенными жалюзи? Вроде бы нет. «Ну-ка загляни во двор, так поступают все бездельники в ожидании автобуса»,— сказал я себе. Но сделать это на раскаленной под солнцем улице у меня не хватило сил. И тут появилась Софья.

Она быстро вышла из-за угла. В руке у нее был пакет, ничуть не больше коробки для дамских туфель; кажется, на самом деле это была коробка.

— Здравствуй,— сказала она.

— Здравствуй,— сказал и я, и мне было очень приятно ее видеть.

— Я не опоздала?

— Нет, ты пришла точно, как мы договорились.

Она стала серьезной.

— Здесь листовки,— произнесла она тихо, но отчетливо и пере-

---

[1] Усташами назывались члены хорватских фашистских отрядов.

дала мне картонку от обуви, крест-накрест перевязанную бумажной бечевкой.

— Знаю. Мне все сообщил товарищ...— Я назвал имя нашего общего знакомого.

— И сказал, кому передать?

— Да.

— Тогда все в порядке.— И она громко рассмеялась. Я вздрогнул от неожиданности и подумал, что столь громкий смех сейчас вовсе неуместен, но потом понял: из буфета вышли две зеленщицы и, прежде чем взяться за свои корзинки и разместить их на крыше автобуса, на секунду остановились и с любопытством взглянули на площадь; да, мы ведь для них любовная парочка; я, дескать, куда-то еду, она меня провожает и, конечно, смеется при этом, а? До чего ж хитра эта Софья! Она взяла меня под руку, увлекая за собой, и вот мы с ней преспокойно разгуливаем по тенистой стороне площади, она о чем-то щебечет, заглядывая мне в глаза, и непрерывно смеется. Зеленщицы поглядели, поглядели, а потом взялись за свои корзинки и торбы.

— Значит, уезжаешь,— сказала она.— Завидую. Знаю, в деревне тоже нелегко, свирепствуют повсюду, но все-таки там будет получше, поспокойнее. Не знаю почему, но мне так кажется.

— Мне тоже, хотя вряд ли это так,— сказал я.

— Кроме того, недавно сформировали Мославацкий отряд, и он уже действует неподалеку от твоего села. Выздоровеешь и, если солоно придется, просто уйдешь в отряд, верно?

— Конечно, уйду,— ответил я и подумал, что своим вопросом она пыталась выяснить мои подлинные намерения.— Как только почувствую себя твердо на ногах, немедленно уйду.— (Я забыл сказать, что недавно перенес острый приступ ревматизма.)

— Так я и знала,— сказала Софья, вернее, не просто сказала, а радостно воскликнула, крепче сжала мою руку, и мы повернули назад.

В дверях буфета появился Тончек. Сунув руки в карманы, он громко насвистывал. Сначала он наблюдал, как торговки — их собралось шесть или семь — укладывали свои корзинки на крыше и громогласно что-то обсуждали между собой, потом перевел взгляд на нас. Софья всем телом повисла у меня на руке, мне это доставляло удовольствие, и улыбался я, наверно, блаженно.

— Следи за коробкой,— шепнула она.— Хорошо, что хоть ты уезжаешь,— и добавила, видимо преодолевая что-то в душе:— Хотя мне жалко...

— Мне тоже...— Я обнял ее, она не сопротивлялась, напротив, прильнула ближе.— Почему тебе жалко? — поинтересовался я, глядя ей прямо в глаза.

— Так...— Жаркий румянец залил ее лицо до самых ушей.

Эх, до чего ж глупо устроена жизнь! Сколько раз я встречался с этой девушкой и никогда не обращал внимания на ее красивые глаза! Как она весела, какой чистой и подлинной радостью веет от нее! Как хорошо было бы с таким умным и веселым созданием прожить всю жизнь! Но поздно. Я уезжаю в неизвестность, потому что должен уехать, она остается в неизвестности, потому что должна остаться. А все могло выйти иначе, если б не случилось то, что случилось, если бы по этой земле не вышагивали сегодня немецкие и усташские патрули! Эти патрули шагают повсюду, и я их ненавижу. Ненавижу из-за себя, из-за своей старой матери, по тысяче других причин, да и из-за этой прекрасной девушки, которая стала мне дорога. Но сейчас в самом деле поздно... Поздно? А почему поздно? Если я чего-нибудь стою, если соберусь с силами — а я наверняка найду их, я их должен

найти,— оккупанты запомнят меня, еще как запомнят!.. Ничто не должно быть поздно!

— Отправляемся, садитесь! — заорал хозяин автобуса (он никогда не говорил тихо), держа ладонь на ручке дверцы.

Это приглашение, вероятно, относилось ко мне. Я обнял Софью, обнял и поцеловал прямо в губы; она вернула мне поцелуй. Что теперь? Не найдя ничего поумнее, я сказал то, что говорят обычно люди в подобных случаях:

— Я вернусь...

— Возвращайся! — сказала она, и я был уверен, что мы думаем об одном и том же.

Я быстро поднялся в автобус и захлопнул за собой дверцу. Тончек уже сидел за рулем. Я не посмотрел в его сторону, но почувствовал, что уголком глаза он испытующе глядит на меня. Коробка? Уж не заподозрил ли он что-нибудь? Достаточно ли безмятежно я выгляжу?.. Я беззаботно сунул коробку под пустое сиденье, а сам устроился сзади. Народу было немного, все сидели впереди. Воняло пометом, маслом, раздражал резкий серный запах гнилых яиц, разбитых, должно быть, сегодня утром. Я успел бросить взгляд через заднее оконце. Софья по-прежнему стояла на том месте, где мы расстались. Маленькая ее фигурка, совершенно одинокая, на пыльной площади меж пустыми домами с плотно натянутыми жалюзи на окнах, в ярком свете летнего дня, выглядела печально. Я помахал ей рукой. Она не заметила. Автобус тронулся и сразу повернул за угол. Больше я ее никогда не видел...

Не помню теперь, что я чувствовал в тот миг, замечал ли что-нибудь вокруг, думал ли о чем-либо. У людей часто бывает подобное тупое состояние, когда мера горьких впечатлений переполняется. Я знал только, что уезжаю, что навсегда покидаю этот город и не вернусь в него, пока он не станет свободным и веселым, каким бывал прежде (по крайней мере, в моих воспоминаниях); только тогда я вернусь в него или вообще не вернусь... Медленно приходил я в себя. Мы мчались по Влашской улице, по Максимирской, позади оставались пустые трамвайные вагоны и безлюдные тротуары, опаленные солнцем, с надежно опущенными жалюзи на окнах домов, выглядевших вследствие этого мертвыми. На мгновенье нас окатила глубокая прохлада максимирских дубов и свежесть озерной влаги под плакучими ивами. В зоологическом саду болотные птицы ныряли в мутную воду или отдыхали в тени, сложив крылья, в своей клетке смиренно подремывал лев, опустив королевскую голову на переднюю лапу; чуть подальше верблюд по-звериному тоскливо выглядывал на дорогу поверх железной решетки и низкого кустарника; нет, это тебе, брат, не свободная пустыня, и я не паломник... Я убегаю. Но я вернусь. И мы встретимся, до свиданья!..

В автобусе царило молчание. Торговки сидели на своих местах оцепенело и безмолвно, глядя прямо перед собой. Знакомая картина: всякий раз, пока автобус не минует заставу, пассажиры неподвижны и молчаливы (словно неловко чувствуя себя в городе, скупые на слова и настороженные, они надевают личину какой-то неестественной сдержанности, язык развяжется у них лишь тогда, когда город останется за спиной, когда их взору откроются просторные поля и рощи). Всеобщее молчание было мне на руку.

Тончек протяжно сигналил, предупреждая какого-то ротозея, задремавшего на своей телеге в тени раскрытого зонта; тот не пошевельнулся, но кони его сами свернули в сторону. По бычьей шее, ты-

лавшей багровым цветом, по нервным движениям рук и плеч я мог судить, что владелец автобуса злится. Впрочем, пусть злится. Такова уж его натура.

На Дубравской заставе перед самым носом у нас опустили шлагбаум. «Все пошло к черту!» — подумал я, но страха не ощутил. Группа усташей по чьему-то свистку выскочила из караулки с винтовками в руках и мгновенно окружила автобус. Двое с хмурыми враждебными лицами, согнув головы, вошли внутрь.

— Предъявите пропуска! — произнес один из них, и это прозвучало резким скрипом проржавевшего замка.

Первая из торговок молча протянула свой документ, усташ невероятно медленно (как все полуграмотные люди) и подозрительно стал изучать сначала удостоверение личности, затем его владелицу. Потом принялся за вторую торговку. И так по очереди. Сверху, на крыше, громыхали шаги — проверяли груз. Тончек, чуть повернувшись на своем сиденье, зажег сигарету и искоса наблюдал за происходившим в машине, но выражение лица у него было отсутствующим. Никто не произнес ни слова. Пришел и мой черед — последнего пассажира. Хмурый человек долго вертел в руках бумажку, кашлял, ворчал что-то непонятное, снова кашлял, а я, не поднимая глаз, тупо глядел, как его косматые пальцы с обкусанными грязными ногтями мусолят мой документ.

— Куда едете? — проскрипел он, наконец, как скрипит проржавевший замок.

— Еду к матери,— ответил я.

— А! А где это?

Не мешкая, я назвал деревню.

— А что вы будете делать у своей матери? — расспрашивал он, словно издеваясь надо мной.

— Хочу навестить ее,— с трудом сдерживаясь, отвечал я.— Наверно, я как сын, если это что-нибудь да значит, имею право видеть родную мать.

Он помедлил секунду, потом молча отдал мне документ и повернулся. Я перевел дыхание. Однако второй усташ вдруг нагнулся и вытащил из-под сиденья мою коробку. С тупой подозрительностью он пялил на нее глаза и опытной рукой взвешивал на ладони.

— Это чье? — последовал вопрос.

Не помню, что происходило со мной в ту минуту. Может быть, я собирался что-то сказать? Или смущенно моргал глазами, как пойманный на месте преступления ребенок? А может быть, я высматривал, в какую сторону легче сбежать?.. Ей-богу, не помню. В автобусе царила мертвая тишина.

— Чье это? — громче повторил усташ.

— Мое! — совершенно внезапно среди всеобщего оцепенения заревел вдруг Тончек и оперся обеими руками о сиденье, словно собираясь подпрыгнуть, если возникнет необходимость, а губы его сложились в презрительную ухмылку.

Усташ растерянно посмотрел на него.

— Коробка моя,— уже спокойнее сказал хозяин автобуса.— Какого черта вы суете нос во всякое дерьмо? В коробке туфли, если вы уж так хотите знать, туфли моей жены.— И презрительная ухмылка на его лице превратилась в уродливую и насмешливую гримасу.

— Извините! — сказал усташ и опустил коробку на сиденье.

— Брось туда, где взял! — дерзко приказал Тончек.

— Извините! — повторил усташ и словно загипнотизированный сунул коробку под сиденье. Минуту он колебался. Потом нагнулся и, неловко ступая, вышел из автобуса. Второй вышел следом.

Дверца захлопнулась. В памяти у меня осталось одно: тень поднятого шлагбаума поперек дороги, и эта тень была такой черной, что я спросил (вполне вероятно, вслух): кто провел эту ровную и резкую черную черту на опаленном солнцем песке?.. Тончек включил мотор. Но прежде чем машина тронулась с места, он обернулся, захлопал глазами (словно желая убедиться, все ли на месте), и я еще раз увидел его искаженное лицо, по которому густо стекали, напоминая горошины, крупные капли пота...

БРАНКО ЧОПИЧ

Грустная песня

Я пробирался с тяжелой вершей сквозь заросли ивняка за домом нашего соседа, остроносого и вздорного старикашки Лазы. Следом за мною закадычный мой друг Николица нес на плече кол, которым вспугивают рыбу.

— Вот опять попадемся этой цыганке Миджаре,— недовольно ворчал он.

— Не попадемся.

— Еще как попадемся. Ей и делать-то больше нечего, только подглядывать да подсматривать.

И в ту самую минуту, словно подтверждая его зловещее предчувствие, из кукурузы, росшей над зарослями ивняка, раздался протяжный девичий голос:

— Эй, вы опять рыбачить?

Ух, рыбачить! На всем белом свете самым ненавистным для нас было, если кому-либо удавалось разгадать наши намерения,— начинались вопросы да расспросы: куда идем, с чем идем. Возникали тысячи осложнений: увяжется кто-нибудь — и тогда прощай рыбка, уведут из-под носа, а то увидят жандармы или еще что-нибудь... Однако самое неприятное заключалось в том, что пропадало всякое удовольствие от рыбалки. Пристанут, лезут по речке следом, высматривают да выглядывают в ракитах, докучают советами, рот разевают, а потом, глядишь, в конце концов еще требуют доли в нашем с таким трудом добытом улове.

— Эй, рыбаки! — снова раздался веселый голосок. И даже не глядя в ту сторону, оба мы уже знали, что это Миджара.

— Ну чего тебе, Мирьяна, чего тебе? — пытался уладить я дело в надежде удовлетворить злого демона любопытства, одолевавшего ее.

— Вы куда, а?

Уклоняясь от прямого ответа, я продолжал:

— Тебе, Мирьянка, привет один парень передавал...

— Знаю тебя... врешь ты все,— донеслось из кукурузы.— А кто это?

— Райко наш, кто ж еще.

— Ей-богу, передавал, в самом деле, вот клянусь! — вмешался вдруг в разговор Николица, делая отчаянную попытку спастись.

— Так я вам и поверила... знаю я вас...— смущенно тянула Миджара, а мы, воспользовавшись ее растерянностью, опрометью бросились в первую попавшуюся яму, полную маслянистой лягушечьей икры и черного холодного ила.

Миджара — это пятнадцатилетняя девочка, дочка нашего соседа Лазы. Поздний ребенок, она вся какая-то вскрученная, узловатая и темная, точно уже в этом возрасте начала стариться. Добродушная и ласковая, она ко всем подходила как к родным, ей нравилось играть с ребятами, и она не обижалась на бесконечные шутки по своему адресу. Наверно, в этой дружбе и в попытках пристать к другим помимо своей воли искала она то тепло, которым ее обделяли в родном доме.

Мира, Мирьяна, где ты теперь?

Вздорный ее отец всю свою причудливую и странную любовь отдал старшему ребенку, сыну. Уже в пожилые годы вернувшись из Америки, он женился и стал отцом двоих детей. Единственного своего наследника, капризного, взбалмошного и занудного мальчишку, он любил неразумной и непонятной любовью. Бывало, целыми днями мастерил ему игрушки и вдруг ни с того ни с сего из-за какого-нибудь пустяка все это ломал и разбивал вдребезги топором, а потом с таким ожесточением принимался колотить сына, что соседи вырывали ребенка у него из рук.

— Держите меня, держите, не то погублю его... солнышко мое светлое, сыночка моего милого, господа моего творца! — всхлипывал он, обнимая избитого ребенка.

А мимо дочери старик проходил равнодушно, точно ее вовсе не существовало на белом свете. Она подрастала, ласковая и незаметная, никому не мешая, довольная тем, что ей давали или что оставалось после избалованного брата-тирана. Если раз в месяц отец бросал ей ласковое слово, она и это принимала спокойно и серьезно, как очередное приказание или брань.

Единственное, чем наградил ее отец и что навсегда осталось при ней, была кличка Миджара. Так звали одну крепкую, ненасытную и яростную в любви безмужнюю бабу из расположенного поблизости хуторка Козина, славившуюся своей свободной жизнью.

— Ух, господь тебя накажи, не смей на ребенка такое пятно бросать! — кричала мать Мирьяны, неустрашимо говорившая своему старику в глаза все, что могло ей взбрести в голову, в каком бы гневе он ни был.

Даже насмешки деревенских ребятишек Миджара выслушивала спокойно и как бы весело, счастливая тем, что ее принимали в компанию и обращали на нее внимание. Тепло и доверчиво относилась она к каждому, как будто он приходился ей близкой родней или от него можно было ожидать какой-нибудь нечаянной радости.

В последнее время мы с Николицей заметили, что особенно преданно и любовно посматривает она на моего младшего брата Райко, беззаботного миловидного мальчугана. Мы тут же сообщили ему об этом, однако мальчишке не было никакого дела ни до брани, ни до дружбы, ни до любви, ни до угроз, вообще ни до чего. Солнечная и какая-то ясная беззаботность вела этого паренька по неведомым, открытым только ему дорогам, так что он всегда попадался там, где его менее всего можно было ожидать.

Николица сердился на Миджару за то, что она портила нам рыбалку, и не мог отказать себе в удовольствии посмеяться над ней.

— Эх, Миджара, ты моя Миджара, видел я сегодня Райко с Милевой.

— Ну и хорошо,— спокойно принимала это к сведению девочка.

— Ей-богу ж, он Милевицу любит, а тебя ничуть.

— Ну и пускай любит,— отвечала Миджара, нисколько не сердясь.

— А потом я видел, как они целовались! — безжалостно продолжал Николица.

— Пускай себе целуются,— с неизменным спокойствием отвечала девочка, и с лица ее не сходила легкая, чуть приметная улыбка. Ей доставляло радость вообще говорить о Райко, что бы там ни было.

И теперь, когда мы собрались идти дальше сквозь чащу ветвистых ив, Миджара с прежним спокойствием крикнула:

— Эй, вы, слышите, привет Райкичу передавайте!

— Чтоб ее черти съели! — ругался Николица, цепляясь своим колом за ветки.

Он ворчал и сердился до тех пор, пока в первом же омуте, под сенью густой, низко нависшей ивы, мы не вытянули почти сразу приличную уклейку и двух коротких толстых усачей. Так он обрадовался, что выскочил наверх и перекувырнулся через голову в чьем-то высоком жите.

— Гей, е-е-ей, ты колом меня побей! Ей-богу, Миджара нам сегодня счастье принесла!

На следующий день было воскресенье и мы не пошли на свою обычную ловлю. По праздникам, считал Николица, у воды «весь день народ шастает»: одни купаются, другие спят в холодке или ягоды собирают, а иные просто-напросто в одиноком молчании бродят неведомо зачем. Потому и решили мы вместо рыбалки отправиться после обеда на невысокую горку Црквину, где происходили «свиданья».

По обыкновению там собиралось несколько пар ребят и девчат постарше, а прочие все были недоростки, мелюзга, мальчишки и девчонки, целая стая. И пока народ посолиднее степенно толковал между собой, девушки, отойдя в сторонку, шептались, поверяя друг дружке первые сердечные тайны. Все это сопровождалось смехом и шутками. Парни же, гораздо более несмышленые, чем их ровесницы, то глубокомысленно вместе со всеми топтались в коло, то вдруг, позабыв обо всем на свете, собирались в кружок и принимались бороться и кататься по траве, а потом, угомонившись, сперва потихоньку, но все смелее и смелее начинали крутить цигарки, угощая друг друга:

— На, усатик, закуривай!

— Ну-ка дай попробовать из твоего заветного!

А словечко «усатик» пустил в обращение мой Николица. Вообще, по причине дружбы его со мной, он занимал среди ребят особое положение. Он был заводилой во всех играх, мастер на разные выдумки и распространял среди своих сверстников новые выражения и новые манеры. Подчас даже меня самого удивлял каким-нибудь необычным, подслушанным в «буфете» неподалеку от их дома или от какого-нибудь «бродяги», приятеля своего отца, выражением.

Наша подружка Миджара всегда бывала «на свиданиях», потому что дом их стоял под самой Црквиной. Каждого она встречала здесь приветливо и радушно, счастливая, что окружена народом, что можно многое увидеть и услышать и что выдалась возможность всласть посмеяться и кого-нибудь приветить добрым словом.

Парни мимоходом задирали ее:

— Погляди-ка, Миджара, вон Райко пришел, пляшет.

Не тая своей радости, она взглядом искала Райко, который действительно был тут как тут. Она смотрела на него ласково и счастливо, забывая обо всем окружающем, целиком уходя в себя; ее толкали, если она попадалась на дороге, ругали, а она словно бы никого и не слышала.

— Эй, чернуха, беги отсюда.

— Ты чего рот разинула!

Когда коло кончалось и Райко освобождался, только тогда Миджара двигалась с места и удовлетворенно вздыхала, будто сама танцевала. Но убежденный ее недруг Николица не оставлял ее в покое:

— На Райко смотришь, а?

— А почему бы и не смотреть?

— Он на других глядит. Вон с Милевой стоит.

— Ну и пускай, мне-то что?

— Чего ж ты тогда на него глядишь? — не отставал Николица.

— А ты сам посмотри, какой он красивый,— отвечала Миджара с такой искренностью и простотой, что Николица приходил в смущение и даже краснел оттого, что ему нечего было возразить. Он сердито смотрел ей вслед, как будто она в чем-то была виновата, и не без зависти бросал:

— Ух, черт ее возьми, вон она рядом с Райко. Тоже мне танцорка.

И в самом деле напрасны были все попытки вызвать у нее даже тень ревности или зависти. С кем бы ни был Райко, она поворачивалась к нему, одинаково озаренная, словно следила за солнцем.

— Погляди на Райкича, вон он с девчатами.

Счастливые для Миджары мгновения обычно нарушал ее капризный надоедливый брат. В самую радостную для нее минуту он подходил, сердито попыхивая цигаркой, и дергал ее за рукав:

— Ступай домой! Нечего тебе тут...

И всю дорогу до самого дома ругал ее и упрекал в чем-то, бранил, ел поедом, но и это не могло изменить ее хорошего настроения.

— Отстань, чего злишься. Так хорошо сегодня было.

— Да, хорош тебе сегодня был Райко.

— Конечно, хорош. У нас в селе нет парня лучше его.

Вот так они и толковали между собой — избалованный вздорный парень, которому все дозволялось, и его добродушная сестра, полная невыразимого самоотречения. Они приходили домой, и на нее напускался отец, болезненно влюбленный в свое единственное мужское чадо, и тогда, случалось, несчастной девушке, ни сном ни духом ни в чем не виноватой, перепадало и палкой по спине, если рядом не оказывалось матери, привыкшей ко всем причудам своего взбалмошного старика «лесовика».

— Брось ты палку, чем перед тобой девка провинилась.

Так росла некрасивая девочка, лишенная ласки и тепла, все больше излучая вокруг неизменную и спокойную доброту, на которую, правда, никто и не обращал никакого внимания. Ее воспринимали как нечто естественное, само собой разумеющееся. Даже я, приезжая с учебы в родные края, привык очень скоро после своего появления видеть радостное лицо Миджары и слышать ее веселый голос:

— Да где ж ты? Я вот тебе цыпленка выловила.

Она держала под мышкой цыпленка, свой подарок, хотя у себя в доме ей ничего не принадлежало. Она ловила его и приносила обязательно, хотя бы потом все домашние поднялись на нее скопом, и одному господу богу ведомо, как они ее отчитывали за это и поносили. Но уж если она решила что-либо отдать или кому-либо подарить, то не было силы, которая могла бы с нею сладить. Ее лишенная всякого эгоизма решимость побеждала и отцовскую вспыльчивость, и

материнскую хозяйскую бережливость, и вздорные злые капризы брата.

— Держи, и пускай Николица тоже на обед приходит,— говорила она, протягивая мне цыпленка, и, оглядываясь вокруг, весело добавляла: — А где же ваш Райкич? Еще б на него мне взглянуть, и побегу, убьют меня дома.

Так текли годы, Миджара выросла, превратилась в старообразную, худую и темную девушку и, как нередко бывает, становилась все более одинокой. Все чаще, особенно на «свиданьях», я заставал ее задумчивой и какой-то отсутствующей.

— Чего ты, Миджара?

— Ничего,— отвечала она, приходя в себя, и на лицо ее возвращалась прежняя добрая улыбка.— А Райко придет?

По своему обыкновению Райко появлялся точно из-под земли (однажды, к нашему глубокому изумлению, он вылез из соседского колодца и закричал нам вдогонку, чтоб подождали его), и только Миджара не удивлялась его внезапным появлениям. Словно ожидая его именно с этой стороны, она приходила в себя, оживлялась и не сводила с него взгляда, полного тихого счастья.

Таким взглядом, не горюя и не опасаясь за него, она проводила парня в армию и опять встретила дождливыми и смятенными апрельскими днями сорок первого года, когда «государство погибало» [1]. С неизменным своим выражением доброты на лице она приходила к нам, предупреждая о том, что усташи где-то ворвались в село, а когда из ближнего села донеслись первые выстрелы, быстро обнаружила нас в ивняке и сообщила радостную весть:

— Райкич, бенаковчане напали на их казарму!

Начало народного восстания очень обеспокоило Миджариного отца Лазу, и без того оробевшего и запуганного усташами. И если во время усташского террора он был ни жив ни мертв, неслышный, как тень, скользил и прятался в сыром ивняке, то в первые дни восстания пришел домой, но теперь на него навалилась новая тяжкая и вечно грызущая его забота: он боялся, как бы партизаны не увели с собой его единственного сына.

Избалованному и никчемному Митняку, так звали брата Миджары, и в голову не приходило по собственной воле присоединиться к отряду, но поскольку борьба разгоралась и партизанская армия росла, то для здорового парня становилось все более позорным отсиживаться дома, да и семьи, из которых никто не ушел в партизаны, начинали все сильнее чувствовать отношение соседей, неприязнь их к спекулянтам и ловкачам. Лазу уже в глаза упрекали:

— Что ж, ты на семя бережешь своего парня? Сколько народу ушло, помоложе, чем твой, пора бы и твоему Митняку!

Лаза возвращался домой с крестьянских собраний зеленый, перепуганный и молчаливый. А дома, как мне рассказывали, он еще более ядовито и по-стариковски злобно укорял Миджару:

— Ты чего тут под ногами мотаешься, небось замуж охота. У меня вот парня увести хотят, очаг наш погасить, а ты тут... Будто девкам в отряд идти нельзя.

— Я и уйду, отец,— спокойно согласилась девушка.

В первые дни сорок второго года, как раз когда разгулялись метели и легли высокие снега, Миджара вступила в отряд, где был и мой брат. После этого не прошло и месяца, как сформировали Краишский пролетарский батальон, и вместе с ним Райко зашагал через

[1] Имеется в виду апрель 1941 года, когда армия королевской Югославии, преданная своими командирами, быстро капитулировала перед вторгшимися в страну фашистскими войсками.

Врбас в центральную Боснию. Батальон этот, составленный из отборных парней, не успел еще из виду скрыться, а уже родилась и полетела вслед ему песня, но не обычная светлая партизанская песня, а какая-то иная, полная грусти, не предвещавшей добра:

Снег ложится и кружится, вьется,
И мой Здравко в бой с врагом уходит,
И уходят наши лучшие ребята...

Тогда впервые наши партизаны покидали родные края, и, возможно, по этой причине в песне прозвучал оттенок печали, но главное-то было в другом — здесь подобрались лучшие бойцы, и уже одно это говорило о том, что их ожидали впереди тяжелые дни и особые задания.

Роту, где воевала Миджара, я встретил через полтора месяца после ухода «пролетеров» [1]. Уже заметны были первые признаки какой-то горькой и лихорадочной весны, приносившие с собой вести, полные тревоги. Четники[2], бывшие по соседству, уже не скрывали своей ненависти к партизанам. Завязывались первые схватки, гибли и исчезали наши связные, и кружились смутные вести о том, будто Краишский пролетарский батальон в центральной Боснии попал в нелегкую передрягу. У нас в ротах поутихли песни, и когда однажды в березовой рощице я внезапно налетел на колонну наших бойцов, то сперва замер, точно натолкнулся на врага.

Миджара первой увидела меня и подошла. Вспомнила о Райко, и какая-то родственная грусть появилась у нее в глазах, в каждой черточке ее лица. Ведь до сих пор, куда бы он ни уходил, она всегда оставалась спокойной и жила в постоянном убеждении, что с беззаботным и счастливым парнем ничего плохого не случится, а сейчас девичье сердце не нашептывало больше слов утешения. И зловещим предсказанием прозвучали ее слова:

— Вряд ли я еще когда-нибудь увижу Райкича.

Что в утешение мог я сказать пригорюнившейся самоотверженной девушке, которая и до сих пор любила безо всякой надежды? Мне оставалось только дружески, от всего сердца пожать ей руку, и я с трудом смог выдавить какие-то слова ободрения:

— Ничего не бойся, Мира, все хорошо будет.

С той встречи прошло более двух с половиной военных лет, и я ни разу не видал Миру. Райко погиб при прорыве от горы Чемерницы к Врбасу, а пролетарский батальон его после девятимесячных непрерывных боев и рейдов по центральной Боснии и Славонии возвратился под Грмеч с горстью уцелевших бойцов. Раза три доводилось мне видеть отца Миджары, но он не вспоминал о дочери, точно опасаясь упреков. От соседей я слыхал, что девушка была дважды ранена и оправилась от ран. Только осенью сорок четвертого года мы опять с ней увиделись.

Однажды облачной спокойной ночью я ждал на временном аэродроме близ Санского Моста посадки на самолет, улетавший в Бари. Смотрел, как погружают раненых, и вдруг кто-то потянул меня за рукав.

— Это ты, Бранко?

Я с трудом смог узнать Миджару, причем скорее по голосу, чем по лицу. Она еще больше почернела и осунулась, или мне только так

---

[1] «Пролетерами» (пролетариями) называли лучшие части партизанской, затем Народно-освободительной армии Югославии.

[2] Четниками в 1941—1945 гг. в Сербии и Черногории называли солдат воинских формирований эмигрировавшего в Лондон королевского правительства Югославии, сражавшихся по существу на стороне оккупантов против партизан.

показалось из-за партизанской формы, которая была ей велика, и партизанской пилотки, скрывавшей ее волосы.

— Откуда ты здесь, Мира?

— Аэродром охраняю... В бригаде больше драться не могу, слаба стала после ранения.

Эти слова «слаба стала» только и выдавали ее затаенную женскую скорбь и потребность поделиться с кем-то близким.

— Я отца твоего видел.

— Ну его! —Она махнула рукой, точно давно уже перегорело у нее в душе все, связанное с семьей и домом.— Что он мне!

Меня несколько поразила эта ее неожиданная черствость и холодность, но уже в следующую минуту она положила руку мне на плечо:

— А ты тоже нас покидаешь? Куда ты?

— В Италию, а оттуда в Сербию.

Девушка молчала, и ее рука медленно соскользнула с моего плеча. А приглядевшись внимательнее, я увидел, как по ее лицу текут слезы. И мне невольно вспомнился брат.

— Что ты, милая?

— Ничего,— прошептала она.— Ты тоже уходишь. Кто нам теперь будет петь песни?

Меня до слез проняла ее печаль.

— А ты знаешь какую-нибудь мою песню?

— Знаю. Все их знаю.— Она еще ниже опустила голову.— В сумке ношу их с собой: и ту, о пролетерах, и о девушке Ягоде, и о... Жаль, что не погибла я вместе с Райкичем, ты б и обо мне спел что-нибудь грустное...

Я не слышал, что она дальше шептала, а может, она и вовсе умолкла, и нечего мне было сказать одинокой самоотверженной девушке, которой в этой жизни хотелось услышать еще одну грустную песню, песню о том, как она погибла.

Военный корреспондент

В этом вот остался я настоящим крестьянином, земледельцем, как у нас говорят, мужиком.

Не могу от села своего уйти, да и баста. Сто лет проживи, думается мне, все равно бы не покинул свои Хашаны. Пас бы овец на Црквине, Дочиче и Чопичевой горе, рот разевал на бегущие над Грмечем облака и удил рыбку вдоль Япры. Ничего иного мне больше и не надо.

До краев переполненный своим детством, просто прикованный к этой беззаботной поре, я и позабыл, что надобно бы вырасти, жениться и обзавестись собственным домом.

Тьфу, пропади оно пропадом, а без того нельзя?

Вот началось и восстание, затем перешло в самую настоящую войну, а у меня все по-прежнему,— хоть в этом мне повезло! — все неподалеку от моего села происходит, и опять-таки нет нужды далеко ходить.

Представь себе, воевать воюю, а в любую минуту, если понадобится, могу заскочить в Хашаны к матери Сойе, жить ей да поживать живой да здоровой.

И то, что когда-то был я даже студентом в Белграде, вовсе из памяти выпало. Кажется чем-то вроде отпуска за казенный счет, как и служба солдатская в Мариборе, и знаю я, самое главное, что в конце концов предстоит мне возвращение в родные Хашаны. Здесь я вполне надежно себя чувствую, дома.

Но случилось однажды, тем не менее, переместили меня подальше от моего села, в Пятую краишскую дивизию, военным корреспондентом «Борбы».

Произошло это после освобождения Бихача. Пятая дивизия находилась тогда на позициях где-то возле Санского Моста, почти на самой границе моего Грмеча, еще чуть добавить — и вовсе чужие края.

С тяжким сердцем расставался я с Николетиной, с Лияном, Скендером, Джюраицей, Станивуком. Теперь надобно было заново подыскивать друзей и защитников.

А снаружи прижала зима. Сижу я в штабе, в тесной крестьянской лачужке. Рядом, у окошка, согнувшись над столом, углубился в карту командир дивизии Славко Родич.

Я его хорошо помнил еще с первой нашей встречи в Белграде. Он тогда был учеником геодезического училища.

Стоит он перед Народным театром, напротив памятника князю Михаилу, юный, совсем молодой, почти мальчишка, в легонькой рубашке с короткими рукавами и белых брюках. Улыбается ласково и дружески, сверкая рядом белоснежных зубов под чуть-чуть потемневшей верхней губой.

— Девочку ждешь, да, землячок? — спросил я вместо приветствия.

— Читал я твой рассказ в «Политике»,— сказал он, оставив мой вопрос без ответа, и вот таким образом, на этом самом месте, на залитых солнцем ступеньках театрального здания, начинается озорной разговор двух земляков, юных, беззаботных и чуточку одиноких. Покинули мы нечто дорогое и близкое в родном краю, и оба теперь ощущаем легкую тревогу и беспокойство, оба на пути к открытию в незнакомом мире чего-то нового, может быть, еще более дорогого и волнующего.

И эта случайная встреча, происшедшая в их встревоженной юности, теперь их связывает.

Подумать только, куда привела нас наша юность, вдохновенная, полная великих и смелых планов, готовая сражаться и отдать жизнь за великое дело, за свободу, за справедливость, за родину!

Сидит он за командирским столом над военною картой и по-прежнему кажется мне тем же самым стройным ладным парнишкой, только теперь стал еще красивее в своей серовато-зеленой военной форме. А где-то впереди, в зимнем тумане, в горах, вдоль Саны-реки расположились его бригады — Первая, Четвертая, Десятая краишские. Ясно видит он их на своей карте, думаю я. Видит и врага: в одном месте получше, в другом только предчувствует — вот здесь он непременно быть должен.

Подошел я к нему на цыпочках, заглянул через плечо и отдался на волю своих поэтических мечтаний.

— Вот тут — засада четников, на этом самом темном пятне,— убежденно говорю я.

— Нету тут никого, Бранчиле,— вздыхая, говорит командир,— здесь крутая скала, все льдом покрыто, скользко, коза тропы не найдет.

И указал мне на пригоршню мелких точек, точно их мухи оставили.

— Вот они, бородатые, в этой деревне, водку пьют да салом закусывают. Раз ты так хорошо карту читаешь, то и попадешь к ним в лапы, как елец в вершу. Ты когда-нибудь ловил рыбу вершей из ивовых прутьев?

— Ну еще бы, каждое лето в Япре... Однако, насколько мне известно, елец особым проворством не отличается?

На лице Славко промелькнула давняя его мальчишеская беззаботная улыбка, а потом поглядел он на меня покровительственно, печально, и вновь лицо его затянула усталость озабоченного человека, окутали тени бессонных ночей, от которых быстрее стареешь.

— Оставь ты карту мне, а сам попробуй, знаешь... напиши-ка марш Пятой дивизии. Что-нибудь покороче, попроще, чтобы нашим ребятам было что петь на марше.

А я уже давно написал, даже перепечатал, и связные унесли в бригады этот мой «Марш», который, правда, мне самому не особенно понравился, потому и не стал я его показывать Славко. Ребята петь будут, и в голову никому не придет спрашивать, кто это сочинил. Посчитают, дескать, сами партизаны сложили.

Начинался мой марш следующим образом:

Звезда пятиконечная сияет,
Пятая дивизия наступает...

Очень мне повезло, что среди партизан не нашлось литературных критиков. Потому обнаглел я и взялся за стихи, чего, вообще говоря, всегда чурался.

В комнате, где расположился командир, стояла большая крестьянская кровать. Должно быть, от хозяев осталась. На ней, ясное дело, спал командир Славко, а к нему под бочок и я пристроился, как некий бездомный погорелец с территории моего родного подгрмечского Первого краишского отряда.

Чуть вечер, я — в постель и к стенке, а командир — за работу. Глубокой ночью разбудят меня орудия, телефонные звонки или пришедшие связные, выгляну я из-под одеяла. А командир по-прежнему работает при скудном свете керосиновой лампы. Позабыл даже шинель накинуть, хотя снаружи мороз лютует.

Время от времени входил его ординарец Лука, или, как его окрестили, Луян, бесстрашный и хитрый паренек, с желтыми кошачьими глазами; подвернет, бывало, молча фитилек в лампе, набросит на Славко шинель, непременно пощекочет мне пятки и исчезнет. Черт его знает, спал ли когда-нибудь и где-нибудь проклятущий малый, мне так это и не удалось установить.

Глубоко за полночь Славко, скинув гимнастерку, тихонько пробирался в постель и почти никогда меня не будил. Это свидетельствовало о том, что обрел я в нем нового покровителя.

А надо сказать, что еще с детских лет, когда спали мы вместе с братом Райко, привык я зимними ночами всегда подтягивать одеяло себе за спину, чтобы потеплей было. Повернувшись во сне, заворачивался в него и, таким образом, раскрывал своего соседа.

То же самое происходило и с командиром Славко. Ночью я постепенно открывал его спину, а он, устав до изнеможения, никогда этого не чувствовал. И только утром, проснувшись, он с усилием поднимался, хлопал себя по ребрам и страдальчески обращался ко мне:

— Изверг ты мой безжалостный, чувствую, что снимут мне голову не усташи, не немцы, не четники, а ты, душа твоя поэтическая! Опять ты меня оголил, а ведь я годами мучаюсь легкими.

Но в один прекрасный день меня постигло справедливое возмездие. Вместо Славко заболел я сам.

— Есть ведь господь бог на небе! — без капли злобы сказал ординарец Луян.— Тебе чаю приготовить?

— Не надо! — кисло отверг я, не поднимая головы с подушки на этом нашем со Славко общем ложе, теперь и днем занятом такой вот распухшей наседкой, какой оказался я, изнеженный больной.

— Поесть хочешь? — спросил командир.

— Если б меда капельку,— страдальчески ответил я, а интендант Вачконя, стоявший у дверей, в отчаянье заломил руки, словно отдаваясь во власть некой высшей силы, и завопил голосом праведника, сжигаемого на костре язычниками:

— Меда? Господи боже милосердный, чего еще от меня потребуют в этом доме? У меня уже три дня нет ни овсинки для лошадей, а этому подавай меду!

— Слушай, Джюра, поройся как следует в своих закромах, у тебя ведь и птичье молоко найдется,— старался поднять ему настроение Славко.— Я-то ведь знаю своего Джюру.

— Судьба моя горькая меня знает, раз мне выпало на долю прикармливать медом разных тут иных, которые по постель-горам воюют.— Интендант волком глядел на меня и, еще более осердившись, бросил закадычному своему другу-приятелю Луяну: — Я бы всех этих сочинителей и выдумщиков на первом дереве вздернул перед штабом, как мужик ворону на огороде, чтобы другим неповадно было, тогда, глядишь, ума-разума наберутся.

— Неужто и нашего Бранишу, этот дуб могучий из-под Грмеча? — по-лисьи сверкнул желтыми глазами Луян, неизменно пребывавший в прекрасном настроении.

— Его первого! — отрубил Вачконя, исчезая в дверях.

Через четверть часа он появился снова с огромным глиняным горшком в руках, килограммов, наверное, на пять.

— Вот горшок, а вот ложка, налетай! Разорил ты меня вконец!— обреченно сказал он, поставив горшок у постели.

Правда, вскоре выяснилось, что горшок в основном пустой, но не до конца очищенный. Вот это уже другое дело! А то какое удовольствие черпать из полного сосуда? Ровным счетом никакого! А подчищать горшок из-под меда — это совсем иной разговор. Показалось мне, будто вернулся я в детство и снова вылизываю горшочек из-под молока, который от щедрот своих сунула мне мама Сойя.

Засучил я рукава по самые плечи, взял деревянную ложку и только принялся за дело, как на тебе — в этот самый момент в дверях показался комиссар дивизии Илия Дошен. Вернулся, войска объезжал.

— Чистишь, чистишь! — ехидно произнес он у самого порога. Это первое, что он углядел в комнате, солнышко жаркое чтоб ему пятки прижгло, а внимания не обратил никакого на своего ближайшего сотрудника, самого молодого командира дивизии в повстанческой Югославии. Ясное дело, ему важнее мой горшок. Какой там горшок, кувшин из «Тысячи и одной ночи», куда разбойники прятались!

— У, Вачконя проклятый удружил!

А Дошен, словно и сам вспомнил арабскую сказку, с полной серьезностью мне совет подает:

— Ты знаешь что, милый, лучше всего сам в горшок полезай и изнутри его как следует шлифуй.

Это уж перешло всякие границы, и, подобно всем страждущим, я завопил из своей постели:

— Товарищ командир, вот этот некто, неведомый мне, и помереть не дает здесь в покое!

— Ты, Бранкич, лежи, пусть его мелет что угодно,— утешал Славко.— Помирать еще время будет.

А Дошен, вообще-то говоря, мой товарищ по Белградскому университету, он — юрист, я — философ, земляки мы, оба — крестьянские дети, но теперь все прахом пошло: стоит нам повстречаться, как всякий раз шуточки да прибауточки. Присосался он ко мне как пиявка, никак в покое не оставляет. Придумывает разные истории, описывает всякие события из моей белградской жизни, которых я и сам не помню, и главное призывает командира в свидетели, а более всего допекает тем, будто я в Белграде избегал политической работы, а только и занимался литературой.

— Ладно, ладно, повадилась кошечка за молочком, придется тебе теперь и политикой подзаняться. Не будешь ты в качестве военного корреспондента «Борбы» писать в нашей Пятой дивизии истории о дедушке Васкрсие и бабушке Деве: «Доброе утро, Васкрсие, доброе утро, Дева, как тебе спалось, слава богу, Дева, спалось помаленьку, вот кабанчик только приболел, иду вот к знахарке Драгойле, чтобы запись на него сделала...»

— Это ходжи делают записи, а бабки угли гасят! — ехидно поймал я его на слове, однако он в долгу не остался:

— Ходжи свиней не лечат, им вера не велит, потому лучше отправь все-таки своего деда Васкрсия к куме, бабке Драгойле...

И так он измывался надо мной и допекал, что частенько, когда надо было работать, я куда-нибудь прятался, опасаясь, как бы он опять не пристал. А он бродил вокруг штаба, искал меня и манил:

— Кис, кис, кис! Иди сюда, котик Тоша[1]!

Я, само собой разумеется, не выдерживал и кричал из своего тайника:

— Ну, чего опять завел — кис, кис, да кис, кис? Ты лучше статью Димитрова о кадрах прочти, тогда поймешь, что я значу для дивизии.

— Вот ты и попался, вот ты и начал политикой заниматься.

Так и сегодня, едва успел он опуститься на табуретку рядом с командиром и прикурить, как тут же повернулся ко мне и затянул:

Звезда пятиконечная сияет,
Пятая дивизия наступает...

— Что, не нравится? — перешел я в нападение.— Тогда сам напиши получше, если тебе надо.

А Дошен повернулся к командиру Славко и говорит вполголоса, но так, чтобы и я мог слышать:

— Я вот погляжу на него, как Пятая будет наступать, когда по нам самим ударят.

Я хоть и болен и своими хворями занят, уши выставил, как заяц в капусте, услышавший поблизости подозрительный шорох. Позабыл даже о своем волшебном горшке.

— По нам ударят? Уже несколько дней Зуко Зукич передавал через штабистов, что готовится наступление на освобожденную партизанскую территорию, на нашу дорогую Бихачскую республику.

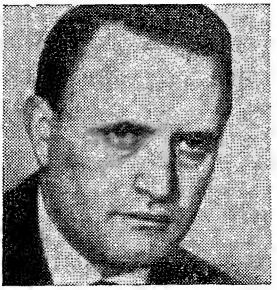
Вот, значит, оно как. Враг готовит наступление.

И мне вспомнились Николетина, Лиян, Станивук, малый Джюраица и остальные мои покинутые друзья, которые сейчас, может, и не подозревают, какая сила против них собирается. Бросил я ложку, мед мне поперек горла встал.

— Что будет с вами, богатыри мои, когда внезапно обрушится на вас лютый враг? Каково вам придется в снегу и во льду с вашими пулеметами, да винтовками, да подготовленными к бою гранатами?

---

[1] Бранко Чопич — автор книги для детей «Приключения кота Тоши».



МОМЧИЛО МИЛАНКОВ

В плавнях

Только к вечеру старику показалось, будто собака решила не уходить. Вечером он собирался проверить переметы, поставленные в рукаве реки неподалеку от его хижины. Он не сердился на собаку, которая пришла сегодня утром: устал только ожидать ее решения. Ему хотелось иметь какое-нибудь живое существо рядом. Он почувствовал это сегодня утром, когда появился голодный деревенский пес, и мысль об этом опечалила его. Он почувствовал, что больше не может гордиться своим одиночеством.

Старик собрался идти. Сегодня на ночь он хотел положить сети снаружи. Ночь обещала быть теплой и лунной. Все лето он с беспокойством вглядывался в горизонт и неизменно приходил к одному: год был засушливый. Старик не любил думать об этом, но теперь, набивая трубку, пытался припомнить слова песни, которую все утро жевал губами. Иногда он сердился на себя, оттого что не может больше оживить в памяти некоторые вещи, и полагал, что причиной тому его старость. А теперь только пытался угадать: останется ли собака у хижины, когда он уйдет к переметам, или последует за ним? Или, быть может, решит вернуться туда, откуда пришла?

Завтра его навестит внучка. Она хорошо гребет, всегда подплывает по рукаву. Только она одна и посещает его. Но случалось это не часто, и старик радовался ее посещениям, если она не заводила разговор о своих родителях, живших в городе. Он не желал о них слушать. И сказал ей об этом прямо, когда она предложила ему перебраться к ним. Дескать, там ему будет хорошо. Он знал, что они водят большой паром через канал и жизнь у них была беспокойная. Понимал и то, зачем они его зовут. Смешно, думал старик, неужели они ровным счетом ничего не понимают? И удивлялся, отчего они такие неразумные. Война, толковала ему Илонка, а он понимал, что это их слова, что они боятся за него, живущего здесь в полном одиночестве.

Он рассмеялся, вспомнив сейчас о том разговоре.

За себя он был спокоен: эту жизнь на воде он любил, а о них не думал. Ни о ком вообще не думал. Но все-таки любил, когда приходила Илонка. Лицо у нее было покрыто веснушками. Волосы заплетены в две толстые рыжие косы. И грести она умела отлично. Вообще была крепкой девчонкой, и это его радовало. Он думал, что не все еще потеряно на белом свете, который сам по себе его больше не интересовал.

Уйдет все-таки собака, старик чувствовал это, и на душе у него было тяжело. Он встал и принялся беспокойно ходить вокруг хижины.

— Вот дрянь,— бормотал старик,— с самого утра кормлю ее рыбой, прожорлива как черт, а теперь совсем хочет исчезнуть.

Может, стоило ее привязать? Так скорее обвыкнет. Дикое существо и неблагодарное. Но ведь старик знал, что собаки вовсе не такие, и это его удивляло. Собака снова вернулась, стала на пороге и зарычала. Это было хорошо. Старик радовался, что собака рычит.

Из камыша, росшего вдоль берега, вышел человек. Незнакомый молодой человек. И мокрый — видимо, долго шел по воде. Собака недружелюбно наблюдала за ним. Это хорошо, думал старик, значит, чувствует себя дома. Парень направился к хижине. Шел он быстро, не обращая внимания на собаку, не спускавшую с него глаз.

— Сидеть! — крикнул старик. Однако собака по-прежнему готова была броситься на пришельца.

— Не дело,— сказал парень,— это опасная собака.

— Хорошая,— возразил старик. Он радовался, что собака теперь стала принадлежать ему.

Скинув пиджак, парень выжимал его перед хижиной. Потом расстелил рядом с сетью и, оставшись в прилипшей к телу рубашке, присел возле старика.

— Ты, наверно, вечером костер жжешь? — спросил парень.

— А тебе зачем костер?

— Знаю, жжешь. Все так делают,— ответил парень.

Старик курил и думал о том, что сегодня вечером он не сможет проверить переметы. Это его обеспокоило. Завтра непременно приедет Илонка.

— Сегодня вечером не жги костер,— сказал парень.

— Отчего?

— Я с тобой побуду.

— Ты промок, озябнешь. Так не годится.

— Все равно. Не жги.

Смеркалось. Из плавней вынырнула луна, большая, бледная, незаметно терявшая свою огромность. Ночь хорошая будет, подумал старик, может, смогу при луне проверить переметы. Он встал, намереваясь подогреть на костре еду. Парень остался сидеть.

— Ты голодный?

Ответа не было.

— Давай ешь.

— Не буду.

— Не глупи. Почему не поесть?

Парень попросил закурить. Свернул цигарку из мятого лоскута бумаги, которую достал из кармана. Цигарка тут же потухла.

— Не горит,— вздохнул старик.

— Мокрая.

— Да.

— Ты рыбачишь? — помолчав, спросил парень.

— Да.

Он думал о чем-то своем. И собака оставалась спокойной. Ивы вокруг них все больше чернели.

— Почему ты не хочешь, чтоб я костер жег?

— У тебя найдется хорошая лодка?

— Найдется.

— Перевезешь меня?

— Куда?

— Я заплачу.

— А куда тебя перевезти?

— Туда. На тот берег Дуная.

— Ты спятил.

— Я заплачу.
— Не пойдет.

Старик угрюмо жевал. На берегу поставили часовых. Это все война перепутала. С тех пор как он помнил себя, берега были свободными. Граница всегда проходила далеко, а по ту сторону лежал Срем, там было хорошо. Когда-то он выгребал туда ночью. А теперь они стоят вдоль берега и стреляют. Об этом он знал, Илонка сказала, что они на берегу.

— Ты старый,— сказал парень.
— Думаешь, мне страшно?
— Может, и не страшно.
— Ничего мне не страшно, а все-таки не хочу.
— Я сильнее тебя.
— Тебя тоже не боюсь.
— А видишь, что я сильнее?
— Вижу, ты можешь отнять у меня лодку.
— Могу.
— Бери. Я с тобой не поеду.
— Я ее не возьму у тебя.
— Почему?
— Я тебе заплачу, чтоб ты перевез меня.
— Сам грести не умеешь?
— Умею.
— А заплатишь?
— Да.
— Нет, все-таки не поеду.

Парень поднялся. Взял свой пиджак, лежавший на том месте, где сушились сети, и надел его мокрым. Он стоял над стариком. Тот не двинулся с места: парень был частью того непонятного мира, который его вовсе не интересовал.

— Я должен переправиться через Дунай.
— Почему ты пришел именно сюда?
— Здесь лучше всего.

Значит, парень хорошо знал, что здесь лучше всего. Кто-то сказал ему об этом, ведь он был городской и сам наверняка не разбирался в таких делах. Нет, старик не станет его переправлять. Здесь, в хижине, спокойно. А дальнейшее уже не важно.

— Для тебя будет лучше, если перевезешь,— парень показал ему деньги,— ты бедняк.
— Это не важно.
— Важно.
— Для тебя важно переправиться на тот берег, да?
— Да.
— А зачем?
— Я должен туда добраться сегодня вечером. Скажу тебе только одно. Ты бедный человек. Всю свою жизнь был бедняком. Ты должен был бы мне помочь.
— Почему именно сегодня вечером?
— Соглашайся. На той стороне караулов уже меньше. Опасности нет.
— А ты не бедный?
— Да, я тоже бедняк.
— Но у тебя есть деньги.
— Есть.
— Ты чего-то боишься.
— Нет, ты меня не поймешь. Я не боюсь.
— Ты хочешь убежать. Я знаю.

— Я хочу переправиться.
— И после снова вернуться?
— Да, после снова вернусь.
— Это не дело. Тебя убьют.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю.
— Ты давно живешь в этой хижине?
— Да. Все равно. Я понимаю, что тебе нужно. Однажды мне уже приходилось слышать о таких делах. Это было давно, еще в прошлую войну. Я уже и тогда был старым. Так всегда бывает, когда идет война.
— Теперь не так.
— Тогда тоже думали, что не так.

Старик кончил есть и сунул в рот погасшую трубку. Он старался не глядеть на парня. Огонь в костре погас. Ветер гнул камыш на берегу.

— Тебе следовало бы мне помочь,— произнес парень.
— Почему? Здесь так спокойно и так хорошо.
— Может, здесь и хорошо, но ты один.
— Ты хочешь, чтоб я тебе помог?
— Как?
— Оставайся со мной.
— Я должен сегодня вечером быть там.
— Но тебя убьют.
— Видишь ли, иногда это не имеет значения.
— И ты с этим смирился?
— Да.
— Этого я не понимаю. Должно быть, я в самом деле очень стар, раз этого не понимаю.

Собака внезапно сорвалась с места, бросилась по тропинке и скрылась в зарослях. Старик молча глядел ей вслед.

— Негодная,— произнес он с обидой,— неблагодарная и негодная собака.

На траве возле них легла широкая тень ивы. Плавни озарял лунный свет. Парень собрался уходить.

Внезапно раздавшийся крик заставил их вздрогнуть и вскочить на ноги. Откуда-то неподалеку доносился злобный лай. Лаяла не одна собака, их было много, и казалось, будто они дерутся между собой.

Парень устало присел на порог хижины.

— Пришли.
— Тебя преследуют? — спросил старик.
— Да.
— Чего же ты ждешь?
— Нет смысла.
— Почему? У тебя еще есть время ускользнуть от них.
— У них — собаки.
— Да,— сказал старик,— пошли.
— Куда?
— Переправимся на тот берег.
— Ты говорил, что не повезешь меня.
— Говорил. Но теперь другое дело. Здесь покой. Я не хочу, чтобы в плавнях убили человека.

Старик знал кратчайший путь к воде. Поспешно уходили они в ночь, и лай собак затих. Тишину раскалывал только звук их шагов по растрескавшейся земле.

— Плохо, что луна,— сказал старик.

— Они быстро придут. У них собаки.

— От этого им прыти не прибавится, а нам бы только до воды добраться.

Старости его как не бывало. Схватив парня за руку, он тащил его за собой по невидимым тропам. Он чувствовал, что тот устал, но ускорял шаги, и ему казалось, будто они вовсе не идут по земле, а плывут в направлении, которое знал лишь он один.

— Лучше б ты поел со мной,— сказал он парню, когда они вышли к лодке.

— Какая разница.

— У тебя нет сил.

— Выдержу.

— Ладно. Тогда будем вместе грести.

По ту сторону рукава тянулся длинный остров. Он был необитаем, и с другой стороны его протекал Дунай, широкий и быстрый. Чтобы выйти на середину реки, им надо было сперва обойти островок. Берег его густо порос тополями, и в их тени все было черным.

— Хорошо гребешь, парень,— спокойно сказал старик.

Под тенями деревьев он греб сам. Движения его весел были почти бесшумными. Лодка медленно двигалась вдоль острова.

— Тут уж недалеко,— тихо говорил старик.— Скоро обойдем остров и тогда повернем. Только б к мысу выйти.

— Тогда опять вместе на весла сядем.

— Может, и не понадобится. Там вода быстрая.

— Все-таки помогу.

— Вот самое плохое место,— старик показывал вперед.

Вода блестела вокруг них и казалась густой и вязкой. Темная угрожающая черта означала берег, который они покинули. Сильное течение медленно разворачивало лодку, и каждая минута тянулась бесконечно.

— Теперь уже ладно,— сказал старик,— еще самую малость.

— Нету их пока на берегу,— парень вслушивался во тьму.

— Может, и нету.

— Странно. А были ведь совсем близко.

— Плавни,— пояснил старик,— собаки ни к чему, когда на воду выходят.

Вдруг из темной купы деревьев на берегу донесся лай. Старик греб изо всех сил. Они достигли самого поворота.

— Еще малость,— хрипел старик.

Щелкнул выстрел. Пуля всплеснула возле самого борта.

— Течение б одолеть! — крикнул старик.

Другая пуля плеснула поближе. За нею пули посыпались скоро и яростно. Осами летали они вокруг лодки, и некоторые из них оставляли за собой длинные светящиеся следы, угасавшие в воде. Одна пуля попала в борт. Лодка двигалась слишком медленно, чтоб уйти от них.

— Ложись,— сказал старик. Парень продолжал грести.— Ложись,— повторил старик,— уйдем мы от них. Далеко они. Вот течение подхватило. Оно нас и выбросит на тот берег. Уйдем.

Озаренная луной, отчетливо видимая на водной поверхности, лодка двигалась вниз по течению, уносимая бесчисленными пенистыми грядами волн. Далекий и спокойный ждал впереди сремский берег. Они оба лежали на дне лодки, которую начинала заливать вода. Стрельба становилась все более редкой, отдаваясь бессильным эхом, и в ней больше не слышно было угрозы.

— Выберемся,— старик вынул изо рта трубку. Она была мокрой.— Эй, парень, давай опять погребем. Не обманула течение.

Парень продолжал лежать на дне лодки.

— Поднимайся, теперь они нам ничего не сделают.

Старик хотел помочь ему встать, но тот не двигался. Он был мертв.

Ивняки на берегу молчали. Старик не знал больше, куда ему поворачивать лодку. За густым ивняком простирались плавни, окровавленные и чужие. Где-то в глубине их выла собака.

МИХАИЛО ЛАЛИЧ

Арджан-озеро

На шестнадцатом километре к северо-западу от Салоник дорога на Кукуш входит в горы, петляя над речкой у подножия массива Кардашлия. Массив этот — старые каменистые отроги Родоп — тянется на юг от Караджи, через Деве Караниа, повсюду одинаково оголенный ветрами и засухами. Там же, где обширная равнина собирается у подножия гор, в уголке безлюдном, пустынном и высохшем, немцы разместили склады с боеприпасами, серые, холодные постройки без окон, разбросанные по балкам и до самой крыши застланные землей.

В этих складах работали пленные — когда у людей не хватало сил, часовые кололи их штыками. Гигантским свидетелем печали и страданий возвышалась гора над изрытой землей, внимая ругани и стонам и внушающим ужас эхом откликаясь на выстрелы. Тройной ряд колючей проволоки окружал огромное прибрежное пространство, где размещались кучи металла и динамита, накрытые пропитанной дегтем бумагой.

В летние месяцы гора притягивала к себе влажные взгляды пленников, пробуждая воспоминания о родине и мечты о побеге и свободе. Несоответствие между тем, о чем мечталось, и тем, что происходило на самом деле, и здесь было бесконечным. Бежать из этого невыносимого места было трудно, и, чтобы уклониться от признания в том, что и вовсе невозможно, пленные обманывали себя слухами о близком конце войны. Казалось, что после Сталинградской битвы немецкое оружие стало покрываться ржавчиной и что осенью наступит конец.

И только люди, числившиеся в «черных книгах», то есть коммунисты, продолжали говорить о длительной борьбе, думали о побеге и побуждали к нему других.

Через четыре месяца изнурительной работы в невыносимых условиях, после бесконечно долгих, придавленных грузом тяжкой жажды и подземной плесени дней узники заметили, что в воздухе над равниной и над заливом повеяло ароматом осени. Правда, кроны редких деревьев, искривленных северными ветрами, оставались еще зелеными, однако цвет облаков и выжженной травы, перелеты птиц и движение солнца говорили о том, что лето миновало. В середине сентября ветер принес с севера пронизывающие, холодные дожди. По утрам над землею клубились туманы и вершина горы лежала в облаках; серая и потемневшая, она утратила свои четкие контуры и стала походить на далекие горы возле родных сел.

В тот день у многих хилые мечты о свободе увяли, как увядают последние осенние цветы. Узники словно в первый раз вдруг заметили, что склады целое лето оставались нетронутыми, что они по-прежнему полным-полны, что страшный враг человечества, видимо, вовсе не собирается выпускать из своих рук оружие и что «западные демократы» ничего не предпринимают, чтобы вынудить его это сделать.

— Россия в одиночку сражается. Война опять затянулась, и кто знает, сколько она еще продлится,— толковали разочарованные, а разочарование, как известно, не придает сил, а служит лишь поводом для отступления.

И Милии Поджанину, маленькому и съежившемуся от холода и волнения, обходившему людей в поисках товарища для побега, многие отвечали:

— Да не сходи ты с ума, успокойся. На носу холодная и мокрая осень, такую и дома-то с трудом переносишь, не говоря уж о чужбине. Дороги чужой страны длинные, беглецу на них не найти ни пристанища, ни ночлега, не найти никого, кому можно довериться. Все преследуют, всяк против него, любой — сильнее и мудрее его. А когда свалится беглец в изнеможении, то могила для него — некопаная и непокрытая, край неведомый, вовсе сгинет имя его. Не валяй дурака, не ходи...

Дождь равномерно лил в долгие и монотонные послеполуденные часы, и караульных охватывала тяжкая, мертвая дрема. Они натягивали козырьки фуражек на самый нос, завязывали потуже капюшоны на голове — очевидно, дожди рождали тягостные воспоминания о боях и бегстве вдоль азовских берегов и по липкой украинской грязи. Они пытались спастись от этих воспоминаний, пряча головы под крыши и став вдруг зябкими, точно козы.

Пересчитав караульных и увидев, что никто из них не вышел в засаду, мелким и скорым шагом двинулся Поджанин к проволоке. На нем была студенческая тужурка цвета увядшей листвы, обветшавшая и расползающаяся от частой стирки. Во внутреннем кармане ее он прятал маленький рукописный греческий словарик «димотики» [1] и карту Балканского полуострова. Штаны, когда-то бывшие солдатскими, латаные и перелатанные, потеряли всякую форму и цвет. Босые ноги его были обуты в деревянные сандалии с ремешками, голову покрывала мирная шляпа, лихо сдвинутая набекрень. Прижавшись к земле, он пополз, превозмогая невыносимую боль от уколов, весь исцарапанный,— и только оказавшись по ту сторону проволоки, заметил, что потерял шляпу. Он оглянулся — шляпа валялась на земле внутри окруженного колючей проволокой пространства, было бы слишком рискованно оттуда ее извлекать.

---

[1] Один из диалектов новогреческого языка.

Пригнувшись на всякий случай, частыми скачками он уходил вдоль речки. Навстречу текла мутная вода — красноватая, пахнущая могучими и теплыми земными глубинами. Ему вспомнилось древнее пророчество: «...грядут дни тяжкие, когда люди и мутной воды возжелают; благо тому, чьи глаза этого не увидят...»

«Благо тому, у кого обувка получше!» — подумал он, посмеиваясь над пророком, и сбросил свои деревяшки, вовсе не подходившие для предстоящего пути.

Туман становился все более густым, гора — все более крутой. Все более частыми были и остановки изнемогающего беглеца.

— Эй, погоди! — раздался из тумана знакомый голос.— Шляпу забыл.

И вслед за голосом появился Градич, могучий и крепкий унтер-офицер бывшей югославской армии. Поверх фуражки он водрузил шляпу Поджанина и издали выглядел огромным и страшным чудовищем, а когда совсем приблизился — оказался веселым и ладным парнем.

Они познакомились шесть месяцев тому назад в тюрьме у четников в Колашине. Мобилизованный четниками как пулеметчик, Градич свое тяжелое оружие вместе с запасом патронов передал партизанам. Вскоре его отправили на задание в тыл к четникам, и там он попался. «А куда ты дел пулемет?» — спрашивали его, а он притворялся дурачком-простачком: «Отняли его у меня».— «Как же так отняли?» — «Да так вот, с плеча сдернули. И еще мать мою макаронную помянули».— «Значит, партизаны...» — «Выходит, они, кто ж другой стал бы так дерзко себя вести?»

И в тюрьме до самого прихода немцев Градич оставался веселым. Но потом помрачнел и умолк. И заговорил лишь в поезде, уносившем их на юг Македонии. В голосе его звучала тоска:

— Подхватила нас волна мутная и кровавая, и не видать нам домов своих.

Сейчас он опять повеселел. Подержав в руках обе свои шапки и помахав ими, он швырнул их в накрытое туманом пространство, с невидимого дна которого доносились глухие и беспомощные выстрелы — сигналы тревоги.

— Шапки долой! Да здравствует свобода! Ого-о-онь!..

Впереди простиралась бескрайняя салоникская равнина, испещренная клочьями тумана. Далеко на юге мерцала полоска залива, или лоскут неба, или обманчивый отблеск света в пустоте. Они пошли на север и вскоре стали спускаться в новую, незнакомую и оттого подозрительную, глубокую как бездна низину. На миг открылась дорога по равнине, длинная, прямая и белая, пустынная до самого горизонта. Потом она исчезла. И день стал угасать, долго и хмуро. Дождь прекратился.

Тьма быстро затягивала все вокруг, оставалась одна тишина, тишина принимала их в себя, огромная и внушающая ужас во всей своей тяжести и полноте. Казалось, слышался не только шум шагов, но даже дыхание и удары пульса.

— Не по мне это,— говорил Градич.— Такой простор, а ни одной деревни. Ну что это такое, скажи на милость!

— А мне как раз страшно на деревню напороться. Ног не унести, сам знаешь, немцы повсюду, с собаками.

— Да и двуногие есть, эти похуже. А все-таки мы уйдем от них, я уверен. Эх, люди милые, если б мне еще разочек Липово повидать!..

Он умолк, охваченный мечтами, и вскоре дорога показалась ему

знакомой и близкой. Клубы тумана и облачные громады на глазах изменялись, превращаясь в контуры знакомых гор, и он на миг увидел свою прекрасную гористую родину. Почудилось, будто вот здесь, под дорогой, течет Тара, обмелевшая после летних засух. Вот и мост, а над ним Вучево, дальше — Бобляк и под ним — Колашин...

— Слушай, Милия, давай поспим немного,— сказал он; его самого испугали эти видения.

— Когда рассветет, увидим, где мы! А пока и речи быть не может о сне. На, затянись, разгони дремоту! — Поджанин сунул ему сигарету и дал огонька. Потом закурил и сам.— Завтра отогреемся на солнышке, если оно покажется, и выспимся как боги. А пока вперед! Если правда, что Темпо [1] дошел до Арджан-озера, то через два-три дня мы там. Представь себе — сразу же встретить своих! Подумать только! Кто первым-то попадется? — Он и сам погрузился в мечты.

Далеко впереди пропели петухи, затем послышался хриплый собачий лай. Сон пропал, мечты разлетелись. Теперь они пробирались молча и медленно, сторожко проверяя взглядами все перед собой. У какого-то привольно раскинувшегося села свернули влево и долго, им показалось — часами, обходили его разбросанные выселки. Потом опять вышли на дорогу, широкую, как и раньше, но теперь какую-то неровную и запущенную.

Небо прояснялось. Стремительно уплывали на юг лоскутья облаков. По-прежнему вокруг стояла тишина, бесконечная, как море, пустынная и дикая. Ухнул филин и смолк; подул ветерок и стих. И тогда Поджанину стало мерещиться:

— Все мне слышится, будто кони ржут, а как встанем, нету их. Во, прислушайся — топот. Если конница идет, успеем укрыться. Ложись на землю, не заметят, прожекторов у них нет.

Вскоре топот усилился, подобно дробному шуму горной речки. Они проворно метнулись в сторону, отошли от дороги, метров на сто. Подождали, топот некоторое время приближался, потом свернул на какой-то иной путь и затих вдали.

Ветер усилился, посвежело, близился рассвет. Все сливалось перед глазами — от бессонницы, усталости и курева. Они спотыкались, по обочинам им виделись буйные зеленые луга, и Градичу захотелось прилечь «на минутку, совсем малость» на один из этих «лугов». В призрачном сером свете утра лица их выглядели синими, а тела вялыми. И только тут они заметили, что проходят последние дома небольшой деревушки с мелкими, пожелтевшими от спелости виноградниками и садами. Удобно расположившись между дорогой и речкой, деревушка эта пускала к небу тонкие пряди дыма.

День обещал быть ясным и солнечным, суля отдых и сон как награду за ночные муки. Беглецы поспешили отойти подальше, иначе не было бы покоя от пастухов или жнецов. Вскоре путь преградило еще большее и красивое, белое, на первый взгляд богатое село, пламеневшее новыми кровлями. Дорога и речка рассекали его приблизительно на две равные части: к востоку тянулась гряда холмов, до половины поросших кустарником, но с голыми вершинами.

Беглецы приникли к земле, чтобы оглядеться и наметить направление дальнейшего пути. Несомненно, надо было поскорей уходить: на восток ли — в голую пустошь, лишенную укрытий, на запад ли — через речку и по низким волнистым холмам. Вардар, единственный

---

[1] Имеется в виду Светозар Вукманович-Темпо, один из руководителей партизанского движения в Югославии, в ту пору возглавлявший партизанские бригады Македонии.

ориентир, находился на западе, и это решило дело. Поджанин уже собрался было идти, но Градич извлек из кармана банку мясных консервов и ломоть хлеба:

— Пока с этим не покончим, не пойду. Всю ночь я их тащил, душа кровью обливалась, а дальше так нельзя! Пусть теперь они меня несут.

Он разломил хлеб пополам, вскрыл банку и стал вытряхивать дольки красного мяса на широкие виноградные листья. Беглецы быстро поели, глотая большие куски, потом Градич пнул ногой опустевшую жестянку. С набитыми ртами, пережевывая остатки, тронулись дальше.

Но подходя к речке, услышали тонкий и пронзительный скрежет металла. Вскоре увидели немецких солдат, работавших под самым берегом,— они копали песок, привычными размеренными движениями забрасывая его в кузов грузовика. На проплешинке перед мостом, где прежде находилась будка, стоял пулемет на треноге, возле него сидел на корточках хозяин — точь-в-точь собаки, сторожащие стадо. Солдаты были заняты своим делом, пулеметчик потягивал дымы из кривой трубки и водил пальцем по песку перед собою.

— Это они для бронеколпаков,— догадался Градич.— Перешли на итальянскую тактику, а добра им это не сулит.

— Спрячь голову, чего ты ее как дурень наружу высунул! Ниже! Вот так. А теперь айда,— шипел Поджанин, которого сейчас ничуть не занимали колпаки.

Они ползком миновали опасный участок, в два прыжка преодолели речку. Соскочили в мелкую и тесную яму над берегом. Под ногой у Поджанина хрустнула ветка, в сторону отлетел камешек. Позади густо загомонили чужие голоса. Влажную тишину кустарника вспорола очередь, и долго слышалось, как падали на землю сбитые ветки.

Повыше речки беглецы перевели дыхание и бегом миновали мягкую седловинку на южном склоне холма. Тишина придала им бодрости, и Градич оглянулся.

— Ладно, немец, погоди,— пригрозил он,— как доберусь до автомата, я тебе по мерке одежду выкрою.

— Долго нам еще добираться до автоматов, далеко мы,— грустно возразил Поджанин.

Друг за другом спешили они по округлым выпуклостям рыхлой, обожженной земли, уходя давно заброшенными тропами. И опять на запад тянулась равнина, где-то вдали за виноградниками и большими стогами соломы виднелась излучина Вардара. Холмы постепенно повышались. Приближалась крепкая, внушающая надежду стена древних македонских гор.

Из седловинки, которую они недавно прошли, раздался выстрел, пуля просвистела над головой. Оттуда что-то кричали по-гречески и по-немецки, видимо приказывая, повелевая им остановиться и подождать. Они бросились вперед и, прежде чем преследователи успели сделать второй выстрел, оказались в мертвом пространстве. Но пока принимали решение, как поступить дальше, с равнины застучали выстрелы, из-за горы им хрипло ответил уже знакомый пулемет.

— Подбавь жару, теперь не до шуток! — с озорством воскликнул Градич, пускаясь бегом.— Во влипли! Со всех сторон обложили, не поймешь, где и прятаться.

Стоять на месте было нельзя, назад податься некуда. Пальба придала им сил. Поочередно переходя с шага на бег, более двух часов уходили они вперед, пока наконец достигли пепельно-серого хол-

ма, изрытого потоками вешних вод. Закрыв глаза, бросились на иссохшую землю. Вдали угасали редкие выстрелы — погоня отстала, огонь ослабевал. Градич мгновенно уснул, захрапев во всю мощь широкой груди, Поджанина тошнило, все кружилось у него в голове, нестерпимо хотелось спать, однако тревога не покидала. Снова преследовал его приглушенный топот коней, как было вчера, и, силясь отогнать шум, он тряс головой. Но при этом уходил и столь желанный сон.

Внезапный выстрел вспорол тишину, за ним зачастили другие. Вперемежку, очевидно из разных мест и без видимой цели, преследователи палили в белый свет. Поджанин подполз к вершине холма и увидел на расстоянии выстрела движущуюся цепочку местных охранников. Он узнал их по тесным, облегающим штанам и лентам с патронами, блестевшими на груди, как токи [1].

Он пополз обратно, безжалостно растолкал Градича, невинный и по-детски растерянный взгляд которого вконец разозлил его, и потянул товарища к подножию холма. С трудом ступая разбитыми и израненными ногами, они сперва двигались рысцой, потом пустились бегом в долгое, бесконечное, безнадежное бегство, когда забываешь и о ранах, и об усталости, и об обрывающемся дыхании.

Солнце уже клонилось к западу, а позади широким полукругом трещали винтовочные выстрелы. Расстояние увеличилось, звуки погони как бы выцветали на глазах, но и это теперь не могло ободрить беглецов. В любую минуту они могли напороться на засаду или патруль проснувшегося от шума врага. Вардара не было видно, леса, который укрыл бы их, поблизости не было. И даже горы на севере словно бы отошли подальше, они стояли вдалеке, серые и бледные, словно находились на какой-то иной планете.

— Ух, мерзкая земля! — рычал Градич, когда они присели передохнуть.— Ни куста тебе, ни норы, совсем негде спрятаться, и есть так охота, Милия... А что, если нам сварить твои ботинки? Вон на них кожа, выйдет суп, супчик...

Но Поджанину было не до шуток. Сжав руками маленькую острую головку, он упорно молчал.

— Вон вода какая-то, лужа ли, озеро,— продолжал Градич, у которого не хватало сил молчать, если он не спал.— Ей-богу, там бы рыбка нашлась. Слушай, придумай что-нибудь, как нам их на сушу выманить!

Поджанин встал и там, куда указывала рука товарища, увидел в окутанной дымкой дали сверкавшее в лучах заходящего солнца зеркало воды. Он быстро извлек из кармана карту и разложил ее на земле. Упер палец в голубизну Салоникского залива, затем повел его к северу. Начал что-то высчитывать шепотом, точно колдуя, и вдруг громко воскликнул:

— Это — Арджан-озеро! От него до Салоник более ста пятидесяти километров... Невозможно, чтоб мы столько прошли.

— Мы и все двести отмахали, вот, глянь на мою обувку...

— Считай, двадцать часов по... И если б мы шли по прямой...

— А мы и шли по прямой, они не дали нам нос повернуть ни вправо, ни влево.

— Значит, если это Арджан-озеро, то вон та гора — Каувлактепе, и если нам не соврали, что наши бригады достигли Арджана, тогда... Тогда мы спасены...

---

[1] Токи — своеобразные металлические украшения на груди в традиционных костюмах сербов и черногорцев.

Он несколько раз перевел взгляд со своей карты на лежавшее вдали озеро и обратно, а потом задумчиво оперся на руку. Отяжелевшая голова его сама собою скользнула вниз на расстеленную карту Балкан. Губы бессознательно повторили странное название Каувлак-тепе, а из глаз выкатилась одинокая мутная слезинка и упала на голубое пятно, означавшее на карте Арджан-озеро.

Снег тает

Уже три недели, как Милош Вучич покинул дом: арестовали его и увели к колашинским казармам во время большой операции, которой до первого снега предполагали очистить край от «подозрительных элементов» и обеспечить успех облаве. Сейчас в доме Милоша у очага, на буковой треногой табуретке, сидит Мартин Вучич, сутулый, согнувшийся, опустив голову на ствол винтовки. Не шелохнется, словечка не выронит, но всем своим огромным усталым телом смутно, точно сквозь сон, ощущает и жадно впитывает приятное тепло, пар перекипевшей ракии и дым жженого сахара, смешанные с запахами щелоком выстиранного полотна и тлеющей сосновой хвои.

Захмелел он от кружки теплого напитка, все его чувства словно бы стали хмельными, а бодрствует только острая восприимчивость к запахам, усилившаяся после долгого пребывания на горном воздухе. Впервые за полгода вступил он в обжитой дом, и уже с порога поразило его обилие запахов, к которым в прежней своей мирной домашней жизни был он почти глух. Это как бы ему своеобразное предупреждение, вроде бы некая ехидная насмешка: «Вот, дескать, пока было — не понимал, чем владеешь, а как лишился, тут и раскаивайся!» Не умел он, однако, раскаиваться даже тогда, когда осознавал, что неверным путем пошел.

Неподвижными серыми глазами — только они и остались пока живыми на заострившемся лице — глядит он на жену Милоша Нешу, как она, стоя на коленях перед очагом, мнет и давит тесто в лохани, то нагнет лохань вправо, то вывернет влево — от этого рождается стук, будто кто-то ногами перебирает возле двери. Женщина спешит: когда он пришел, спросила — замешивать ему ржаного или ячменного хлеба, а он в ответ: «Все равно, ставь, какой скорей поспевает, нет мне возможности ждать». У него в доме лохани были не такие мелкие и не так легко было их набок поставить — дно у них было широкое, устойчивое, замешивалось и съедалось много хлеба... а потом — и лохани сгорели, и все миновало...

Снаружи ревела река, раздувшаяся после трехдневных ливней и подтаявшего покусанного снега. У каждой реки свой голос, отличный от других и разный в разных местах по течению, а ему доводилось слышать именно такой шум в ином месте, у иной воды. Так же вот ревела Тара возле Матешева в начале года, в конце января, в тот самый день, когда Нико-шофер под окнами штаба остановил машину с телами погибших партизан, которые из снега выкопали. Молча остановился и ждал, что выйдет Мартин Вучич в последний раз глянуть на сына. Мартин тогда растворил окно. «Гони, чего ждешь, Нико!..— только и сказал.— Мертвые... от мертвых... мертвым от этого легче не будет...» Машина со скрежетом и ревом, раздирающим сердце, рванулась с места и исчезла, шум Тары победил.

Хозяйка подняла с огня раскаленную черепицу, положила на нее тесто, обернула капустными листьями, а поверх них уложила уголья. Огонь ослабевал. И снова отдался Мартин своим мыслям: вот так же его дочка накрывала хлеб листьями тогда, после пожара. Он увидел ее после новых смертей весною, когда она с пустыми выплаканными глазами пришла его утешать... «Слыхал о Бато?» — спросила. «Слыхал,— ответил он,— а ты слыхала о Станко?.. Осталось нас с тобой двое, и негоже нам расставаться». Однако расстаться пришлось: полагали, на час-другой, вышло навеки. Пока он был на каком-то собрании, ее вместе с группой захватили четники в пещере под Лисьей Грядой. Пожалели, не стали вешать, расстреляли вместе со славными бойцами...

Пониже, в глубине, за кроватью, до тех пор невидимая, скрипнула колыбелька, закряхтел и пискнул, просыпаясь, ребенок. Женщина, поглощенная мытьем лохани, ногой качнула детское ложе. «Ну, конечно, спать ему надо! — подумалось Мартину Вучичу.— Не мешало б и мне соснуть, ждать покороче б вышло». Он попытался заснуть, но вместо сна под зажмуренными веками будто на движущейся ленте непрерывно возникали какие-то краткие, никчемушные и бессвязные воспоминания, точнее, осколки воспоминаний. То полянка в Палешском лесу, где ребята из Подбишчья, Чирович и Шчепанович с Милосавом Джурашиновичем, играя, хлестали друг друга чемерицей; то откос под Оленьей Грядой, где, разыскивая опанки [1], он потерял своих.

Он просто потонул в расщелине между двумя глыбами, а когда выбрался, увидел, что выронил опанки. Собственно говоря, их и искать-то не стоило б в этой передряге, но он был человек упрямый и не думал о последствиях. Прекратил он свои поиски, лишь услыхав, как четники, разбежавшиеся после гибели Беланича, стали вновь, перекликаясь, собираться. Он оглянулся — никого из своих поблизости не было. Даже следов не осталось — точно улетели на крыльях. Тогда он поспешил к Яблановy долу в надежде, что они поджидают его там. Нашел след и протяжно, как Тарзан, долго звал их условным сигналом: «Эй-о-о-о-ой»,— без успеха. Он крикнул еще раз десять с косы над Трештаницей, а потом опустилась ночь и следы потерялись...

Ребенок снова зашевелился, уже проснувшись, и, ловко высунув ручку из-под пеленки, сбросил одеяльце. Ручка его замерла в движении, и с каким-то особенным вниманием он загляделся на Мартина Вучича. Вот как выглядит человек, когда состарится, согнется и оголодает, когда затянет лицо серый мшаник бороды, а неприятный землистый цвет окрасит кожу вокруг глаз,— прежде ему такого не доводилось видеть. Удивился младенец, задумался и проглотил слюну. Зажмурил глаза, точно не желая больше смотреть на нечто подобное, а потом опять раскрыл их и вгляделся повнимательнее. С усилием приподнял плешивую головку, маленькую, в кулак величиной, и несколько мгновений держал ее в воздухе над подушкой.

— Иди,— пронзительно и на первый взгляд вполне осмысленно произнес он.— Иди, иди!

— Хорош, ничего не скажешь,— улыбнулся Вучич.— Еще и хозяином не стал, а уже гонишь меня из дома.

— Иди, иди, иди,— зачастил ребенок, испытывая очевидное удовольствие от того, что ему удалось найти такую забавную комбинацию звуков.

---

[1] Опанки — мягкая крестьянская обувь из кожи или резины.

— Может, ты и прав,— согласился Вучич.— Вот уже давно повелось — куда ни приду, добра не жди. Цветы после меня не растут, да и зеленые сосны высыхают, стоит мне их коснуться.

— Иди, иди, иди,— продолжал малютка свои упражнения в фонетике сербского языка.

— Иду, раз ты так настаиваешь. Вот тебя и послушаю, вот и уйду,— с усилием выпрямился Мартин Вучич, весь составленный из громоздких, тяжелых костей и развинченных суставов.— Не удивляйся,— сказал он разинувшей рот женщине.— Мы думаем, будто дети ничего не знают, а разве сами мы больше их знаем? Теперь вот и в сны не верят, а у меня они много раз сбывались, особенно если дурное снилось. Это природа знак подает, а человек может его и не послушать, но лучше, если иногда прислушается. Я вот, с тех пор как дети погибли, сказал себе: нечего больше судьбе у меня брать, одни щепки остались, а потом увидел — нет, неверно, может она еще что-нибудь и получше разыскать. Жалко, если этот малыш пострадает из-за меня,— может, вырастет из него добрый черногорец, может, и пригодится он этой земле. Ну ладно, зайду я, когда хлеб поспеет.

Он вышел в студеную ясную ночь, на луг, где между серебряными заплатами снега тянулись черные полосы оттаявшей земли, а над шумевшей долиной и сероватыми завесами откосов Беласицы стояло небо, выкованное из фиолетовой стали и пробитое золотыми гвоздями звезд. Притаившись за углом дома, Вучич прислушался и оглядел окрестность: может, есть причина у ребенка — дети с их чистотой чувств словно жеребята, что издалека чувствуют наводнение... Резкое терпкое дыхание неживой материи подбодрило его, и он пошел по борозде, чтоб не оставлять следа, невидимый, точно дух на темном фоне, беззвучно переступая обмотанными тряпками ногами.

«Может, это не только здесь,— подумал он.— Сдается, что повсюду, куда ни приду, лишний я и тяжелый, скучный человек. А кто я в самом деле? Досадливый старикан, который не может просто прийти и уйти, но сам по себе — живая тоска. Даже если изменится настроение и шуткой попытаюсь оживить разговор в компании, все видят мою безысходную тоску по потерянной семье, и мучительно им, и тяжко от этого. Смех мой кажется им напускным, и борьба моя выглядит в их глазах отчаянием. Должно быть, поэтому избегают они меня и бросают одного. Черт его знает: может, и не моя вина в том, что отделился я и остался в Оленьей Гряде, может, им не очень и жалко — дескать, избавились...»

Внизу, в оттаявшей долине, светились красные огоньки костров. Люди вокруг них не спали, доносился глухой говор и позвякивание котелков — наверняка разливали винный отстой. Потом какой-нибудь пылающий уголек, покачиваясь, двигался во мраке над черными полями — кто-то уходил домой, освещая дорогу и замедляя ход на мостках у воды... Помахивал, чтоб разгорелась поярче, гаснущей головешкой, точно подавал сигнал кому-то вверху, в горах... Под котлом снова запылал огонь, и мужские незнакомые Вучичу голоса согласно и красиво запели:

Я зову тебя желаньем жадным,
Но в тебе не нахожу ответа...

Он остановился: до сих пор ему не доводилось слышать такой песни, и вообще трудно себе представить, чтобы кто-то мог петь ее в этом одетом в траур селе. Должно быть, чужие, наверняка какой-нибудь четнический патруль — пришли, устроились и перепились. Странно только, что поют не свои четнические песни, а вот такие,

ничейные. Но, может, это у них только начало, а ночь длинная... Вот когда затянут о своих подвигах... тогда удобней всего подобраться поближе и садануть гранатой, пустить две пули, оставаясь во тьме невидимым и дерзким... а почему бы и нет?.. Село пострадает, но что из того — оно привыкло к страданиям, для того, видно, и существует на белом свете. Хорошо всыплю, будут помнить, как отомстил старый волк Мартин Вучич!..

Он ждал, пока они вновь подадут голос. Не терпелось ему, радовался, что пришел к решению совершить нечто неожиданное — напасть, вместо того чтобы обороняться, разогнать их, а самому не спасаться бегством. У костра опять воцарилась тишина — точно в этом двустишии о безответной любви было сказано все, точно певцы вдруг устыдились, или напугались, или пожалели. Позабыли о песне и больше не подавали голоса. Вучич разочарованно махнул рукой: кто знает, что за люди, пусть их... а потом — возможность для атаки всегда представится, и даже удобнее вышло бы, если б они сами на него напали... Скажем, заманить их как-нибудь к пещере, но дождаться не внутри, а снаружи, рядом, у входа, и днем бы — тогда различить можно и выбрать...

Он обогнул склон: крутая тропинка вывела его к сторожке Йоки Илиной, вдовы с уже подросшими детьми. Нерешительно постучал, ожидая, что и здесь, как во многих других местах, ему дадут понять, что появление его не слишком приятно хозяевам. Но вышло иначе: Йока шумно обрадовалась, увидев его, схватила за худую холодную руку и сжала ее своими огрубелыми от работы и мозолей ладонями.

— Вы это, помоги вам господь! — были ее первые слова.— Давно надо было, и все по-иному бы вышло!

О чем она? Над тем, что говорила эта женщина, всегда приходилось ломать голову. Точно она училась у ворожеи — все недоговоренные, обрывистые фразы, то ли бранится, то ли благословляет и никак не может обойтись, чтоб не приукрасить. Все неединожды переменилось в этой войне, а она вот, по крайней мере хоть в этом, осталась прежней.

— Руки вам озолотить бы!

— За что же, Йока?

— За эту собаку бешеную! За то, что вы его прищучили, чтоб не куражился над народом.

Собаку? Должно быть, недоразумение какое. Мартин Вучич ни разу в жизни не видывал бешеной собаки, слыхал только, будто иногда они попадаются людям и будто очень опасны. Впрочем, кто знает, что она хочет сказать, может, смилуется и растолкует...

— И еще насыпали ему мукй на голову,— женщина громко хихикнула.— Толкуют, никогда не отмыть ему бороды и волос от мукй. Кровь запеклась, мука склеилась, чудо-юдо какое...

— Ты об Андрии Беланиче? — с недоумением спросил Вучич.— С мукой это выдумали, да и пожелай мы, не нашлось бы у нас времени забавляться. Муку наверняка четники подсыпали, только зачем — не знаю.

— Нельзя без этого,— перебила хозяйка, спешившая высказать свое. Она боялась упустить мысль и не умолкала ни на секунду.— Ты бы видел, какие они сейчас скромные, тихонькие, гляделки опустили. В лес не заходят, как раньше,— не по себе им. Да входи ты, чего ждешь! — И она втянула его в дом, не слушая отговорок.— А как придут в село, сразу петь и палить начинают, знак подают: если где партизан застрял — пускай прячется! Нужда вынудила их такими стать!..

Но тем не менее она выслала Мило, старшего своего сына, по-

караулить. Поставила софру, принесла ужин и, не оглядываясь на гостя, принялась укладывать припасы в его большую отощавшую сумку. Сунула кусок грудинки, уложила круг сыра, в особом уголке поместила кулек картофеля, а в карманы запихнула пачку табаку и спички.

— Собакой был этот Андрия Беланич,— сыпала она между тем словами, словно разговаривала сама с собой.— Как уж он разорялся: «Когда я вас выстригу, говорит, позабудете у меня о том, что итальянцы делали! Вы, говорит, кормите и прячете Мартина с его бандой, а мы его, говорит, вытянем из его ямы». А обувь, значит, у тебя негодная, ой, ой, ой,— вдруг запричитала она, скидывая с ног свои опанки.— На, обувай, не стесняйся! Вот ему теперь и яма, пусть сам повозится, пусть позабавится! А я все думала: эх, мне бы его конец увидеть, а потом будь что будет! У тебя и куртки нету? Возьми-ка одеяло, накинь, лучше хоть какое, чем вовсе ничего. Бери, бери, нам легко здесь у печки, а вам лихо в лесу студеном...

— Так, я бы пошел,— произнес Мартин Вучич, обув опанки и накинув одеяло.— Если придет кто из партизан, на что я уж больше не надеюсь,— видно, позабыли они совсем обо мне, списав со счетов,— скажи, что забрался я в ту сухую пещеру над Оровиной. Пусть только смотрят, потому что там две пещеры: первая, мокрая, никуда не годится, а она-то как раз и заметна, только меня там не найти, а вот та, другая, сухая, чуть влево, за кленом, там моя берлога.

Он вышел, и ночь ему показалась теплее, земля под опанками мягче, а сквозь шум реки в долине будто донесся звук тонкой звездной свирели. Обойдя гору, снова увидел костер, сейчас уменьшившийся, чуть светивший. Свернул к Неше за хлебом — он был сыт и почти доволен, но запах теплого ячменного хлеба в сумке заставил его все-таки отрезать краюшку, и, удивляясь самому себе, он снова начал есть. Напился холодной воды у ручья — давно уж так сладко не приходилось пить,— а потом отрезал и вторую краюху.

— Душа голодна,— произнес он, будто оправдываясь.— Да и рот тоже, пускай наедаются! — решил наконец, словно кормил кого-то другого.

Так он добрался до пещеры над лугом Оровиной.

То ли потому, что под новым одеялом ему было слишком удобно, то ли потому, что не привык спать с полным желудком, но только, не сомкнув глаз, дождался он рассвета. Лишь на мгновение уже на заре приблизился к нему сон настолько, что он и сейчас не знает, во сне ли или в памяти слышалось это ребячье «иди, иди, иди», как там, в доме. Он немного разозлился на неуемного крикуна: «Отсюда меня, пожалуй, не выгонишь, здесь я хозяин». Так вот и провел остаток ночи в раздумьях о разном, а больше всего о том, как «партизанский народ» пустил корни в землю и не позволяет себя уничтожать, как борьба эта не может оказаться напрасной, хоть с нею связался и он, кому давно уже ничто не удается...

Едва рассвело, он вышел из пещеры. Снегу, как будто его ночь глодала, стало меньше, а между грязными, почерневшими и посеревшими остатками его зияли широкие и приятные для глаза проплешины. Луг, скошенный крутизной, был почти совсем чист и словно бы заново зазеленел. Лоскут тумана, добравшийся снизу, от воды, накрыл землю и растаял над ней. Четыре белобрюхие серны с бархатными головами, словно вышедшие из тумана, пошли кверху, к нему. Милые, лупоглазые животные в зимней длинной и темной шерсти с остатками розоватых лоскутьев лета пришли словно для того, чтобы скрасить ему этот ясный день под покосившимся солнцем, светившим голубоватым светом.

— Ангелы,— произнес он, и рука сама собой потянулась к ним. На мгновение он был бы счастлив потрепать их по стройным плечам, заглянуть в прекрасные под длинными бровями глаза печальных поклонниц свободы, ощутить под ладонью влажные морды, сохранившие запахи травяных соков. Странная дрожь прокатилась по спине животных, они упорхнули, как ласточки, и луг снова стал пустынным.

Мартин Вучич встревожился: то, что их спугнуло, и ему добра не сулит. Щелкнул затвором и выпрямился, чтоб оглядеться: тихо, лишь по руслу ручья идет женщина, Йока, с косарем и веревкой в руках, словно бы за дровами.

— Есть новости,— сказал он себе и двинулся навстречу. Издалека она принялась подавать ему знаки, а когда они сблизились, задыхаясь, едва произнесла:

— Наверх... наверх лезь... вон Раде Милутинов с патрулем у Станиной хаты. Беги, чего ждешь!

— А вот и не побегу, хотя бы и два патруля было!

— Он послал Велько в город, наверняка за войском.

— А вот и пускай, некуда мне отсюда идти: вверху — снег, а внизу — они.

— Куда ж ты, убогий! — И глаза ее наполнились влагой: вчера вечером она и не заметила, как он сдал, можно сказать, истаял, только голос да скелет от него остались, да еще глаза его, окруженные темной землистой кожей, словно у смертельно больного.

— Подерусь с ними.— Он отвернулся, избегая ее взгляда.— Им тоже несладко придется. Спасибо, что сказала.— И пошел выбирать место.

Камни с кустами у входа в пещеру не годились — здесь любой мог бы укрыться,— ничего он им отсюда не сделает и быстро уступит. По пашне прошел до Брегова и с беззаботностью человека, который еще раз решился погибнуть, зашагал по середине луга. Густой куст с желтыми листьями на самой прогалине вдруг приглянулся ему: хорошее место, потому что ничуть не похоже на укрытие, потому что никто не подумает, будто здесь может прятаться преследуемый человек. А кроме того, и подходы к нему открыты со всех сторон, да и нет никакой возможности для отступления. Он забрался в куст, из камня, собранного здесь при очистке луга, сложил бруствер и принялся ждать.

Сон, не приходивший всю ночь, сомкнул веки. Чтоб обмануть его, он вытащил из сумки еду, но есть не хотелось. Тогда стал думать: вот когда рядом нужен товарищ, опасность даже серн заставила соединиться. Только ему надобен товарищ особого сорта: если и не его возраста, то, по крайней мере, человек в годах, который легко не отступит и не оставит его, как оставили те, на Оленьей Гряде. Нужен ему кто-то вроде... вроде — и он стал подбирать...

— Вроде Мията Лакичевича! — громко сказал он, хлопнув ладонью по прикладу.

День уходил, и покосившееся солнце бродило по небу, обсаженному, словно кустами, мелкими облаками. С Тодоровой стра́ны и от Брегова, справа и слева от его засады, донеслись овечьи колокольца и возгласы чабанов. Тени облаков скользили над неровными кучами уже подтаявшего снега, возле которых паслись скорее желтоватые, чем белые, овцы. Сошлись чабаницы и запели:

С Ключ-горы я глядела,
Как войвода Павле обедал,
Я глядела...

— Вот и мне б его поглядеть не худо,— произнес Вучич, сердясь на испорченное настроение.— Не пришлось бы ему больше обедать.— И вновь погрузился в мечты о том, что могли бы сделать они вдвоем с Миятом Лакичевичем, если б им как-нибудь довелось встретиться. Он представил себе десяток заманчивых картин их совместной удачной борьбы, а потом в его вялые мысли медленно проник луч надежды: ведь это могло бы осуществиться... Вот день проходит, нападения, видимо, не будет; за ночь можно было б добраться до Тары, может, и перейти ее, если не поставят караул на мосту; а там уж он как-нибудь свяжется с Морачей. Борясь со сном, мысленно до самых сумерек прослеживал он свой путь.

Вечером пошел через Дрпе, далеко обходя Колашин. На постах его учуяли собаки и подняли шум. Стрельба и погоня загнали его в обширный лес Таировину, из которого он едва выбрался. Он устал, то и дело присаживался передохнуть и вставал, чтоб не одолел сон. А на итальянском мосту, возле Езераца, попался: на том берегу стоял часовой в черном плаще и глядел на него; вернуться — убьет, идти прямо — не пройдешь. Он взялся за винтовку, готовый стрелять при первой же попытке остановить его. Медленным шагом, словно в этом не было ничего особенного, дошел до середины. И заспешил: больше не мог выдержать. Люди, ну и часовой! Словно заснул стоя. Ничего до сих пор не замечает! Возбужденно и поспешно Вучич замахнулся прикладом и — стволом ткнул обгорелый пень. Только тут припомнил, что «черный плащ» стоял здесь с прошлого года, когда партизаны, как раз под его командой, пытались поджечь мост и когда их сгубили часовые...

Он прислонился к пню и перевел дух, потом поспешил к снежным склонам над селом. Заря заставляла его торопиться, да и усталость со своей стороны подгоняла. Постучал в двери Радовича.

— Знаешь ли что о ребятах? — спросил перепуганную старуху, смотревшую на него как на привидение.

— Мартин, сирый, на кого ж ты похож? — Она словно не верила своим глазам.

Он разозлился:

— Это не беда. Ты лучше помоги мне с ними связаться. Осточертело одному! Не могу больше!

— Я отведу тебя,— сказала женщина и пошла впереди.

Она шла быстро, а он не мог ее догнать, ковылял следом и все время отставал. Дорога попалась какая-то крутая и долгая, через какие-то ямы, наполненные снежными сугробами, почерневшими от опавших листьев возле поваленных буков, от поломанных веток и измятого папоротника. Потом заросли вокруг них быстро сгустились, и женщина нагнулась к земле, словно над чем-то колдуя. От куста чуть в стороне отвалилась лесина, и из земли появилось потемневшее, осунувшееся бородатое лицо Четко Радовича.

— Значит, ты жив,— сказал он, протягивая руку.— Нагибайся, здесь низко. А мы думали, ты готов.— И потянул его в узкую подземную тьму землянки.

— Мият, что ли? — прослышался из темноты другой голос.— Мият, что ль, пришел? — И Вучич почувствовал на своих щеках чью-то густую бороду и горячие поцелуи.— Как ты сдал!

— Ты с ума сошел, Драгое, честное слово,— сердито прошипел Четко.— Откуда Мияту быть, когда он погиб! Какой Мият! Выбрось ты это из головы!

Драгое снял руки с плеч Вучича, а старик, словно ноги вдруг отказались ему служить, опустился на землю.

— А я пошел к Мияту,— сказал он.— Как же я теперь снова один буду?..

— Как будешь, так будешь,— ответил Четко тем же сварливым голосом.— Как мы. Не будешь один, будешь с нами до самого Судного дня или пока наши не придут из Боснии. Хочешь крахмалу? Есть он у нас, и еще добудем, нечего жалеть. Держи!..

Вучич молча отодвинул горшок с кашицей. Наступила тишина, в которой слышался тихий и непрерывный шепот земли, или леса, или кто знает чего еще.

— Что там шуршит?

— Снег тает. Дорого он нам обошелся, но все равно тает. Через день-два ничего не останется от него.

Переводы АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО

СИМОН ДРАКУЛ

Друзья

Он всегда шел впереди. И, пробираясь узкой тропой, шел первым. Первым покинул штаб, где висела большая, старая, местами вытертая карта. Первым попрощался с комиссаром. Укладывая ранец, услышал, как прощался Боге:

— Мы пойдем, товарищ комиссар?

— Идите, Боге,— донесся голос комиссара,— и смотрите в оба.

— Ясно. Задание — это главное. А если...

— Все будет в порядке.

— Постараемся.

— Вы встретитесь с бригадой. Отыщите комиссара. Знаю его — он герой. Передайте ему то, что необходимо. Будьте осторожны.

— Нас не заметят. А обнаружат... известно как поступить...

Известно, мелькнуло в его сознании. Гранату под себя и... Но ему никак не хотелось думать об этом.

— Немало там засело,— сказал комиссар.— После их наступления потеряна связь со многими пунктами.

Он уже успел упаковать ранец. Знал, что на протяжении всего разговора Боге и комиссар крепко держат друг друга за руки. Знал, что в глазах обоих — печаль прощания. Они были друзьями. И его друзьями. Их дружба напоминала некий испытанный огнем трезубец. Он не любил долгих прощаний. Им, как видно, это нравилось.

— Говорят, они все сжигали. Перед вами дальний путь. И пожары. Короче, будьте начеку.

Он уже выходил через низкую дверцу. Часовой стоял задумавшись. Стволы деревьев были кофейного цвета, кроны тронуты мягкой желтизной. Обернувшись, увидел улыбку комиссара:

— До свидания, ребята.

— До свидания, товарищ комиссар.

Приметил, что Боге бросил взгляд назад. Он же только прошептал: «До свидания».

Двинулись в путь. Тропинка сузилась. По привычке пошел впереди, слыша за собой уверенную поступь Боге. Порой шаги их сливались. «Боге — мой друг»,— подумал он.

— Хорошо, что мы вместе, вдвоем, что со мной ты, а не кто-нибудь другой, а с тобой я,— сказал Боге.

Он думал о том же самом. Удивительно.

— Хорошо, Боге.

И замолчали. Скоро ладность шага нарушилась и они пошли вразнобой.

Он не выдержал молчания:

— Тебе знакомы здешние места?

С языка слетели именно эти слова. А думал о другом: люди не могут быть столь близки друг другу. Не могут быть едины, каждый склонен видеть в себе нечто особое.

— И да, и нет,— коснулось его слуха.

Снова зашагали в ногу. Но он твердо знал, что за ним идет друг.

— И нет. Да. И нет...— сказал он.

Они вышли к узкоколейной железной дороге. Склоны, поросшие буком, остались за ними. Старались держаться параллельно: он с одной стороны заржавленных рельсов, Боге — с другой. На одном из участков рельсы разворочены взрывом. Покорежены и во многих других местах. Кое-где почти совсем снесены. Он неотрывно глядел на два куска вывороченного полотна, на вздыбленные и скрюченные взрывом металлические прутья. «Сколько железных дорог изувечено войной! — думал он.— Или хотя бы таких вот узкоколеек, подобных этой». Боге молчал. Упорно смотрел перед собой, не сбавляя шагу. Он поделился с ним своей тревогой...

— Могло быть и не так...

— Что? — рассеянно спросил Боге.

— Эта дорога.

— Да, ну и ну...

Он знал, что Боге занят своими мыслями. Думая о чем-нибудь другом, Боге обычно повторял: «Ну и ну...» Нет, одинаковых людей не бывает. Сейчас они идут вдоль железной дороги. Он не сводит с нее глаз. Боге и не смотрит. Но мало ли о чем может думать Боге. Вокруг на полях томится неубранная кукуруза. На другой стороне реки чернеют стены здания жандармерии, спаленной ими. И река осенью игрива. Волны вьются точно ленты. Октябрьский день выдался ясный. Земля пахнет спелой осенью. Через дорогу, в центре холмистого поля, бредет пара волов. Часть нивы еще желтеет от жнивья, другая — совсем темная. Не об этом ли думал Боге?

— Посмотри, пашут,— обронил он.

— Что...

— Пашут, говорю.

— Ну и ну...

Мысли Боге были далеки от пашни. Свернули с полотна железной дороги. Предстояло осилить небольшой гребень. По обыкновению, он следовал впереди. Добравшись до гребня, расположились под дикой яблоней. Перекусили. Задымили сигаретами. Ночевать решили возле села, которое оба хорошо знали. Они поспешили в доро-

гу — дни заметно укоротились. Как повелось, он шел впереди. Двигались с оглядкой. Стали еще более осмотрительными, ступив на открытый большак. К счастью, на нем никого не было видно. Пошли рядом. Затем свернули на тропинку, огибавшую ров. Он снова почувствовал, как его шаги время от времени сливаются с шагами товарища. Думал: за разговором путь был бы легче. Им овладело недовольство. И самим собой тоже. Слишком много думал о различии между людьми. Было и другое, что мешало им. Но это скорее относилось к Боге.

— Подходим.

— Ну и ну...— отозвался Боге.

Вот он, Боге — как на ладони.

Спустя минуту услышал:

— Дошли, наконец.

Сейчас и он вспомнил об усталости. И о запущенном поле, которое нет-нет да и потянет присесть. Ведь в село им дорога заказана. А, по словам Боге, они миновали уже большую часть пути.

— Заночуем в какой-нибудь лачуге,— предложил Боге.

На душе от теплых, дружеских слов стало легче. Отчетливо виднелись пожелтевшие кроны фруктовых деревьев, за которыми проглядывало село. Отдельные соломенные крыши. И выхваченные просветами бурые пятна черепичных крыш. Мелькнула открытая терраса с красными связками перца и желтыми рядами тыкв. С полей, усеянных листьями и укрытых легкой тенью, веяло тишиной и теплом. Золотистые отблески осеннего солнечного света смягчались нежными тенистыми островками. На них отдыхал глаз, а тело ощущало живительную прохладу. Поговорили и об этом. Временами он наблюдал, как из-под ног Боге вздымаются облачка пыли. Клубились они и под его поношенными ботинками.

— Неподалеку есть лачуга,— сказал Боге.

— Пустая?

— Нет. В ней живет старичок. Если он тут. Не застанем, войдем сами.

Пока добрались до хижины, на поля легла вечерняя свежесть. Солнце уже зашло. Их встретил маленький старичок в серой ветхой шапке. Долго щурился, пока не признал Боге. Распознал, поспешил укрыть их в своей хижине, запер двери на все засовы. Доверился им во всем — сказал и что внук его ушел в партизанскую бригаду, и что откуда-то двигалось большое войско. По утрам видят они, как далеко на западной стороне поднимаются тучи пыли. А по ночам стоит зарево пожаров. Потому-то в поле нет никого. Не нравится это людям. Кто знает, может, и их село завихрится через день-другой непроглядной пылью. Пока далеко. Старик опять сощурился. Потом ему вдруг пришло в голову отправиться куда-то. Захватив кирку, он скрылся в ежевике. А они угощались нехитрой снедью, которую оставил им хозяин. Взяли немного из собственных запасов. Кое-что раздобыли в саду.

Перед тем как лечь, закурили, не сказав ни слова. Вначале казалось, что его вот-вот сломит усталость. Но сон не шел. Собрался уже встать и взглянуть на зарево пожаров. Но его неотступно преследовала тяжкая дума о другой подобной хижине. Даже не заметил, как подкралось воспоминание. Будто и не расставался с ним.

— Тебе приходилось бывать в таких хижинах? — оборвал его мысли Боге.

— Да, однажды,— протянул он, вернее, слова выскользнули как-то сами собой.

— Приятно в хижине.

— Хорошо. Но тогда было куда лучше. Меня привели туда на ночлег. Забрел на короткое время. И был не один, знаешь...

Он приподнялся. Закурил вторую сигарету. Боге ни о чем не спрашивал. Ожидал, когда сам откроет душу... Тихо звучит его голос, и в памяти явственно встает ее облик. Черный ученический фартук и белый воротничок. Длинные, тугие косы, большие темные глаза. Губы ее, их трепет. Все как было. И сейчас его что-то волновало, вызывая дрожь в голосе. Будто снова увидел себя в черной ученической фуражке с большим козырьком. И о том дне рассказал: как удивили их тогда неестественно розовые тона, разлившиеся по небу. И о жарких руках ее. Но умолчал о том, что предстояло пережить,— как был заключен в тюрьму, как, выйдя на свободу, встретил ту девушку под руку с другим человеком. Лицо ее залилось густой краской. Не сказал и о шраме, оставшемся на руке,— в корчме с силой ударил стаканом по мраморной доске стола, оставив темные сгустки крови, о которых помнил. Не обмолвился ни словом о наступившей расплате. Ибо после явочной встречи, на которую он не пошел, товарищи обнаружили его именно тут. Порывался сказать об этом Боге. Так и не решился.

Боге догадывался, что не все еще досказано, но расспросами не досаждал. Они замолчали. От тишины нудно звенело в ушах. Казалось, и она ждала рассказа обо всем происшедшем потом.

Докуривая сигарету, Боге чувствовал, что его одолевает сон.

...Проснувшись, тут же встал на ноги. В полумраке поднялся и Боге:

— Светает.

Залюбовался первыми бликами зари, просочившимися через щели плетеных стен и двери.

Быстро собрались в дорогу. Закрыли хижину, набросили запоры на садовую калитку. К селу решили пробиваться не по большаку, а узкой тропинкой, протоптанной справа от него, затем повернули в поле. Проходя между пожелтевшими кронами фруктовых деревьев, ощутили, как на них пахнуло легкой осенней прелью. Зари будто не было. Свет просачивался уже из облаков, замерших над горами. В тумане, повисшем над котловиной, он казался мутным и липким. Тропинка стала шире, но он все еще шел впереди. Боге держался за ним, печатая шаг в такт со своим другом.

— Ты быстро уснул,— обронил Боге.

— Да, устал.

— Я ждал, не скажешь ли еще чего.

Вынырнув из туманной мглы, разом обернулись на село. Оно лежало за белесыми туманными клочьями, похожими на языки. На свинцовом фоне неба видно было, как тянутся ввысь несколько синеватых столбиков дыма.

Вновь тронулись в путь.

— Она ждет тебя? — спросил Боге.

— Нет.

И умолк. Мысленно представил себе ярко-пунцовое лицо женщины, которую встретил на улице с незнакомым человеком под руку.

— А может, и ждет... Всякое бывает...

Рассердился на себя: кому, как не мне, лучше знать об этом. И стоит ли спешить со своим «нет».

Шли рядом. Боге молчал. А он терзался грустными воспоминаниями. И все-таки посоветуй ему кто-то освободиться от них, расстаться с ними, он бы не согласился. Да, не согласился.

— А меня ждет,— сказал Боге.

Так вот о чем Боге думал.

Они спустились в другую впадину, окутанную туманом.

— Расскажи мне о ней. Любая женщина способна ждать. Если не ждет, то только по нашей вине. Или так складываются обстоятельства. А те, которые ждут, заслуживают, чтобы о них говорили.

Боге глядел на него ясными темно-карими глазами. Он знал, что ему не больше двадцати двух лет. А выглядел на несколько лет старше. Но сейчас Боге был полон жизни и юношеского задора.

...Впервые встретил ее на городском рынке. Как узнал потом, приехала из соседнего села. Не спеша прошелся по тротуару, где она устроилась вместе с другими женщинами. Перед ними были расставлены миски со стручками перца. И корзины с яйцами. Узелки с семенами. В голубых глазах девушки затаилась улыбка. Собираясь домой, снова заметил ее — она примеряла платок. Протиснулся поближе к прилавку. Увидел, как засияли ее глаза, когда облюбовала, наконец, покупку. И ему платок показался самым красивым. Сплошь расписан крупными красными узорами и усеян мелкими голубыми цветами. Вдруг взгляд ее стал грустным — поняла, что недостает денег. Повесила платок и отошла в сторону.

— Девушка! — крикнул ей вслед.

Она вернулась. Залилась румянцем, но осталась на месте. Набрался храбрости и предложил принять платок в подарок. Она с озорством взглянула на него, рассмеялась и убежала. Долго смотрел ей вслед. Платок все-таки купил. А вечером, не выдержав расспросов, для кого обнова, смутился и признался во всем матери. В тот воскресный праздник все над ним подшучивали.

В базарный день он поехал в город с матерью. Девушка по-прежнему сидела на тротуаре. Увидев его, застыдилась, усадила рядом с собой его мать, собиравшуюся продать перец и яйца. Возвращаясь вечером домой, мать сказала:

— Хорошую девушку выбрал, сынок.

Выберет ли она его, томился он в неведении. В душу глубоко запали ее большие голубые глаза. Однако старая смолчала, ничем не утешив его.

Это случилось в пору весенней пахоты. Свадьбы играть еще слишком рано. Но ему не терпелось узнать, будет ли его свадьба.

Хлеба дружно потянулись вверх. Той весной они буйно росли. Или ему так казалось, потому что он чувствовал — его самого переполняет жизнь. По вечерам никак не мог усидеть на месте. А когда подошла жатва, неотступно думал об осени, поре обилия и богатых свадеб, может быть, и его свадьбы.

Боге жил этими мыслями, шагая в тот вечер по оранжевому полю зрелой пшеницы. Остановившись у ветвистого грецкого ореха, засмотрелся на чужие полосы. Чей это надел, на котором, подобно слиткам золота, поблескивали снопы ячменя? Увидел сумку, висевшую на стволе дерева, а затем девичий платок, мелькнувший в высокой ржи. Он быстро приближался к нему, пока, наконец, не узнал ее, ту, для которой купил платок. Узнал Менку. Оба будто застыли и смотрели друг на друга. Он вспыхнул, она тоже зарделась. Подошел к ней, что-то шепнул. Она подалась назад, что-то невнятно пролепетала. Он вновь зашептал. Она тихо ответила, осталась на месте. Ее взгляд будто сблизил их, звал его. Рука девушки задрожала в его руке. Он не представлял себе, что все это могло произойти иначе.

Стоило лишь позвать счастье — и обретешь его. Как обрел его теперь...

Вечер был теплый, по небу разлились оранжевые блики, сменившиеся затем зеленоватыми переливами, близкими к цвету листьев на кроне ореха, под которым нежданно свела их судьба. Он заглядывал в глаза Менки, и вечер становился для него голубым и радужным, неизъяснимо светлым, как белизна ее шеи, видневшейся из-под платка. Ему почудилось, что и сама она слилась с темно-зеленой завесой подобно кроне ореха, укрытой ночным пологом. От нее веяло теплом и пьянящим запахом, о котором он мечтал по вечерам наедине с собой. Знал — повеяло его счастьем... Беседуя с ней, испытывал страстное желание напоить тем ароматом все вечера. Тот вечер светился ясными лунными отблесками, изломанными в ореховых листьях. Затем все заполнилось желтой золотистой дымкой, трепетавшей над полем. В ней мгновенно исчез ее платок. Будто выпорхнула Менка. Остался у ореха, храня пожатие ее руки, а в душе — мягкий шепот. Сказала, что придет снова, когда будут жать рожь.

Он пережил еще один такой вечер в дни уборки ржи.

И еще один, когда созрела кукуруза.

Наступило время помолвки. Подошло и время свадьбы. Менка стала его невестой. Но его ждала другая суженая — винтовка. Все уходили. И его сверстники. Отправлялись в бригады. С оружием в руках. Бригады расположились в лесах. Он знал где. И ушел к ним. Еще осенью. Менка не отговаривала. Сказала однажды вечером, что брат ее уже покинул отчий дом. Будто спрашивала, почему он еще здесь. Она не плакала. Не бередила душу. Вскоре и он расстался с домом. Прощаясь, она залилась слезами. Но не удерживала его, не молила остаться. Сказала лишь, что будет ждать.

...Снова мерили шаги. Он впереди, Боге за ним. Перед ними, вдоль поля, край которого терялся где-то в мутном тумане, тянулась тропинка. Неожиданно он спросил:

— А сколько прошло?..

— Год.

Голоса смолкли. Боге испытывал то же чувство, что и он минувшим вечером. Решили не тревожить тишины, наполненной особым смыслом. Ему хотелось подумать обо всем услышанном. И о себе. О той, что носила когда-то черный ученический фартук и белый воротничок. И об этой тропинке — удовольствие идти по ней с таким, как Боге. И о поднявшихся далеко над полем водоворотах, будто стогах тумана. Скорее всего это столбы дыма над сожженными селами. О них говорил старик. В ту сторону Боге часто как-то странно смотрел.

Минуло утро, и в полдень дымные стога стали еще более отчетливыми. Он подумал, почему в пути Боге вдруг предупредил его:

— Сверни влево, на ту тропу...

Она вела к одному из дымных столбов.

Им удобнее было пройти между пепелищами. Но там, видимо, дорога обрывалась.

...Уходивший полдень они встретили на пожарище. То и дело останавливались. Он пристально вглядывался. Убивали и опустошали душу бесформенные груды порыжевших плетеных лачуг, служивших до недавнего времени жилищем. Еще дымились черные кучи пепла — остатки по-осеннему полных сараев. Только редкие дома сохранили стены и не рухнули. Они были такие черные, будто появились из страшного сна, и дымились, зияя пустыми глазницами окон. Пахло горелой соломой, навозом, пепелищем. Дым проникал в рот. Веяло

разрушением. Знойной, раскаленной пустотой. И кровоточащей печалью. Изгороди, окружавшие дворы, вздыбились. Почернели спекшиеся листья деревьев, не захваченных огнем. Кое-где и сами стволы походили на нелепые столбы, поднятые ввысь, и снова кирпичи, красные, полопавшиеся, разбросанные, черные вороха соломенного пепла. И окна, дышащие горьким, едким дымом.

Он и теперь идет впереди. Оба молчат. Только все смотрят. На миг он увидел лицо Боге. Оно застыло, окаменело. И выглядело не печальным, а каким-то безразличным, может быть убитым ужасами окружающего. Догадывался, что и у него самого такое же лицо. Глядя на пепелище одного из домов, подумал: раньше здесь текла своя жизнь. Было много людей. Люди вдоволь имели земли — сколько нужно. Это видно по огромной горе пепла на месте, где когда-то были сарай и гумно. И по отброшенным в сторону на широком дворе бревнам от клетей для сушки кукурузы. Торчали черные, наполовину сохранившиеся стены.

— Иди... чего остановился,— позвал Боге. Голос его звучал сухо. Он стоял неподвижно, погруженный в тяжелое раздумье.

— Вот...— с трудом выговорил он. Что-то горькое перехватило горло.— Смотрю на этот дом и... Хорошая жизнь была в нем. И сейчас видно... как в улье...

Боге шел бывшей улицей и не отвечал ему. Даже не обернулся. Ступал какой-то необычной походкой, будто вприпрыжку. Они быстро миновали пепелище.

— Прошли... Подожгли и... скрылись,— сказал он, закашлявшись.

...Спустились сумерки. Мутные, мягкие. Из-за облаков мелькали темно-красные отсветы заката. Сухим и теплым лежало невспаханное поле, манило отдохнуть. Откуда-то доносился запах созревших лесных орехов. Он испытывал особое чувство, будто его окутало дурманом...

Он думал о тех, кого ему предстоит встретить здесь. О том, какой трудной будет эта осень для всех, чьи села были сожжены. И о том, почему Боге не проронил ни слова, уйдя из первого спаленного села. Временами он ловил на его лице, совсем лишенном краски, мягкую улыбку. Спрашивал себя, почему никогда не замечал румянца на этом лице. И снова убеждался, как дорог ему Боге.

— Мы найдем их в той стороне? — спросил он, имея в виду тех, кто ожидал их.

— Что ты сказал?..— Боге не слышал его.

— Они выйдут из той дубравы?

— Оттуда...— Боге лишь на миг вырвался из забытья. Только на миг.

Темный закат угасал в серой мгле облаков. В их просветах мерцали зеленоватые искры осенних звезд. Нечаянно встретился с глазами Боге. Как они постарели. Что-то невыразимое глубоко затаилось в них.

— Послушай,— сказал вдруг Боге. Сказал, будто с трудом выдавил комок, сжимавший горло.— Ты знаешь все. Знай и это. Тяжело мне.

Боге разжал ладонь, на которой лежали два желудя с чашечками, похожими на наперстки. Снял у одного из плодов чашечку. Взглянув на него, прошептал:

— То село... сожженное... было мое село. А тот дом... который ты сравнил с ульем... был мой дом...

Он почувствовал, как что-то болезненное и смутное со страшной силой отдалось в затылке. Незаметно для себя положил руку на плечо Боге. Тот выпрямился. Лицо его снова стало безучастным. Они так ничего и не сказали друг другу. Лишь чаще стали вглядываться в сумрак.

Сверху из рощи донесся сигнал, напоминавший свист дрозда. Это была явка. Между стволами показались двое из тех, кто ждал их. Они прибавили шаг.

Перевод И. ХАРИТОНОВА

АНТОНИЕ ИСАКОВИЧ

Миг озаренья

Первый разговор с Чеперко

Пришел. Ну да, воскресенье сегодня.

Говоришь, спал плохо, просыпался? В наши годы, Чеперко, сон уже не тот.

Садись на скамейку, стул рассохся. Клей никудышный. Производим никуда не годный клей. «До войны», оставь свое «до войны», в зубах навязло.

Не сердись, я же понимаю: в трамвае давка, на остановке толчея, пятисотенную свистнули. Вон она на полке, под колокольцем, пополам сложенная, ждет тебя.

Ладно, Чеперко, не бурчи давай. Что? Не деньги, говоришь, шапку свистнули? Шапки у меня нет, дам тебе соломенную шляпу. Лето, соломенная шляпа при твоем давлении в самый раз будет.

Чего стоишь, садись. Скамейка рядном обита, сидеть мягко. Я ракию охладил, тебя поджидаю. Судачок есть, утром поймал, поджарил к твоему приходу. Румяные уклейки, знаешь, как захрустят на твоих искусственных!

Помню, как же, ты в концлагере зубы потерял, не ворчи, тебе же собес новые дал. Что бы ты получил в старой Югославии? Точно, и «старая» надоела.

Согласен, концлагерь тоже борьба. Все сражалось с оккупацией, и зубы твои тоже.

«Оккупация» слово избитое. Но если не знаешь, что это за штука, таким бараном становишься! Возят тебя, как раскормленную невесту, с ярмарки на ярмарку...

А теперь угощайся, Чеперко. Ракию река Сава охладила...

Так-то вот, друг сердечный, слоняются здесь по берегу чулочники целыми днями, ловят карпов, кормят их через чулок. Другие только плюют и грязнят реку. А я, понимаешь, четвертую ночь пытаюсь поймать сома — и никак. И сом не всегда сом. Сбыл бы его Мике Ластару, чтоб он скормил его своим клиентам в кафе. Был бы мне приварок к пенсии.

Что в городе нового? Раскапывают улицы, прокладывают трубы, кабель, латают асфальт. Царя какого-нибудь ждут? И кто только шьет все эти флаги? Народ, кто же еще!

Гляжу я на Саву, на Белград, на окна — желтые, красные. Окна от солнца красные. Из города несет смрадом, от вокзала тоже. И дома налезают друг на друга. Стены ощерились, кажется, вот-вот упадут, обрушатся. Но нет, стоят здания, хотя все равно чудится, что они бегут.

Вода течет, все та же. Но как вглядишься получше, что ни день, увидишь новое. Одно слово, река. А ты, Чеперко, белый. Белая кожа что болезнь. Видишь, у меня кожа темная. В полдень заройся в савскую грязь. Чего глаза пялишь? Целиком и заройся. У нас главная болезнь туберкулез да еще ревматизм.

Ишь, нет у него ревматизма! Затаился он у тебя в колене или в какой другой кости и только и ждет, чтоб сковырнуть. Схватит и согнет в бараний рог, потому, друг Чеперко, лезь в грязь. Чем у меня не курорт?

Сегодня ловлю я уклейку, а заря, как всегда, с равнины через ивняк и мне на колени — плюх. Свалилась белая, колючая.

Заря! Однажды вот так же разбудила меня белая заря. В голове у меня белый забор, больница. И трава белая. Рассвет — покойник. Был я командиром батальона, немцы в пятое наступление двинулись, молотили нас, друг Чеперко, дух перевести не успевали. Мы-то были птенцы неоперившиеся. Кой-когда и им от нас доставалось, но нам чаще. Разница была в одном: мы сражались за жизнь — это потом превратилось в тактику, стратегию,— а они выполняли приказ. В этой разнице было наше преимущество. А швабы, когда дело касается приказа, как швейцарские часы. Вот послушай, какая раз потасовка вышла.

Вытащил я сегодня первую уклейку, а заря, словно из воска, тяжелая. Как и двадцать лет назад, только тогда я в траве лежал. Протираю глаза, смотрю — в трехстах шагах вороной. Еще раз протер глаза: может, снится; нет, в самом деле: вороной конь, упитанный, лоснящийся, пасется, трава брюхо щекочет. Думаю: обед для моего батальона. И тут же другая мысль: немцы на опушке леса. Кто и как доберется до лошади? Приказа отдавать не стану, на это у меня ума хватит. Да и нужды нет, я знаю своих людей: какая-нибудь буйная головушка обязательно в добровольцы вызовется. Эх, Чеперко, на буйных головушках мир держится.

Скажи, а сейчас есть такие? Кругом одни деляги, гладкие, ничем их не прошибешь. Пополам разрежешь, он снова срастается. Живут, в ус не дуют. А буйные головушки есть, непременно есть, только вот разучился я их находить. Уклейку научился ловить. Одна мелочь резанет, другая, и ты вне игры. А как свыкнешься, тебя и вовсе вон, дело известное. Старый ты боров, Чеперко!

Ну, значит, отправились двое парней, без приказа, по своей воле. А швабы палят прямой наводкой. Головы — трах, точно на таракана наступили. И остались парни в траве. А лошадь ничего, пасется. Трещит лошадиная голова от людской пальбы. Я приказал: больше никому за лошадью не ходить.

Когда я ловлю уклейку, я часто вижу тех парней, что в траве остались. Они спасли меня от преступления, мечту спасли. Приятель, никогда не знаешь, как набираешься ума-разума.

Весь день потом мы смотрели на лошадь. Мы стояли на фланге, обороняли, в сущности, овраг. Было это сразу после прорыва под Балиновацем. Кто только не прошел через этот овраг: целые части, разбитые, госпитали, Верховный штаб.

Подчинились мои: никто больше не пошел за лошадью, лежим в траве, щавель жуем. Под вечер нас сменили, вызвал меня командир бригады и говорит: вы весь день лежали в траве, ночью надо взять село Сувац. Стратегия, военно-политическое значение, история и прочие громкие слова, а у меня в голове одна мысль: придется идти. Сувац — проход, единственный. В конце бригадный сказал: «Назад ходу нет, запомни — только вперед!» Гляжу я на свой батальон: в темноте все люди белые, словно их морозом побило.

Настала ночь, часов ни у кого не было, все порастеряли да попортили, когда началось пятое наступление швабов. Подошли к Сувацу, по вспышкам выстрелов привычно нащупали неприятеля. Ползли, вынюхивали, прыгали через канавы, помойки, поленницы — загнали швабов в мечеть и школу.

И тут началось: вижу, у неприятеля бомбомет, не только рота стрелков. Пошла на приступ первая группа наших гранатометчиков, половина не вернулась. Двоим удалось подобраться к самой школе и бросить гранаты внутрь.

Что делать, думаю, из гранаты орудия не сделаешь. Была бы хоть канистра бензина. Криком их не возьмешь, это тебе не итальянцы и не домобраны [1]. Назад ходу нет, об этом знают бойцы, командование и я. И мы, несчастные горемыки, превратившись в тени, пытаемся проникнуть в школу и мечеть. Школа все равно что глыба льда, разве отыщешь в ней лазейку? По черной мгле и прохладе догадываюсь, что перевалило за полночь. На чем свет стоит крою про себя зарю: погоди, не приходи, проклятая!

Получил первое донесение: командир второй роты убит, в первой — комиссар. Главная беда — пулемет на минарете. Тьма кромешная, а минарет белеет, торчит белым колом. Насадят нас на него; видно, судьба у сербов такая — на колу подыхать. Сколько раз я мерил взглядом этот минарет — красуется посреди села, стройный, заостренный, весь устремленный в небо.

Сижу в укрытии: хоть бы осенило меня, пришло на ум какое-то решение. Найди выход, голова, ведь все в конце концов головой решается!

Знаю, немец закован в кандалы приказа. Кто освободит его от них? Вдруг озарило: вот бы шальная пуля в командира попала... Тогда бы, может, отступили: важно убрать того, кому отдан приказ. Но где он, этот мой соперник, за какой стеной, в каком укрытии? Шальная пуля, тешу себя надеждой, иной раз насмерть бьет.

Понимаешь, Чеперко, в той нашей войне существовало правило: продвигаешься вперед сколько можешь, а не можешь, поворачиваешь назад. Приказ не приказ, не важно. Но сейчас — ни шагу назад!

Решил я снять блокаду, поставить батальон подковой, дать швабам уйти. Но они не ушли. Где теперь фитилек, в каком уголке мозга тлеет?

Атаки наши отбиты, всех командиров я потерял, взводные стали ротными командирами. И боеприпасы кончились, все расстреляли.

[1] Домобраны — в Хорватии и Словении в 1941—1945 гг. солдаты воинских формирований местных профашистских правительств.

Забросали соломой один угол, подожгли — на этой операции я потерял пятнадцать человек, а огонь погас сам собой. Не везет так не везет!

Все впустую, уж и на шальную пулю надежды нет.

Пошел я в стрелковую цепь. Все рвались вперед, кое-кто залег в двух шагах от школы, живые и мертвые рядом. Ничего, главное, фашизм — вот он, прямо перед тобой! Подползаю к одному, в темноте не разобрал к кому. Ощупываю: дышит; говорю: назад ни шагу! Знаю, отвечает. Только вперед, цежу я. Он мотает отрицательно головой, кивает на свои прямые, мертвые ноги. Вытащим тебя отсюда, обещаю я. Он смотрит на меня и говорит: не валяй дурака, командир. Я застыл: и правда дурак. Совсем рехнулся в этой темнотище. Где мой соперник? Перебили нас как крыс, вмиг пронеслось у меня в голове, гиблое наше дело.

Отполз я чуть назад, вернее, зигзагами двинулся вдоль всей подковы. То и дело натыкаюсь на холодные, уже вздувшиеся трупы, лежащие вперемежку с живыми бойцами. Однако в темноте цепь казалась нетронутой и боеспособной. Я огляделся, ночь редела, можно было различить сливу, яблоню. Но мысли, что близок рассвет, я не допускал, убеждал себя, что просто глаза привыкли к темноте.

Чеперко, хоть я и знал, что назад ходу нет, я приказал без шума отходить; стрелковую цепь перед школой и мечетью составят мертвые.

Остатки батальона собрались возле оврага, сосчитать людей я не решился. Во мне самом происходило что-то невероятное: я твердел и вытягивался вверх. Все выше и выше во мрак и темноту и там вдруг превратился в черный минарет. И этот черный минарет не сводил глаз с белого возле школы.

Кругом тишина, безжизненная земля. Голова у меня растет, набухает — гора на плечах. Куда теперь вести батальон? Что меня ждет: суд, расстрел? Это все ерунда. Ух, какая пустота, хоть бы за что-нибудь уцепиться!

Ребята отходили понуро, еле волоча ноги. Я по-прежнему стоял в тишине, вытянувшись, как мне казалось, еще выше, в самое небо, и оттуда смотрел на острие минарета. И в какой-то миг меня озарило: швабы, как и мы, отходят! Я отдал приказ: быстро назад! Мы вернулись к школе и мечети, они стояли изрешеченные и тоже мертвые...

Я курил возле минарета, утро спускалось на нас и открывало наши темные лица, даже глаза были желтые. Уже прибыл командир бригады, хлопал меня по плечу: какой бой мы выиграли...

А вот сейчас такое озаренье ко мне не приходит. И уклейка удирает. Конечно, не всегда. Миг озаренья — это все, правда, Чеперко?

Чеперко, да ты спишь, старик! Кому же я рассказываю?

Второй разговор с Чеперко

Припоздал ты, я уж подумал — азиатский грипп. Но ты крепкий, весь в узлах. Знаю, в прошлом году перекупался, даже грудь в чирьях. Старость, черт возьми, в узлах сила. Давай, Чеперко, переходи, доску я хорошо вкопал. Немного качается, держись за удочку. Держись смело, она у меня крепкая, любую рыбу таскаю.

Конечно, подняли тебя пять сотен. Там пятисотенная, на старом

месте, под колокольцем. А как же, звоню — к завтраку, обеду и ужину. Заправское судно. Дзинь — и одиночества как не бывало.

Что, беда какая? Тысячную свистнули? Чеперко, у меня пенсия старая. А того, о чем газеты пишут, еще подождать придется, по опыту знаю. Прибавка будет, но все сразу не делается. Мой тебе совет: ты разменивай тысячные на пятисотенные, риску меньше.

Идем в каюту, загорать рано, верба еще сережки не выбросила. Рыбы нет, но пообедаем знатно, я говяжий хвост приготовил. Хвостище на килограмм, бычий. В хвосте сила.

Кофе выпьешь? До обеда время есть. А еще лучше ракии, чтоб малость встряхнуться.

На войне вот я не любил пить. А сливы мы ели. После пятого фашистского наступления приходим мы в восточную Боснию, а там и слив нет. Поставили нас в одно село возле Дрины. Собственно, села нет, дочиста сгорело, вместе со всеми садами, все языком слизнула сатанинская дивизия. Лето, а дьяволы прошли весной. Пусто, вонючее пепелище и только.

Я разместил батальон на горе над селом, возле самой дубравы. Как спустишься в село, то и дело натыкаешься на каменный порог — значит, дом здесь стоял. Бурьян быстро растет и набирает силу. Под ногами мотыги валяются, грабли, заступы, обломки корыта, обручи с бочки, и даже, знаешь, я раз ножницы нашел! Словом, чистое пепелище, не село — кладбище. Как на загадочной картинке, торчит из бурьяна белая кость, баранье, а может, и человечье ребро, поди отгадай! В яблоневом саду деревья стоят голые, с черными ветками, ну настоящая зима, словно мороз посек деревья. А внизу буйно зеленеет репейник, он человеческих рук не требует. Смех да и только, словно ты не на той же земле. Пришел какой-то осел, нарисовал картину, наверху — зима, внизу — лето.

Как-то утром разбудил меня шум. Что такое, неужто барсука поймали? Все сбились в круг, чему-то дивятся, кричат. Ничего не понимаю, стряхнул я росу с полости палатки, вышел из леса. Раздвинул толпу, вот те на! — пятеро ребятишек, мал мала меньше. В спутанных волосах — трава, солома, ветки и чего только нет! Ободранные, почти голые, босые, вокруг ртов черно, ровно землю ели. Дрожмя дрожат с перепугу, жмутся друг к другу спинами, как зверята обороняются. Одни глаза да носы видно, а мордашки остренькие, с кулачок.

Господи, ведь совсем одичали ребятишки, коренья ели, букашек разных. Куда мы вернулись? Ни один из ребят не говорит, вот-вот заревут. Нескоро и с большим трудом выяснили мы, что старшего зовут Младен. Остальные четверо забыли свои имена. До точки дошли! А ведь люди!

Чеперко, чего только со мной на войне не было, сколько бед и смертей перевидал, но такого еще не встречал.

Прежде всего я дал им имена: Марко, Милош, Новак и Джёрдже. Потом мы накормили их холодной мамалыгой. Едят они, а я ору: жуй, жуй, не глотай сразу! И показываю, как жевать надо. Велел вымыть, остричь. Днем санитарки сшили им одежонку из плащ-палаток.

Значит, это все, что пробилось из сожженного села. Затаилось семечко под камнем, корытом, чудом продержалось. Кто знает, в какой яме сохранились эти крохи жизни!

Эх, Чеперко, знаешь, какой крик, какой грохот стоит, когда жгут и рушат село? Проклятья, предсмертные хрипы, запах крови. Дети все это видели, слышали. А потом все стихло, наступила ночь. Где они провели первую ночь? Под убитой матерью, мертвой коровой? Кто первым выбрался, как они оказались вместе? Все это проноси-

лось в моей голове, пока я одну за другой курил толстые самокрутки.

Днем ребятишки вышли из палатки в новой одежонке, а мне стыдно, что я взрослый. Рассматривают винтовки, прочее оружие. И при каждом резком движении вздрагивают и быстро поворачивают свои острые головенки. Понимают ли они разницу? Винтовка это винтовка.

Стыд меня ест, крою на все корки войну, будь она прокляга, и глажу ребятишек по головам.

Назавтра смотрим — нет ребят. Исчезли, сбежали от нас. Какую ошибку мы сделали? — пытаю себя. Конечно, далеко от села они не ушли. Я решил сам идти искать. Пошел безоружный.

Отыскал я их на дне почти высохшего ручья. Заросшие крутые берега, а внизу песок, галька, тоненькой струйкой течет вода. Вижу, вылезли из норы — натаскали туда сухой травы, веток, настоящие лисята! Играют, построили из песка село, проложили дороги, поставили домики, ограды. И все что-то лопочут, договариваются — ребячий муравейник!

Я вышел к ним, улыбаюсь во весь рот. Двое тут же скрылись в норе. Я взялся им помогать. Моста, говорю, у вас нет. Обтесал палку, навел мост. Теперь надо водяную мельницу. Вижу, чуть в стороне огороженный закуток с мелкой и крупной галькой. Что это? — спрашиваю. Старший ответил: овцы и коровы.

Ребятишки окружили меня, вылезли из норы и те двое. Смотрю, над селом устроили кладбище, не меньше самого села. На нем кресты — связали палочки лыком и прутиками.

Играю я с ними и все стараюсь рассмешить. Вот голыш на ладони, нет, за пазухой, а потом — раз! — и вытаскиваю его из носа младшего. Встаю на голову, прыгаю на одной ноге, вымазываюсь глиной, скоморошничаю. Все напрасно, ни один не улыбнулся. Только когда я стал жевать и выплевывать репейник, ребята засмеялись.

Ладно, повел я их на гору в дубняк, по дороге они меня звали дядей, а я проверил, запомнили они свои имена или нет. Запомнили.

Скоро ребятишки привыкли к нам, а мы к ним. Простояли мы здесь целую неделю, для той войны срок немалый.

Пришел приказ выступать. Ничего другого на войне и нельзя ожидать. Сначала всегда выступаешь, а там уж как придется — наступаешь или отступаешь. Но что с детьми делать? Идти с нами — малы еще, тащить их на себе — тяжелы. В наших ранцах одни боеприпасы помещаются. И здесь оставить некому.

Совет держал весь батальон. Решили переправить их на другой берег Дрины, в Сербию. Конечно, и там оккупация, но все-таки обстановка другая.

Спустились мы к реке и долго шли вдоль берега, пока не набрели на мельницу и лодку. Мельник, мусульманин, оказался человеком добрым и согласился переправить ребятишек. Расцеловали мы их, а подарить на прощанье нечего. Пуля не игрушка.

Вода черная, течет Дрина, а ребятишки нам из лодки машут. У меня горло сдавило, что тебе сказать, Чеперко? Стой, Райко, говорю я себе, не давай сердцу воли и бойцов держи, нельзя нам распускаться, война идет. А сам думаю: черт возьми, когда они научились махать?

Ждем на берегу, бросили детей и затаились среди камней, каждый сам по себе. Неужто кинули их как слепых котят в воду?

Наконец, слышим, шлепает в темноте лодка. Вернулся мусульманин и говорит: перевез я детей, не беспокойтесь, нашел укромное

местечко недалеко от дороги, высадил и старшему показал, как добраться до первого села, и велел им говорить, что они сербы-голодранцы, их там приютят. Дал им немного кукурузы, а вам вот нечего дать.

Ладно, нам ничего и не надо, добрый человек, их бы только приютили. И решив, что мы сделали лучшее, что было в наших силах, двинулись выполнять приказ.

Батальон мой словно поразила какая-то болезнь. Молчат бойцы, ничего их не занимает, редко кто слово скажет, только спрашивают, столкнемся ли мы с сатанинской дивизией. Но как раз тогда и не довелось нам столкнуться со швабами.

Лишь постепенно батальон начал выздоравливать. Война, одни беды сменяют другие. Память — дорога. Проходят машины, люди, сорвется камень, оползень, движение прекращается, дорога зарастает травой. И вдруг кто-то скажет: а здесь дорога была. Откуда ты взял? Вот отметина. И тут все вспоминают.

Погоди, Чеперко. И со мной такое было. В прошлом году об эту пору по Саве еще лед шел, а возле меня пришвартовалась румынская баржа. Вовремя не ушли, льдом сковало, место удобное, баржу и оставили зимовать здесь.

Я варил кофе, выглянул в окошко и вижу: на барже человек в черном пальто. Ходит по барже, смотрит, на барже еще снег, и его хорошо видно. Я подумал, румыны приехали, скоро уведут баржу. Потом вгляделся получше, пальто-то на человеке гражданское, не речной китель.

Ну ладно, выпил я кофе, сел разбирать снасти. Просыпал мешочек с крючками и вовсе забыл про человека на барже.

Потом, когда снова посмотрел, он ходил уже не серединой баржи, а по самому краю, вдоль низкого борта. Остановился вдруг, скрестил руки на груди и смотрит в воду. Чего он там потерял? Сиганет еще, дурень, в воду, а я его потом вытаскивай.

Отошел он от борта, потушил сигарету о рубку баржи и опять к борту. Я открыл окошко и крикнул: эй, парень!

Он замер, словно я его с женщиной застал. Бледный, огромные черные глаза как провалы на лице. Я прикинулся простачком, зову его выпить по стаканчику.

Пришел он, сел вот сюда, где ты сейчас сидишь, Чеперко. Огляделся и говорит:

Недурная посудина, старик. А колоколец на что?

Звоню, тишину и скуку разгоняю.

Метафизик ты, старик.

Оставь, зелен ты еще учить меня.

Да, извини, сказал он и залпом выпил ракию.

Чудак, думаю я про себя, а глаза — подземелья, темницы. И губами все время двигает, воздух глотает. Потом спросил, глядя мне прямо в глаза:

Зачем ты меня позвал?

Да так, выпить.

Другое ты думал, старик.

А я гну свое, простачком прикидываюсь, в снастях копаюсь, скоро, мол, рыбная ловля начнется. Говорю, что не люблю вершей, рыба в них как в клетке. А он улыбнулся, блеснул острыми зубами и говорит:

Думаешь, доброе дело сделал?

Ничего я не думаю. Я один, а вдвоем и водку пить веселее.

Конечно, только я не собирался прыгать в реку. Пришел просто посмотреть на воду, как она уходит. Понимаешь, как уходит.

Выкручивается парень, подумал я, пусть себе, и давай тоже дурака валять, рассказываю ему о сазанах, о самцах, что весной безумеют и бьются о берег. Про фабрики, что загрязняют реки, про недостаточно строгие законы об охране вод. Вижу, занудил его сверх всякой меры, и спрашиваю:

Откуда ты?

Не знаю.

Как не знаешь?

Маленьким был.

Отца, мать помнишь?

Говорили, что все сгорели.

Но хоть из каких краев ты?

Говорили, из-за Дрины.

А как зовут?

Новак.

Я перестал крутить ворот. Он, мелькнуло в голове, а сам дух перевести не могу. О чем теперь спрашивать?

А с тобой были еще дети?

Были, а что?

Например, Младен?

Не помню. Был Тома. Он и рассказал, что мы из Боснии. А я помню только черную реку и как у меня ноги болели. После войны Тома утонул в канале. Он знал больше всех, но я был тогда слишком мал и прошлое меня не интересовало.

А Марко?

Какой Марко? Такого с нами не было. Одного мы звали Черным, он в Штутгарте работает слесарем. А Сима — он один из нас женился — в Црвенке, сельским хозяйством занимается. Милоша я хуже всех запомнил. Нас разлучили, и мы росли в разных детдомах. Говорили, что он повесился. Но может, это и слухи. Просто перестал человек существовать для нас, и все.

Я тер глаза, шмыгал носом. Размяк, точно сына потерянного нашел. Любопытства в нас хоть отбавляй, посмотреть на нас только в поездах да на ярмарках! Спрашиваю я его:

Что делаешь?

Студент я, скоро кончаю.

А еще?

Спросил по наитию, почему и сам не знаю. Мы долго молчали, изучали друг друга. В каюту вползали сумерки, зажигать керосиновую лампу не хотелось. Когда стемнело совсем, Новак сказал, что пишет стихи. Меня это не удивило: такой парень должен был уметь писать стихи. Я не помню, чтоб я когда-нибудь читал стихи, не знаю, зачем их люди пишут,— разве чтоб осталась какая-то малость между нами и небом?

А намедни, в пятницу, зовет кто-то меня с берега. Гляжу — Новак книгу притащил. Пока он обедал, я открыл ее, а на первой странице написано: «Отцу на Саве». Я хлопнул его по плечу и сказал:

Приходи, когда тяжело будет.

Вон книга, на полке лежит, возле колокольца. Боюсь, и не буду ее открывать. Но знаю, внутри стихи.

Чеперко, да ты опять заснул!

Перевод О. КУТАСОВОЙ

■

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ

■

Перевод с сербско-хорватского и вступление
МАРГАРИТЫ АЛИГЕР

Есть нечто совсем особое, нечто совсем отличное и, вероятно, трудно определимое и трудно передаваемое словами в отношениях между поэтами разных языков, которым случилось переводить друг друга. Помню странное чувство неловкости, которое я испытала, встретившись с Арагоном вскорости после того, как перевела и опубликовала две его поэмы — в общей сложности шесть тысяч строк. Я словно бы слишком много о нем знала, я на протяжении длительного времени работы в какой-то мере была им, жила его переживаниями, испытывала его чувства. Очень сложное и неповторимое ощущение!

Познакомилась я с Десанкой Максимович летом 1957 года, когда она, всю свою жизнь влюбленная в Россию, в русскую поэзию, в русскую культуру, впервые приехала в Москву почетным гостем VI Всемирного фестиваля молодежи. С тех пор она стала бывать в Москве часто, и мы неизменно с радостью и приязнью общались, и я перевела для ее первой русской книжки несколько прекрасных лирических стихотворений, и она переводила на сербский мои стихи, и тем не менее должна сказать, что только с 1969 года, проведя месяц в Югославии, я в полной мере почувствовала и поняла, что такое Десанка Максимович и ее поэзия.

Она пригласила меня на традиционные Дучичевы Вечера в маленький старый город Требине, где собрался цвет югославской поэзии и где я ощутила, насколько в ее стране любят и берегут достойные имена живых и умерших. А позднее я провела вместе с ней несколько дней в поездке по таким местам, куда не добираются туристы, повидала глубины страны, знаменитый партизанский край, его памятники и братские могилы, его села и города. Десанка правильно сделала, увезя меня в суровый горный край, к родному ее трудовому народу, к тем, для кого она писала и жила, чьи судьбы стали источником ее поэзии, чья любовь, чье признание стали источником ее силы. За год до того ей исполнилось семьдесят лет. Состоялся праздник поэзии, посвященный юбилею Десанки, в родных ее местах — Валеве и Бранковине, ко многим ее прежним званиям и наградам прибавились новые. Кабы не юбилей год тому назад, едва ли кому-нибудь пришло бы в голову, что этой женщине уже за семьдесят,— так неуемна и безотказна была Десанка Максимович в той нелегкой поездке, не отказываясь ни от одной встречи, ни от одного выступления, не требуя никаких скидок на возраст, никогда не жалуясь на усталость, на отсутствие комфорта. Это для нее привычная форма существования, объясняла она мне. Редкий месяц обходится без такой поездки со всеми ее сложностями и трудностями. Есть поэты, которые выступают часто, запросто и легко, не тратя на это никаких душевных сил и, очевидно, даже любя такую форму общения с читателем. Я выступать не люблю, мне выступать трудно, и каждое выступление для

меня — тяжелая работа, огромное напряжение, огромная отдача душевной энергии. Любит ли выступать Десанка Максимович, я сказать не могу и думаю, что она и сама на этот вопрос не ответит, потому что она никогда об этом не задумывается,— любит, не любит... Какое это имеет значение, если люди хотят ее видеть и слышать, если им зачем-то это нужно и чем-то важно и интересно. Надо идти к ним и читать им стихи... Брать чемодан, и ехать к ним куда-никуда, и читать им стихи, раз уж они просят об этом, люди ее родной земли, ее родного языка. Да смеет ли она раздумывать и отказываться? Да есть ли большее счастье для поэта? Она так органична и естественна в этом сознании, так открыта и доступна людям, так в сущности неотделима от них, что, право же, если бы меня спросили, что такое народный поэт, я не стала бы вдаваться в теории и абстракции и ответила бы предельно коротко и конкретно — это Десанка Максимович.

Десанка Максимович родилась в конце прошлого века. Отец ее был сельским учителем, а дед — сельским священником. И то, что сама Десанка Максимович стала учительницей, многое объясняет в природе ее таланта, полного любви к людям, стремления сделать их лучше, уберечь от зла и научить добру. Мне трудно, говоря о ней и ее поэзии, пользоваться словом «гуманизм», оно тут слишком отвлеченно звучит, ее доброта проще, ближе, реальнее, понятнее.

Десанка не долго задержалась во власти лирической смуты, душевного трепета и страха перед неизвестностями жизни, которыми наполнены первые ее стихи. Она очень скоро прояснила для себя все туманности и красивости, очень скоро со всей определенностью заявила о себе, о том, кто она и откуда и за что пришла ратовать, что опровергать и что отстаивать. Уже с тридцатых годов поэзия Десанки Максимович по сути своей социальна, своеобразна, поэтически усилена почти языческой любовью к родной природе, к красивому и достойному народу, стремлением и умением проникнуть в его психологию, понять и объяснить другим его душу. Таковы уже известные в русских переводах «Стихи о покинутом ребенке», «Смерть крестьянина», «Пассажир третьего класса». Умеющая быть сложной и зашифрованной, она абсолютно свободно овладевает и открытой публицистичностью и умеет пользоваться ею:

Я не стыжусь, когда мои стихи
читают старики и батраки,
когда их дети в сельской школе слышат.
Для избранных пускай другие пишут,
а мне мои читатели близки.

Потрясают «Стихи о рабстве и свободе» — воедино собранные стихи военных и первых послевоенных лет. «Сербия — великая сказка», «Хлеб месят», «Стихи о порабощенном хлебе», «Кровавая сказка» — это хрестоматийные стихи, любимые в Югославии и достаточно известные у нас.

«Кровавая сказка» — поэтический рассказ о страшном злодеянии фашистов в небольшом городке Крагуеваце, где оккупанты расстреляли триста человек детей, триста школьников. Сейчас на этом месте создан мемориал, навеки хранящий память о невинных жертвах. На разных поэтических встречах, в разных аудиториях мне приходилось слышать обращенный к поэту вопрос о том, как была написана «Кровавая сказка». И поэт неизменно отвечал очень коротко и просто, как в один из дней войны она увидала незнакомого человека, который брел по улице и плакал. Такое зрелище не было во время войны исключительным, но почему-то какая-то сила заставила Десанку подойти к незнакомцу и спросить, что с ним. И он в ответ рассказал ей, что случилось в Крагуеваце, откуда он только что вернулся в Белград. «Потрясенная его рассказом, не помню, как я добралась до дому, и тут же села и написала «Кровавую сказку». Другой формы пережить потрясение я не знала». В этом немудреном рассказе — суть поэзии Десанки Максимович, ее чуткой и отзывчивой души. Но столь бесхитростный рассказ о том, как пишутся стихи, может ввести в заблуждение слишком легковерного читателя, слишком доверчивого и слишком буквально все понимающего. Нет, при всей своей прекрасной и благородной простоте стихи Десанки Максимович никогда не бывают примитивны и плоски, никогда не бывают однозначны и одноплановы. Они всегда означают много больше того, о чем написаны, всегда полны таинственного смысла истинной поэзии. Достаточно вспомнить одну из ее последних работ, книгу «Требую помилования. Спор поэта с законником царя Душана» — шестьдесят шесть стихотворений, связанных общей задачей и идеей борьбы за достоинство человека. Поэт сумел заставить звучать современно свой исторический экскурс, и книга эта долго будет читаться, изучаться, трактоваться. Вот уж поистине высокая народная поэзия!

«Нет больше времени» — называется вышедшая в 1973 году книга стихов Десанки Максимович, поэта, в полной силе шагнувшего в восьмой свой десяток, в нелегкую пору утрат и прощаний. Горькая пора, что и говорить, но если самая эта горечь становится истоком новых чудесных стихов, этому все-таки можно позавидовать в самом возвышенном смысле этого глагола. И сколь ни горьки поводы, вызвавшие к жизни эти стихи, сила поэзии больше, и горькие стихи о последних разлуках и вечных утратах пронизаны немеркнущим светом любви к жизни, и любви к земле, и любви к людям. Пусть отрезает старость все наши пути-дороги и замыкает нас на малом участке у дома, «и тут весна сменяет зиму и за тучами грохочут грозы, и как все встаю я рано-рано,

как другие, сею и копаю, обрезаю виноградные лозы». Великое это счастье и достояние до конца дней наших — общность человеческая, единство с другими людьми. Ими согрета и озарена лирика Десанки Максимович. Сила души, скальная основа человеческой личности — глубокий смысл этой лирики. В разрытой могиле у дороги пахари не находят ничего, кроме земли и вкрапленных в нее осколков кремня,— как это много, однако! Тихий и добрый поэт, Десанка Максимович искренне предана этому прекрасному и многозначному смыслу — земле и полна драгоценной кремневой силы. Невольно вспоминаются тут столь созвучные стихи другого истинного поэта — Анны Ахматовой:

Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.

Остается добавить, что Десанка Максимович награждена всевозможными премиями и наградами, что она удостоена ордена Республики с золотым венком, что она академик... Пожелать ей того, что, пожалуй, дороже всего и отнюдь не всем доступно: оставаться самой собою — чудесным поэтом и удивительным человеком.

Кто хочет видеть чудеса

Хочешь, чтоб были открыты тебе чудеса,
постарайся, чтоб сердце твое было чистым, как молоко,
даже в помыслах тайных не заносись высоко,
потому что оттуда
не видно ни малого чуда.

Хочешь радость ребячью душой обрести,
чтобы с тобой приключилось то, что случается в сказке.
научись прощать даже тех, кто ставит у нас на пути
западни и силки,
и тогда они все превратятся в кареты, в ладьи,
в расписные салазки.

Хочешь, чтоб были доступны тебе чудеса,
верь, что они существуют на свете,
верь, что меж звезд, что восходят на небеса,
недоступные глазу, незримые звезды светят.

Верь, что среди голосов,
тихой вечерней порой достигающих нашего уха,
есть еще много неслышных,
и рядышком с нами ежеминутно звучит
песня, которая не доходит до нашего слуха.

Хочешь, чтобы были доступны тебе чудеса,
в птицу камней не швыряй, муравья не топчи,
потому что каждое чудо заперто в замке,
спит за семью замками,
и малые хрупкие твари от них сохраняют ключи.

Наследство

Смерть тебе удар свой нанесла,
уничтожив память, мысли, страсти,
для нее святынь на свете нет.
Но последней волей в смертный час
ты распорядилась и спасла
все, что ты спасти была во власти.

И оставила в своем дому
каменную волю — одному,
любопытство детское — другому,
а кому-то — страсть рожать детей
в сочетанье с мягкостью твоей
и души апрельскую истому.

Прямо в сердце одному из нас
правдолюбья вставила компас,
наделила строгостью святою,
ну, а те из нас, что весь свой век
жадно пили молоко твое,
те добры твоею добротою.

А кому-то уделила ты
дивный свет печальной красоты
своего немеркнущего лика.
Перепал и мне какой-то медный грош
от богатств твоих и щедрости великой.

Наступила тишина

Сначала в груди ее бился орел,
тяжелыми хлопал крылами,
как будто бы рвался из клетки на волю
в сияние неба.

Потом словно горлица в темном саду
темноту отряхала с перьев.

Затем
какая-то раненая пичуга
захлопала крылышками с испуга,
не в силах взлететь.

Наконец,
чуть слышный полет мотылька,
которого вдруг ослепило лучами.
И вот он затих,
и настала в груди тишина,
как будто бы вдруг
все колокола замолчали.

Захлопнулись ворота

Затворились за мной все ворота и воротца,
все выходы и все входы,
что ведут на большие дороги,
в леса и в рощи,
в сады-огороды.

Мне остался лишь только клочок земли у дома,
никакого ни поля, ни баштана;
но и тут весна сменяет зиму
и за тучами грохочут грозы,
и как все встаю я рано-рано,
как другие, сею и копаю,
обрезаю виноградные лозы.

И в моем пристанище малом
иногда бывает очень жарко,
потому что июнь стоит на свете,
первые дожди шумят в апреле,
и зимой бунтует пролетарий-ветер,
и незримая горлица весною
льет свои серебряные трели.

Затопляют и меня потоки,
как иные огромные поместья,
лунный свет и у меня сияет,
гром гремит и надо мной жестокий
и напоминает мне о боге,
и пугает, и грозит бедою,
и как у помещика большого,
в августе и мой клочок убогий
озарен вечернею звездою.

Мой мир

И отныне мой мир — лишь неясные думы,
сердечная смута,
то, что боль мне подскажет,
о чем догадаюсь сама,
все, что я досказать не успела когда-то, кому-то.

И отныне мой мир — лишь сомненье
и страстная жажда,
чтоб все-таки где-то над нами был бы он, бог,
и споры с законами, по которым
он желал сотворить совершенного человека,
но все же не смог.

Мой мир — это страх и тревога
за все, что творится на свете,
и тихая грусть умудренности,
и ярость, и гнев

на то, что беспомощны люди, как малые дети,
и гибнут, едва лишь возникнув,
и слепнут, едва лишь прозрев.

Мой мир — лишь раздумья во мраке глухими ночами,
он дыма непостоянней,
он тише печали,
и в нем умещаются
сто кругов чистилища
и сто мирозданий.

Лунная ночь в Бранковине

Свет луны, как душа поэта,
сделал горизонт печальнее и шире,
осветил глухонемые вещи,
засиять помог ничтожным и малым,
застелил поля, как стол на праздник,
белым покрывалом,
превратил лесистые вершины
в чудища, давно исчезнувшие в мире.

Свет луны, как душа поэта,
окрылил наши старые деревья
и пустил их плыть по теченью,
застелил серебром лачуги,
высветил родимые тропинки,
разбудил наши отчие могилы,
как знамена развернул покровы,
перекинул стволы мостами,
уводящими далеко-далеко,
над незримыми чужими берегами
до Ла-Манша от малого потока,
что течет у нас в Бранковине.
Лунный свет, как душа поэта.

Запаханная могила

Перепахали пахари могилу у дороги.
В земле одна земля, и поверху и глубоко,
и существа, что таятся от света вдали,
червяки, и медведки, и переплетенные корни,
и каплет бурьяново желтое молоко,
и попадаются кости — сестры земли.

Отрыли пахари в глине одну только глину,
и солнце согрело ту глину, и встал над комьями дым,
и никакого ни гроба, ни перстня и не ремня,
ни имени человека, ни того, что было им.
Нашли одну только землю, землю и тишину
и вперемежку с землей и с костями
осколки кремня.

Рука

Тяжелая костистая рука
лежит устало на коленях старика.
На ней морщин запутанная сетка
и голубые вены, словно ветка.

Но лишь она поднимется с колен,
чтобы затылка детского коснуться,
отхлынет яд усталости из вен,
и свет и силы снова в ней проснутся,
сустав войдет в сустав, поднимется рука,
как стебель, политый водою,
в ней чувствуется жизнь, и кровь, и сила.
Но отойдет дитя,
и упадет она
на старые колени,
как в могилу.

Смерть лисы

В буковой чаще рвы и овраги
усыпаны чешуею медной,
она под ногами звучит металлом,
и солнце сквозит сквозь листву, заливая чащу,
словно музыкою победной.

Тропой по оврагам
гонят лисицу.
Она одержима диким испугом,
наставив уши, куда-то мчится,
мелькает как молния по яругам,
и наконец от ран изнывая,
усталая, в медный сугроб валится.

Вокруг просторы земного шара,
вершины Татр и горы Урала,
глубокие бездны, могучие реки,
львы, ягуары, девственные леса.
И никто на земле не узнает вовеки,
что сейчас погибает в Похорье лиса.

Завещание

Оставлю вам только слова —
из глубоких сокровищниц слуха
откопала я их, словно клад из колодца,
получила в наследство от дивной свирели ветров.
Оставлю вам только слова —
их сковали мне там, где куются серпы,
из того же металла.

Я сумела их вырвать из клюва той птицы,
что над облаком пролетела.
Только слова — я их нашла в очаге,—
им ведома тайна огня.

Я прочла их во взоре немого,
услыхала в рыданье.
Это их произносят потоки и малые дети,
едва лишь увидев зарю.

Ничего не оставлю вам, только слова,
заточенные в стих, как в янтарь насекомые давних эпох.
Ничего от меня не останется,
ни кровинки, ни косточки,
ни сердца, ни даже сердечка, хоть малого,
как у самой крошечной пташки.

■

ЖОРЖИ АМАДУ

Тереза Батиста, уставшая воевать

РОМАН

Перевод с португальского Ю. КАЛУГИНА

Из письма автора, представляющего Терезу Батисту, бразильскому издателю

«Дорогой Мартинс, предъявительница сего — Тереза Батиста, прими ее дружески. Ее обвиняют в том, что она бунтовщица, дерзкая и упрямая, непочтительна к властям, лезет туда, куда ее не просят. Но я провел с ней длительное время, практически мы были вместе дни и ночи с марта по ноябрь 1972 года, и знаю ее хорошие качества. Она родилась для радости и боролась против горя; она не скрывает своих мыслей. Ей хочется учиться, немногому научилась по букварю, многому — в жизни. Столь нежна и душевна она, что один доктор, достойный человек, почитал ее только как Терезу Сладкий Мед.

С избытком вкусила она самого плохого в жизни, однако не отчаялась. Уставшая столько воевать, однажды подумала она положить всему конец, сложить оружие и похоронить себя в домашних делах. Но достаточно было подуть ветру с залива, услышать гудок судна — призыв моряка, как она вся воспрянула, готовая отплыть под парусами свободы.

Бронзовая девушка с золотым зубом и ожерельем красных бус, с цветастой шалью на черных волосах. Сказать, что она прекрасна,— это значит почти ничего не сказать; восхвалениями, какими бы ни было, не удастся объяснить ее обаяние. Я рассказываю о некоторых ее перипетиях, рисую ее образ, а сам себя спрашиваю, не осталось ли чего-то неясного. У множества людей спрашивал об этом, допытывался у Терезы Батисты. Жизнью оплачиваются страдания, а любовь их возмещает, ответила мне она, и в глазах ее появился алмазный блеск...

Настойчива эта девушка: преследовала меня многие годы, я пытался ускользнуть от нее и заняться чем-то менее бурным, но не удалось — в течение всего этого года был ее рабом. Теперь ты становишься ее хозяином.

Прощаюсь с ней с грустью: меня научила она еще более верить в жизнь и непобедимость народа даже в то время, когда, казалось, исчерпаны последние силы для сопротивления, когда остается лишь одиночество и смерть.

В конце истории этой я пришел к выводу, что не все на свете скверно, как подумалось вначале, когда мне стало известно, какому произволу подвергалась Тереза. Зло зиждется почти всегда на нищете

или невежестве... Все, что найдешь доброго в книге, обязано Терезе Батисте; остальное — мое: промахи и ограниченность, что можно ожидать от трубадура жалких рифм...

Более тридцати лет мы работаем вместе — ты и я, один пишет, другой издает книги. Я создаю героев произведений, а ты с нежностью опекаешь их — этот мой народ, простой и неукротимый. Так что побереги Терезу Батисту...

Сердечное объятие от твоего старого друга

ЖОРЖИ

Голод и чума, смерть и борьба,
но прежде всего любовь —
жизнь Терезы Батисты
в этой истории простой.

«Пусть раковина твоя будет крепче,
нежность твою верней сохраняя,
а нежность —
совсем как воды поток:
побеждает».

(Андре Бэй. «Любите ли вы улиток?»)

Дебют Терезы Батисты в кабаре Аракажу

1

Пышно анонсированный дебют Терезы Батисты в кабаре «Веселый Париж», что расположился в здании «Ватикан», близ гавани Аракажу, державной столицы штата Сержипе, был отложен на несколько дней: для звезды представления пришлось изготовлять зубной протез. Отсрочка ее дебюта, конечно, нанесла немалый убыток владельцу заведения Флориано Перейре, более известному под кличкой Флори Лежебоки, однако Флори, крепко сколоченный, выдержал удар судьбы достаточно стойко, не жалуясь и не обвиняя легкомысленно кого-либо, как это зачастую бывает в подобных случаях.

Дебют Огненной Звезды Самбы — по части броских прозваний и рекламирования артисток никто не мог соперничать с ловкачом Лежебокой — вызывал всеобщий интерес, поскольку имя Терезы Батисты уже было знакомо многим, особенно в некоторых кругах, передавалось из уст в уста приезжими на рынке, в порту, повсюду. Привел Терезу Батисту и познакомил ее с Флори доктор Лулу Сантос; доктором, правда, слыл он только среди бедняков, а на самом деле был просто крючкотворцем — адвокатом без диплома, однако завоевавшим себе популярность во всем штате Сержипе главным образом своими выступлениями в качестве защитника на судебных процессах, едкими эпиграммами и язвительными словечками,— его поклонники даже приписывали ему все остроумное из услышанного. Славился он как отменный знаток и гражданского права, и пива. Каждый вечер Лулу Сантос встречался в баре-кафе «Египет» с его завсегдатаями,

здесь вышучивал фатоватых субъектов, отпускал ядовитые реплики по адресу тех или иных, попыхивая при этом своей неизменной сигарой. Детский паралич сковал ему ноги, и Лулу Сантос передвигался на костылях, но всякий раз у него был благодушный вид, никогда его не покидало хорошее настроение. С Терезой Батистой его связывала давняя дружба; известно, что еще несколько лет назад по просьбе и за счет ныне покойного доктора Эмилиано Гедеса, владельца сахарного завода и обширных земель в двух штатах, Лулу Сантос ездил в штат Баия, чтобы добиться отмены незаконно возбужденного против Терезы судебного иска — тогда она была еще несовершеннолетней. Разумеется, теперь все это к делу не относится, интереса не представляет; самое важное — дружба девушки и адвоката, который один стоит целого отряда дипломированных бакалавров в области юриспруденции.

Кабаре было заполнено до отказа, публика в зале оживлена; празднично, шумно. Играет «Полуночный джаз-банд». Посетители потягивают пиво, коктейли, виски. «Золотая молодежь Аракажу развлекается по умеренным ценам в «Веселом Париже» — так гласят проспекты, в изобилии распространяемые по городу. Под «золотой молодежью Аракажу» подразумевались приказчики и чиновники, студенты и коммивояжеры, поэт Жозе Сараива и молодой художник Женнер Аугусто; одни — с положением в обществе, другие без определенных занятий и без определенного возраста, причем некоторые из них продлевали свою «золотую молодость» за шестой десяток. Флори Лежебока, невысокий, говорливый метис, придал особую пышность дебюту Королевы Самбы, не пожалел усилий, чтобы превратить первое появление Терезы на эстраде «Веселого Парижа» в незабываемое событие. Впрочем, оно и не могло быть иным.

2

В вечер дебюта Тереза Батиста держалась достаточно уверенно; правда, у нее начался было нервный тик, но она всеми силами старалась его скрыть. Сидя за столиком, скромно отодвинутым к самому уголку зала, она ожидала часа переодевания, беседуя с Лулу Сантосом, слушая его колючие комментарии по адресу посетителей. Новенькая в этом городе, она не знала почти никого, тогда как крючкотвор знал всех.

Несмотря на полумрак и место в глубине зала, красота Терезы не осталась незамеченной. Сеньор Лулу обратил ее внимание на один из столиков, где двое бледных юношей потягивали коктейль:

— Поэт глаз не спускает с вас, Тереза.

— Какой поэт? Тот юнец?

Молодой человек с болезненно бледным лицом встал из-за стола и поднял бокал за здоровье Терезы и адвоката, положив руку на сердце широким жестом, что должно было выражать чувства дружбы и преданности. Лулу Сантос помахал в ответ рукою с зажатой меж пальцев сигарой:

— Жозе Сараива — талант мирового масштаба, великий бард. К сожалению, ему осталось недолго жить.

— Что с ним?

— Чахотка.

— Почему же он не лечится?

— Лечится? Он убивает себя. Ночи без сна напролет. Пьянствует. Жизнь богемы. Беспутнейший повеса во всем Сержипе.

— Бóльший, чем вы?

— По сравнению с поэтом я — скромник, потихоньку попиваю свое пиво, он же не знает меры. Похоже, что сам хочет своей смерти.

Джаз после нескольких минут перерыва — музыканты осушили по бокалу пива — заиграл в новом приступе самозабвения. Молодой поэт покинул свой столик и направился к Терезе и Лулу.

— Лулу, брат мой, представь меня богине ночи.

— Моя подруга Тереза — поэт Жозе Сараива.

Поэт поцеловал девушке руку; он уже был слегка навеселе, но в глазах его светилась грусть, так не вяжущаяся с бесцеремонными манерами и нарочитой игривостью.

— Нельзя же быть столь расточительно красивой! Вашей прелести и грации хватит, ей-богу, на трех красавиц и еще останется. Давайте потанцуем, моя дивная?

По пути к танцевальной площадке поэт Сараива остановился около своего столика, чтобы проглотить остаток коктейля, и представил Терезу приятелю:

— Художник, полюбуйся божественной моделью, достойной Рафаэля и Тициана.

Художник Женнер Аугусто — именно он сидел за столиком — пристально взглянул на лицо Терезы: никогда ему ее не забыть. Тереза улыбнулась вежливо, но сдержанно: сердце ее замкнуто, пусто, она безразлична к восхищенным или похотливым взглядам; наконец-то успокоившаяся, она сумела овладеть собой.

Тереза и поэт начали танцевать. На восковом лбу юноши выступили капельки пота, хотя в его объятьях — самая изящная партнерша, самая воздушная. Обладая тонким слухом, Тереза научилась разбираться в мелодиях у птиц; танцы изучила с доктором. Танцует она отлично, с наслаждением, отрешившись от всего на свете, с полузакрытыми глазами следуя такту музыки.

Жаль, что приходится открывать их, выслушивая своего партнера. Бедный поэт — произносит он красивые слова, а из его больной груди доносится какой-то свист:

— Так, значит, это вы Огненная Звезда Самбы? Знаете, что реклама Флори — настоящая поэма? Конечно, вам не до этого, да и не нужно знать, ваша обязанность только быть красивой. Так вот, когда я прочел афиши о вашем дебюте, я задал себе вопрос: Жозе Сараива, ты, понимающий все, скажи мне, что случилось с Лежебокой, что превратило его в поэта? Теперь я могу ответить, и не только ответить. Я могу воспеть вас в десятках, в сотнях поэм! Нет, в долгу у Флори я не останусь!

Он хотел тут же, не прерывая танца в ритме джаза, сымпровизировать льстивые, хвалебные стихи и несомненно сделал бы это, если бы совсем рядом с ними не вспыхнул инцидент, из которого разгорелась целая баталия.

Тесно прижавшись друг к другу, щека к щеке, кружилась парочка; он, видимо, коммивояжер, судя по его нарядному костюму — щегольскому спортивному пиджаку, пестрому галстуку, не говоря уже об отблескивающих бриллиантином волосах, а также судя по его манере расточать на ухо комплименты и посулы малоопытной полненькой девушке с привлекательным профилем. Та, казалось, с интересом внимала сладким речам и восхищалась элегантностью и изяществом коммивояжера, однако беспокойные глаза танцующей выдавали волнение — взгляд ее был обращен на входную дверь. Внезапно она воскликнула:

— Ах, Либорио, боже мой! — Вырвавшись из рук партнера, она бросилась было бежать, но, сообразив, что убежать некуда, скованная страхом, расплакалась.

Либорио, тот самый, появление которого в зале — его сопровождали три дружка — вызвало у девушки панический ужас, был долговязым субъектом, одетым во все черное, будто человек этот носил строгий траур; отекшие глаза, редкие волосы, покатые плечи, вялый рот, в общем, красотой он похвастать никак не мог,— выглядел он так, будто явился с похорон. Либорио подошел к танцевальной площадке и встал перед девушкой; послышался его гнусавый голос:

— Вот так-то, сеньорита шлюха, ты отправилась навестить свою больную мать в Проприа́?

— Либорио, ради бога, только не устраивай скандала.

Уже проученный другими особами, вроде этой, и не желая марать еще больше свою репутацию в глазах владельца фармацевтической лаборатории, поручения которой он выполнял, разъезжая по штатам Баия, Сержипе, Алагоас («превосходный продавец, способный, предприимчивый и серьезный, питающий, однако, пристрастие к женщинам и кутежам, ссорам в кабаре и публичных домах, не раз подвергавшийся арестам»), коммивояжер решил потихоньку улизнуть, тогда как его коллеги по столу и по профессии вскочили на ноги, намереваясь прикрыть его отступление.

Поэт все же продолжал танцевать и повел дальше свою партнершу, не обращая внимания на случившееся (оскорбленный рогоносец в кабаре — отнюдь не редкое явление), когда раздалась пощечина, да такая звучная, что ее не заглушил даже джаз. Тереза остановилась как раз в тот момент, когда долговязый опять ударил девушку по лицу, и снова послышался его гнусавый голос, повторяющий слова, которые так часто она слыхала в давние времена: «Научись, сука, меня уважать!» Голос был другой, но фраза — той же, и таким же был звук пощечины.

В это мгновение Тереза Батиста вырвалась из рук поэта Сараивы и бросилась к Либорио:

— Мужчина, поднявший руку на женщину,— не мужчина, а дерьмо!..— Она стояла перед верзилой с высоко поднятой головой.— А дерьмо я не бью, плюю ему в лицо.

И плюнула. Тереза Батиста, натренировавшаяся в детских играх в разбойники, воевавшая с дерзкими мальчишками, обладала меткостью, но на этот раз из-за высокого роста субъекта промахнулась — целилась она в его гноящийся, похотливый глаз, а плевок попал в шею.

— Шлюха!

— Если ты мужчина, ударь меня.

— И не замедлю, сеньорита шлюха.

— Так давай.

Она предложила, но не стала дожидаться; нанесла ему ногою удар в пах, однако опять промахнулась — у долговязого были не ноги, а ходули. Тереза потеряла равновесие; один из дружков субъекта с гноящимися глазами воспользовался этим и обхватил девушку сзади, стиснув руки и подставив ее лицо под удар верзилы. Либорио нанес Терезе зверский удар кулаком наотмашь, разбил ей губы.

Поэт Сараива набросился на подлеца, пытавшегося обломать Огненную Звезду Самбы; все трое покатились по полу. Но Тереза быстро вскочила на ноги и плюнула, попав в лицо своему противнику, на этот раз изо рта ее вылетел сгусток крови вместе с выбитым зубом. К обеим группам подоспели подкрепления: с одной стороны—

дружки оскорбленного рогоносца, с другой — художник Женнер Аугусто, кусавший губы от ярости, и коммивояжер, излишняя осторожность которого едва не заставила его бросить свою партнершу на произвол судьбы; незнакомая девушка сделала то, что должен был сделать он сам. Потеряв голову, позабыв о риске скомпрометировать себя, он в расчете вернуть уважение коллег ринулся в бой. Джаз продолжал играть, но танцующие пары покинули площадку, освободив ее для сражающихся. Один из посетителей забрался на стол и, размахивая банкнотой, кричал:

— Ставлю на девушку двадцать крузейро, кто принимает?

Терезе удалось вцепиться в редкую шевелюру верзилы и вырвать у него клок волос. Долговязый попытался взять реванш — железным кулаком выбить у нее второй зуб, но она, ловкая и смелая, ускользнула от него, прыгая и выделывая какие-то фантастические танцевальные па, продолжая плевать в лицо, ловила удобный момент, чтобы нанести новый удар.

Посетители окружили этот своеобразный ринг, желая вдоволь насладиться захватывающим зрелищем. С интересом они следили за схваткой, но еще не решали, на кого ставить.

Прибывший уже в разгар драки подвыпивший кабокло [1] с мускулистыми, загорелыми руками, с дубленой морским ветром кожей, наблюдая наскоки Терезы, заметил во всеуслышание:

— Пресвятая богородица, ловчее драчуньи я в жизни не встречал.

В этот момент в зале появились двое полицейских, привлеченных шумом,— они, очевидно, узнали Либорио и дружков, однако, подняв резиновые дубинки, направились к Терезе с явным намерением проучить ее.

— Я иду, Янса́н! — испустил кабокло воинственный клич. Неизвестно, почему он выкрикнул имя «Янсан»: то ли именем бесстрашной языческой богини, самой храброй из всех, он назвал Терезу, то ли просто хотел оповестить божество о том, что в драку вступает Жануарио Жерэба, жрец на кандомблэ[2].

Красиво вступил он в драку — оба полицейских разлетелись в разные стороны. Он не позволил одному из дружков верзилы вытереть подошву ботинка о физиономию поэта Жозе Сараивы — грудь цыпленка, но сердце орла,— который уже безмолвно растянулся на импровизированной арене. Кабокло — ураган, тайфун — мимоходом поставил на ноги поэта и снова ринулся в схватку. А тут вернулись и полицейские.

Один из дружков долговязого угрожал револьвером. Огни погасли. Последнее, что можно было увидеть, это Лулу Сантоса с сигарой во рту, опирающегося на один костыль, тогда как другим он размахивал над головой. В темноте послышался жалобный вой Либорио, Тереза попала-таки ногой прямо в цель.

Дебюта байянской Королевы Самбы не было в тот вечер, но все же первое появление Терезы на подмостках Аракажу оказалось незабываемым. Хирург-дантист Жамил Нажар, тот, что поставил двадцать крузейро, ничего не пожелал взять с нее за золотой зуб, с величайшим искусством вставленный им позднее в верхнюю челюсть Терезы Батисты, куда пришелся удар железным кулаком, раскроившим ей губу. Если бы дантист и попросил вознаграждения, ах, то уж ясно — не в деньгах!

---

[1] Метис от брака белого с индеанкой.

[2] Ритуальный обряд бразильских негров, сопровождаемый танцами.

3

Флори привел все в порядок, но теперь он зависел от хирурга-дантиста, чтобы назначить новую дату для дебюта Терезы Батисты в «Веселом Париже», ожидавшегося с еще большим нетерпением. Нажар лечил на совесть: «Работа с золотом, какая бы она ни была, мой дорогой Лежебока, требует искусства и терпения, умения и времени, тем более золотой зуб, украшающий волшебный ротик: такой зуб нельзя сделать кое-как, в спешке, на скорую руку — это работа деликатная и тонкая». Флори торопит его: «Я понимаю твои доводы, мой дорогой доктор, но действуй побыстрее, не ленись, пожалуйста». Тем временем он прилагает все усилия, чтобы еще больше разрекламировать долгожданный дебют.

На четырех углах площади Фаусто Кардозо, на которой высится правительственный дворец, красочные афиши извещали, что очень скоро на эстраде «Веселого Парижа» начнутся выступления Блистательной Императрицы Самбы, она же — Самба в Грезах и Наяву, она же Чудо Бразильской Самбы, она же Самбистка № 1 Бразилии,— все это, бесспорно, было явным преувеличением, но, по мнению Флори, похвалы соответствовали реальным физическим достоинствам новоявленной звезды. В перечне многочисленных влюбленных в несказанную самбистку имя владельца кабаре следовало поставить выше имени поэта и имени художника, если и не по некоторым определенным причинам, то по крайней мере потому, что он участвовал в расходах, покрывая убытки провалившегося, хотя и изрядно нашумевшего вечера.

У всех закружилась голова. Флори, поседевший в отношениях с артистами, объявил о необходимости проводить ежедневные репетиции в послеобеденное время, пока продолжаются работы по изготовлению протеза и заживает рассеченная губа,— чтобы не утратилась ритмика бедер в самбе. Идеальными были бы репетиции без свидетелей — только самбистка и пианист, которым в данном случае выступал сам Лежебока; обладавший разносторонними талантами, он играл на пианино, гитаре, губной гармошке, исполнял кантиги, распеваемые слепцами. Но как сдержать ватагу поклонников? По следам Терезы приходили дантист, поэт, художник, адвокат, мешая репетиции и разрушая хитроумные планы Флори.

Тереза репетировала в костюме, оставшемся у Флори от прогоревшей труппы варьете, в которой он долгие годы исполнял обязанности администратора: тюрбан, юбка с оборками, кофта, застегивающаяся спереди. Добрая часть тела на виду, но зачем? Восседая за пианино, меланхоличный Флори оберегает ее от ухажеров из литературно-артистического мира, иной раз — юридического и чаще всего — одонтологического. Но помимо хитрости он проявлял и настойчивость, даже учился быть терпеливым: все-таки он был хозяином кабаре и патроном Звезды — кто еще мог бы оказаться в лучшем положении?..

Все были влюблены в нее, и не меньше других Лулу Сантос; с костылями и всем прочим, адвокат имел еще славу заядлого бабника. Все окружавшие Терезу были покорены ею, один больше другого. Поэт Сараива открыто провозглашал свою любовь в обильном потоке лирических стихов, причем Тереза служила источником вдохновения его лучших поэм, всего цикла «Бронзовая девушка»: так он назвал ее. Хирург-дантист Жамил Нажар, араб по происхождению, кровь у которого кипела, вознамерился было ее осчастливить, пока возился перед открытым ртом девушки, вставляя золотой зуб. Ху-

дожник не отрывал от нее своих голубых глаз, взгляд которых выражал глубокое страдание, и молча рисовал ее с натуры, и эти акварели, написанные Женнером Аугусто на плохой плакатной бумаге, были первыми портретами Терезы Батисты; многие другие он написал по памяти, хотя несколько лет спустя в Баие она согласилась позировать ему в ателье в Рио Вермельо для картины, получившей премию. На этом полотне Тереза красуется в золоте и бронзе, женщина в соку, в расцвете юных лет и красоты, одетая, однако, в те же одежды времен пребывания ее в Порто-Алегре: тюрбан баиянки, короткая кружевная кофта на полуобнаженной груди, цветастая юбка с оборками, голые ноги, блестящие икры.

А Тереза только посмеивалась над одними и другими, любезная, благодарная за то, что ее окружали ласками и подарками; всегда она была в поиске подлинной привязанности, нуждающаяся в истинном человеческом тепле. А искать было нелегко, ведь до сих пор единственное, что ей доводилось делать, это быть служанкой (не лучше ли сказать — рабыней?), а то и куртизанкой, разделявшей ночь с разными мужчинами — сначала побуждаемая страхом, а после просто старавшаяся заработать на жизнь. Когда к ней приходит желание, она идет навстречу, возбужденная и безудержная, но поступает так всегда только по любви,— легкого увлечения ей уже недостаточно. Ни хитрый Флори, ни услужливый дантист, ни колкий Лулу Сантос, ни молчаливый художник с проницательными глазами, ни поэт — какая жалость! — никто из них не затронул ее сердце, не смог раздуть тлеющую в нем искру.

Если бы Лулу Сантос сказал ей: «Друг мой, я хочу провести с тобой ночь, меня обуревает сильная страсть, и если я это не сделаю, то буду очень страдать», Тереза, возможно, и согласилась бы — ведь она это делала столько раз с другими ради куска хлеба, безразличная и отчужденная, выполняя постылую обязанность. Она была благодарна адвокату за прежние услуги; если бы он захотел получить ее, она бы, вероятно, не отказала, как это ей ни было бы тяжело. Если бы вечно кашляющий поэт пришел к ней и умоляюще говорил, что он умер бы счастливым после подаренной ему ночи, она снизошла бы к его мольбам. С адвокатом — бесплатно, вернее, в оплату старого долга; с поэтом — из сострадания. Вступить в связь, наслаждаясь, искренне лаская, она, однако, не могла — даже симулировать хоть какую-то заинтересованность для нее было невозможно. За то, чтобы стать самой собой, она заплатила чересчур высокую цену — тяжелой монетой горя.

Ни адвокат, ни поэт не упрашивали ее, они лишь появлялись перед ее глазами и ждали: оба они хотели заполучить девушку, но не в виде милостыни или в оплату долга. Что касается остальных, если они просили,— а Флори вымаливал неоднократно, клянчил, стонал,— то ничего не добивались. Даже большие деньги, которые могли бы стать крупным вкладом в сбережения на будущее, ее не интересовали. У нее еще было немного в сумочке, а потом она надеялась, что понравится публике как самбистка; хотя бы в течение какого-то времени она хотела распоряжаться своей судьбой.

Прибыв сюда недавно, она сняла комнату с полным пансионом в доме старой Адрианы (по рекомендации Лулу), получила предложение от Венеранды, хозяйки самого изысканного и дорогого заведения Аракажу. По манере держаться, носить шелковые платья, туфли на высоких каблуках, что делало ее похожей на дорогую куртизанку с юга, Венеранде нельзя было дать столько лет, сколько было записано в запрятанном у нее свидетельстве о рождении. Еще

будучи девочкой, Тереза слышала ее имя от капитана — уже в то время Венеранда господствовала в Аракажу. Она лично пришла поговорить с Терезой, узнав о ее прибытии, скорее всего, от Лулу Сантоса, завсегдатая ее заведения, которому, возможно, известно было прошлое девушки.

Раскрыв веер, Венеранда уселась, холодным взглядом отослала старую Адриану, сгоравшую от любопытства.

— Ты, оказывается, еще красивее, чем мне говорили,— так начала она разговор.

Венеранда описала свой дом свиданий: просторный колониальных времен особняк, укрытый раскидистыми деревьями, посреди участка, окруженного высокой оградой; огромные комнаты, разделенные на интимные альковы; на первом этаже — гостиная с виктролой, пластинками, винами, здесь же демонстрировали себя свободные девушки; на втором этаже — большая парадная гостиная, где Венеранда принимала политических деятелей и литераторов, заводчиков и фабрикантов; наконец, внутренний двор. Тереза могла бы жить в самом доме, если бы захотела. Предлагая жилье в заведении, Венеранда подтверждала этим особое уважение к новоприбывшей, так как лишь некоторые избранные, в основном иностранки или южанки, гастролировавшие на севере,— поднакопив денег, они потом возвращались к себе на юг,— жили в ее заведении, но Тереза была исключением. Она могла бы посещать его вечером или ночью, в часы оживления, обслуживая всех без разбора — лишь бы платили,— либо могла бы иметь собственных клиентов, по выбору. Вместе с тем, проявляя заботу о Терезе, Венеранда предложила отобрать для нее «элитную» клиентуру с высоким финансовым положением, более или менее свободным расписанием визитов, клиентуру мало утомительную и весьма прибыльную. Если девушка сможет быть столь же умелой, сколь она красива, ей будет легко зарабатывать и, не допуская оплошности, содержать своих альфонсов; наконец, она сможет сделать крупные сбережения. В этом доме она познакомится с мадам Жертруде, француженкой, которая на заработанные здесь деньги купила дом и земли в Эльзасе, намереваясь в будущем году вернуться на родину, чтобы выйти замуж и иметь детей, если бог пожелает и поможет ей.

Венеранда лениво обмахивалась веером, и волны исходившего от нее сильного мускусного запаха плыли в теплом воздухе летнего вечера. Весь монолог, заключавший богатый выбор соблазнов, Тереза выслушала молча, проявляя при этом вежливый интерес. Когда Венеранда, закончив, широко улыбнулась, Тереза ответила:

— Я уже вела такую жизнь, не буду скрывать, могу снова взяться за это, если возникнет необходимость. В настоящий момент я не нуждаюсь, но благодарю. Может быть, наступит день...— Отвечая, Тереза показала, что умеет вести себя, научилась светским манерам у доктора, а когда ее чему-нибудь учили, она не забывала; еще в начальной школе учительница Мерседес хвалила ее за живой ум и стремление к знаниям.

— Ни даже изредка? А за хорошую плату, без ежедневных обязательств, лишь удовлетворяя каприз кого-либо из высокопоставленных особ? Знаешь, ведь мой дом посещается лучшими людьми Аракажу!

— Я уже слышала, но в данный момент меня это не интересует. Извините.

Венеранда с недовольным видом покусывала ручку веера. Эта новенькая с ее своеобразной красотой цыганки, сопровождаемая пи-

кантными историями,— изумительной была бы приманкой для теряющих последние зубы или хранящих зубные протезы и для определенных клиентов, а в кассу потекли бы еще деньги, и деньги в изобилии.

— Если в один прекрасный день решишься, то стоит лишь обратиться ко мне. Любой скажет, где меня найти.

— Большое спасибо. Еще раз извините меня.

На пороге двери, выходящей на улицу, Венеранда обернулась:

— Знаешь, я очень хорошо знала капитана. Он был моим клиентом.

Лицо Терезы омрачилось — и неожиданно сумерки опустились на город.

— Я знать не знала капитана.

— Ах! Нет? — Венеранда рассмеялась и ушла.

4

Нет, никто не трогает ее сердца, никто не пробуждает спящее желание, не воспламеняет скрытую искру! В друзья годится любой: адвокат, поэт, художник, дантист, владелец кабаре; а в любовники— нет, никто! Да и кто удовлетворится лишь нежной дружбой с красивой женщиной? Сердечные дела — как их понять и объяснить?

Обширен мир Аракажу, где же гуляет тот гигант? Тот смуглый кабокло, вышедший из водных просторов и глубин, загорелый от моря и ветра, что с ним сталось? Она его едва почувствовала, смутно различила во время празднества и памятной попойки и скандала в баре той глубокой ночью. На заре гигант будто растворился. Он исчез при первых проблесках утра; они оба были одного цвета кожи, сотворены из одного и того же. Из окна такси Тереза некоторое время еще видела его, окутанного в рассеянный свет — остаток ночи, начало дня; он шел, едва касаясь земли, руки в море, волосы — курчавое дождевое облако на синем небе. Обещал вернуться.

Он один легко положил конец свалке в баре, смеясь и громко обращаясь к присутствующим и отсутствующим, к людям и божествам; он был, видимо, мастаком в капоэйре [1]. Как только полицейский шпик выхватил револьвер и стал угрожать им, Флори выключил электричество — в темноте разве отыщешь виновника, а значит, никто не виноват. Кабокло тогда ловко вырвал оружие у шпика, и, если бы шпик не разбил свою рожу о пол, можно было бы даже сказать, не сходя за врун, что Жануарио Жерэба сделал это, не пуская в ход руки или ноги, совершенно деликатно. Так Тереза познакомилась с ним, как будто давно уже знала его.

Когда свет погас, заваруха разгорелась с большей силой. Многие из присутствующих, не дожидаясь приглашения, тут же ввязались в драку, просто ради спортивного интереса. Из-за недостатка времени им не удалось даже немного согреться. При крике «полиция!», послышавшемся с улицы, участники драки моментально разбежались, не дожидаясь прибытия полицейского подкрепления, за которым сбегал один из агентов. В темноте Тереза почувствовала, что ее кто-то поднял с пола и понес по лестнице вниз, а затем по улице; они огибали какие-то углы, входили в какие-то переулки, выходили оттуда дальше — так длилось ее молчаливое путешествие на груди у гиганта, от

[1] Атлетическая народная игра, в которой противники, вооруженные кинжалом или ножом, совершают характерные быстрые движения, как бы нападая друг на друга.

которого исходил соленый запах; в конце концов кто-то поставил ее на ноги в тихом уголке улицы, за многие кварталы от «Веселого Парижа». Перед ней — улыбающийся кабокло:

— Жануарио Жерэба, к вашим услугам. В Баие я более известен как капитан парусника Жерэба, но кто меня любит, тот называет меня короче — Жану́.

Улыбнулся он, и весь мир озарился сияющим светом.

— Я унес вас из этой суматохи, чтобы уйти от полицейских, ведь полиция всюду сволочная — и там, и тут, и повсюду.

— Спасибо, Жану,— отозвалась Тереза.

Любовь не покупается, не продается, не навязывается с ножом, приставленным к груди, а избежать ее невозможно: зарождается она сама собой.

Он кого-то ей напоминал — знакомое лицо, кто бы это мог быть? По профессии он — человек моря, капитан рыбачьего судна, его порт — Баия, воды залива Всех Святых и реки Парагуасу; в гавани Рыночного Откоса он оставил на якоре свое суденышко под названием «Цветок вод».

Гигантом, как ей показалось во время драки, он, в сущности, не был, но до этого ему недоставало не так уж много. От груди, крепкой, как киль судна, от смеющихся глаз, от больших мозолистых рук, от него всего, медленно покачивающегося на каблуках, но крепко стоящего на земле, исходило ощущение спокойствия — впрочем, пожалуй, не спокойствия, Тереза мысленно поправила себя: наверняка он способен на неожиданные поступки и взрывы,— и все же ощущалась безопасность, прочная уверенность. Боже мой, на кого же похож этот человек, вышедший из моря?

Не то что он похож лицом или физическим обликом, но он кого-то напоминает Терезе, походит на какого-то близкого ее знакомого. Тереза, стоящая рядом с ним на улице, уже отличалась от той возбужденной в драке девушки; сейчас она, скромная и застенчивая, слушает его рассказ: он вошел в «Веселый Париж» как раз в тот момент, когда она плюнула мерзавцу в лицо и вступила с ним в драку — храбрая женщина, перед ней надо снимать шляпу.

— Вовсе не храбрая... Я очень даже труслива, но только не могу видеть мужчину, бьющего женщину.

— Кто бьет женщину и издевается над ребенком, тот вообще не мужчина,— соглашается гигант.— Я только не видел начала драки. Что же там произошло?

Здесь, в Аракажу, он оказался почти что случайно: решил помочь владельцу баркаса «Вентаниа», своему другу, у которого заболел матрос перед самым отплытием, а задерживать судно было нельзя: хозяин товаров очень торопил, не соглашаясь ни на какие отсрочки. Капитан парусной шхуны Каэтано Гунза́, кум Жануарио, в трудную минуту обратился к нему, а друг должен выручить, иначе разве это друг? Жануарио отчалил на своем судне из Баии, от гавани у Рыночного Откоса — переход был хорошим, легкий ветер; не море, а праздник. Прибыли они накануне и провели в порту Аракажу ровно столько времени, сколько понадобилось на то, чтобы разгрузить тюки с табаком из Круз дас Алмас и получить новый груз, чтобы поездка была более выгодной. Немного дней — так сказать, увеселительная прогулка. Кум, устав, остался на борту, а он сошел на берег, чтобы потанцевать — это было его слабостью. А вот вместо танцев угодил в заваруху, да еще какую!

Сейчас они шагали наугад, без определенного направления, не думая о времени; должен же быть в этом городе еще открытый бар, где бы можно было пропустить глоток вина, отпраздновать победу

и состоявшееся знакомство — так сказал он, и они гуляли, он — рассказывая, она — слушая; слушая прибой, свист ветра в надутых парусах, шум моря в раковинах. Тереза ничего не знала о море, впервые находилась близко от вод океана, в бухте Аракажу, за городом, и рядом с собой она ощущала раскачивающуюся походку человека моря, видела его грудь, опаленную солнцем и ветром, продубленную бурями. Жануарио закурил глиняную трубку; в море — рыбы и потерпевшие крушение, черные спруты, серебристые скаты, корабли, пришедшие с другого конца света, саргассовые поля.

— Поля? В море? Как это возможно?

Он не успел объяснить — они снова вышли на Переднюю улицу, совсем близко от «Веселого Парижа». Разноцветные огни его вывески служат ориентиром для парочек, ищущих приюта на ночь или на полчаса: время от времени там и тут в какой-либо из бесчисленных каморок огромного дома зажигается неяркая лампочка; у двери полузамаскированного входа Алфредо Крыса, сводник неопределенных лет, собирает по поручению домовладельца сеньора Андраде плату вперед. Откуда-то неподалеку слышится голос адвоката и перестук костылей:

— Эй! Это вы там? Подождите меня!

Лулу Сантос бродит в поисках Терезы, опасаясь, как бы она не попала в западню, подстроенную Либорио или полицейскими. Знаток всех таверн Аракажу, он повел их выпить кашасы в одном баре поблизости. Тереза едва пригубила — так она и не привыкла к кашасе, не нравится ей, хотя эта была превосходного качества и даже пахла мадерой. Адвокат потягивал маленькими глотками, смакуя, как если бы наслаждался первоклассным ликером, выдержанным портвейном, хересом или французским коньяком. Капитан Жерэба разом опрокинул стопку:

— Нет ничего хуже кашасы; кто ее пьет, ума не наберет.— И рассмеявшись, попросил налить еще.

Лулу сообщил последние вести с поля сражения: когда агенты появились, они нашли лишь его, Лулу, поэта Сараиву и Флори, втроем сидевших самым мирным образом и попивавших пиво. Либорио, король отвратительного сброда — этот подонок! — ушел, представь себе, Тереза, под защитой кого? Той девки, из-за пощечины которой и вышла вся эта история. Увидев, как верзила, схватившись обеими руками за пах, ревет и зовет врача, так как, мол, приобрел навечно грыжу, эта девка, не обнаружив в зале коммивояжера (все посетители уже отправились по домам или по отелям) и забыв о полученных пощечинах, подхватила каналью, они спустились по лестнице; конечно, оба они стóят друг друга — и она, привыкшая к обманам и побоям, и он, погрязший в пороках и скандалах. Дерьмовый народ, заключил Лулу Сантос.

Поэт Сараива хотел увлечь Лулу Сантоса в пансион Тидиньи — лучшее место, по его мнению, где можно завершить ночь,— но крючкотвор, озабоченный судьбой Терезы, отказался от приглашения. И поэт, хрипло покашливая с присвистом в груди, побрел один.

После новых стопок кашасы они распростились. Лулу Сантос взял такси, чтобы отвезти Терезу домой, ведь этот Либорио — прохвост, он друг-приятель полицейских шпиков, не следует связываться с ним. Из окна машины она еще видела его, капитана Жануарио Жерэбу, шагавшего по направлению к мосту, близ которого стоял на причале баркас. Моряк — цвета зари, и в свете зари он растворился.

Сердцем ее завладевало смятение. Терезу охватило то же самое чувство, делавшее ее робкой, без сил, лишавшее духа сопротивления, какое она испытала впервые много лет назад на складе, когда увиде-

ла Даниэла, того ангела, сошедшего с олеографии, изображавшей Благовещение, того Дана с томными глазами. На кого же похож кабокло? Похож не похож, но очень напоминает какого-то знакомого ей человека. К счастью, он не ангел, сошедший с картинки, спустившийся с неба. С тех пор Тереза не доверяет мужчинам с ангельским лицом, со скорбным голосом, с обманчивой красотой: они могут быть хороши в постели, но вообще-то лживы, трухлятина.

Оставшись одна дома (с Лулу Сантосом она распростилась — «Большое спасибо, друг мой!» — не позволила ему выйти из автомобиля; если бы он зашел, то, возможно, захотел бы задержаться), в убогой комнатке, на узкой железной кровати, закрыв глаза, чтобы призвать сон, она тут же вспомнила, кого напоминает капитан парусника: он напоминает ей доктора. Они нисколько не похожи друг на друга: один — белый, изысканный, богатый, образованный, другой — смуглый мулат, опаленный морскими ветрами, бедный и не слишком грамотный; и тем не менее между ними возникло что-то общее, роднившее их. Что это? Уверенность, веселость, добродушие? Как знать? Или мужская выдержка?

Капитан Жануарио Жерэба обещал прийти за ней, чтобы показать ей порт, парусный баркас «Вентания» и морской прибой за городом. Где же он, почему не держит своего слова?

5

В уснувшем городе, в пустынном порту, одинокая и опечаленная, страдая от задетого самолюбия, Тереза Батиста поджидает Жануарио Жерэбу. Может быть, он не смог прийти — занят или болен. Но ему бы ничего не стоило известить ее, послать кого-нибудь с запиской. Он пообещал прийти за ней к вечеру, хотел угостить на баркасе рыбной мокекой [1], приготовленной по-баиянски — «поджарить ее на растительном масле, это я умею!»,— потом они отправились бы любоваться морем, волнами, пенным шумом прибоя, там, за входом в гавань, настоящим морем, а не этим рукавом реки. Котингиба — красивая река, ничего не скажешь, спокойная, широкая, она окружает остров Кокосовых Пальм, там — якорная стоянка крупных парусников и небольших грузовых судов; но море — ты увидишь, оно совсем другое, никакого сравнения — ах, море! — это дорога без конца, оно обладает неукротимой силой, мощью бурь, нежностью влюбленного, когда волны набегают, пенясь, на песок. Он не пришел, почему? Он не имел права обращаться с ней как с какой-нибудь девчонкой, ведь она не навязывалась.

В предыдущие дни капитан Жануарио, занятый разгрузкой баркаса и очисткой его для нового груза — мешков с сахаром,— все же находил время, чтобы посетить Терезу, посидеть с ней на Императорском мосту, рассказывая истории о парусниках и далеких плаваниях, о бурях и кораблекрушениях, о происшествиях в порту, на кандомблэ, случившихся с моряками и капоэйристами, негритянскими жрицами — «матерями святого» и божествами — «ориша». Говорил ей о всевозможных праздниках, рассказывал о Баие, каков он, этот город, родившийся в море и забравшийся на гору с изрезанными склонами. А Рынок? А Агуа дос Менинос? Рыночный Откос, портовая гавань, школа капоэйры, где он упражнялся по воскресеньям, площадка кандомблэ,— по его твердому убеждению, Тереза, должно быть, дочь богини Янсан, поскольку обе они одинаково отважны и реши-

[1] Жаркое из рыбы или моллюсков с растительным маслом и перцем.

тельны: Янсан, хотя и женщина,— мужественное божество, она — рядом со своим супругом, богом Шанго, она взяла в руки оружие войны, не боится даже эгунов[1], мертвецов, она их поджидает и приветствует своим воинственным кличем: Epa rrei!

Накануне на Императорском мосту он дотронулся пальцами до ее пораненной губы, желая убедиться, что следа от удара уже не осталось — только зуб еще не вставлен. Жануарио не пошел дальше легкого прикосновения, тем не менее и этого было достаточно, чтобы она вся затрепетала. Вместо того чтобы горячими поцелуями проверить, выздоровела ли губа, он отнял руку, будто обжег ее о влажные уста Терезы. Он принес ей рио-де-жанейрский журнал с цветным фоторепортажем о Баие. На развороте виднелись Рыночный Откос и бросившая якорь шхуна «Цветок моря» с голубым парусом, только что вернувшаяся из плавания. На корме стоял, зашивая штаны, полуголый Жануарио Жерэба, для Терезы — Жану: «Кто меня любит, тот называет меня Жану».

Тереза спустилась по Передней улице, отыскивая глазами знакомую фигуру гиганта, его морскую, вразвалочку походку, дымящуюся глиняную трубку. Со старого деревянного моста, неподалеку от «Ватикана», она различает контуры баркаса «Вентаниа» с потушенными огнями; никакого движения на борту; если там кто-нибудь и есть, то наверняка спит. Тереза не отваживается подойти ближе. А все-таки где капитан Жерэба, куда исчез гигант моря?

На первом этаже «Ватикана» разноцветные лампочки — красные, зеленые, желтые, лиловые, голубые — приглашают золотую молодежь Аракажу и приезжих в танцевальный зал «Веселого Парижа». Быть может, Жануарио резвится там, держа в объятьях какую-нибудь даму или девку из порта; танцы ведь всегда были его слабостью, ведь ради танцев он и пришел в кабаре в тот вечер, когда произошла потасовка. Кто бы дал Терезе силы перешагнуть порог, подняться по лестнице, пройти через залу и, подражая Либорио, направиться к танцевальной площадке, встать с негодующим видом, подбоченившись вызывающе и насмешливо перед Жану, прижимающим к груди партнершу: это так-то вы, сеньор, разыскиваете меня дома, как было условлено?

Флори запретил ей заходить вечером в кабаре — импресарио хотел сохранить до дебюта облик Терезы в момент нашумевшей драки, образ, который все помнили и обсуждали; если же она будет появляться по вечерам, танцуя, беседуя с одним и с другим, то уже ни один завсегдатай кабаре не подумает о ней как о тигрице, вскочившей в бешенстве, чтобы плюнуть в лицо Либорио, бросив воинственный вызов полмиру. Все должны увидеть ее снова лишь в грандиозный вечер представления Королевы Самбы — в широкой юбке с оборками, кофте и тюрбане. Не увидят только распухшей губы и отсутствия зуба. Кстати о зубе — Флори, многоопытный в жизни, спрашивал себя, когда же доктор Жамил Нажар закончит свой шедевр, еще ни один хирург-дантист и протезист не тянул столько времени, чтобы вставить какой-то несчастный золотой зуб. Мулат Каликсто Гроссо, завзятый весельчак и здоровяк, вожак грузчиков Аракажу, с ума сходящий по золотым зубам, насчитывает их семь штук во рту — четыре сверху, три снизу. Причем один из верхних, посередине — самый красивый из семи; и почти все они были вставлены доктором Нажаром в мгновение ока. За один раз он вставил их три, три огромных зуба, однако на это не потребовалось и половины того времени,

---

[1] Мифические персонажи в ритуальном обряде кандомблэ.

какое он уже затратил, чтобы укрепить единственный крошечный золотой зуб во рту Терезы Батисты.

Не только вследствие запрета и нехватки зуба, но главным образом потому, что у нее не было права, никакого права, даже самого крохотного, лишить удовольствия капитана парусника, если бы застала она его танцующим, флиртующим, обнимающимся или предающимся любовным утехам с какой-нибудь девкой. До этого дня она не могла предъявить ему претензий даже как возлюбленная: только беглые взгляды — к тому же он отводил глаза, заметив, что Тереза пожирала его взглядом. Правда, она называла его ласково — Жану, показывая тем самым, что любит его, а он взамен давал ей различные нежные имена: Тетá, моя святая, смугляночка, малышка, на этом у них, собственно, и заканчивалась вся интимность. Тереза держалась выжидающе, как полагается достойной женщине: от него должны исходить первое слово, намек, первый ласковый жест. Он выглядел счастливым рядом с Терезой, веселым, улыбающимся, но дальше этого не шел, не переступал рубеж платонических вздохов: будто что-то мешало тому, чтобы потеплел его голос, чтобы у него вырвалось хоть слово любви, ласковое прикосновение,— что-то явно останавливало капитана Жануарио Жерэбу.

И, наконец, он не сдержал обещания, заставив ее ждать с семи вечера. Потом появился Лулу Сантос, приглашая ее в кино, но она предпочла остаться дома; адвокат стал рассказывать ей о Либорио, поведал истории о совершенных им грабежах и бесчинствах — на редкость отвратительный субъект этот Либорио. Лулу Сантос простился после девяти, довольный, что открыл с помощью Терезы чудодейственную формулу, которая позволит ему разоблачить негодяя при следующей встрече. Тереза пожелала спокойной ночи старой Адриане, попробовала заснуть, но ей это не удалось. Взяв черную шаль с красными розами, последний подарок доктора, она накинула ее на голову и плечи и направилась в порт.

Никакого следа капитана Жануарио, гиганта Жану. Вернуться домой — это все, что ей оставалось: постараться забыть его, засыпать пеплом пылающие угли, потушить языки пламени, пока еще есть время. Безрассудное сердце! Как раз когда она пребывает в мире с самой собой, спокойная и отрешенная от всего, расположенная наладить жизнь, так как ничто ее не волнует, непослушное сердце вспыхнуло любовью. Полюбить легко, любовь приходит, когда ее не ожидаешь; взгляд, слово, жест распространяются как огонь, обжигая грудь и уста; трудно забыть возлюбленного, тоска разъедает ее; любовь не заноза, которую можно выдернуть, не опухоль, которую можно удалить,— это неизлечимое, упорное страдание, раздирающее всю душу. Тереза, закутанная в испанскую шаль, плетется к дому. Скупая на слезы, она смотрит перед собой сухими, горящими глазами.

Кто-то торопливо идет следом за ней, Тереза думает, что это мужчина, ищущий женщину, чтобы провести ее в «Ватикан» через потаенную дверь Алфредо Крысы.

— Эй, дона, подождите, я хочу кое-что сказать вам. Пожалуйста, подождите.

Поначалу Тереза решила было ускорить шаг, но раскачивающаяся походка и тревожная нота в голосе человека заставили ее остановиться. По его озабоченному лицу, и волнующему запаху, такому же, какой она ощущала, прижимаясь к груди Жануарио,— запаху моря, хотя Тереза ничего не знала о море, кроме того немногого, что услышала в эти дни из веселых уст Жану,— и такой же коже, вы-

дубленной ветром, еще до того, как с ним заговорить, она догадалась, кто он, и почувствовала стеснение в груди: неужто случилось что-то дурное?

— Добрый вечер, дона. Я капитан Гунза́, друг Жануарио, он прибыл в Аракажу на моем баркасе, помогал мне в одном деле.

— Он болен? Мы должны были встретиться, он не явился, я хотела бы узнать о нем.

— Он арестован.

Они пошли рядом, и Каэтано Гунза, владелец баркаса «Вентаниа», передал ей то, что ему удалось узнать. Жануарио купил рыбы, масла дендэ, лимон, горького стручкового перца и травы коэнтро, в общем, всяческих приправ; искусный повар, он в этот день особо отличился в приготовлении мокеки — Каэтано это стало известно, так как он попробовал ее немного в ожидании Жануарио и Терезы, когда пробило уже девять, а Тереза и кум не появлялись и голод давал о себе знать. Еще в начале восьмого, оставив кастрюлю на углях, Жануарио отправился за Терезой, сказав, что вернется через полчаса. Больше Каэтано его не видел. Поначалу он не тревожился, решив, что Жануарио отправился прогуляться с девушкой либо зашли они в дансинг, поскольку Жану — любитель шаркать ногами. По словам Каэтано, вскоре после девяти он положил себе в тарелку мокеки, поел, но аппетита не было — он уже начал беспокоиться: оставив тарелку и вилку, пошел искать его, однако получить вести о друге удалось лишь очень далеко, у одной пивной. Парни рассказали ему, что полиция схватила какого-то хулигана (опаснейшего, как утверждал шпик) и понадобилось более десятка тайных агентов и полицейских, чтобы скрутить его; он действительно оказался человеком ловким, капоэйристом — изувечил трех-четырех полицейских. Здоровый дядя, похож на моряка. Не было сомнения, кто арестован. Разъяренные полицейские не забыли о той ночной драке.

— Я уже ходил туда и сюда, побывал в главном полицейском управлении, наведался в два участка, никто о нем ничего не знает.

Ах! Жану, подумать только, что я хотела было тебя забыть, засыпать пеплом пылающие угли, потушить пламя, которое жжет мою грудь! Вовеки тебя не забуду, даже когда баркас «Вентаниа» пересечет, уходя вдаль, бухту и ты будешь стоять у руля или у паруса, в жизни тебя не забуду. Если ты не поддержишь меня, я возьму твою большую руку, показавшуюся мне такой легкой, когда ты дотронулся ею до моей губы. Если ты меня не поцелуешь, мои губы найдут твои горячие уста, соль твоей груди; ах, даже если ты меня не любишь...

6

Около двух часов ночи мокека наконец была подана на корме баркаса — мокека, от которой оближешь пальцы; Лулу Сантос обглодал кости рыбы, отдав предпочтение голове — самой вкусной частичке, по его мнению.

— Поэтому, видно, у вас, сеньор, столько мозгов в голове,— высказал свое соображение капитан Гунза, знаток научных истин.— Кто ест голову рыбы, сразу умнеет, это дело известное и давно доказанное.

В немногие, быстро пролетевшие часы владелец баркаса «Вентаниа» сделался горячим поклонником адвоката-крючкотвора. Тереза и Гунза поехали, чтобы разбудить его, поднять с постели. Лулу жил на холме Санто-Антонио, в скромном домике с садом.

— Я знаю, где находится дом сеньора Лулу,— похвастался шофер, хотя, в сущности, нечем было хвастаться, так как весь Аракажу знал адрес адвоката.

Женский голос, усталый и безропотный, ответил на гудки такси, на хлопки в ладоши капитана Гунзы: несмотря на поздний час, как только они сказали, что речь идет о срочном деле, о том, чтобы высвободить кого-то из тюрьмы, голос стал приветливее:

— Сейчас выйдет. Не задержится.

В самом деле, немного погодя Лулу, высунувшись из окна, пожелал узнать:

— Кто там, что угодно?

— Это я, доктор Лулу, я — Тереза Батиста.— Она назвала его доктором в знак уважения к супруге, чья бдительная тень виднелась позади фигуры адвоката.— Извините за беспокойство, но я здесь с капитаном баркаса «Вентания»; его товарищ...— Да, а как ему объяснить, что речь идет о гиганте, столь решительно действовавшем во время потасовки в кабаре? — Мне кажется, вы его знаете...

— Не тот ли, что вчера вечером избил полицейских и шпиков в «Веселом Париже»? — Тереза была смущена, а Лулу был весьма доволен при упоминании о кабаре.

— Да, это он, сеньор.

— Подождите, я сейчас выйду.

Несколько минут спустя Лулу Сантос присоединился к ним на улице; через сад была видна фигура женщины, закрывавшей дверь. Кротким тоном она советовала: «Поберегись ночной росы, Лулу». Он сел в машину, сказал шоферу: «Трогай, Тиан». Тереза начала объяснять происшедшее. Каэтано был немногословен:

— Я сказал Жануарио: кум, остерегайся, шпик хуже змеи, мстит только предательски. А кум не послушался, таков он, все встречает с открытой грудью.

Лулу позевывал, все еще не очухавшись от сна.

— Нет смысла объезжать участки. Лучше отправиться прямо наверх, к доктору Мануэлу Рибейро, начальнику полиции; он — мой друг, в общем добряк.

Он вполне положительно обрисовал его: знаток права, начитанный человек, высокообразованный — и смельчак, с ним шутки плохи, однако не терпит несправедливостей, необоснованных преследований, конечно, когда речь не идет о политических противниках. Но и в таких случаях в его действиях нет ничего личного: преследуя оппозиционеров, доктор Рибейро делает это во исполнение своих функций чиновника, несущего ответственность за общественный порядок, отправляя административную обязанность, предписываемую его должностью. Об его сыне и говорить не приходится, он что-то пишет — расцветающий талант.

Несмотря на поздний час, в гостиной начальника полиции горят огни, видны какие-то фигуры. Солдат военной полиции, тоскующий, видимо, по тем временам, когда он был кангасейро [1], охраняет вход в дом, прислонившись к стене, в непринужденной позе. Но как только автомобиль останавливается, резко затормозив, солдат мгновенно выпрямляется по команде «смирно» и кладет руку на револьвер. Лишь узнав Лулу Сантоса, расслабляется и, приняв прежнюю позу, с улыбкой обращается к нему:

— Это вы, доктор Лулу? Хотите поговорить с начальником? Входите.

---

[1] Грабитель.

Тереза и капитан Каэтано ожидают в машине; шофер из чувства солидарности успокаивает:

— Не беспокойтесь, дона, доктор Лулу освободит вашего мужа.

Тереза тихонько усмехнулась, не ответив. Шофер стал дальше рассказывать о подвигах Лулу. Хороший он человек, бросает все, чтобы помочь нуждающемуся, а ум у него какой! Ах, когда он выступает защитником в суде, нет прокурора, который мог бы справиться с ним, нет ни в Сержипе, ни в соседних штатах, а он уже защищал подсудимых в Алагоасе и Баие, причем не только в провинции, но и в столицах штата. Частый посетитель судебных процессов, шофер описывает волнующие подробности суда над кангасейро Маозиньей, одним из последних, бродивших с винтовкой и патронами по сертану [1], куда прибыл из Алагоаса, имея на счету невесть сколько убитых и совершив здесь, в Сержипе, еще немало убийств. Судья поручил Лулу Сантосу защищать его в общественном порядке, то есть безвозмездно, поскольку у кангасейро не было и медяка. Эх, кто не присутствовал на этом суде от начала до конца — сорок семь часов прений сторон,— тому не известно, что такое адвокат с мозгом в голове. Вы бы послушали, как он начал защиту: хитрец! Указал пальцем на судью, потом на прокурора, на присяжных, одного за другим, и под конец приставил палец к груди, указывая на самого себя, и воскликнул: «Кто совершил убийства, которые прокурор приписывает Маозинье? Это — сеньор судья, это — сеньор прокурор, это достойные присяжные заседатели, это — я, это — все мы, организованное общество!» В жизни не слышал более красивой речи, еще и сейчас волнуюсь; представляете, что я чувствовал тогда?!

В конце концов адвокат появился, посасывая дорогую сигару, которой его угостил начальник полиции, вышедший сопровождать Лулу Сантоса, и представитель власти продолжал громко смеяться над какой-то шуткой своего друга, Лулу приказал шоферу:

— В главное управление, Тиан.

Жануарио уже появился в дверях, когда машина остановилась. Тереза выскакивает, бежит к нему с протянутыми руками, бросается на шею гиганту. Капитан Жерэба улыбается, вглядываясь в ее глаза: исчезает непоколебимое решение, принятое было им в душе; ну как можно не поцеловать ее, когда она уже впилась ему в губы? И все же это был мимолетный поцелуй, пока ее спутники выходили из машины. От подъезда главного управления глядели агенты; приказы начальника, к несчастью, не подлежат обсуждению: «Освободить человека сейчас же, а если тронете его снова, будете иметь дело со мной!»

Они его тронули до этого — достаточно было видеть опухший глаз моряка; сражение, развернувшееся на улице, повторилось в тюрьме. Несмотря на неблагоприятные условия и отсутствие болельщиков, капитан Жерэба дрался не так уж плохо: побили его, но побил и он. Когда эти прохвосты оставили его, пообещав вернуться позднее для новой экзекуции, «к утреннему кофе», по образному выражению одного из них, моряк был совершенно избит; но избиты были также агент Алсидо и детектив Агналдо.

Угощались мокекой все, в том числе и шофер, к этому времени уже решивший не получать оплаты за бесконечные разъезды, но в конечном счете все же взявший деньги, чтобы не обидеть капитана Гунзу, крайне щепетильного в финансовых вопросах. Лулу Сантосу

---

[1] Засушливый район северо-востока Бразилии.

удалось открыть новый талант шофера: Тиан, оказывается, сочиняет самбы и маршиньи, он чемпион многих карнавалов.

Они запивали рыбу кашасой — адвокат потягивал медленно, как всегда, причмокивая при каждом глотке, Жануарио и Каэтано опрокидывали стопки залпом, шофер не отставал от них. Тереза брала еду прямо пальцами — уже сколько лет она не ела таким образом, разминая пищу, делая шарики из рыбы, риса и муки и окуная их в соус? По прибытии на баркас она сделала Жануарио примочки под правым глазом, несмотря на его отчаянное сопротивление.

Быстро распив первую бутылку кашасы, они откупорили вторую. Лулу был сыт по горло — трижды накладывал себе мокеку. Шофер Тиан, поглотив изрядное количество мокеки и кашасы, пригласил всю компанию на фейжоаду [1] в воскресенье у него в доме, в конце улицы Симона Диаса; он посулил спеть друзьям под гитару свои последние сочинения. Дом бедняка, без роскоши и без претензий, сказал он, но нет недостатка ни в фасоли, ни в дружбе. Приняв приглашение, Лулу пристроился тут же на палубе и сразу заснул.

Было четыре часа утра, едва начало светать, когда, сидя рядом с развеселившимся шофером, Жануарио Жерэба и Тереза Батиста покатили в Аталайю, машина шла зигзагами — сказывалась выпитая Тианом кашаса.

Без музыки (хотя без аккомпанемента многое теряется, пояснил он) Тиан спел сочиненную им самбу о суде над бандитом Маозиньей — в честь сенсационной защиты Лулу Сантоса:

Ах, сеньор,
Кто ж убивал?
Нет, не тот, кто там стрелял...
Кто ж убил? Убили вы,
Прокуроры да судьи.
Голод тоже убивал,
Приговора лишь не ждал...

Он простирал перед собой руки, жестикулировал, чтобы подчеркнуть значение слов, временами бросал руль, и машина, оставаясь без управления, виляла, угрожая свалиться в канаву; но в эту ночь никакой аварии быть не могло: это ночь капитана парусника Жануарио Жерэбы и Терезы Батисты. Такому бракосочетанию можно позавидовать, муж и жена горячо влюблены друг в друга, бормочет шофер Тиан, уже в те годы сочинявший песни протеста. В конце концов он овладевает баранкой старого автомобиля. А влюбленные уходят по узкой тропинке: Тереза кокетливо прижимается к груди Жануарио, поеживаясь от свежего предрассветного ветерка.

Внезапно перед ними открылось море.

7

— Ах! — вздыхает Тереза. Они опускаются на песок и замирают в горячем объятии, а волны заливают им ноги, над ними рождается заря цвета кожи Жануарио. Наконец-то Тереза поняла, что аромат, исходивший от груди гиганта,— это крепкий запах моря. Запах и привкус моря.

[1] Блюдо из фасоли и вяленого мяса.

— Почему ты меня не хочешь? — спросила Тереза, когда они побежали, взявшись за руки, на пляж, чтобы удалиться от машины, в которой шофер заливался могучим храпом.

— Потому что я тебя люблю и желаю с самого первого мгновения, как увидел тебя в разгар битвы; я тогда же сдался, сраженный любовью; потому и избегаю тебя, боясь дать волю рукам, сжимая губы, заставляя умолкнуть сердце. Я хочу тебя на всю жизнь, а не на один миг — эх, если бы мог я увезти тебя с собой, в наш дом, надеть тебе на палец обручальное кольцо, увезти тебя раз и навсегда! Эх, это невозможно!

— А почему невозможно, капитан Жануарио Жерэба? С кольцом или без кольца — для меня не имеет значения; в нашем доме и навсегда — вот что важно. Что касается меня, я свободна, ничто меня не удерживает, и я не желаю ничего иного.

— Я не свободен, Тета. У меня оковы на ногах; это моя жена, и я не могу ее покинуть, она страдает тяжелой болезнью; я взял ее из отцовского дома, где у нее было все, был и жених-коммерсант; она относится ко мне всегда хорошо, переживает трудности без жалоб, работая и улыбаясь, улыбаясь, даже если нам нечего есть. Если я смог купить парусник, то это благодаря тому, что она заработала на первый взнос в кредит, растрачивая здоровье за швейной машинкой день и ночь, ночь и день. Всю жизнь она была хрупкой; у нее началась чахотка, она хотела иметь ребенка, но не получилось; никогда из ее уст не вырывалось ни одного слова жалобы. То, что я зарабатываю на паруснике, уходит на лекарства и на врача, чтобы продлевать болезнь, но не хватает на то, чтобы вылечить, вечно не хватает денег. Когда я взял ее из дома, я был просто портовым бродягой, у меня не было ни кола ни двора, не было и разума. Та, которую я любил и желал, которую похитил у семьи, увел от богатого жениха, ранее была здоровой, веселой, хорошенькой; ныне она больна, печальна и некрасива, но все, что у нее есть,— это я, ничего больше, никого больше, и я не выброшу ее на улицу, в канаву. Я хочу тебя не на один день, не на одну ночь — я хочу иметь тебя навсегда и не могу. Я не могу взять на себя обязательство, у меня наручники и оковы на ногах. Поэтому я не тронул тебя, не сказал тебе, что ты любовь всей моей жизни. Только у меня не было мужества бежать сразу, не возвращаться к тебе, хотелось сохранить навсегда в душе твой образ, твое смуглое лицо, ощущать мысленно вес твоей руки, вспоминать стройность твоей фигурки, красоту твоих бедер. Чтобы воспоминание о тебе утешало меня в плавании, чтобы, вглядываясь в море, я мог видеть тебя в нем.

— Ты честный человек, Жануарио Жерэба, ты говорил, как подобает говорить мужчине. Жану, мой Жану в оковах, как жалко, что нельзя раз и навсегда поселиться в нашем доме до самой смерти. Но если нельзя быть вместе всегда, пусть это будет лишь на день, на час, на минуту! Один день, два дня, меньше недели, для меня этот день, эти два дня, эта коротенькая неделя означают всю жизнь, умноженную на секунды, часы, дни любви, даже если потом я буду мучиться от тоски, желания, одиночества и мечтать о тебе все ночи, страдая. Пусть потом наступит расплата — я хочу быть с тобой сейчас, сию минуту, немедля, в этот самый миг, без какой-либо отсрочки. Сейчас и завтра, в воскресенье, в понедельник и во вторник, вечером и ночью, в любой час, где бы то ни было, лишь бы забыться в твоих объятьях. Даже если бы мне, несчастной, пришлось потом страдать, все равно я хочу быть с тобой, Жануарио Жерэба, капитан парусника, гигант, морской орел, моя судьба роковая...

Море было бесконечным — то зеленое, то голубое, то зеленовато-голубое, то светлое, то темное, светло-темное, синего и небесного цвета, цвета оливкового масла и дождевых струй, и как будто мало было моря, Жануарио Жерэба заказал еще луну из золота и серебра, фонарь, висящий в небесах над телами, сплетенными в любовной страсти; они пришли вдвоем, теперь они — одно целое на песчаном побережье, прикрытые ласковой волной.

Тереза Батиста с мокрыми от воды устами, расчесанными морем волосами, высокой грудью, со звездою пупка, обвитая морскими водорослями,— ах, любовь моя, пусть я умру на берегу моря, твоего Саргассова моря, твоего моря, где можно разойтись и потерпеть кораблекрушение, как знать, я, может быть, когда-нибудь утону в твоем море Баии, соскользнув с кормы твоего парусника? Жану, твои соленые уста, твоя могучая грудь, на твоей мачте — надутый парус, на гребне волн родилась я заново, девственница морей, невеста и вдова моряка, вереница солнечных бликов на воде и пена, вуаль тоски, ах, моя морская любовь!

8

Нынешние девушки ветрены, неразумны, не думают о завтрашнем дне. Старая Адриана качает курчавой головой.

— Сумасбродная, отказывается от своего счастья...— Большим счастьем, по убеждению старухи, мог быть для Терезы промышленник, он же сенатор.

Лулу Сантос пришел навестить Терезу, и встретившая его старуха разоткровенничалась:

— Тереза не сидит дома, уходит сразу же после утреннего кофе, день и ночь бегает за этим проклятым лодочником.

Девушка с такой осанкой и такой фигурой могла бы получить все, что пожелала в городе Аракажу, где нет недостатка в достойных мужчинах, женатых, с положением, с деньгами, готовых оказать покровительство такой красотке, как Тереза.

Она, Адриана, недолюбливает Венеранду. Лулу Сантос знает причины ее антипатии, но надо сказать правду: на этот раз эта заносчивая особа действовала весьма корректно. Венеранда поручила Адриане предложить Терезе скромную встречу в своем доме. «Ясно, в доме Венеранды — и знаете, Лулу, с кем? Угадайте, если сможете!..» Старуха даже понизила голос, чтобы произнести имя промышленника и банкира, сенатора Республики. За один вечер с Терезой, только за один вечер, он предложил ей небольшое состояние, похоже, нацелился на нее давным-давно — старая страсть, подогревавшаяся на медленном огне. А Венеранда обратилась к Адриане как к посреднице, пообещав ей приличные комиссионные. Терезе была обещана куча денег и — что еще важнее — возможность получить от щедрого богача богато обставленный дом. Если ему понравится девушка (а ему наверняка понравится), то Тереза получает большой куш, а она, Адриана, ее тень, довольствуется малым. Тереза — безмозглая, где у нее голова? Не ограничиваясь лишь отказом, Тереза, поскольку Адриана все настаивала — надо было сдержать слово, данное Венеранде,— пригрозила от нее уехать. Какая бессмыслица — пренебрегать самым богатым человеком Сержипе ради ничтожного морячишки; где видано подобное безумство?! Ах, эти нынешние девчонки, ветреные головы, только и думают не о том, кто больше платит, а о бедняке, в которого влюблены. Они забывают главное —

деньги, движущую силу мира — и кончают потом в больнице для бедняков.

Лулу Сантоса забавляет отчаяние старухи, и в то же время он размышляет по поводу предложения Венеранды, об обещанных ею комиссионных. Значит, старая Адриана, женщина принципиальная и скромная, превратилась в сводницу, служит самой известной содержательнице дома свиданий в Аракажу? Где же ее профессиональная гордость?

— Лулу, времена трудные, а у денег нет ни клейма, ни запаха. Адриана, моя добрая Адриана, оставь девушку в покое. Тереза знает цену деньгам, не обманывается; но знает она и цену жизни и любви. Думаете, только сенатор бегает за ней с бумажником в руке? Есть еще умирающий из-за нее поэт, у которого куча стихов, каждая их строка сама по себе равна миллионам промышленника. Если Тереза не принадлежала поэту, почему должна принадлежать фабриканту? Поэт пожелал только ее, Адриана, он избрал ту, что пленила его сердце. Оставь Терезу в покое на короткое время любви и радости, и приготовься к тому, чтобы позаботиться о ней, приласкай ее, согрей ее дружбой, когда завтра или позднее, через считанные дни моряк уедет и начнется безмерно долгое время горького ожидания...

Адриана, утирая Терезе слезы (она плачет редко, моя старуха), обещала, что будет ей сестрой, матерью, хотя, ветреная голова, она, в сущности,— единственная виновница; это Адриана предложила ей опереться на нее, предложила ей свою помощь. В глазах Адрианы появился мимолетный проблеск надежды: оставшись одна, с холодной головой, освободившись от своего моряка, Тереза, быть может, передумает и решит принять кучу денег от сенатора, отца города и родины. Адриана же довольствуется малым.

9

— Ты мне скажешь только накануне,— просит Тереза,— я не хочу знать заранее о твоем отъезде.

У них все было так, как если бы они решили провести вместе всю жизнь, не ожидая разлуки в ближайшем или отдаленном будущем, как если бы баркас «Вентаниа» навсегда бросил якорь в порту Аракажу. На песчаном побережье, в роще кокосовых пальм, на затерявшемся островке, в комнате Терезы, на борту баркаса они проводят свои праздничные дни в любовном исступлении. Нежные вздохи слышатся повсюду в штате Сержипе.

Жануарио разделяет жизнь Терезы: на репетиции он обучает ее пластичным движениям капоэйры, игре гибкого тела, придавая скромному танцу Терезы грацию, элегантность и отвагу под барабанную дробь хоровода самбы, самбы Анголы,— обучает он, капитан парусника и мастер капоэйры, плясун афошэ [1].

Они целовались в автобусе, прогуливались, взявшись за руки, по порту, присаживались поболтать на Императорском мосту, на корме «Вентаниа». Однажды вечером Жануарио поехал с ней кататься по реке; бросив весла, он, не обращая внимания на качающуюся лодку, сжал девушку в объятьях. Они со смехом брызгали друг в друга водой, легкая лодка скользила вниз по течению. Потом, причалив к острову Кокосовых Пальм, они вышли на берег, чтобы отыскать укромное местечко. Ночью они любовались луной. Одни на огромном

[1] Танцевальная группа на карнавале.

песчаном побережье, они, нагие, бросились в море, и Тереза вся в соли и пене среди волн была с любимым.

— Теперь ты не Янсан, ты была Янсан только в драке. Сейчас ты — Жанаина, королева моря,— сказал ей Жануарио, знающий все о богах.

Терезе хотелось расспросить его о паруснике «Цветок вод», о плаваниях, о реке Парагуасу, об острове Итапарика, о портах, в которые он заходил,— какова там жизнь, о Баие. Но с той первой ночи, когда он сказал ей самое важное, они больше не говорили о парусниках, о реке Парагуасу, о Марагожипе, Санто-Амаро и Кашоэйре, об островах и пляжах, о городе Баие, о бухте Всех Святых. Они болтали о жизни Аракажу: о «Веселом Париже», о репетициях ее танцевальных номеров, о ее дебюте, что, наконец, должен был состояться на днях, о золотом зубе, который никак не может вставить дантист Жамил Нажар, хотя и бахвалится, что он — художник зубных протезов, показывая свои шедевры. Так толковали они, будто никогда уже не разлучатся, будто жизнь их остановилась в час любви.

В воскресенье они вместе с Лулу Сантосом и капитаном Каэтано Гунзой пришли на завтрак в дом шофера Тиана, как было условлено. Богатая фейжоада, заслуживающая самых превосходных степеней и восторженных слов. Необыкновенное оживление, множество приглашенных: шоферы-таксисты, музыканты-любители с гитарой и флейтой, виртуоз игрок на маленькой гитаре-кавакиньо, соседские девушки, шумливые подруги жены Тиана. Кашаса и пиво, газированная вода для женщин. Ели, пили, пели, под конец затеяли танцы под радиолу. Жануарио и Терезу все считали за супругов.

— Красавица — жена этого силача.

— Человек моря, сразу видно.

— Ну и красотка!

— Соблазнительная штучка, однако не вздумай приставать к ней, она ведь замужем за таким типом.

Жена моряка — кто не знает, что это такое. В короткое время она становится вдовой в случае гибели мужа в море или потому, что он уходит в далекое плавание. У любви моряка быстротечный прилив. Возможно, Терезе Батисте известно, что любовь мимолетна, что это радость на мгновение, не потому ли и бежала от нее Тереза Батиста.

Тяжкой ценой приходится платить: жизнь в трауре. И все же это стоило недолгого раннего утра любви: по самой дорогой цене, ах, и это было дешево.

10

Не шевельнувшись — каменная статуя, высеченная на старом мосту,— Тереза Батиста следит за приготовлениями к отплытию баркаса «Вентания»: надутые легким ветром паруса, поднятый якорь, капитаны Гунза и Жерэба повсюду, на корме и на носу, у парусов и за рулем. Только что Жануарио забрался на мачту; цирковой артист, королевский орел — гигантская морская птица. Ах, Жану, мой избранник, мой муж, моя любовь, моя жизнь, моя смерть: сердце Терезы сжимается, трепещет стройное тело — статуя страдающей плоти.

Накануне, когда они сидели в кафе-баре «Египет», Жануарио сказал ей: завтра, с первым приливом. Взяв нежную ручку Терезы в свою мозолистую ручищу, он добавил: настанет день — вернусь.

Ни слова больше, только похолодевшие губы Терезы внезапно

обметало пеплом, ледяным стал мягкий вечерний бриз, солнце померкло, предчувствие смерти, сжатые руки, глаза, устремленные вдаль...

Противоречив мир: радость и грусть — все смешалось. В доме Жоаны дас Фольяс накрыт стол, откупорены бутылки, Лулу поднимает тост за Терезу, желает ей здоровья и счастья, да, счастья! Проклятая жизнь! На песчаном побережье прижимается девушка к груди Жану, единственного, для которого родилась и которого так поздно встретила: обладание с горьким привкусом разлуки, острое и яростное. На песках этой ночи любви слышатся заглушенные рыдания, плакать запрещено: налетела волна и накрыла их, накатило море и унесло его. Прощай, моряк!

Жануарио соскакивает с баркаса, вот он на причале, рядом с Терезой, стискивает ее в объятьях. Последний поцелуй согревает холодные губы; любовь моряков быстротечна, как прилив; в прилив «Вентаниа» отплывает, курсом на юг — к порту Баие. Терезе так хотелось расспросить его о тамошней жизни; но зачем? Паруса полны ветра, якорь поднят, баркас отходит от причала. У руля — капитан Каэтано Гунза. Холодные уста сливаются. В последнем опаляющем поцелуе сплавляются жизнь и смерть — Тереза прикусывает губу Жануарио.

Затухает огненный поцелуй, на губе у Жануарио выступает капелька крови, память о Терезе Батисте в самом уголке рта, вытатуированная золотым зубом: река и море, море и река, настанет день, я вернусь, хотя бы ливень острыми пиками обрушился на землю и море превратилось в пустыню; я вернусь, пусть ползком, вернусь в бурю, потерпев кораблекрушение, в поисках пропавшей гавани — твоей груди из нежного камня, твоего живота цвета глиняного кувшина, твоей перламутровой раковины, медных водорослей, бронзовой устрицы, золотой звезды, твоей реки и твоего моря; море и река, прощальные воды, которых никогда не увидеть. С причала, из объятий Терезы, моряк прыгает на палубу баркаса, гигант с привкусом соли, ароматом моря, скованный по рукам и ногам.

Недвижима Тереза. Глаза ее сухи. Каменное изваяние.

Солнце катится по серому небу, сумрак фиолетовых печалей, ночь без звезд, луна, ставшая ненужной навсегда. В тугих парусах быстрый ветер, рев рупора капитана Жануарио Жерэбы в самом тяжком прощании: прощай, смуглянка Тета, стонет низкий звук; прощай, любимый Жану, отвечает сердце, разрывающееся в агонии разлуки. Прощайте, воды, прощайте, море и река, прощайте... я вернусь... хоть ползком... на путях кораблекрушений... прощайте навсегда, прощайте...

Гигант, рупор, рвущий пространство; гонимый легким ветром, уходит баркас «Вентаниа», покидая гавань Аракажу; у руля — капитан Каэтано Гунза, рядом с мачтой — спасающийся бегством Жануарио Жерэба, птица с обрезанными крыльями, заточенная в железную клетку, с оковами на ногах. На границе вод реки и моря рука гиганта поднимается, подавая последний знак. Прощай!

Каменное изваяние на причале из старых досок, изъеденных временем. Тереза Батиста стоит тут, как прикованная, кинжал в груди. Ночь окутывает ее, обволакивает мраком, тоской и разлукой, опустошает — ах, моя любовь, море и река!..

11

Золотой зуб, ледяное сердце, пламя капоэйры, Тереза Батиста — Зажигательная Звезда Самбы, блистательная королева танца — наконец

дебютирует в «Веселом Париже», на первом этаже здания «Ватикан», в городе Аракажу, напротив порта, где стоял на якоре баркас «Вентаниа» Каэтано Гунзы; еще отражается эхом гортанный звук рупора, в который при прощании кричал капитан Жануарио Жерэба, прибывший, чтобы подработать и убить любовью ту, что успокаивала было сердце, возвращаясь к жизни. Ангольским ритмам самбы научил ее он, посол карнавального афошэ, победитель в танцах.

Ни разу со времен праздничного открытия кабаре год назад не был так переполнен зал «Веселого Парижа», никогда не была более оживленной и веселой золотая молодежь Аракажу. Под пронзительные звуки «Полуночного джаз-банда» теснились парочки на площадке для танца. Все столы заставлены пивом, коктейлями, местным коньяком, фальсифицированным виски, а для снобов — винами из Рио-Гранде. Все поклонники Терезы в сборе: художник Женнер Аугусто с запавшими от тоски глазами; поэт Жозе Сараива с грустными стихами — чахотка и цветок, сорванный мимоходом; дантист Жамил Нажар, маг протезов; торжествующий адвокат-крючкотвор доктор Лулу Сантос, а также счастливый хозяин заведения, претендент на ласки Звезды, Флориано Перейра, он же Флори Лежебока.

Помимо четырех, названных поименно, несколько десятков других трепещущих сердец воспылали страстью к Божественной Пастушке Самбы (как была названа на многоцветных афишах), не считая тех, кто по соображениям приличия, а то из скромности, не смог лично показаться в кабаре, чтобы поаплодировать дебюту Мисс Самбы (и так ее называли на афишах Флори). Один попросил лишь представить его: сенатор и промышленник, по мнению экономистов и старой Адрианы, он был самым богатым человеком в штате Сержипе. Венеранда, восседая за столом у танцевальной площадки в сопровождении беспокойной свиты своих дев, почтила представление, оказав честь присутствующим: ею были получены устные полномочия от некоей влиятельной персоны приступить к действию, предложить сколько будет нужно за согласие красавицы отдохнуть в укромном уголке дома матроны. Если девушка произведет благоприятное впечатление, окажется, как надо ожидать, на высоте, то важная персона будет впредь оказывать ей покровительство: предоставит дом, пищу, счет в магазинах, роскошные наряды наложницы, шоколадные конфеты, золотые часики, кольцо с бриллиантом (конечно, небольшим), даже альфонса, в случае необходимости.

По морю, где-то в районе Манге Секо, плывет баркас «Вентаниа», хлещут его волны, раскачивает южный ветер. Ах, любимый Жану, пора прилива, дорога гибели, ночь темная и пустая. Я не хочу ни предложений, ни аплодисментов, мне не нужны ни куча денег, ни полковник-покровитель, я ненавижу альфонсов, не хочу слышать стихи поэта, я люблю твою могучую грудь, пахнущую морем, твои уста, отзывающие солью и имбирем. Ах, незабвенный Жану!

И вот погасли огни, пробило одиннадцать вечера. Батарея джаза загрохотала, и корнет-а-пистон возвестил об ее выходе, о появлении Зажигательной Звезды Самбы. Багровый свет рефлектора упал на танцевальную площадку: Тереза Батиста, одетая в широкую юбку и кофту, баиянка в сандалиях, с ожерельями, браслетами, оставшимися в наследство от «Компании варьете» Жоты Порто и Алмы Кастро, красавица мусульманка или цыганка, кабоверде [1], или смуглянка, или местная мулатка, томная и кокетливая. Аплодисменты и одобритель-

[1] Метиска от брака индеанки и негра.

ный свист, шумные приветствия; Флори принес целую охапку цветов — подношение от администрации; поэт Жозе Сараива — увядшую розу и пачку стихов.

Разрекламированный дебют Терезы Батисты, однако, едва не сорвался снова по той же причине, что и в первый раз. Как только смолкли аплодисменты, послышался шум, возникший за одним из столов у танцевальной площадки, разгорелась ссора между наглым шалопаем, делающим первые шаги в карьере альфонса, и старой, усталой проституткой.

Тереза поклонилась, поблагодарила за цветы, стихи и аплодисменты, когда раздался угрожающий голос сутенера, заставивший женщину расплакаться:

— Я набью тебе морду.

Выпятив грудь, упершись руками в бока, с внезапно заблестевшими глазами Тереза крикнула:

— Ну-ка попробуй ее побить, хотела бы я посмотреть, парень... Ударь ее на моих глазах, если осмелишься.

На миг воцарилось нервное ожидание: затеет ли негодяй драку, неужто опять отложится дебют? Вспыхнет ли потасовка, вроде той, незабываемой? Не придется ли хирургу-дантисту Нажару вновь показать свое искусство? Нет, сутенер струсил, отступил, придя в полное замешательство, не зная, куда девать руки и спрятать лицо. Нескольких слов Терезы оказалось достаточно, чтобы навести порядок.

Бурная овация заглушила ее слова, и в море аплодисментов Тереза Батиста начала танцевать самбу.

Еще одна профессия; столько их она уже имела и еще будет иметь, она, у которой одна цель в жизни — стать счастливой со своим любимым моряком.

Накануне вечером она по предложению адвоката Лулу побывала вместе с ним в суде и там была представлена судье Бенито Кардозо, адвокатам, прокурорам, нотариусам и другим выдающимся личностям: Тереза Батиста, звезда эстрады. Скромна для звезды — несколько смущенная, с робкой улыбкой, зато какая красивая! Единодушно заключили, что она — новая победа хромого крючкотвора-бабника... Взгляд судьи выражал восхищение и желание: если бы он был судьей апелляционного трибунала штата, тотчас же предложил бы ей дом и опеку, но... получая жалованье простого судьи, чего едва хватает на содержание законной семьи, на содержание официального домашнего очага, как можно думать о любовнице, наложнице, о квартирке для нее?

В море аплодисментов артистка Тереза Батиста начала свою траекторию взлетов и падений — а дебют был триумфален.

Ледяное сердце, устрица, замкнувшаяся в своей раковине. Ах, если бы могла заплакать — мальчишка не плачет, моряк тем более! Воды моря разлуки, любовь потерпевших кораблекрушение. Где плывет капитан парусника Жануарио Жерэба, любимый Жану, по пути к порту Баии?

У Терезы все в движении — бедра и живот переливаются, точно морские волны в бурю, будто колышется на ветру гибкий стебель с цветком.

Холодное сердце, лед и даль. Ах, Жануарио Жерэба, гигант моря, буревестник, альбатрос над волнами, когда снова тебя я увижу, почувствую на твоей груди запах соли и моря, умирающая в твоих объятьях, задушенная твоими поцелуями? Ах, Жануарио Жерэба, капитан Жану, любимый, когда мы будем вновь наслаждаться любовью?

Как девушка пролила кровь капитана

1

Терезе Батисте не исполнилось еще и тринадцати лет, когда за полтора конто [1], немного продуктов и за кольцо с поддельным, но блестящим камнем тетка Фелипа продала ее плантатору Жустиниано Дуарте да Роза, тому самому капитану [2] Жусто, чья слава богача, храбреца и желчного человека давно разнеслась по всему сертану и за его пределами. Куда бы ни приезжал капитан со своими боевыми петухами, вереницей ослов, верховых лошадей, с грузовиком, с кинжалом, пачкой денег и наемными головорезами-телохранителями, слава о нем опережала его гнедую лошадь, его грузовик, пролагая путь для выгодных сделок.

Не любил много рассуждать капитан, но ему нравилось, когда люди преклонялись перед ним. «Обмарываются со страха»,— говорил он с удовлетворением шоферу Терто, по кличке Щенок, бандиту, бежавшему из Пернамбуко, спасаясь от правосудия. Терто частенько вытаскивал длинный нож для рубки табака, внушавший всем особое почтение: «Нечего спорить с капитаном; кто больше спорит, больше теряет, для него жизнь человека ничего не стоит». Передавали из уст в уста об убийствах и засадах, о махинациях в петушиных боях, о подделке счетов, о землях, приобретенных по дармовой цене под угрозой карабина и кинжала, о несовершеннолетних, ставших жертвами Жустиниано Дуарте да Роза. Сколько он обесчестил их, еще не достигших совершеннолетия! Ожерелье из золотых колец на жирной груди капитана звенит на дорогах, как погремки гремучей змеи: каждое кольцо — юная девушка, не считая тех, кому исполнилось пятнадцать лет.

2

Жустиниано Дуарте да Роза, нарядно одетый, в белом костюме, кожаных сапогах, шляпе панаме, соскочил с грузовика, протянул с приветливым видом два пальца Розалво, а всю руку — Фелипе, с ней он был любезен, улыбка так и сияла на круглом его лице.

— Как поживаете, кума? Можете угостить меня стаканом воды?

— Присаживайтесь, капитан, я подам вам чашечку кофе.

Из окна убогой гостиной капитан бросал алчные взгляды на девочку, то бегавшую по лугу, то взбиравшуюся на деревья, а то игравшую с дворняжкой. Вот сейчас, забравшись на гуяву, она сорвала и стала наслаждаться сладким плодом дерева. Выглядела она мальчишкой, со стройным торсом, грудью, едва обрисовывавшейся под ситцевой блузкой, юбкой, не прикрывавшей длинных ляжек. Худенькая и высокая, еще такая нескладная, с точки зрения соседских мальчишек; те из них, что были понахальнее, с уже пробудившимися инстинктами, и постоянно гонялись за девчонками, чтобы испытать удовольствие от первых прикосновений, поцелуев и объятий, не обращали внимания на Терезу — они бегали с нею на равных, играя в разбойников или в войну, и даже соглашались на то, чтобы она командова-

[1] Старая бразильская денежная единица, равная тысяче милрейсов (теперь — крузейро).

[2] Полковниками или капитанами в Бразилии называли крупных помещиков.

ла ими. На редкость ловкой и смелой она была, побеждала всех в беге, легкая, как никто из мальчишек, взбиралась на самые высокие сучья.

Взгляд капитана следил за девочкой, залезшей на дерево. Резкие движения приподнимали юбочку, показывали трусики, испачканные в глине. Глазки Жустиниано Дуарте да Роза еще больше прищуривались, чтобы лучше разглядеть. Впрочем, и глаза Розалво, потухшие и утомленные, глаза пьяницы, обычно устремленные на пол, тоже оживлялись при виде Терезы, он любовался ее стройными ногами и бедрами. Сидевшая у очага Фелипа внимательно наблюдала за взглядами Жустиниано Дуарте да Роза и мужа: если девчонка задерживалась хоть на мгновение, Розалво переводил глаза на ее грудь. Намерения мужа в отношении племянницы Фелипа обнаружила уже давно. Еще один веский довод в пользу очевидных притязаний капитана. Три посещения за две недели. бесконечно много праздной болтовни — столько потеряно времени. Когда же, наконец, он решится выложить карты на стол и заговорить о деле? По мнению Фелипы, пора покончить с долгими разговорами, капитан уже подтвердил, насколько он богат, какой властью располагает, известно, что его охранники готовы на любое преступление, его желания не являются секретом. Так чего же он тянет?

Или он думает, что добудет лакомый кусок задаром? Если он так думает, значит, не знает Фелипу. Капитан Жусто мог быть владельцем земель, плантаций и скота, крупнейшего магазина в городе, главарем головорезов, развратником, повелителем жизни и смерти, но все же он не хозяин и не родственник Терезы, не он кормил и одевал ее в течение четырех с половиной лет. Если хочешь ее заполучить, придется раскошелиться.

Не он ее вырастил и не Розалво, пьяница и бездельник, человеческая рухлядь, несносное бремя на плечах Фелипы. Если бы зависело от него, они не приютили бы несчастную сироту без отца и матери. А теперь, однако, он губы облизывает, когда она проходит, и алчным взглядом следит, как формируется ее фигура, поднимаются груди, округляются бедра; так же алчно он присматривал за откормом борова в свинарнике позади двора. Ничтожество, ни на что не пригоден, только и знает, что жрать да спать.

Это она, Фелипа, содержит дом, покупает муку, фасоль, вяленое мясо, старую одежду и даже кашасу для Розалво, работает не покладая рук, сажая, выращивая овощи и продавая их по субботам на рынке. Дело не в том, что Тереза требовала больших расходов, девочка даже помогала ей в домашнем хозяйстве и на огороде. Но все, что стоило денег, много или мало — еда, одежда, букварь и четки, тетради для школы,— все это давала ей тетя Фелипа, сестра ее матери Мариэты, погибшей вместе с мужем при аварии автобуса лет пять назад. Теперь, когда появляются претенденты, было бы справедливым, чтобы она, Фелипа, получила за все возмещение.

Возможно, племянница еще несколько зелена, не созрела, годика через два было бы в самый раз. А так она еще девчонка — нельзя того отрицать,— жестоко отдать ее капитану. И все же было бы безумием ждать. Ждать, чтобы застичь ее дома с Розалво или в лесу с каким-нибудь мальчишкой? Если воспротивиться, Жустиниано способен увести девочку силой, она будет его, и к тому же задаром... В конце концов, Терезе скоро исполнится тринадцать лет. Немногим больше было самой Фелипе в далекий роковой час, когда на одной неделе она пала жертвой Порсиано, четырех его братьев да его отца... И все же не умерла. Ей не хватало лишь брака, благословленного священником. Стольких пороков, как у пьянчуги Розалво, не знавали ни у кого в округе.

3

Надо суметь провести переговоры так, чтобы выторговать возможно больше, очень нужны деньжата. И к зубному врачу пойти, и привести немного в порядок дом, и купить кое-какой материи на платье, пару обуви. За эти годы она отощала и подурнела, мужчины на рынке уже не вертятся вокруг нее, а если останавливаются и подглядывают, то лишь для того, чтобы прикинуть, сколько лет Терезе.

Раз капитан хочет заполучить девчонку, он должен заплатить хорошую цену. Она не будет твоей, как другие, которых обесчестил, да еще задаром. Обычно, когда капитан обнаруживает девушку по своему вкусу, подходящую по возрасту и красоте, то начинает посещать дом ее родителей, делает вид, будто испытывает к ним дружеские чувства, приносит пакет молотого кофе, кило сахара, несколько леденцов в синих обертках, карамель, говорит вкрадчиво, окружает девушку вниманием, дарит конфеты, цветные ленты для волос и, в особенности, обещания; богат, щедр на обещания капитан Жустиниано Дуарте да Роза. И к тому же держится скромно.

В один прекрасный день без лишних слов он усаживает девушку в грузовик по-хорошему или силой, посмеиваясь над родителями. Кто осмелится протестовать или подать жалобу? Кто тут политический начальник, кто назначает полицейского инспектора? А солдаты, разве они не охранники капитана на содержании у государства? Что же касается достопочтенного судьи, то он без денег забирает продукты в лавке Жустиниано, всегда у него в долгу — как иначе судье прожить с женой и тремя сыновьями-студентами, грызущими науку в столице, когда самому приходится торчать в этой дыре, да еще содержать расточительную кокотку, как может он существовать на нищенское жалованье, выплачиваемое судьям, как? Ответьте, если знаете.

Однажды поступила жалоба от отца девчушки с высоким бюстом; ее звали Дива, имя отца — Венсеслау. Жустиниано остановил грузовик у дверей их дома, поманил девушку и, не проронив слова, увез ее с собой. Венсеслау отправился к судье и к полицейскому инспектору, угрожая, что изувечит и убьет похитителя. Судья обещал проверить и установил, что это, дескать, неправда — ни похищения, ни насилия не было, в связи с чем инспектор, быстрый на расправу, тут же принял меры: посадил жалобщика в тюрьму, чтобы тот впредь не нарушал общественного спокойствия клеветой на честных граждан и дабы пресечь его охоту к угрозам и внушить уважение, распорядился примерно наказать его, избив как следует. Зато, выйдя из тюрьмы на следующий день, убитый горем отец встретил ожидавшую его дочь Диву, возвращенную капитаном в несколько потрепанном виде.

Фелипа не намеревается устраивать скандал, жаловаться, она не сошла с ума, чтобы противиться Жустиниано Дуарте да Роза. К тому же она знает, что днем раньше, днем позже Тереза приведет кого-нибудь, если раньше не погубит себя в лесу, если не вернется домой беременной, обесчещенная каким-нибудь мальчишкой, если не самим Розалво, наверняка Розалво, бесстыдным старым развратником. Задаром.

Фелипа хочет лишь выторговать побольше, получить хоть какую-то выгоду, пусть и некрупную. Тереза — единственный капитал, которым она располагает. Если бы можно было подождать несколько лет, то наверняка удалась бы сделка получше, ведь девушка быстро расцветает, а женщины из их семьи были все очень красивыми, пользовались успехом. Даже Фелипа, сегодня уже превратившаяся в развалину, все еще сохраняет следы стройности, вызывает воспоминания о прошлом. Эх, если бы можно было подождать, но капитан встал поперек пути. Фелипа ничего не может поделать.

4

Голос Фелипы прервал тишину, в которой она обдумывала свои планы и расчеты.

— Тереза! — позвала она.— Пойди сюда, чертовка.

Девочка еще откусывает от плода гуявы, слезает с фруктового дерева, вбегает в дом, капли пота блестят на бронзовом лице, глаза горят весельем.

— Вы звали, тетя?

— Подай кофе.

Все еще улыбаясь, девочка идет за жестяным подносом. Когда проходит мимо, тетка берет ее за руку, поворачивает туда и сюда, показывая ее как бы невзначай:

— Что это за манеры? Ты что, не видишь гостя? Первым делом попроси благословения у капитана.

Тереза берет толстую потную руку, прикасается губами к пальцам, унизанным золотыми кольцами с бриллиантами, обращает внимание на самое красивое из всех кольцо с зеленым камнем:

— Благословите, сеу[1] капитан.

— Господь тебя благословит.— Он дотрагивается до головы девочки, рука ложится на ее плечо.

Тереза опускается на колено перед Розалво:

— Благословите, дядюшка.

Комок злости душит старику горло: мечта его стольких лет все более крепнет — расцветает ее редкая красота, лучшее повторение того, чем была мать, Мариэта, красавица, и тетка Фелипа в молодые годы; безумство побудило его, Розалво, вытащить Фелипу из публичного дома и жениться на ней. Уже давно он сдерживает себя, накапливая страстное желание, рассчитывая свои планы. Внезапно все пошло ко дну, у дверей ожидает грузовик с Терто Щенком за рулем. Во время первого же посещения капитана старик понял его намерения. Какого же дьявола он, Розалво, не действовал, не перевел вперед часы, не перелистал отрывной календарь, календарь смерти? Да потому, что время еще не пришло, она еще невинный ребенок, Розалво хорошо знает, он наблюдает за ней на рассвете. «Еще не время ей познать мужчину, Фелипа, и нельзя продать племянницу, сироту, дочь покойной сестры. Все эти годы я терпеливо ждал, Фелипа, а дом капитана — ты хорошо знаешь, что это за ад. Она — дочь твоей сестры, Фелипа, и то, что ты собираешься сделать,— грех, смертный грех, неужели ты не страшишься наказания божьего?»

— Становится девушкой,— заметил Жустиниано Дуарте да Роза, облизывая толстые губы, какой-то блеск появился в его близоруких глазках.

— Она уже девушка,— заявляет Фелипа, приступая к переговорам.

«Но это ложь, ты же знаешь, что это ложь. Фелипа, проклятая старая, бессердечная шлюха, еще не пришло ее время, она еще ребенок, твоя кровная племянница.— Розалво прикрывает рот рукой, чтобы не закричать.— Ах, если бы она была уже готова принять мужчину, я взял бы ее как жену, все уже у меня решено, не хватает только могилы, чтобы тебя закопать. Презренная Фелипа, безжалостная душа, торгует племянницей». Розалво опускает голову, сильнее разочарования — злость и страх.

Капитан вытягивает короткие ноги и, потирая руки, спрашивает:

---

[1] Сокращение от «сеньор».

— Так сколько, кума?

Тереза убежала в сторону кухни и снова появилась во дворе, играя с собакой. Они бегают, катаются по земле. Лает пес, смеется Тереза, она тоже маленькое животное, здоровое и невинное. Капитан Жусто перебирает свое ожерелье из золотых колец, близорукие глаза прикрыты:

— Говорите сколько?

5

Жустиниано Дуарте да Роза вытащил из кармана пачку денег, пересчитал бумажку за бумажкой, медленно, нехотя. Он не любит расставаться с деньгами, ощущает чуть ли не физическую боль, когда у него не остается иного выхода, как заплатить, дать взаймы или вернуть долг.

— Это только из уважения к вам, выкормившей, как вы сказали, и воспитавшей ее. Если я оказываю вам эту помощь, то по доброй воле. Если бы я захотел увезти ее каким-либо способом, кто бы мог мне помешать? — Он бросил презрительный взгляд в сторону Розалво, смочил палец языком, чтобы удобнее было считать купюры.

Потухшие глаза Розалво устремлены на пол, он наблюдает эту сделку с бессильной злостью и страхом. Этих денег, вырванных с такой ловкостью дьяволом-женой, он не увидит, даже их цвета,— если только не сумеет выкрасть, что было делом весьма рискованным. Черт побери, зачем так долго он ждал, ведь планы у него давно были разработаны до мельчайших деталей?! Просто, легко и быстро. Самое трудное — это выкопать могилу, чтобы захоронить труп, но Розалво рассчитывал, что, когда придет время, Тереза ему поможет. Кто получил бы больше выгоды от смерти Фелипы, как не она, Тереза, освободившаяся от домашней тирании, ставшая женой Розалво, владелицей дома и фермы, кур и борова? Месяцы и месяцы вынашивал он и развивал эти планы, наблюдая, как племянница растет, расцветает с каждым днем.

Когда Фелипа спала тяжелым сном человека, целый день гнувшего спину на работе, он при тусклом свете зарождающегося дня следил за Терезой, спящей на топчане из жердей, покрытом грязными тряпками, дикаркой, видящей, быть может, сны. Он трепетал при виде ее обнаженного тела, форм, еще не определившихся, но уже красивых.

Он мечтал о том недалеком дне, когда она станет женщиной. В тот праздничный день Розалво отправится за вещами, спрятанными в лесном тайнике, и ночью выполнит всю работу. Мотыги и разных инструментов хватит, чтобы покончить с Фелипой и выкопать для нее могилу, простую яму без креста, без надписи,— она, проклятая, этого заслужила. Розалво украл инструменты на плантации Тимотео более полугода назад и спрятал их; уже более полугода как он решил убить Фелипу, лишь только Тереза станет женщиной.

Он даже не представлял себе, что исчезновение Фелипы обеспокоит соседей и знакомых, вызовет расспросы и расследования. Еще меньше он думал о том, что Тереза запротестует, будет защищать тетку, откажется помочь ему и не захочет принять его как мужчину. Столько всего сразу не умещалось в голове Розалво, ему достаточно было кражи мотыги и веревки и решения: прикончить Фелипу, пока проклятая спит; ему и в голову не приходило, что она может проснуться. Лежа в постели рядом с женой, Розалво представлял себе, как мотыга опускается ей на голову, проламывает череп, обезображивает физиономию. Он различал во мраке ночи кровавое месиво: пусть ста-

рая грязная шлюха добудет себе кавалера в аду. Воображая в тишине поля глухой звук мотыги, дробящей кости и хрящи, он дрожал от наслаждения. Кроме этих планов и видений Розалво не отваживался ни на что. Их с избытком хватало на то, чтобы заполнить его пустые дни, придать вкус кашасе, наполнить жизнь надеждой. Жизнь и смерть родились бы из первой крови, пролитой Терезой,— жизнь Розалво, смерть Фелипы.

Теперь планы рухнули, мечты развеялись, Тереза отдана в руки капитана по милости Фелипы, женщины столь дурной, что она докатилась до продажи племянницы-сироты, дочери ее родной сестры, девочки, у которой не было больше ни одной живой души на свете. Почему Розалво не исполнил еще раньше свой план, зачем он ждал, почему не стал действовать раньше, не поторопил время ради жизни и смерти, что плохого было бы в этом? Теперь все достанется капитану, Фелипа продала девочку, племянницу-сироту, какой смертный грех!

— Кто помешает, скажите мне? — Жустиниано обращается к Розалво.— Кто-нибудь осмелится? Не ты ли случайно, Розалво?

Голос Розалво едва слышен, он доносится откуда-то из-под земли, из глухих пещер страха:

— Никто, сеньор. Я? Боже сохрани!

Итак, сделка совершена. В решающий момент платежа Фелипа стала сразу же любезной, но осторожной и твердой:

— Скажите и вы, сеу капитан, где вы найдете более одаренную девушку, умеющую делать все в доме и на огороде, умеющую читать и считать, чтобы одной торговать на рынке, и такую красивую, как она, скажите мне, где? Есть ли какая в городе, что годилась бы ей в подметки? Разве что можно найти в столице. Не так ли, капитан?

Капитан медленно пересчитывал купюры. Опасаясь, чтобы он не передумал, не повернул вспять, Фелипа старалась поддерживать разговор:

— Я вам скажу, сеу капитан, здесь уже появлялся один достойный человек, не какой-нибудь прощелыга, хотел жениться на Терезе, поверьте.

— Жениться? И кто же это был, позвольте вас спросить?

— Сеу Жовентино. Не знаю, знакомы ли вы с ним. Молодой человек, у которого плантация кукурузы и маниока в трех легуа [1] отсюда, к реке. Работящий человек.

Розалво вспоминает: в базарные дни, по субботам, Жовентино, продав свой груз кукурузы, сладкого маниока, батата и мешки с мукой, заходил к ним поболтать, рассказать какие-то истории, обсудить какие-то события, подолгу не уходил от них. Фелипа из кожи вон лезла, воображая, что именно она является объектом такой настойчивости, но Розалво понимал намерения этого типа — он приходил из-за девушки. Розалво хотел было прогнать его, но не подыскал подходящего предлога. Жовентино, очень скромный, только смотрел, перекидывался парой слов и, кроме того, приглашал Розалво пропустить по стопке, предлагал Фелипе пиво, лимонад — Терезе. Фелипа вертелась волчком, как в былые времена.

В воскресенье Жовентино появился в поселке в парадном костюме с галстуком — хотел поговорить о женитьбе. Он выглядел несколько смешно. Фелипа прямо с ума спятила. Она провела полчаса в спальне, прихорашиваясь, а молодой человек сидел в гостиной с Розалво за бутылкой кашасы, и когда она показалась, разодетая в пух и прах, надушенная, то вместо влюбленного, пришедшего к ней с визитом,

---

[1] Старая единица измерения расстояния, равная примерно 5 *км.*

встретила претендента на руку племянницы. Она выставила парня из дома, разве можно предлагать такое? Где это видано — просить руки двенадцатилетней девчонки? Она еще не девушка. Вздор! Тетка была разъярена.

— Я подожду и вернусь,— объявил Жовентино, уходя.

Она не достанется Жовентино, ах, не достанется и Розалво! Капитан, наконец, кончил считать и пересчитывать конто и пятьсот милрейсов — ведь большие деньги, дона Фелипа!

— Берите, пересчитайте, если хотите, пока я выпишу еще чек.

Он вырвал листок из маленького блокнота, нацарапал карандашом цифру, поставил свою замысловатую подпись, которой очень гордился.

— Возьмите чек на покупки в моей лавке. Можете купить сразу или набирать товары постепенно. Сто милрейсов, ни гроша больше.

Розалво уставился на деньги, но Фелипа моментально сложила купюры, завернула их в бумагу, на которой капитан написал распоряжение, спрятала пачку в пояс юбки. Потом молча протянула руку.

— Что? — удивился Жустиниано Дуарте да Роза.

— Кольцо. Вы же сказали, что подарите кольцо.

— Я сказал, что подарю девушке, это ее приданое.— Он рассмеялся.— Жустиниано Дуарте да Роза не оставляет никого без помощи.

— Лучше мне хранить его у себя, капитан. Девушка этого возраста не знает цену вещам, потеряет, оставит где-нибудь. Я сохраню для нее. Она моя племянница. У нее нет ни отца, ни матери — никого.

Капитан взглянул на стоящую перед ним женщину, ужасную цыганку-вымогательницу.

— Ведь мы же договорились, капитан, не так ли?

Он привез кольцо, чтобы подарить девушке, чтобы завоевать ее симпатию, оно не имело никакой цены, цветное стекло, позолоченная латунь. Снял с пальца — фальшивое золото, фальшивый изумруд, яркий зеленый камень. В конце концов, он не обязан доставлять удовольствие девчонке, он заплатил условленную цену, он ее хозяин.

Фелипа потерла стекло о подкладку платья, надела кольцо на палец, полюбовалась им под лучами солнца, очень довольная. Ничто в мире не нравилось ей так, как ожерелья, браслеты, кольца. Все мизерные сбережения она тратила на безделушки, покупаемые у бродячих торговцев.

Капитан Жусто подобрал ноги, встал, звякнуло на шее ожерелье из золотых колец, погремушка юных дев. Завтра появится новое кольцо из золота, восемнадцатое.

— Теперь позовите ее, я уезжаю.

6

Еще не успокоившись от взрыва восхищения при виде кольца, Фелипа громко позвала:

— Тереза! Тереза! Скорее!

Девочка прибежала вместе с собакой и остановилась у двери в ожидании:

— Вы звали, тетя?

Ах, если бы ноги Розалво не были прикованы к полу, если бы хоть одна искра зажглась в сердце и заставила его подняться, хозяина и господина, каким и должен выглядеть муж, стоящий перед Фелипой! Но Розалво только стиснул зубы и удержал рвущиеся из сердца

проклятья: «Фелипа, чума ты этакая, дурная, бессердечная женщина, бездушная, бесчеловечная! Придет день — и ты заплатишь за этот страшный грех, Фелипа, бог потребует у тебя отчета! Племянница-сирота, приемная дочь, наша дочь, Фелипа, продана, как животное. Наша дочь! Ты чума, черная чума!»

А Фелипа в восторге от кольца, и голос ее звучит почти ласково:

— Тереза, пойди собери свои вещи, все. Ты пойдешь с капитаном, будешь жить в его доме, станешь служанкой капитана. У него ты будешь иметь все, станешь знатной дамой, капитан — хороший человек.

Обычно Терезе не нужно было повторять распоряжения; в школе учительница Мерседес хвалила ее за то, что Тереза легко все воспринимала, рассудительна, очень скоро научилась читать и писать. Но эту новость Тереза не поняла:

— Жить в доме капитана? Почему, тетя?

Голосом хозяина ответил сам Жустиниано Дуарте да Роза. Он встал, протянув руку к девочке:

— Незачем знать почему, кончились вопросы, ты будешь у меня служить и мне подчиняться; знай это и запомни раз навсегда. Пошли!

Тереза отступила от двери, но недостаточно быстро: капитан успел схватить ее за руку. Коренастый, круглолицый, без шеи, толстяк Жустиниано был ловким и сильным, подвижным и проворным; хороший танцор, он еще способен расколоть кирпич одним ударом руки.

— Оставьте меня! — попыталась отбиться Тереза.

— Пошли!

Он стал подталкивать ее к двери, и неожиданно девушка со злостью сильно укусила ему руку. Зубы ее оставили глубокий кровоточащий след на толстой, волосатой коже. Капитан выпустил ее, девушка мгновенно бросилась к двери и побежала к лесу.

— Мерзавка, ужалила меня, еще заплатит за это. Терто! Терто! — позвал он охранника-капангу, храпевшего на сиденье грузовика.— Сюда, Терто! И вы также! — обратился он к тетке и дяде.— Вместе поймаем девчонку, я здесь не для того, чтобы зря время терять.

Они выбежали во двор, Терто Щенок подошел к ним.

— А Розалво, чего он стоит тут?

Фелипа обернулась и пристально взглянула на мужа.

— Ага, ты не идешь? Я знаю, чего ты хочешь, бесстыжий козел. Иди, пока я не потеряла терпение.

Проклятая жизнь! Что остается Розалво, как не присоединиться к ним... «Но я иду не по своей воле, этот грех, боже мой, не мой, это только ее, дьяволицы, она хорошо знает, что дом капитана — это чума, голод и война...» И с большой неохотой Розалво принял участие в преследовании Терезы.

Погоня длилась почти час, быть может, дольше, капитан не смотрел на свои ручные часы — точный хронометр, однако все уже изнемогали от усталости, когда, наконец, окружили ее в чаще, а Розалво подкрался незаметно с противоположной стороны. Дворняжка не залаяла на него, глядя на остальных. В последний раз Розалво дотронулся до Терезы, охватив ее обеими руками, прижав к себе. Он обнял ее, прежде чем передать преследователям.

Терто дал пинок собаке, та отлетела в сторону и осталась лежать распростертая, видимо со сломанной ногой. Он стал помогать Розалво, ухватив Терезу за руку. Розалво держал другую руку, бледный, с головой, кружившейся от удовольствия и ужаса. Она отбивалась как могла, пыталась кусаться, глаза ее пылали. Капитан медленно подошел к ней, остановился против девочки и ударил ее по лицу своей большой, толстой раскрытой ладонью. Раз, два, три — четыре раза.

Тоненькая струйка крови потекла из носа Терезы. Она молча проглотила оскорбление, даже не заплакала. Командир не плачет — этому ее научили мальчишки, играя в войну.

— Пошли!

Ее потащили к грузовику — тащили капитан и Терто. Фелипа пошла домой. Зеленый камень на перстне блестел в солнечных лучах. Розалво постоял было, все еще без сил, затем побрел к собаке. Животное тихо выло, зализывая ногу.

На подножке грузовика веселыми голубыми буквами было написано: СТУПЕНЬКА СУДЬБЫ. Чтобы заставить девушку подняться, Жустиниано Дуарте да Роза нанес ей еще одну крепкую оплеуху. Так Тереза Батиста отправилась навстречу своей судьбе: чума, голод и война.

7

Из грузовика Жустиниано и Терто Щенок вынесли ее, схватив за ноги и за руки: бросили девушку в комнату, заперли дверь. Маленькая темная каморка в глубине дома имела наверху одно лишь заколоченное окошко, через щели которого проникал воздух и свет. На полу широкий матрац для двуспальной кровати, с простыней и подушками, в углу — ночной горшок. На стене висели олеография, изображавшая Благовещение пресвятой девы — Мария и архангел Гавриил,— и плеть из сыромятной кожи. Прежде здесь стояла кровать, но дважды она разваливалась — из-за превратностей первой ночи с дьявольской негритянкой Ондиной, а потом с перепуганной, сумасбродной Грасиньей,— и Жустиниано решил убрать кровать.

Такая же комната у него была не только на ферме, но и в городском особняке, за магазином. Почти одинаковые, они предназначались для одной и той же приятной цели: для любовных утех капитана Жусто. Он предпочитал совсем молоденьких. «Менее пятнадцати лет, еще пахнущие молоком»,— как сказала ему Венеранда, содержательница известного дома в Аракажу, обладавшая склонностью к художественной литературе, передавая ему на поруки Зефу Дутру, «еще пахнувшую молоком», но уже занимавшуюся некоей профессией более года.

Девчонки менее пятнадцати лет заслуживали чести быть отмеченными очередным кольцом в золотом ожерелье. И Жустиниано Дуарте да Роза действовал весьма пунктуально. Есть люди, что собирают марки — тысячи и тысячи коллекционеров по всему свету, от покойного короля Англии до Зороастро Куринги, почтового служащего и достойного игрока в биску [1]; другие предпочитают кинжалы, как, например, Милтон Гедес, один из совладельцев сахарного завода; в столице штата немало коллекционеров статуэток древних святых, спичечных коробок, фарфора и слоновой кости и даже глиняных фигурок, что продаются на базарах. Жустиниано же коллекционирует девочек, собирает и отмечает экземпляры различного цвета кожи и разного возраста; некоторые из них — старше двадцати одного года, повелительницы своей собственной жизни, но в его коллекцию входят лишь юные, самые юные.

Будучи спортсменом, капитан предпочитал, естественно, тех, которые оказывали поначалу некоторое сопротивление. Податливые же, с большим или меньшим знанием и практикой, не давали ему такого ошеломляющего ощущения власти, трудно одержанной победы, нелегкого завоевания.

[1] Карточная игра.

Скромность, стыдливость, сопротивление, возмущение вынуждали его применять силу, внушать страх и уважение, с которыми они должны были относиться к своему господину, хозяину и любовнику; поцелуи, завоеванные пощечиной,— все это только увеличивало наслаждение, делало его более ощутимым. Обычно все заканчивалось благополучно: удары, пощечины, иногда избиение, почти никогда ему не приходилось применять ремень или плеть из сыромятной кожи,— разве только одна Ондина подчинилась ему лишь после того, как он исполосовал ее плетью. По истечении одной или, самое большее, двух недель сдавались, некоторые даже становились надоедливыми, привязывались, и такие занимали какое-то время положение фавориток. Например, упомянутая Грасинья: чтобы добиться своего, ему пришлось ее сначала избить до потери сознания. Не прошло недели после той горькой ночи, когда она научилась относиться к нему с трепетом и почтением, и она уже вздыхала от нетерпения, дошла до такой дерзости, что приходила к нему и приглашала вовсе в неподходящий час.

В Аракажу, куда он часто ездил по делам, Венеранда как-то за кутежом со смехом предложила ему познакомиться с совсем молоденькой девицей. Шикарный дом Венеранды, существующий почти как официальное заведение — столько посещало его политических деятелей, начиная с самого губернатора (лучшее государственное учреждение, по словам Лулу Сантоса, несмотря на свои костыли постоянного посетителя дома), представителей правосудия, промышленности, высшей коммерции и банков,— находился под покровительством полиции (самое тихое и приличное место в Аракажу, включая дома лучших семейств,— по мнению того же адвоката). Только однажды здесь была нарушена спокойная обстановка, необходимая для комфорта знатных клиентов, и нарушил ее капитан Жусто, пытавшийся переломать всю мебель в комнате, где он раскрыл трюк, проделанный Венерандой. Она обманула его, ухитрившись создать видимость невинности молоденькой девчонки, прибывшей из провинции. Когда ярость капитана прошла и поднятый им шум стих, они стали друзьями, и дона Венеранда, столь образованная женщина, с тех пор именовала его только «зверем из Кажазейрас до Норте, укротителем девочек». В доме Венеранды, действительно хорошем, были гринги[1], привезенные с юга: француженки из Рио и Сан-Пауло, польки из Параны, немки из Санта-Катарины, все — яркие блондинки, крашенные перекисью водорода, мастерицы на все руки. Капитан не пренебрегает компетентными иностранками; как раз наоборот — он их весьма ценит.

Во многих глухих уголках этой нищей провинции, на фермах, в поселках и городах, было полным-полно девушек, которых родители и родственники сами предлагали в расчете обеспечить им теплое местечко. Добывала время от времени аппетитный материал в деревне и Габи, хозяйка «женского пансиона» в городе, но со старой сводницей надо было держать ухо востро, чтобы не получить кошку вместо зайца. Уже не раз Жустиниано грозил разгромить ее заведение, если она попытается снова обмануть его; мошенница, однако, была неисправима.

Лучших он сам отбирал на ферме, за прилавком магазина, на танцульках и вечеринках, при поездках на ближние и дальние петушиные бои. Некоторые обходились ему дешево, почти даром. Другие были подороже, приходилось тратиться на подарки, на денежные подношения. Тереза Батиста обошлась дороже всех...

---

[1] Иностранки.

8

Капитан открыл каморку, вошел, поставил на пол подсвечник и запер дверь изнутри. Тереза собрала все свои силы. Она стояла у стены, вся сжавшись, с полуоткрытым ртом. Жустиниано Дуарте да Роза, казалось, не торопился. Он снял пиджак, повесил его на гвоздь между плетью и олеографией Благовещения, он даже не стал мыть ноги теплой водой в этот праздничный вечер,— завтра новая девчонка вымоет их в тазу до того, как начнется дело. В трусах и расстегнутой рубашке, с кольцами на пальцах, ожерельем на шее, он поднял подсвечник и осмотрел тарелку и кружку, поставленные здесь старой кухаркой Гугой; еда на тарелке осталась нетронутой, вода была отпита. При слабом и тусклом свете он оценил товар: дорогая, полтора конто плюс чек на продукты в лавке, но раскаиваться излишне; деньги хорошо использованы — красивая, хорошо сложена. А постарше будет еще лучше. Впрочем, на вкус Жустиниано Дуарте да Роза ничто не могло сравниться с такими вот зелеными девчонками, «еще пахнущими молоком», по выражению Венеранды. Но сейчас не время думать о Венеранде, пусть она катится ко всем чертям, захватив с собой губернатора штата, своего любовника и покровителя. Фелипа правильно сказала — ни в Баие, ни в Аракажу он не достал бы столь превосходную девку, тело ее отливало бронзой, черные волосы распущены по плечам, длинные ноги — картинка да и только, похожая на гравюры святых, тут на стене где-то была одна такая. Чек сверх цены, она стоила больших денег, но это недорого, нужно понимать. Капитан облизнул губы, снова поставил светильник на пол, тени взметнулись.

Девушка отшатнулась, еще плотнее прижавшись к стене. Жустиниано рассмеялся: ты что, хочешь поиграть в недотрогу?.. Капитану нравится завоевывать, внушать чувство страха. Чем больше страха, тем лучше. Страх в глазах девчонок — это эликсир, глоток вина. Если хочешь кричать, пожалуйста, кричи: в доме лишь помешанная старуха теща да еще несмышленый ребенок. Капитан шагнул вперед. Тереза уклоняется и тут же получает удар по носу. Капитан смеется: сейчас она расплачется. Плач девчонки разжигает сердце Жустиниано, ускоряет кровообращение. Но вместо того, чтобы заплакать, Тереза отвечает ударом ноги; натренированная в драках с мальчишками, она со всей силой бьет его, ногтем большого пальца царапает капитанскую кожу — ссадина, капля крови. Капитан рассматривает ушибленную ногу, потом неожиданно выпрямляется и сильно ударяет кулаком по плечу девушки. Для острастки. Боец и командир в драках с мальчишками, Тереза научилась тому, что воин не плачет, и она не станет плакать. Но она не может сдержать крик — боль пронзила плечо. «Понравилось? Получила урок? Довольна или хочешь еще?» И снова вместо того, чтобы подчиниться, несчастная пытается ударить его еще раз. Капитан отступает. «Ах ты наглая дрянь, ну погоди, ты у меня увидишь!» Удар приходится ей прямо в грудь. Тереза покачнулась, хватая воздух широко открытым ртом. Жустиниано Дуарте да Роза пользуется моментом и, изловчившись, охватывает ее, прижимает к себе, целует шею, лицо, пытается добраться до рта. Чтобы лучше приладиться, он ослабляет объятье. Тереза изворачивается, выскальзывает, вонзает ногти в толстое лицо, едва не ослепляет доблестнейшего капитана. Так кто же испытывает страх, капитан? В глазах Терезы одна лишь ненависть, ничего больше. «Сукина дочь, ты у меня получишь, кончилась забава». Тени мечутся по комнате. Обезумев от злости, капитан наносит еще удар в грудь Терезе — это похоже на удар по барабану. Тереза теряет равновесие, падает между матрацем

и стеной. Лицо у Жустиниано пылает, дрянная шлюха хотела выцарапать ему глаза. Он нагибается над девчонкой, но та по-змеиному отползает, быстрым движением хватает подсвечник. Капитан чувствует огонь на собственном теле. «Преступница! Убийца! Оставь сейчас же подсвечник, ты подожжешь дом, я убью тебя». Тереза вскочила на ноги, с подсвечником в руке она наступает: капитану приходится спасать лицо. Подняв подсвечник, девушка преследует врага. Где же страх, безумный страх всех остальных? У нее только ненависть. Нужно заставить ее бояться, заставить уважать хозяина и господина, который купил ее и по праву является ее властелином; если не будет уважения в мире, то что же останется? Внезапно капитан дует на свечу, пламя колеблется и тухнет. Комната в темноте. Тереза пропала во мраке. А для Жустиниано Дуарте да Роза — это ясный день, он обнаруживает свою жертву с уже бесполезным подсвечником в руке. Надо внушить ей страх, проучить ее. Настал момент преподать ей первый урок. На лицо Терезы обрушиваются пощечины. Сколько — она не знает, не считала, капитан Жусто тоже. Падает подсвечник, девушка пытается защитить лицо рукой, но это ее не спасает: рука у Жустиниано Дуарте да Роза тяжела, и бьет он ладонью и тыльной стороной руки, пальцы в кольцах. Тереза первой оцарапала капитана, пролив кровь, какую-то каплю, пустяк. Теперь наступила очередь капитана, кровь изо рта девушки выпачкала ему руку: «Научись меня уважать, несчастная, научись слушаться, выполнять мои приказания. Я тебя научу бояться, ты будешь испытывать такой страх, что станешь заранее угадывать мои желания, как это делали все другие, или еще быстрее их». Капитан опускает руку, он дал ей хороший урок, но почему же чертовка не плачет? Капитан крепко — как в тисках — держит ее, выкручивает руки. Девушка стискивает зубы, боль опять пронзает ее, он вот-вот сломает ей руку; но плакать нельзя, воин не плачет даже в час смерти. Слабый свет луны проникает через заколоченное окошко. От боли в вывернутой руке Тереза ослабевает, падает ничком. «Ну что, получила, мерзавка!» Перед упавшей девушкой капитан, мокрый от пота, с оцарапанной ногой, раной на лице, победно рассмеялся; смех его — роковой приговор. Он выпускает руку Терезы; поверженная, она не представляет больше опасности. В ярости капитан бил, беспощадно бил, ожесточенно, забыв о своем первом желании. Но лунный луч на обнаженном бедре снова разжег огонь. Он сузил свои и без того небольшие глаза, потряс кольцами перед глазами девушки: «Смотри, все твое... быстро. Я приказываю». Тереза протягивает руку к своему платью, капитан следит за ее покорным жестом — наконец укротил. «Ну же, быстрее!» А Тереза, опершись рукою о пол, вдруг пружиной взлетает. Едва капитан делает шаг, как нога Терезы угождает ему прямо в пах. Он испускает ужасный крик, скрючивается, лицо искажено гримасой боли. Тереза бросается к двери, стучит в нее кулаками, зовет: «Ради бога помогите, он хочет меня убить!» И в этот момент ее чуть не сбивает с ног удар плети из сыромятной кожи. Плети, сделанной по заказу, семь ремешков из бычьей кожи, сплетенных, обработанных салом, на каждом ремешке десять узлов. Плеть хлещет Терезу по ногам, по животу, по груди, по спине, по лицу, каждый удар — удар семи ремней, от каждого удара — рваные раны, разрезы, кровавые следы. Кожа ремня — остро наточенный нож, плеть свистит беспрерывно в воздухе. Тяжело дыша, ослепленный ненавистью, капитан избивает ее так, как еще никогда и никого не бил; даже негритяночка Ондина не была отделана столь беспощадно. Тереза пытается защищать лицо, руки ее исполосованы; нельзя, нельзя плакать, а крики вырываются сами собой,

слезы льются вопреки ее воле. Тереза вне себя вопит: «Ай, ради бога!» Из соседней комнаты доносятся безумные проклятья доны Брижиды — матери умершей жены Жусто. Тщетны проклятья — они не успокаивают капитана, не утешают Терезу, не будят ни соседей, ни божье правосудие. Капитан неутомим: Тереза полумертвая, платье пропитано кровью, капитан еще долго бьет ее. «Получила, мерзавка?» Против капитана Жусто никто не осмелится выступить, а если осмелится, то будет избит. Все еще с плетью в руке Жустиниано Дуарте да Роза наклоняется, трогает лежащее перед ним тело девушки. Он должен получить свое — деньги уже заплачены. Девушка стонет, плачет, что-то бормочет сквозь зубы и снова упорно сопротивляется. Откуда ее решимость? Разъяренный Жустиниано Дуарте да Роза опять поднимает плеть, опять принимается избивать ее. Бьет с отчаянием — бьет, чтобы убить. Чтобы добиться ее повиновения. Без повиновения что будет с миром? Проклятья, стоны и завывания, доносившиеся из соседней комнаты, стихают в лесу, куда убежала дона Брижида с внучкой на руках. Капитан прекращает избиение, когда Тереза перестает кричать, она уже неподвижна. Две пощечины подавляют ее последнее сопротивление. Капитан любит таких, совсем молоденьких, «пахнущих молоком». А от Терезы исходит запах крови.

9

Когда предрассветный тусклый свет проник через щели заколоченного окна, Тереза, растерзанная, исхлестанная, сломленная, страдающая от боли в каждой частице своего тела, доползла до края матраца, выпила остаток воды в кружке. С усилием села, но тут же храп капитана заставил ее вздрогнуть. Она ни о чем не могла думать, лишь лютая ненависть переполняла ее душу. До сих пор она была смешливой и игривой, общительной и веселой, дружившей со всеми, ласковой девочкой. А в этот вечер и в эту ночь она преисполнилась ненависти, но страха не было.

Капитан проснулся и позвал ее:

— Иди сюда!

Он потянул Терезу за ногу, повалив ее рядом с собой, укусил ее губы. «Не смей перечить, если не хочешь побоев, не хочешь умереть!» Но проклятая не только не перестала сопротивляться, она сделала хуже: ухватилась за ожерелье, рванула золотую цепочку, кольца рассыпались по комнате, каждое кольцо — память о девушке, сорванной еще зеленой. Проклятье! Капитан вскочил рывком, позабыв о боли в паху и в сердце, для него не существовало в мире ничего — ни человека, ни животного, ни предмета большей стоимости и заслуживавшего большего почитания,— ничего столь же ценного, как ожерелье с кольцами. В одну ночь — кольца и ожерелье! «Чертовка, мерзавка, ты еще не научилась, так я тебя научу. Отыщешь кольца одно за другим под музыку плети. Давай! Кольца, одно за другим!»

Зверски снова избил ее, не хватало только ее прикончить. Своры собак вторили на расстоянии завываниям Терезы. «Получай, мразь, будешь знать!» Он бросил ее без сознания, но кольца бережно собрал.

Закончив нанизывать их одно за другим, он сам почувствовал тошноту, рука устала, едва не вывихнул запястье, а тут еще непроходящая боль в паху. Никогда и никого он так сильно не бил; ему

нравилось избивать — приятное времяпрепровождение, но на этот раз, похоже, он переборщил: такого дикого зверька нелегко обуздать. Но ничего, даже железо под ударами можно согнуть.

10

Страх, отраженный на лицах девушек в роковой час, возбуждал его. Видеть их напуганными, умирающими от страха, было удовольствием, божественным наслаждением; страх — отец послушания. Но эта Тереза такая юная, а в ее глазах капитан не замечал страха; жесточайше избив ее в первую ночь, он встретил лишь ярость, ненависть, мятеж. Никакого признака страха.

Жустиниано Дуарте да Роза, как всем было известно — и за это его уважали,— был спортсменом, выводил боевых петухов, был королем пари, всегда выигрывал. Сейчас он сделал ставку. Заключил пари с самим собой; если справится с Терезой, пополнив ею свою коллекцию побежденных девушек, он съездит в Аракажу, в ювелирную Абдона Картеадо — закажет памятное золотое кольцо. Он научит ее. Дорис научилась мгновенно, обрела опыт и преданность, правда, к сожалению, она была тощей, невзрачной. Тереза — другое дело, но капитан все же возместит вдвойне уплаченные им большие деньги, тостан [1] за тостаном, хотя бы для этого ему пришлось избивать ее по десять раз в день, да еще столько же ночью. Он еще увидит ее дрожащей от страха перед ним. Вот тогда он и отправится в Аракажу к ювелиру Абдону.

В последовавшие дни, кроме попытки девушки убежать, никаких происшествий не было; капитан лежал в постели, страдая от боли, причиненной ударом ноги Терезы,— если бы бандитка была обута, Жустиниано, конечно, получил бы грыжу на всю жизнь. Дважды в день старая кухарка Гуга открывала дверь и входила к ней в комнату, приносила тарелку с черной фасолью, мукой и вяленым мясом, а также кружку с водой. В первое утро, когда Гуга появилась, принеся завтрак, Тереза не тронулась с матраца, вся разбитая, совершенно без сил. В темноте каморки Гуга представила себе происшедшее, покачала головой, подобрала плеть и затараторила:

— Какой смысл противоречить капитану? Самое лучшее — пойти ему навстречу, на кой черт брыкаться? Ты очень молода, совсем молоденькая и лезешь на рожон. Лучше бы тебе не противиться. Он тебя сильно избил, я слышала, как ты кричала. Ты думаешь, что тебе кто-нибудь поможет? Кто? Старая сумасшедшая? Ты еще более сумасшедшая, чем она. Кончай с этим шумом, нам нужно спать, мы тут не для того, чтобы всю ночь слушать крики. Что ты наделала? Капитану пришлось слечь в постель. Ты же полоумная! Ты не можешь выйти из комнаты, это его приказ.

«Не можешь выйти из комнаты, это его приказ... посмотрим, как это я не смогу...» Когда к вечеру негритянка вернулась, не успела она переступить порог, как Тереза, завернувшись в простыню, бросилась в открытую дверь, выскочила наружу. Из гостиной дона Брижида заметила, что она убегает — грешная душа, пленница капитана. Наступит день, и бог пошлет ему наказание. Старуха перекрестилась: адская жизнь!

Беглянку нашли лишь около полуночи на далекой лесной вырубке. Капитан, приговоренный к покою в постели для излечения послед-

---

[1] Бразильская мелкая монета в 100 рейсов.

ствий от ударов, нанесенных ему Терезой, распорядился послать отряд охранников для поимки девчонки под руководством Терто Щенка. Головорезы стали прочесывать заросли; Маркиньо, знаток по розыску отставших и заблудившихся животных, нашел ее спящей в колючей заросли. Капитан дал строгий приказ не обращаться с ней плохо, он не допускал, чтобы кто-либо другой трогал его женщину, только он имел право ее избивать.

Они притащили ее, завернутую в простыню. Капитан, полусидя, с подушками, подложенными под спину, взял в руку большую тяжелую линейку из крепкой древесины, старинную, сохранившуюся со времен рабовладения, таких уже не делают в наши дни. Охранники подтащили ее к капитану, и тот нанес ей дюжины четыре ударов. Нельзя, нельзя плакать, но под конец она все же не выдержала, слезы показались на глазах, как ни подавляла она рыдания. И снова ее заперли в комнатушке в глубине дома.

После этого Гуга открывала дверь, а один из охранников становился на страже в коридоре. На второй день голод стал чересчур мучительным, Тереза очистила тарелку. Нельзя было плакать — она поплакала; нельзя есть — она поела. Заключенная, она только и думала о том, как бы убежать.

Поправившись, капитан решил возобновить наступление. В один не прекрасный день Гуга появилась вне обычного расписания, а с нею охранник, принесший таз и ведро с водой. Старуха дала Терезе кусок мыла: «Это тебе помыться». Только после того, как она вымылась и Гуга вернулась, чтобы повесить светильник на стене между олеографией и плетью с семью ремнями, покрытыми запекшейся кровью, только тогда Тереза поняла, чем вызвана забота о ней. Гуга вручила ей какой-то сверток со словами: «Он велел тебя одеть, это осталось от покойницы. Смотри, чтобы ты сегодня не кричала, мы хотим спокойно спать».

Нарядная батистовая рубашка с кружевами, вещь из приданого, пожелтевшая от времени. «Почему ты не одеваешься? Рехнулась, что ли?»

Угасающий свет ночника падал на фигуру капитана, готовившегося к баталии. Из опасения он снял с шеи ожерелье, повесил его над олеографией. «Почему ты не надела рубашку, которую я тебе послал, неблагодарная девка, почему пренебрегла моим подарком?»

Снова все началось. Удары и крики стали глуше и глуше, а дона Брижида спасалась в зарослях, взывая к божественному правосудию, моля кару небесную для негодяя, наказания для скандалистки: к чему столько шума, столько ударов и столько крика, неужели эта девчонка лучше, чем Дорис, чтобы ее нужно было так упрашивать, чтобы она была такой разборчивой? Адская жизнь!

Упорно и методически капитан продолжал обработку, столько раз оправдавшую себя: Тереза кончит тем, что научится испытывать страх и уважение, научится послушанию — главной движущей силе мира. От ударов кузнечного молота даже железо гнется.

Два месяца напролет избивал он Терезу. Точное время, конечно, никто не считал по календарю, но было достаточно, чтобы люди привыкли и спали, убаюканные криками. «Что это за страшные вопли?» — спрашивал какой-нибудь путник с любопытством. «Да это так, сеньор, одна сумасшедшая, служанка капитана». Примерно месяца два выдержала Тереза. Каждый раз, когда капитан приходил к ней, его посещения сопровождались побоями. Каждый новый шаг требовал времени и насилия. Ночи и ночи, и каждая — урок: пощечины, удары кулаком, избиения линейкой, плетью. Так продолжалось до тех пор, пока силы не покинули Терезу.

Капитан Жусто был настойчив, он заключил пари сам с собой: Тереза должна уметь испытывать страх и уважение, святое послушание, и все-таки научится!

11

Тереза попыталась бежать во второй раз. Она обнаружила, что дежурство охранника в коридоре во время посещений Гуги было отменено. Наверное, капитан по прошествии двух месяцев напряженной дрессировки посчитал, что девушка достаточно укрощена.

Уверившись в отсутствии наемника, Тереза снова удрала, одетая в рубашку Дорис, проворная, как лесной зверек. И опять далеко ей убежать не удалось: на крики Гугы примчались капитан и двое головорезов, они поймали ее недалеко от дома и привели обратно. На этот раз капитан распорядился связать ее и крепко связанной запереть в комнатушке.

Спустя полчаса Жустиниано Дуарте да Роза показался в дверях усмехаясь — это был роковой приговор. Он нес в руке утюг, наполненный раскаленными углями. Подняв его на уровне лица, он дунул, из утюга полетели искры, внутри запылали угли. Капитан послюнявил палец и дотронулся до дна утюга, утюг зашипел.

Тереза широко раскрыла глаза, сердце у нее сжалось и мужество покинуло ее — наконец она познала цвет и вкус страха. Голос ее задрожал, она солгала:

— Клянусь, я не хотела бежать, я только хотела искупаться, я вся в грязи.

Под побоями она не просила пощады, лишь плакала и кричала, даже не проклинала, не ругала; пока были силы, сопротивлялась. Плакала — это верно; но никогда, однако, не просила о помиловании. Сейчас все это кончилось:

— Не обжигайте меня, не делайте этого, ради бога. Я никогда не убегу, простите меня; буду делать что угодно, прошу прощения. Ради любви вашей матери не делайте этого, простите меня, ай, простите меня!

Капитан улыбнулся, заметив страх в глазах и в голосе Терезы. Наконец-то! Все в мире имеет свое время и свою цену.

Девушка, связанная, лежала на спине. Жустиниано Дуарте да Роза сел на матрац рядом с голыми пятками Терезы. Он приложил утюг сначала к одной ступне, затем к другой. Шипение, запах горелого мяса — вой и тишина смерти.

Совершив это, капитан развязал ее: она уже не нуждалась в веревках и бдительности, не нужны были ни охранники в коридоре, ни надежный запор в двери. Пройден полный курс страха и уважения. Наконец-то Тереза покорена... Одна в мире, наедине со страхом, Тереза Батиста — кольцо в ожерелье капитана.

12

Жизнью, ограниченной фермой и лавкой, Тереза Батиста более двух лет прожила в обществе капитана Жусто, можно сказать, на положении фаворитки. Она была новой возлюбленной капитана, по общему мнению,— но была ли она ею на самом деле? Положение воз-

любленной — или наложницы, живущей в доме, девушки, подруги, любовницы — подразумевает согласие между избранницей и покровителем; целый ряд взаимных обязательств, прав, привилегий, выгод. Возлюбленной в полном и точном значении слова была Белинья, любовница достопочтенного судьи. Он построил ей в укромном переулке дом с садом, в котором росли манговые деревья и деревья кажуэйро, с гамаком, простой, но приличной меблировкой, портьерами и коврами, и кроме того, он давал ей не только средства на пищу и одежду, но и деньжонки на мелкие расходы. Белинья вызывала зависть даже у замужних сеньор, когда она, одетая с иголочки, с опущенными глазами в сопровождении служанки, направлялась к портнихе. У нее была прислуга, чтобы вести домашнее хозяйство и сопровождать ее к портнихе, к зубному врачу, в магазины, кино — честь любовниц хрупка и нуждается в постоянной защите. В обмен на все эти блага Белинья должна была полностью принадлежать своему знатному любовнику, расстилаться в ласках, оказывать всяческие знаки внимания, составлять ему приятную компанию, сохранять полнейшую верность. Это было основным требованием. Нарушение того или иного пункта подобных негласных соглашений — это, конечно, следствие человеческого несовершенства. А Белинья — образец идеальной любовницы — была не способна сохранять верность, таково врожденное качество ее милой персоны. Имевший достаточно терпения и опыта, судья закрывал глаза на посещения двоюродного братца девушки в дни его отсутствия, из уважения к ее семейным отношениям; у его супруги в Баие насчитывалось немало веселой мужской родни, так как же отказать скромной Белинье, пребывающей в одиночестве в течение долгих часов, в праве принимать ее единственного кузена?

Тереза не была возлюбленной в прямом смысле слова, хотя и спала на супружеском ложе — как на широкой двуспальной кровати на ферме, так и на старой кровати городского дома,— привилегия, поднимавшая ее над остальными, относившая ее к особой категории в ряду бесчисленных служанок, содержанок, любовниц, встретившихся на жизненном пути Жустиниано Дуарте да Роза. Значительная привилегия, однако единственная, если не считать поношенной одежды из приданого Дорис, пары туфель, зеркала, гребня, дешевых безделушек. В остальном она была такой же служанкой, как и другие, на работе с утра до ночи: сначала в доме на ферме, потом за прилавком в магазине, когда Жустиниано обнаружил, что она знает четыре действия арифметики и обладает хорошим почерком. Служанка и фаворитка, Тереза на протяжении двух лет и трех месяцев пользовалась привилегией спать на супружеском ложе. У нее были конкурентки и соперницы, но все они оставались в комнатушках в глубине дома — ни одна из них не поднялась с матрацев, набитых сеном, до постели с чистыми простынями.

Ни одна женщина не пользовалась так долго предпочтением капитана, любившего разнообразие. Легионы любовниц — девочек, девушек, зрелых женщин — обитали в двух домах Жустиниано Дуарте да Роза и были в полном его распоряжении; обычно интерес капитана к какой-то из них, вначале весьма интенсивный, иссякал в течение дней, недель, редко длился несколько месяцев. А потом несчастные уходили кто куда, большинство оседало в Куйя Дагуа — местном редуте злачной жизни; немногие, самые интересные, уезжали поездом в Аракажу или в Баию, на более крупные рынки живого товара,— больше двадцати лет поставлял капитан красоток для клиентуры своего штата, соседних штатов.

13

Чувства Жустиниано Дуарте да Роза к Терезе заслуживают поныне изучения и более точного определения — все еще нет общего мнения и согласия у эрудитов. Что же касается чувств Терезы Батисты, то они и не требовали обсуждения и анализов, сводились к одному — страху.

Поначалу, когда девушка отчаянно противилась, она жила все возраставшей ненавистью к Жустиниано. Впоследствии остался только страх — ничего больше. В годы жизни с капитаном Тереза была его послушной рабыней, усердной и старательной. Тяжелая работа сделала ее сильной и выносливой; при такой хрупкой фигуре никто не посчитал бы ее способной таскать мешки с фасолью весом в четыре арробы [1], тюки вяленого мяса.

Она предложила помогать доне Брижиде ухаживать за внучкой, но та не позволила ей даже подходить к ребенку. Тереза, по ее мнению, была коварной обманщицей, занявшей постель Дорис, пользующейся ее одеждой (обтянутые платья подчеркивали развивающиеся, волнующие формы девушки), старающейся походить на Дорис, чтобы присвоить наследство. Погруженная в мир чудовищных галлюцинаций, дона Брижида сохраняла ясность разума там, где дело касалось внучки, единственной наследницы капитана. В один прекрасный день с неба спустится Ангел-мститель, тогда богатый ребенок и бабушка, откупившаяся от ада, заживут в богатстве и в милости божьей. Внучка — ее козырь, ее ключ к спасению.

Сука, извлеченная, как в старинных преданиях, из глубин ада Безголовым Мулом или Вампиром для своры Борова, подделывающаяся под Дорис, эта мошенница хочет закрыть ей последний выход, украсть у нее внучку, состояние и надежду. Заметив Терезу поблизости, дона Брижида тут же скрывалась вместе с девчуркой.

Ах, если бы она могла позаботиться о ребенке! Тереза любит детей и животных не из-за желания поиграть в куклы, она никогда не играла в куклы. Супруга судьи, дона Беатрис, крестная мать, избранная Дорис еще в начале беременности, привезла куклу из Баии в подарок ко дню рождения. Кукла открывала и закрывала глаза, говорила «мама», у нее были белокурые вьющиеся волосы, белое подвенечное платье. Обычно ее запирали в шкафу и только по воскресеньям давали ребенку на несколько часов. Лишь один раз Тереза подержала ее в руках, дона Брижида с проклятиями тут же вырвала куклу у нее.

Тереза не жаловалась на работу — мытье ночных горшков, чистку уборной, лечение язвы на ноге у Гуги, таскание на речку узлов с бельем,— но ей было тягостно недоброжелательство вдовы, запрещение прикасаться к ребенку. Она издали наблюдала, как девочка семенит на неуверенных ножках; должно быть, хорошо иметь ребенка или хотя бы куклу.

Еще более тягостными были для нее другие обязанности — удовлетворять все капризы капитана.

После обеда, если он бывал дома, она приносила таз с теплой водой и мыла ему ноги. Чтобы походить на Дорис — по мнению доны Брижиды,— но Дорис была счастлива, та целовала ему пальцы, с нетерпением ожидая любовных ласк. Для Терезы же это было работой небезопасной и рискованной; в тысячу раз предпочтительнее было для нее лечить зловонную язву Гуги. Вспоминая Дорис или просто в порыве жестокости капитан иногда отпихивал ее ногой, валил на

[1] Мера веса, равна 15 *кг*.

пол: «Почему не целуешь, не нравится? Другие, получше, делали это». Он совал ей ногу в лицо: «Поганая гордячка!» Толчки и пинки без причины, из чистой подлости; достаточно было капитану приказать, Тереза проглатывала гордость и отвращение, лизала ему ноги.

Никогда Тереза не испытывала какое-либо удовольствие, всякая физическая близость с Жустиниано Дуарте да Роза вызывала у нее отвращение — она уступала ему только из страха... Желание, страсть, нежность, радость не существовали для Терезы Батисты.

Никогда она не просила у него чего бы то ни было, поганая гордячка, не сознавая, однако, своей гордости. Жустиниано дал ей платья из приданого Дорис, пару туфель, дарил какую-нибудь дешевую побрякушку в наиболее счастливые дни, когда принадлежавший ему бойцовый петух убивал на арене противника, разорвав его своими железными шпорами. Но даже эти редкие подарки не уменьшали господствовавшее в груди Терезы чувство страха. Достаточно было услышать, что капитан сердито повысил голос, выругался, рассмеялся, отрывисто и жестоко, как холод смерти сжимал сердце Терезы Батисты, обжигая ей подошвы ног раскаленным утюгом.

14

Живая, свободная, веселая девочка, лазающая по деревьям, бегающая с дворняжкой, участвующая вместе с мальчишками в бандитских походах и сражениях, пользовавшаяся уважением в драке, пересмеивающаяся с подружками в школе, обладающая умом и памятью, за что получала похвалы от учительницы, смешливая и одаренная, приветливая девочка умерла — умерла на матраце в тесной каморке под ударами плети и линейки. Угнетаемая страхом, Тереза Батиста ни к кому не испытывала привязанности, жила одна в своем углу, всегда запершись. Всегда в страхе. Напряжение спадало лишь в дни отъезда капитана по делам в Аракажу или в Баию, раза два-три в год.

Она вычеркнула из памяти беззаботную пору детства на ферме у дяди и тетки, часы в школе доны Мерседес, с Жасирой и Сейсан, героические войны с мальчишками, субботние базары, праздники; вычеркнула, чтобы не вспоминать тетку Фелипу, велевшую ей поехать с капитаном: «Капитан — хороший человек... у него в доме ты будешь иметь все... станешь знатной дамой...» Дядя Розалво отвел глаза от пола — оправившись от своего хронического оцепенения, он даже помог поймать ее. Это он ее захватил. На пальце у тетки блестело кольцо. «Что я сделала, дядя Розалво, какое преступление совершила, тетя Фелипа?» Тереза хотела все забыть, вспоминать так тяжело. Всегда ей хочется спать. Встает она с восходом солнца, нет у нее ни воскресений, ни праздников; ночью — капитан, иногда до рассвета. Случается, что он уезжает куда-нибудь или остается в городе, это — святые ночи, благословенные ночи, Тереза спит, отдыхает от страха; в постели исчезает умершее детство.

Терезе хотелось бы завязать дружеские отношения с арендаторами, с другими женщинами, но это оказалось нелегко. Любовница капитана, спящая на супружеской постели,— все избегали ее из опасения навлечь на себя гнев Жустиниано Дуарте да Роза. Его содержанке нечего болтать и скалить зубы. Многие из жителей были свидетелями того, что случилось с Жонгой, другие знали об этом понаслышке. Жонга, счастливец, спасся живым. Селина дорого заплатила

за разговоры и смех, капитан избил ее ножнами. Капитан — смертельная опасность, заразная болезнь, змеиный яд.

Дважды капитан возил ее на крупе лошади, чтобы показать петушиные бои. Он тщеславно гордился своими петухами и своей красивой девкой, ему доставляло удовольствие вызывать зависть. Пачки денег в кармане для пари, охранники вокруг, кинжалы и револьверы. На площадке — петухи в крови, железные шпоры, ощипанные груди, острый клюв, голова с гребнем, опрысканная кашасой. Тереза прикрывала глаза, чтобы не видеть, капитан приказывал ей смотреть: «Более волнующего зрелища не может быть. Говорят, что бой быков увлекательнее — сомневаюсь! Только увидев, можно поверить». Оба раза петухи капитана начисто проиграли, это были беспрецедентные, необъяснимые поражения. Должно было быть объяснение, должен быть виновник — виновата, конечно, Тереза, ее глаза, выражавшие осуждение и жалость, ее восклицания, когда петух падал, подергиваясь в агонии и из груди его струилась кровь. Каждый владелец боевого петуха знает, каким роковым является для чемпиона, участвующего в бою, присутствие среди публики плаксы — будь это мужчина или женщина. Сначала Жустиниано ограничился руганью и оплеухами, чтобы научить ее оценивать и натравлять петухов. А потом изрядно ее поколотил, чтобы отвести дурной глаз и выместить обиду за проигранные в пари деньги, отплатить за горечь поражения. Никогда больше он не брал ее с собой, запретил присутствовать на петушиных боях — как может не нравиться бой быков или петухов, как можно быть такой тряпкой? Тереза сочла побои дешевой ценой за неожиданное освобождение. Она предпочитала в редкие часы отдыха искать вшей у Гуги.

Так в страхе протекли два с лишним года жизни Терезы в доме на ферме. Однажды капитан застал ее пишущей что-то на листке... Он выхватил у нее бумагу и карандаш:

— Чья это писанина?

Тереза, оказывается, нацарапала собственное имя — Тереза Батиста да Анунсиасан, название школы — имени Тобиаса Баррето — и имя учительницы — Мерседес Лимы.

— Моя, сеньор.

Капитан вспомнил, что он слышал от Фелипы похвалу умению девочки писать и читать — тетка набивала цену, но он не обратил тогда на это внимания, интересуясь только самой девчонкой.

— Умеешь считать?

— Да, сеньор.

— Знаешь все четыре действия?

— Да, сеньор.

Несколько дней спустя Тереза была переведена в городской дом, ее узел был водворен в комнату капитана. Она не испытывала сожаления, покидая ферму, не жалела и о разлуке с Гугой, с ее открытой язвой и вшами. В лавке она заменила парня, который уехал на юг, он один понимал в четырех действиях арифметики. Здесь оставался Шико Мейя-Сола, доверенное лицо капитана. Он знал все товары в лавке наперечет, и плохо было бы тому, кто вздумал бы их расхищать. Незаменимый по выжиманию долгов за просроченные счета, ходивший всюду с большим ножом для резки рыбы, он, однако, с трудом соображал, сколько будет дважды два. Негритята, один — по имени Помпеу, другой по прозвищу Мухолов, умели воровать, взвешивая и отмеривая, однако тоже были слабы в арифметике. Тереза записывала покупки, складывала, получала деньги, давала сдачу, заполняла месячные счета. В течение трех дней Жустиниано контролировал ее и остался доволен. Клиенты наблюдали за ней искоса, от-

мечали, что она хорошо сложена и красива, но не рисковали вступать в разговор; женщина капитана Жусто — это роковая болезнь, змеиный яд, смертельная опасность.

15

Однажды, когда Тереза еще жила на ферме, там появился доктор Эмилиано Гедес, чтобы закупить для себя скот.

Человек, занимающийся различными делами, Жустиниано Дуарте да Роза покупал и продавал все что угодно — покупал дешево, продавал с прибылью: нет иного способа зарабатывать деньги. Он приобрел несколько месяцев тому назад стадо быков у некоего Агрипино Линса по дороге из Фейры де Сант'Ана. Животные были изнурены — кожа да кости,— несколько голов околело, пастух умер от тифа, и владелец продал остаток стада за гроши. В момент расплаты Жусто вычел еще из общей суммы стоимость одной коровы, околевшей сразу по прибытии в имение, и двух, едва таскавших ноги. Владелец стада хотел протестовать, капитан нагрубил ему: «Не поднимайте голос, нечего обзывать меня жуликом, этого я не допущу, забирайте свои деньги, убирайтесь, пока не поздно, сукин сын!» Он велел перевести скот на пастбище для откармливания.

Чтобы взглянуть на скот, отобрать несколько коров, доктор Эмилиано Гедес приехал сюда верхом на черном коне; отблескивали серебряные шпоры, украшенные серебром стремена, кожаная, отделанная серебром сбруя. Жустиниано принял его с должным почетом, которого заслуживает глава семейства Гедесов, старший из трех братьев, подлинный властелин окружных земель. Рядом с ним богатый и внушающий страх капитан Жусто выглядел бедняком, терял свою наглость и дерзость.

В гостиной приехавший — в нервной руке хлыст с серебряной рукояткой — заметил дону Брижиду, постаревшую и отчужденную, шаркавшую в домашних туфлях за внучкой.

— Со времени смерти моей жены она полупомешана. Предалась горю, не обращает внимания ни на что. Я содержу ее из милости,— пояснил капитан.

Старший из Гедесов проводил взглядом старуху, удалявшуюся в лес.

— Кто бы сказал, такая достойная сеньора!

Тереза вошла в гостиную, принесла кофе, Эмилиано Гедес сразу забыл не только дону Брижиду — все на свете. Пригладил усы, пригляделся к служанке. Он знал толк в женщинах и не смог сдержать изумление: боже праведный!

— Спасибо, дочь моя! — Он мешал кофе, не отрывая глаз от девушки.

Доктор Гедес выделялся своим внешним видом: высокий, худой, с седыми волосами, пышными усами, крючковатым носом, сверлящими глазами, ухоженными руками. Тереза, стоя к нему спиной, наливала кофе капитану. Эмилиано с вожделением глядел на ее фигуру, обтянутую платьем Дорис. Вот это штучка! Еще не совсем сформировавшаяся, она попозже могла бы стать просто великолепной.

После кофе они поехали верхом посмотреть скот, Эмилиано отобрал лучших коров, договорился о цене. Уже при возвращении, когда уточнялись последние детали покупки, он остановил лошадь у двери капитана, поблагодарил, а приглашение спешиться отверг:

— Большое спасибо, я тороплюсь.— Он поднял хлыст, но прежде чем тронуть лошадь, пригладил усы и сказал: — Вы не могли бы

прибавить к партии эту новенькую, что у вас в доме? Если хотите, назначьте цену, я заплачу, сколько вы скажете.

Капитан не сразу понял:

— Новенькая в доме? О чем это вы, сеньор?

— Я говорю о девчурке, вашей служанке. Мне нужна горничная.

— Это моя протеже, сеньор, сирота, мне отдали ее на воспитание. Я не могу распоряжаться ею. Если бы мог, она была бы вашей; извините, не имею возможности услужить вам.

Сеньор Эмилиано опустил руку и слегка ударил по ноге хлыстом с серебряной рукояткой:

— Не будем больше говорить об этом. Пришлите мне коров. До свидания.

Издавна привыкший повелевать, всемогущий властелин. Серебряными шпорами он коснулся брюха коня и, резко натянув поводья, поднял животное на дыбы. Гордец! Вздыбленного коня заставил повернуться: инстинктивно капитан отступил. Доктор на прощание взмахнул рукой, копыта ударили о землю, взметнув пыль. Терпение! Если бы служанка принадлежала ему, Гедесу, он бы тоже не назначил цену: он уже заметил блеск в ее глазах, блеск еще не обработанного бриллианта, который должен быть отделан искусным ювелиром: девушка, обладающая такими совершенствами,— изумительна, необычайна. Он увидел ее еще издали, с узлом на голове, когда она шла по дороге к ручью, раскачивая бедрами, формы ее начинали обрисовываться. Хорошо ухоженная, в достатке и ласке, она сделалась бы идеальным, божественным созданием. Но этот Жустиниано, бестия с низкими инстинктами, он не способен видеть, полировать и шлифовать грани, придать подлинную ценность сокровищу, которое попало к нему по несправедливости судьбы. Если бы она принадлежала ему, доктору Эмилиано Гедесу, он бы превратил ее в королевскую драгоценность — для этого нужно умение, тонкое обращение, спокойствие, воспитать ее было бы одним удовольствием. Ах! Блеск черных глаз, несправедливость судьбы!

Капитан Жусто на веранде дома наблюдает горячего коня, породистого, дорогого жеребца в серебряной сбруе; только что поднятый на дыбы, он изрядно напугал его. Какой надменный всадник! Жустиниано Дуарте да Роза перебирает ожерелье из золотых колец, символизирующих сорванные еще зелеными плоды; да, с наибольшим трудом достался ему плод Терезы. Тереза совсем молоденькая, тринадцати неполных лет, Тереза... Если бы он захотел от нее избавиться, то продал бы, хорошо заработав на этой сделке. Если бы он захотел ее продать, доктор Эмилиано Гедес, старший из Гедесов, владелец многих-многих земель и несчетного числа подчиненных, заплатил бы хорошую цену, чтобы доесть то, что осталось после него. Но нет нужды ее продавать. По крайней мере сейчас.

16

Зимние дожди оросили сожженную солнцем землю, семена проросли, поднялись всходы, плантации стали приносить урожай. На церковных службах в честь святых девушки распевали кантиги, тянули жребий на брак, давали обеты; на дорогах у ферм слышались звуки гармоник в ночи танцев, взрывы фейерверка: после молений и просьб, адресуемых святому,— ликер, кашаса, флирт, любовные связи... Был месяц июнь, месяц святого Жоана...

В гостиной достопочтенного судьи Эустакио Фиальо Гомеса Нето — или проще Фиальо Нето, автора пылких сонетов,— горят огни: стулья заняты гостями, пришедшими приветствовать сеньору Беатрис Гедес Маркондес Гомес Нето, супругу судьи, которая почти всегда здесь отсутствует, проживает в столице штата, где воспитывает своих детей: «В нынешние времена нельзя оставлять ребят одних в большом городе, полном соблазнов».

Находящемуся тут же сыну Даниэлу скоро будет двадцать два года, он второй по старшинству. Старшему Исаиасу вот-вот исполнится двадцать семь — между ними двумя была девочка, она умерла. В декабре Исаиас кончает медицинский факультет. Итак, дети, о невинности которых дона Беатрис печется в Баие, ради которых она оставляет мужа здесь, в руках шлюхи,— это двое верзил и Вера, Веринья, совершеннолетняя, двадцати лет, никак не закончит гимназический курс, но уже справляет третью помолвку. «Сеньора пребывает в Баие, предаваясь картежной игре и разврату, и не стыдно ей изображать благодетельную жену, приносящую себя в жертву детям; получается, что мы — банда помешанных старух, которым нечего больше делать, как злословить про чужую жизнь».— «А разве мы на самом деле не такие?» — рассмеялась добрая Марикиньяс Портильо; другие, однако, согласились с доной Понсианой Азеведо, хорошо информированной о жизни семейства достопочтенного судьи от его знакомых, соседей доны Беатрис! Каждый вечер та уходила играть в карты в домах подруг или чтобы встретиться с доктором Илирио Баэтой, профессором факультета, который был ее любовником на протяжении более двух десятков лет; похоже, что это он, еще будучи студентом, лишил ее невинности. И не удовлетворяясь наставлять рога судье, она награждала ими и знаменитого эскулапа, будучи большой любительницей молодых людей. Поэтому ей приходится все время реставрировать лицо, тренировать тело, заботиться о глазах, подтягивать грудь и так далее. От зависти раздувались лифы кумушек, появлялась горечь во рту, желчь на языке...

Слегка улыбаясь, Беатрис устремила на длинные наманикюренные ногти свои миндалевидные глаза — они ей очень шли, как утверждали все в столице,— отводила их от мужа, бедняги, тщетно силившегося выглядеть веселым. Эустакио вызывал у Беатрис лишь сострадание: у него хищная любовница, он вынужден прикидываться респектабельным, да еще пишет стихи, старый рогоносец.

Правда, капитан связался с канальей наихудшего сорта; она у него служит, покрывая его мерзости и грязные дела. Счастье, что не существует возможности каких-либо политических изменений в стране и что она, дона Беатрис, родственница Гедесов по материнской линии, является верной гарантией. Это им, Гедесам, бедный Эустакио обязан своим назначением в суд двенадцать лет тому назад, когда, установив факт банкротства и то, что наследство оказалось под угрозой, она навязала ему свое решение, желая избежать развода и скандала...

Даниэл, любимый сын, копия матери, вошел в зал как обычно, с соблазнительной улыбкой — разве Даниэлу не пришлось приехать провести месяц каникул в обществе отца, чтобы расстаться с шестидесятилетней миллионершей Перолой Шварц Леан? Он устал от перстней, ожерелий, рыданий, вспышек ревности дряхлой старухи. Надев на себя маску циника, развратника, Дан, в сущности, был не более как мальчишка, юнец.

Даниэл почувствовал атмосферу натянутости в гостиной — он испытывал отвращение к ссорам, спорам, замкнутым лицам — и попытался разрядить обстановку:

— Я ходил, осматривал городок; немножко грустно, не правда ли? Уже забыл, какой он, ведь тут я не был целый век. Не понимаю, как ты, отец, можешь торчать здесь столько времени, так редко выезжая в Баию, ведь это невыносимо. Я закончу юридический факультет, как ты хочешь, но не проси меня стать судьей в провинции, ужас!

Дона Беатрис улыбнулась сыну:

— Твой отец, Дан, всегда был немного честолюбив, он поэт. Умен, очень начитан, печатается в газетах и, используя престиж моей семьи, мог бы сделать политическую карьеру, но он не захотел, предпочел стать провинциальным судьей.

— Все имеет свое вознаграждение, сын мой.— Достопочтенный снова облачился в мантию респектабельности.

— Верю, отец.— Даниэл согласился, вспомнив про Белинью, содержанку отца, с которой только что поздоровался на улице.

— Здесь, в тишине, я могу заниматься исследованиями, могу спокойно работать над моими двумя книгами — по уголовному кодексу, а также над сборником поэм. Когда я выйду в отставку, думаю подать на конкурс на факультете; меня соблазняет педагогика, политика же меня никогда не привлекала, напротив, она внушает мне отвращение! — Судья даже раздулся в тоге блюстителя высокой морали.

Дона Беатрис предпочла переменить тему разговора, напыщенные манеры Эустакио действовали ей на нервы — какая мука!

— Ты, наверное, уже пробудил великие страсти, Дан? Много сердец разбил? Сколько мужей, сколько домашних очагов под угрозой? — Она проявляла живой интерес к любовным приключениям сыновей, которые доверяли ей свои тайны, была смешливой соучастницей, когда Даниэл спутывался с какой-либо ее подругой по карточной игре.

— Посредственны здесь женщины, мама, но держатся агрессивно. Никогда не видел чего-либо подобного. Однако они мало интересны, по крайней мере, пока.

— Ничто тебя не привлекло? Говорят, здешние девушки хотя и деревенские, но электризующие.— Она повернулась к мужу: — Этот твой сын, Эустакио,— конкистадор номер один в нашей столице.

— Преувеличения, продиктованные материнской любовью, не верь этим разговорам, отец. Иногда везет среди старушек, кое-какие романтические истории. В общем, пустяки.

Судья молча посмотрел на жену, сосредоточенно разглядывающую свои наманикюренные ногти, и на зевающего сына,— так похожи мать и сын друг на друга, и оба почти чужие для него. В конце концов, что ему осталось в этом мире? Встречи с местными гениями, муки творчества, вечера и ночи в жарких объятиях Белиньи. Нежная, заботливая Белинья, стыдливая и простодушная, правда, имела какого-то двоюродного брата, но это — простительный грех.

У двери послышался шум приветствий — уважаемая супруга префекта прибыла с визитом к уважаемейшей супруге судьи. Даниэл поднялся: пора погулять около магазина капитана.

17

— Я неизлечимый романтик, что могу с собой поделать? — говаривал перед однокашниками по факультету Даниэл, он же популярный среди старушек Дан.

Студент факультета юриспруденции, доктор безделья, прошед-

ший полный курс науки в кабаре, публичных домах, женских пансионах, высокий и стройный, томный, красивый парень: глаза с поволокой, большие и скорбные (прежде такие глаза по восточной моде были у доны Беатрис), блудливый взгляд — по выражению его коллег,— полные, чувственные губы, курчавые волосы; красота его была несколько обманчива, не потому, что изнеженная, а какая-то нездоровая. Дан давно стал любимцем проституток из публичных домов и элегантных дам высшего общества, большинство которых приближалось к финишу, сделав последние пластические операции. От тех и других он охотно принимал подарки и деньги, даже с гордостью их показывал — галстуки, пояса, часы, отрезы материи, крупные банкноты, иллюстрируя всем этим свои пикантные рассказы, разгонявшие скуку на лекциях.

Заза до Бико Досе деликатно совала ему в карман пиджака значительную часть своего дневного заработка; Дан заходил за нею на рассвете в дом терпимости Изауры Манеты, и они спускались по улице Сан-Франсиско ради идиллии в уютной комнатке с душистыми листьями питанги на цементном полу, с постелью, накрытой чистыми простынями, пахнущими лавандой: по пути Заза, скромная и тактичная, выбирала удобный момент и вкладывала ему деньги в карман, да так — наивно подумывала Заза до Бико Досе,— чтобы он этого не заметил.

— Стоит мне только прикинуться рассеянным, и денежки текут в карман, не раня моих чувств,— отмечал Даниэл.

Дона Ассунта Менендес до Аррабал — муж которой, владелец хлебопекарен, был уже в возрасте солидном,— сорокалетняя аппетитная дамочка, выкладывала Дану подарки и деньги в постели. Она всегда объявляла цену своих подношений, поднимая тем самым их ценность: «Стоило очень дорого, мой красавец, целую кучу денег»,— она не добавляла, что пользовалась скидкой в магазинах друзей мужа. Говорила она и о происхождении подарка и его качестве: «Настоящий английский кашемир, мой красавец, контрабанда!»

С превосходным обликом альфонса, с двусмысленным видом распутного херувима, сентиментальный и порочный, обладающий всеми необходимыми познаниями в области благородного ремесла, прекрасный танцор, да еще с хорошо подвешенным языком, вялым голосом, мягким и горячим, пьянящим, он был приятен повсюду. И все же, несмотря на все качества, которыми он обладал, Дан не сумел стать настоящим профессионалом и своим коллегам признавался:

— Я неизлечимый романтик, что могу с собой поделать? Влюбляюсь, как старая корова, отдаю себя задаром и еще трачу собственные деньги; где вы видели приличного, уважающего себя плейбоя, бросающего деньги на женщин? Я не более чем альтруист, дилетант.

Коллеги смеялись над его наглостью, Дан был неисправим, безнадежен, непомерный циник, хотя его близкие друзья подтверждали, что у него случались неожиданные увлечения, приводившие к тому, что он бросал богатых покровительниц и удобных любовниц. Везение его в любви было общеизвестно в студенческих и богемных кругах, ему приписывали любовниц, даже преувеличивая число его связей. С тех пор, когда он был еще подростком, этот дерзкий юноша прирабатывал деньги у женщин и тратил на них же.

Редко дети достопочтенного судьи приезжали повидать отца в далекий, глухой угол провинции. Доне Беатрис, заботящейся об условностях, о хороших манерах, соблюдающей катехизис резонов и обетов, удавалось иногда взять с собой одного из них, посещая супруга и отца,— это было нудно, без сомнения, но необходимо для

хорошей репутации семьи. Даниэл, самый строптивый и более занятой, уже пять лет не садился на поезд — «зачем ехать коронить себя на целый месяц в этой дыре, мама, если я могу повидаться с отцом, когда он приедет сюда, не говоря уже о том, что у меня есть программа на эти каникулы»,— вместо этого он посещал Рио, Сан-Пауло, Монтевидео, Буэнос-Айрес в обществе щедрых поклонниц его внешности и его талантов, и, естественно, за их счет. На этот раз, однако, доне Беатрис не понадобилось заискивать или спорить: неожиданно Даниэл сам предложил поехать: «Хочу переменить обстановку, мама!» Таким образом он освободился бы от доны Перолы Шварц Леан, долгожительницы, сохранившейся благодаря косметике и драгоценностям, она была плачевным воспоминанием о былом, уже не могла смеяться свободно, так ей косметологи стянули кожу на лице. У нее было много денег, и почему-то от нее всегда несло чесноком. Шестидесятилетняя сан-пауловская вдова, приехавшая посетить прославленные церкви Баии, она встретила в храме святого Франциска юношу студента, изнеженного и прекрасного, потеряла голову, заодно и скромность, сняла дом на побережье, открыла ему толстую сумочку. Деньги, правда, утекали на все модное для Тани, курносой мулаточки в публичном доме Тибурсии — очередное увлечение Даниэла.

Он устал и от той и от другой. Ничто не могло смягчить запаха чеснока, исходящего от доны Перолы, а деньги и кокетство покончили с непритязательностью Тани, сделав ее назойливой и требовательной,— в костре страсти Дана было слишком мало дров. Ему оставалось бегство, он уехал с доной Беатрис в глубь штата, где отец творил правосудие и писал любовные сонеты.

Сестра Веринья, избранная недавно Принцессой гимназии — титул Королевы она проиграла из-за явной пристрастности жюри,— обратила внимание братьев на некоторые из отцовских сонетов, опубликованных в литературном приложении к газете «Тарде»:

— Мальчики, наш старикан, видимо, большой знаток женщин, его стихи суперсексуальны... Мне они нравятся, они сенсационны...

Сонеты вызвали у Дана любопытство, и, приехав в Кажазейрас, он попытался обнаружить вдохновительницу пылких восторгов отца. Сведения о Белинье дал ему Маркос Лемос, чиновник из конторы завода, коллега судьи по литературному хобби; будучи заядлым сплетником, он рассказал ему также и о Терезе Батисте.

Белинью, наложницу судьи, Маркос Лемос показал Даниэлу на улице, когда та шла со служанкой, держа в руке зонтик, возможно, она направлялась к зубному врачу. Даниэл приблизился, чтобы рассмотреть ее поближе; Белинья, шествуя своей легкой походкой, подняла пугливые глаза, чтобы также получше разглядеть сына судьи. Даниэл улыбнулся ей и вежливо поздоровался: «Благословите, мама!» Она не ответила, но нашла шутку остроумной. С опущенными глазами, покачивая бедрами, она последовала дальше. В отсутствие достопочтенного судьи Белинья утешалась с «двоюродным братом». Семейные дела способны были соблазнить студента, отдыхавшего от университетской учебы и оживленной жизни столицы, не будь девчонки капитана: не девочка, а мечта, рядом с нею другие не существовали, как мог вырасти на этой дикой земле такой великолепный цветок? Это Маркос Лемос, полный тщеславия от своей роли чичероне симпатичного юноши, показал ему и любовницу капитана; конечно, не в прямом смысле любовницу, но одно из многих увлечений Жустиниано Дуарте да Роза.

Даниэл не мог оторвать от нее глаз — он прямо обезумел, его страсть была подобна опустошающему огню.

18

Очень недобрая слава у капитана. Мрачный, резкий, задира, с дурными привычками. Хотя Даниэл был осторожен и не любил попадать в затруднительные положения, его не остановили предупреждения Маркоса Лемоса — конторщик явно преувеличивал. Дан верил в свою постоянную счастливую звезду и в свой прошлый опыт; он не думал, что капитан проследит за поведением одной из многих своих девушек, поскольку помимо Терезы у него одновременно бывало еще две или три — на ферме, в пансионах, на углах улиц, в том числе здесь в лавке, рядом с ней.

Да и как, черт возьми, капитан сможет узнать? Осторожность и осмотрительность, конечно, понадобятся; но и в этой области Даниэл уже имеет степень доктора наук.

Как раз напротив лавки находился особняк семейства Мораэс, один из лучших в городе; обитателями его были четыре сестры. Принадлежа к богатому некогда роду, сестры унаследовали доходные дома и акции. Веселые, симпатичные, отличные хозяйки, они, живя в столице, не имели бы недостатка в претендентах на руку и приданое. Здесь же у них не было больших перспектив.

Лавка капитана Жусто служила единственным развлечением для старых дев, которые, расположившись у окон второго этажа, следили за покупателями, замечая количество покупок, отвечая на приветствия, убивая таким образом бесконечно тянувшиеся дни. За последнее время количество покупателей в лавке значительно увеличилось — особенно мужчин. Магда, по причине занятости служанки, сама ходившая за продуктами, объяснила причину паломничества. Она поняла это сразу же, как только вошла: девушка, получающая деньги за покупки,— любовница капитана. Молоденькая девчонка с распущенными волосами и испуганным лицом — так описала ее Магда сестрам, и описание это было точным. Со временем любопытство уменьшилось, лишь Маркос Лемос стал завсегдатаем в лавке, приобретая по утрам сигареты, а по вечерам, при возвращении из конторы завода,— спички.

Даниэл подошел к лавке как раз в момент прибытия с фермы капитана Жусто. Сойдя с грузовика, тот стал свидетелем обмена улыбками и любезностями между Даниэлом и сестрами Мораэс.

— Ола, капитан!

— Как поживаете? — И так как Даниэл подошел и протянул руку, капитан, понизив голос, добавил: — Я вижу, вы, дружище, не теряете времени...

Даниэл не стал отрицать. С заговорщической улыбкой он взял капитана под руку, поглядывая на дверь, в притворе которой одна из сестер, Тео, как бы ненароком выставляла напоказ грудь, затем посмотрел на окна второго этажа, где красовались остальные три — Магда, Амалия и Берта. Лучшего прикрытия не могло быть: старые девы, свалившиеся с неба, бог на его стороне! К тому же самая молодая вполне заслуживала того, чтобы за нею поухаживать... Но когда рядом девчонка капитана, эта прелесть,— как можно думать о другой женщине? Под руку с Жустиниано Дуарте да Роза Даниэл вошел в лавку.

19

Тереза почувствовала на себе чей-то взгляд, подняла глаза: это был молодой человек, разговаривавший с капитаном, весьма самоуверенный. Из-за безразличия и боязни Тереза не переглядывалась с по-

купателями. Хотя она видела, когда входил и выходил Маркос Лемос, смотревший на нее жадным взором, улавливала его улыбки, отмечала посещения. Неуклюжий верзила, выглядевший старше своих пятидесяти лет, Маркос Лемос подмигивал ей, делал какие-то знаки. В первый раз Тереза рассмеялась над тем, что такой почтенный человек подмигивает, как уличный мальчишка. Потом она перестала обращать на него внимание, взгляд ее был прикован к тетради, куда она записывала цены, выкрикиваемые Помпеу или Мухоловом, а также Шико Мейя-Солой — иногда доверенный охранник приходил помогать приказчикам. Шико был обязан получать товары, прибывающие поездом или на ослах, вести переговоры с возчиками, погонщиками, грузчиками, а также взыскивать задолженности по месячным счетам: он редко обслуживал покупателей у прилавка. Маркос Лемос задерживался в магазине, закуривая, в надежде перехватить хоть один взгляд Терезы, увидеть еще раз, как она смеется; наконец, он уходил, более или менее поспешно, убежденный, однако, что находится на верном месте в очереди: первым он числился в списке клиентов пансиона Габи. Никто не появлялся раньше его в лавке: когда она окажется одна, выставленная на улицу капитаном, то вспомнит о нем. Он считал, что удача обеспечена.

Услышав раскаты хохота, Тереза снова подняла голову, молодой человек смотрел на нее поверх плеча капитана: пригнувшись, капитан трясся в безудержном приступе смеха. Облокотившись на прилавок, молодой человек улыбался: полуоткрытый рот, томные глаза, курчавые волосы, нежная кожа — почему Тереза узнала его, хотя никогда не встречала прежде? Почему ей были знакомы его улыбка, изящные манеры? Внезапно она вспомнила: архангел на олеографии Благовещения в доме на ферме, на стене каморки, точно такой же, ни убавить, ни прибавить. Эта картина была самой красивой вещью, какую Тереза видела во всей своей жизни; сейчас она лицезрела архангела воочию. Опустив глаза, она невольно улыбнулась.

Мухолов диктовал ей цифры: полтора килограмма вяленого мяса по тысяче четыреста, три литра не то килограмма муки по триста рейсов, килограмм или литр черной фасоли за четыреста, литр кашасы, двести граммов соли. Сквозь смех раздался голос капитана:

— Когда закончишь подсчет, Тереза, приготовь нам кофе.

Даниэл подробно знакомил капитана с жизнью публичных домов и кабаре Баии, описывал фигуры персонажей, перечислял их имена, клички, рассказывал разные случаи, анекдоты; Жустиниано Дуарте да Роза нравилось чувствовать себя в курсе событий в столице штата: он был завзятым посетителем этих заведений, когда ездил туда, да парень еще рассказывал так остроумно.

Тереза поставила на прилавок поднос с кофейником, маленькие чашки, сахарницу; наливая кофе, она услышала, как молодой человек говорит капитану, не отводя в то же время умоляющего и настойчивого взора от ее глаз:

— Капитан, пока буду держать крепость в осаде, могу я использовать ваш магазин как окоп? — В помещении разнесся аромат кофе, Дан отхлебнул глоток.— Превосходно! Могу ли я получать иногда чашечку кофе, подобного этому?

— С семи утра до восьми вечера магазин открыт, он к вашим услугам, а кофе стоит только попросить.— И он приказал Терезе: — Когда друг Даниэл появится здесь — а я думаю, он будет появляться часто,— подавай ему чашечку кофе. Если занята, он подождет, он не торопится, не так ли, сеньор мудрец?

— Никакой спешки, капитан, все мое время теперь посвящено

исключительно этому делу.— Глаза его устремлены на Терезу, будто он говорит о ней и для нее.

Тереза исчезла с кофейником и чашками, и капитан сообщил:

— Поговаривают, что Теодора... Вам известно, что ее зовут Теодорой? Покороче — Тео. Так вот, говорят, что ей нечего больше защищать; это — зеленый свет светофора: цирковой артист, который проезжал тут, устроил ей бенефис. Что касается меня, я сомневаюсь, говоря откровенно. Правда, они целовались и обнимались, это верно, я сам видел отсюда из магазина, как они стояли у двери ее дома и целовались взасос; они достаточно много позволяли себе, это так, но чтобы больше того, не думаю. Да и где, черт возьми, они могли устроиться? Кажазейрас — не Баия, где нет недостатка в подходящих местах, и не ферма с рощами. Не говоря уже о том, что здесь каждый следит за чужой жизнью, вы скоро в этом убедитесь; только один человек, не глядя на остальных, делает что хочет — ваш покорный слуга. Зато я не общаюсь со знатными людьми, вроде соседок. Если я однажды и стал общаться, то лишь для того, чтобы жениться. Я предпочитаю обыкновенную охоту, она не требует труда и не приносит головной боли. Говоря откровенно, я думаю, что девица и этот тип просто флиртовали, остальное же все — болтовня. Так или иначе, девица хороша!

Даниэл повысил голос, бросив через плечо Жустиниано Дуарте да Роза:

— Самая красивая женщина, какую я только встречал в жизни!

— Э! Что это? Не преувеличивайте. На мой вкус, она, правда, уже несколько перезрела; не то чтобы я ее недооценивал, но отдаю предпочтение молоденьким, знаю других, несравненно лучших. В Аракажу, в заведении Венеранды есть одна иностранка, черт ее разберет, откуда она, я же знаю, что она яркая блондинка. Волосы у нее белокурые, она говорит, что такие волосы у нее на родине называются как будто серебряными.

— Платинум-блондэ,— подтвердил Дан на иностранный манер.

— Вот-вот, это не то, что наши блондинки-сарарá, это совсем другое, очень красивое. Мне хочется поехать в Европу только затем, чтобы подцепить там совсем молоденькую иностраночку вот с такими белокурыми волосами.

Даниэл делал вид, что он весь внимание, но глаза его были устремлены на девчонку. Тереза Батиста до сих пор не видела никого красивее. Никого! Разве что, пожалуй, хозяин завода, но тот был иным; против воли она устремила взор на Дана и в смущении приоткрыла рот, улыбнулась.

20

В смущении она улыбалась, сама не зная чему, смотрела, не желая смотреть. Молодой человек бродит вокруг, прогуливается по улице туда и обратно, заходит в лавку. Только чтобы поговорить с ней, попросить стакан воды. «Не хотите ли чашечку кофе? Я пойду приготовлю». Тереза чувствует себя неловко, голос ее дрожит, она робеет. Поджидая, Даниэл дарит приказчикам американские контрабандные сигареты. Оба парнишки не злословят, будучи убеждены, что завязка фильма иная — с Теодорой в роли молоденькой героини. С нескрываемой завистью наблюдают они за маневрами бандита, конкистадора, прибывшего из большого города, чтобы подловить невинную жертву, впрочем, бандита симпатичного, а жертва была не такой уж невинной.

Тереза не всегда сидела за маленьким столиком, занимаясь подсчетами. Она была обязана заботиться об уборке комнаты и стирке белья капитана. Общую уборку дома и лавки, включая туалет, находящийся во дворе, делали приказчики, приходившие на работу рано утром. Шико Мейя-Сола ставил на огонь кастрюлю с черной фасолью, сушеным мясом, тыквой, сладким маниоком, бататом, куском языка — стряпать он научился в тюрьме. В полдень, когда покупателей становилось совсем мало, Шико и парнишки шли завтракать, а Тереза оставалась одна в лавке на случай, если появится какой-нибудь покупатель. Когда капитан находился в городе, Тереза стелила на стол скатерть, ставила тарелки, столовые приборы, подавала хозяину кашасу до обеда и пиво во время еды. Пища для Жустиниано приносилась из пансиона Корины в судках, обильная и разнообразная. Капитан ел с аппетитом, поглощал огромные порции, пить он мог сколько угодно, не останавливаясь. Шико Мейя-Сола имел право на рюмку кашасы за завтраком и на другую за обедом — и проглатывал залпом. Зато по вечерам в субботу и накануне праздников он напивался до такой степени, что валился как мертвый дома или в закутке какой-нибудь дешевой проститутки. В отсутствие хозяина Тереза не стелила скатерти, не пользовалась столовыми приборами, ела прямо руками то, что приготавливал Шико, сидевший на корточках в углу.

Даниэл быстро освоился с обычаями и привычками обитателей лавки, задавая как бы случайно вопросы приказчикам, в то время как на потеху этим ребятам он выставлял себя напоказ перед сестрами, продолжавшими занимать прочные позиции в окнах особняка.

Взволнованных сестер снедало нетерпение и удивление — с чего бы это такая абсурдная робость? Он же прибыл из столицы штата со славой смелого конкистадора, террора мужей, даже альфонса. Дона Понсиана де Азеведо, знающая о похождениях Дана, нанесла им визит и рассказала подробно о его скандалах, а сейчас красавчик держался в отдалении, исключительно скромно, не делая никаких попыток сблизиться, так и застряв на самой первой стадии флирта, причем — что было еще более необычным — он интересовался в одинаковой степени всеми четырьмя сестрами, разделяя меж них поровну любезности и намеки; как знать, может быть, эта необъяснимая робость проистекала именно из-за трудности сделать выбор в пользу какой-либо одной? Каждая из сестер в своем окне, Даниэл — на тротуаре напротив. С улыбкой на устах два-три раза он прохаживается туда и обратно под полуденным солнцем или при вечернем бризе, затем укрывается в прохладу лавки. Его сопровождают вздохи четырех сестер с балкона.

Капитан тоже поинтересовался, каких успехов достиг Даниэл:

— Ну так как же, попробовали плод?

— Терпение, капитан! Когда дело свершится, я все расскажу.

— Я только хочу знать, девственница она или нет. Держу пари, что да.

— Господь да услышит вас, капитан.

Они вели оживленную беседу на одну и ту же неизменную тему: злачные места Баии — это увлекало Жустиниано Дуарте да Роза. Дан завоевал его доверие, вместе они ходили в пансион Габи пить пиво и смотреть на женщин. В то время как, облокотившись на прилавок и критикуя представительниц местной высшей знати злачных мест, Даниэл на виду у сурового капитана волочится за Терезой, беседуя с ней на языке недвусмысленных взглядов и улыбок: подготавливает почву.

Мало-помалу он искушает Терезу. Сама того не желая, не зная почему, против своей воли, Тереза начинает отвечать на его взгля-

ды — какие у него печальные глаза, голубые и роковые, полные губы, курчавые волосы, архангел, сошедший с небес. Когда приятели вышли на улицу, Тереза спрятала на груди принесенный им цветок. Даниэл за спиною капитана показал ей увядшую розу и, поцеловав, положил на прилавок. Для Терезы он сорвал ее и поцеловал; на грязном прилавке — алая роза, поцелуй любви.

21

Расспрашивая, беседуя, прогуливаясь вокруг магазина, Даниэл обнаружил идеальный час: в полдень, во время завтрака Шико Мейя-Солы и приказчиков, Тереза находилась в магазине одна за прилавком, лишь чудом в это время мог явиться покупатель. Необходимое условие для безопасного выполнения плана: отсутствие капитана, отъезд его за город по делам или на ферму. Даниэл был настороже, выжидал.

Несколько дней нетерпеливого ожидания — и Даниэл с радостью отклоняет приглашение капитана принять участие в короткой поездке, всего на один день, чтобы присутствовать на петушином бою в местечке неподалеку: десять легуа плохой дороги, расползшейся из-за дождей, но Терто Щенок, хороший шофер, брался доехать за два часа, а свирепые бойцовые петухи вполне заслуживали этой жертвы. Хорошая возможность для друга Даниэла выиграть немного деньжат, поставив на петухов капитана. Дан, к сожалению, не может принять приглашение — как раз на этот день у него назначена встреча в секретнейшем месте: единственная возможность заключить в объятья красивую соседку и выяснить все,— как жаль, капитан!

— Серьезная причина, я не настаиваю, тогда в другой раз. Проверьте хорошенько и потом скажете мне, прав ли я, что девушка — девственница.— Капитан простился, усевшись в машину рядом с Терто Щенком.— Тронулись, мне еще надо заехать на ферму, до свидания.

Пустые окна в особняке, пустынна улица. Даниэл с угла возвращается в лавку. Тереза, увидев, что он входит, остается недвижимой, лишившись голоса, неспособная на слово или жест, никогда она не испытывала чего-либо подобного: сердце бьется с перебоями, но это не страх и не отвращение,— так что же это? Тереза не знает.

Они не обменялись ни единым словом. Он схватил ее в объятья, прижавшись пылающим лицом к ледяному лицу Терезы: от духов молодого человека кружилась голова. Аромат исходил от его волос, кожи, рук, полуоткрытых уст. От капитана всегда дурно пахнет по́том, перегаром кашасы — сильный мужчина, по его мнению, не употребляет духов. Не отстраняясь от нее, Даниэл нежно взял в ладони лицо Терезы, пристально глядящей в глаза, медленно приблизил свои уста к ее губам. Почему Тереза не отворачивается, если она питает ужас к поцелуям, отвращение ко рту капитана, когда тот впивается в ее губы, кусает их? Сильнее отвращения страх. Молодой человек не внушает ей страха; и все же, почему она соглашается, не отклоняет лицо, не прогоняет его?

Рот Дана, губы, язык, долгий, нежный поцелуй; губки Терезы раскрываются в ответном поцелуе. Внезапно у нее в груди будто что-то взрывается, и глаза, прикованные к небесно-голубым глазам ангела, уже увлажнены — можно ли плакать по другим причинам, кроме как от боли, от побоев, бессильной ненависти, неудержимого страха? Есть ли другие причины для слез? Она не смогла бы ответить, ведь

она познала только дурное: чуму, голод и войну — такова жизнь Терезы Батисты.

Доносится звон тарелок и столовых приборов, Тереза вздрагивает. Они выпускают друг друга из объятий, прерывают поцелуй, Дан на прощание прикасается губами к ее влажным глазам и выходит на улицу, обмытую дождем. Под зимними ливнями прорастают семена, пробиваются всходы, и на суровой, сухой и дикой земле появляются цветы, а затем плоды.

А когда приказчик Помпеу вошел в магазин, сопровождаемый Мухоловом, Тереза продолжала сидеть на том же месте, с отрешенным видом, забывшая обо всем на свете.

22

Дан поцеловал ее в глаза, затем в губы, правая рука его скользнула от спины к бедрам, левой рукой он гладил волосы Терезы. Четыре дня прошло с того первого поцелуя, но Тереза еще чувствовала его вкус на своих губах и сейчас, хотя Дан поцеловал ее уже во второй раз. Его горячий шепот разжег пожар в ее груди.

— Завтра ночь святого Жоана,— говорил Даниэль,— и капитан сказал мне, что поедет на праздник, а праздник... всю ночь до рассвета...

— Я знаю, он ездит каждый год... на ферму сеу Мундиньо Аликате.

— Завтра в девять вечера жди у задних ворот, ровно в девять. Будет наш праздник святого Жоана.

Снова поцелуй в уста, Тереза слегка — с трепетом — коснулась курчавых волос Дана, мягких, как обезьянья шерсть. Завтра наш праздник, непременно.

23

Даже Дорис, законной супруге, а тем более Терезе, простой девчонке, капитан не привык сообщать о своих отлучках, разъездах, ночевках, планах и решениях: ни одной женщине он никогда не позволял дерзости требовать от него отчета, где проведет ночь, дома ли с нею, или в заведении Габи, потягивая пиво, знакомясь с новой обитательницей пансиона, или же в ближайшем местечке, занятый различными делами или петушиными боями,— уважающий себя мужчина держит женщину на должном расстоянии.

О более долгих путешествиях, в Баию или Аракажу, Тереза узнавала лишь перед отъездом, ровно за те часы, чтобы успеть уложить чемодан — отлично выглаженные рубашки, белые блистающие костюмы. Она случайно узнавала, услышав обрывок разговора между капитаном и Шико Мейя-Солой, о предполагаемой задержке на ферме — нужно подогнать работы; о поездке в Кристину — проверить винный погребок негра Батисты (таверна лишь носила имя негра, а деньги и товары — все принадлежало Жустиниано); о целых ночах там и тут, на фанданго [1] в домах знакомых, в поселках и на плантациях, поскольку он был хорошим танцором, всегда готовым порезвиться, тем более что эти вечеринки с танцами были лучшими местами для вербовки молоденьких девчонок. Такие ночи были ночами отдыха для Терезы.

[1] Танцевальные вечеринки (от названия популярного танца).

О празднестве в ночь святого Жоана в доме Раймундо Аликате на далекой плантации Тереза знала: капитан никогда не пропускал праздник, неизменно бывал главной фигурой на вечеринке. Мундиньо Аликате, которому покровительствовали Гедесы, наемник Жустиниано, был известным человеком в округе. На праздник святого Жоана он разжигал гигантский костер, зажаривал горы маиса, устраивал танцы. Люди прибывали со всей округи — на лошадях, в повозках, запряженных быками, пешком, на грузовиках и «фордиках». Раймундо Аликате закалывал борова, козленка, барана, резал кур и цыплят, устраивал пир горою. Кавакиньо, гармоники и гитары, вальсы, шоте, польки, мазурки, фокстроты и самбы — музыка и танцы всю ночь напролет. Капитан начинал кадриль, он был силен в танце, в выпивке, в еде: среди собравшихся он высматривал девушек по своему вкусу; когда выбор был сделан, Раймундо, льстец, брался договориться с девушкой. С этого празднества капитан никогда не уезжал с пустыми руками.

Тереза накрахмалила белый костюм, голубую рубашку. Выстиранное и выглаженное белье разложено на кровати. На краю постели сидит капитан, голый. Тереза моет и вытирает ему ноги, потом выходит вылить воду из таза, а страх ее не покидает. Это не прежний страх перед грубостью и побоями; сегодня она боится, что он, как привык это делать, велит ей побыть с ним, прежде чем станет одеваться на празднество. Сегодня нет, боже мой! Ужасная, тягостная обязанность, Тереза покорно выполняет ее почти ежедневно, опасаясь наказания. Но сегодня нет, нет, боже мой! Хоть бы он не вспомнил!

Но он вспомнил... Потом Тереза, стоя на коленях, надевает ему носки и ботинки, подает рубашку, брюки, галстук, пиджак, после — кинжал и револьвер.

Терто Щенок поджидает, сидит за рулем в грузовике перед лавкой — шофер и наемный убийца, компаньон по танцам, игрок на гармонике. Шико Мейя-Сола уже отправился в бесконечный марафон ночи святого Жоана: из дома в дом, накачиваясь кашасой, коньяком, ликерами — из плодов женипапо, кажу, питанги, журубебы, для него безразлично, какое это спиртное и какая марка. Наутро он дотащится до раскладушки в одной из каморок дома, забитой сушеным мясом, мешками с соленой рыбой, где грязен пол и бесчисленны мухи, если не завалится изнуренный в комнате проститутки в худшем борделе Куйа Дагуа.

В белом костюме, как требует журнал мод, капитан выглядел важной персоной, магнатом. Поправляя узел галстука, он подумал было взять с собой Терезу, одетую в платье Дорис, которое та редко носила: красивая девчонка, картинка, достойная, чтобы показать ее на балу. Находясь на заводе во время праздника святого Жоана, Эмилиано Гедес всегда заезжал с родственниками и приглашенными на фанданго Аликате — представить гостям из столицы «типичный деревенский праздник»! Пребывание его там было недолгим, один бокал, одна кадриль и возвращение в роскошный дом при заводе, но времени не терял: приглаживая усы, Эмилиано Гедес оценивал глазом знатока присутствующих женщин. Раймундо внимательно следил за любым проявлением интереса с его стороны, за малейшим знаком удовлетворения, чтобы договориться о деталях и предоставить избранницу в распоряжение хозяина земель.

Капитану хотелось выставить напоказ девчонку Терезу, чтобы возбудить зависть старейшего из Гедесов, властелина Кажазейрас до Норте. Однако Эмилиано Гедес сейчас находился в заграничной туристской поездке, недавно уехал и вернется лишь через несколь-

ко месяцев. И все же капитан открыл было рот, чтобы приказать Терезе одеться для праздника, после того как смерил ее одобрительным взглядом с головы до ног.

Терезу, угадавшую его намерения, снова охватил страх, но уже не от дурного обращения, не перед угрозой опять подчиниться развратнику, ее одолевало нечто большее: если капитан возьмет ее с собой, молодой человек будет напрасно ждать под дождем, у ворот, навсегда станет невозможным обещанный праздник, никогда она не испытает таинственного зова в груди, не ощутит шелковистых волос, щекочущих губ юноши.

Эмилиано Гедес развлекался с грингами во Франции, а на празднике могло появиться что-нибудь новое, лакомое, какая-нибудь девушка по вкусу капитана, и ему вдруг захочется увезти ее на ферму. Что тогда делать с Терезой? Отослать ее обратно на грузовике, одну с Терто Щенком? Женщина, принадлежащая Жустиниано Дуарте да Роза, не ездит одна ночью с другим мужчиной: хотя этот охранник и верный человек капитана, но ему неизвестно, кастрат ли Терто, а дьявол искушает в темноте. Даже если ничего не случится, народ разнесет слухи, что случилось худшее, и кто сможет доказать обратное? Жустиниано Дуарте да Роза не рожден быть рогоносцем: о нем можно говорить всякие вещи, и все говорится за спиной. Его называют жестоким бандитом, соблазнителем несовершеннолетних, насильником и умалишенным, мошенником, обсчитывающим всех подряд, жуликом на петушиных боях, преступным убийцей — все это за спиной. Так разве хватит у кого мужества выложить все это ему в лицо? Нет, никогда его не называли рогоносцем, обманутым женщиной... И, пожалуй, не стоит брать Терезу, сегодня девчонка уже получила должное.

— Когда я уеду, погаси свет и ложись спать.

— Да, сеньор,— вздыхает Тереза. Ах, сколько страха натерпелась она накануне праздника святого Жоана!

Капитан Жусто направился в магазин, открыл дверь. На улице лил дождь.

24

Двор был обращен в узкий переулок, на который по всей его длине выходили тылы особняков; там с грузовика и повозок выгружали товары, затем их складывали в доме, чтобы не загромождать лавку. Капитан в своих разъездах скупал дешевые остатки, уцененные товары, черную фасоль, кофе и маис; поскольку он, располагая свободными деньгами, мог расплачиваться наличными, то получал особые скидки от оптовиков. Зарабатывать при покупке и зарабатывать при продаже — таков был его девиз, быть может, малооригинальный, однако достаточно действенный.

Дождь загасил костры на улицах, в переулке образовались лужи, появилась грязь. Одетый в непромокаемый плащ, Даниэл вглядывается в ночной мрак, внимательно прислушивается ко всякому шуму, глаза его пронизывают завесу дождя и темноты.

В этот день после обеда Даниэл спросил дону Беатрис:

— Старушка, нет ли у тебя какой-либо безделушки, не имеющей большой ценности, но красивой, которую ты бы мне дала для подарка одной диве? Здешние магазины — дрянь, прямо жалко смотреть.

— Я не люблю, чтобы ты называл меня старушкой, Дан, ты это хорошо знаешь. Я не такая уж старая и дряхлая.

— Извини, мама, это же просто ласковое обращение. Ты женщина бальзаковского возраста, еще в полной форме, и если бы я был

на месте отца, то не позволил бы тебе резвиться одной в Баие.— Он даже рассмеялся, оценив свое остроумие.

— Твой отец, сынок, обращает на меня мало внимания. Подожди, я посмотрю, не найдется ли какая-нибудь финтифлюшка, которая тебе подойдет.

В гостиной остались лишь отец и сын. Судья предупредил Даниэла:

— Мне известно, что ты бродишь вокруг дома сеньорит Мораэс, возможно, увиваешься за Теодорой. До тебя, должно быть, дошли сплетни, но это выдумки; девушка она замечательная, и прошлое — не более как глупый флирт. Я тебе советую быть осторожным, они — барышни из хорошей семьи, скандал с ними вызвал бы очень плохой резонанс. В конце концов, здесь полно свободных девиц, у которых нет ни кола ни двора и которым не угрожают интриги и сплетни.

— Не беспокойся, отец, я не мальчик, в мышеловку не попадусь, я приехал сюда не для того, чтобы досаждать кому-то. Эти барышни симпатичны, я дружу с ними — и это все. К тому же я не отдаю предпочтения ни одной из них.

— Для кого же тогда подарок?

— Для другой, совершенно свободной, у которой как раз нет ни кола ни двора и которой не угрожают интриги и сплетни, будь спокоен.

— Вот еще что: твоя мать живет в Баие из-за вас. Мне было бы приятнее, если бы она жила здесь, но она не может оставить твою сестру без присмотра.

— Веринью? — рассмеялся Даниэл.— Отец, поверь тому, что я скажу: Веринья — самая светлая голова в семье. Она решила, что выйдет замуж за миллионера, считает, что это — дело решенное, а когда Веринья хочет чего-либо, она это получает. За Веринью не беспокойся.

С точки зрения респектабельного судьи Даниэл выглядит, пожалуй, слишком уж шикарным. Дона Беатрис вернулась в гостиную, принеся маленький амулет — фигу, оправленную в золото.

— Годится, сын мой?

— Отлично, мама, merci.

Стоя в переулке у ворот, он играет фигой, опущенной в карман дождевика. Закуривает еще одну сигарету, струи дождя омывают ему лицо. На улице напротив гаснет большой костер у дома сестер Мораэс, уже не слышится треска дров в камине, разожженном слугами. В чудодейственную ночь святого Жоана в особняке за накрытым столом с маисовой кашей, мануэ [1] и ликерами четыре сестры тоже сидят в ожидании. Сильный дождь мешает визитам; собрались лишь кумушки, дальняя родня, некоторые друзья. А Даниэл? В различных семейных домах устраиваются вечеринки; на какой из них танцует Даниэл? Или он получил приглашение на фанданго Раймундо Аликате? Даниэл думает о четырех сестрах, симпатичные они, все в нетерпеливом ожидании — сбудутся ли их последние надежды; самая молодая еще привлекательна со своим пышным бюстом; завтра он обязательно навестит их, чтобы полакомиться маисовой кашей в обществе всех четырех, робко пофлиртует с Магдой, Амалией, Бертой, Теодорой — это для него отличная маскировка. Дождь стекает по лицу юноши: если бы он не сохранил на губах вкус поцелуя Терезы, если бы не чувствовал у груди трепет ее стройного тела, не видел бы во влажных глазах внезапно вспыхнувший огонь, он бы уже ушел.

[1] Род пирога, сделанного из маисовой муки и меда.

Его напряженный слух улавливает шум грузовика, остановившегося перед лавкой: капитан сейчас уедет — как задерживается, сукин сын! Затем на углу появляются горящие фары и, на мгновение прогнав темноту, тонут в пелене дождя. Даниэл закуривает еще одну американскую контрабандную сигарету. Покидает укрытие у ворот, подходит ближе, откуда он может наблюдать; дождь поливает его, мочит кудри. В появившейся узкой полоске света в воротах Даниэл различает распущенные волосы, залитое дождем лицо Терезы Батисты.

25

Эта ночь, длившаяся целый век, началась здесь, во дворе, под дождем. Тереза — в его объятьях, Даниэл целует ее лицо, глаза, щеки, лоб, губы. Как может менее чем за час дурное превратиться в хорошее, горе — в радость?

Ситцевое платье, облепившее мокрое тело. Тереза, прижавшаяся к груди Даниэла. Ее переполняют ощущения, доныне ей неведомые: подкашиваются ноги, щеки пылают — внезапная грусть, желание плакать, радость, равная только той, какую она испытала, дотронувшись до куклы на ферме, страстное желание и тихая радость. Все сразу и вперемешку, ах, как хорошо!

Сердце Терезы бьется, чувствуя биение сердца Дана; она пристально смотрит в лицо архангела Гавриила, спустившегося с неба, его губы — владельцы ее губ. Тереза не сопротивляется, позволяет ему целовать себя, но еще боязливо отвечает на поцелуи, все еще замкнувшаяся в своем страхе и отвращении. Здесь во дворе, с наступлением этой бесконечной ночи, когда Даниэл впился в ее губы, в Терезе возродилась старая ненависть, чувство, которое поддерживало ее два месяца, когда она сопротивлялась капитану, пока панический страх не сделал ее рабыней. Страх остался, но Терезу снова охватывает ненависть, на мгновение одерживает верх над печалью и радостью. Тереза внезапно становится скованной и напряженной. Даниэл заметил что-то странное, перестал ласкать. Дождь помешал ему увидеть вспышку гнева в глазах девушки; но если бы он увидел, понял ли бы, способен ли был бы понять?

Ничего не подозревая, Даниэл минует страх и ненависть — он целует девушку в губы, целует ее глаза, все лицо; Тереза сдается, она уже не думает больше о капитане — спокойнее на душе. На мгновение юноша дает ей вздохнуть, она растерянно улыбается и говорит:

— Он не вернется до рассвета. Если хочешь, мы можем зайти в дом.

Тогда он поднял ее, прижав к груди, и под дождем пронес от ворот до дверей; так молодой муж в кинофильмах вносит в дом молодую жену.

У входа в дом он поставил ее на ноги, не зная, куда идти. Взяв его за руку, Тереза прошла через гостиную и коридор до конца его, где открыла дверь в маленькую комнатку, заставленную мешками с фасолью, маисом, какими-то банками, тюками вяленого мяса и свиного сала; здесь стоял топчан из жердей. В темноте Даниэл налетел на кучу маисовых початков.

— Мы останемся здесь?

Она кивнула головой. Даниэл чувствовал, что она дрожит, видимо, от волнения.

— Здесь есть свет?

Тереза зажгла лампу, подвешенную к потолку. При тусклом, пе-

чальном свете Даниэл заметил ее словно виноватую улыбку — да она просто девочка.

— Сколько тебе лет, моя красавица?

— Пятнадцать, позавчера исполнилось.

— Позавчера? И сколько же времени ты живешь с капитаном?

— Да уже больше двух лет.

Зачем столько вопросов? Дождевая вода стекает по плащу Даниэла, с платья Терезы, облепившего ее тело, на кирпичном полу появляются лужи. Тереза не желает говорить о капитане, вспоминать дурное прошлое. Так хорошо было в тишине и темноте у ворот, лишь губы и руки касались ее. Какой интерес архангелу знать, был ли Жустиниано первым и единственным, зачем еще спрашивать, они и так мокрые от дождя, холодно. Первый и единственный, не было другого,— архангел на картине все видел и знает. Она перестает обращать внимание на вопросы, предпочитая слушать музыку его голоса. Не отвечает, каким образом она попала в дом капитана, где находятся ее родственники, родители и братья... Не отдавая себе даже отчета, она повторяет жест Даниэла при первой их встрече наедине, в лавке: берет его лицо руками, целует его в уста. Даниэл принимает этот неловкий поцелуй Терезы Батисты, и — поцелуй длится до бесконечности.

— Я угадал день твоего рождения и принес подарок.— Он передал ей фигу, оправленную в золото.

— Как ты мог узнать? Знаю это только я.— Тереза улыбается мягко и счастливо, глядя на маленькую безделушку.— Она красива, только я не могу принять ее, мне негде хранить.

— Спрячь ее куда-нибудь, настанет день, когда ты сможешь ее носить.

Они стоят друг перед другом, Даниэл улыбается, у него еще нет слов для Терезы. Слов он знает много, все цветистые, рожденные вожделением, любовные фразы; ему приходят в голову даже некоторые пылкие стихи отца — достопочтенного судьи. Все эти слова, изношенные от того, что столько раз он говорил их старым сеньорам, страстным замужним женщинам, романтичным девицам кабаре и пансионов — ни одна из них не идет ни в какое сравнение с девушкой, стоящей перед ним. Он улыбается, и Тереза отвечает на улыбку; он подходит, обнимает ее...

Ночь так коротка, а длится столетие...

26

В эту бесконечную ночь без начала и конца, ночь встречи и расставания, непрерывных рассветов, Тереза, осужденная на смерть, спаслась от виселицы, унесшись на огненном коне.

Он спал, она охраняла его сон, покой архангела с неба. Тереза касается боязливо его лица. Ангелы спускаются на землю, чтобы выполнить предназначенную им миссию, затем возвращаются — дать богу отчет. Тереза хотела бы умереть в его божественных руках, но она умрет одна: повесится на двери, повиснет с высунутым языком.

От робкого прикосновения руки девушки Даниэл просыпается и видит ее печальной: почему ты грустна, дорогая? Грустна? Нет, она не грустна, она радуется жизни, радуется смерти; несравненная ночь бесконечного счастья, первая без второй, без следующей, без другой, без ближайшей, и лучше умереть, чем вернуться к рабству с избиениями, с тазом воды, брачным ложем, перегарным дыханием Жусти-

ниано Дуарте да Роза. Веревок в лавке достаточно, петлю она сумеет завязать.

Безумная, не говори глупостей, почему не будет других таких же ночей или еще лучших? Наверняка будут. Даниэл садится, теперь Тереза положила ему голову на грудь. Отдыхай и слушай, дорогая; божественный голос гасит печаль, разрывает горизонты, спасает от виселицы осужденную Терезу. Не знает ли она о предстоящем путешествии капитана в Баию, когда оно состоится? Путешествие по делам и для развлечений, приглашение губернатора на праздник Второго июля [1], аудиенции в конгрессе, визиты к членам правительства штата и поставщикам его магазина, рекомендательное письмо к Розалии Вареле, певице и танцовщице танго в «Табарисе».

Важно набраться терпения, вынести еще в течение нескольких дней требования, грубость капитана, сделавшись покорной, как раньше, не подавая виду, что что-то произошло.

Он сказал ей, как она должна себя держать, ведь он обладал опытом и хитростью. Он сам, чего бы это ему ни стоило, на следующий день пойдет в дом сестер Мораэс полакомиться маисовой кашей, выпить ликера, будет рассыпаться в любезностях — канитель, но необходимая. Капитан убедится, что Даниэл обхаживает одну из сестер, самую молодую. Благодаря этой спасительной лжи он сможет постоянно бывать в лавке и видеться с Терезой, не вызывая подозрений. Кроме того, как знать, не появится ли до путешествия капитана другая возможность встретиться? В ночь святого Педро, например? Не говори о том, чтобы покончить с собой, не будь безумной, девочка, мир принадлежит нам, и если когда-либо этот болван нас застанет, не бойся, он, Даниэл, даст ему суровый урок, чтобы тот научился носить рога с должной учтивостью и тактом.

Из всего, что она услышала, одно показалось Терезе действительно важным: капитан собирается в поездку, длительную поездку в столицу штата, на десять-пятнадцать дней, десять-пятнадцать ночей любви. Она берет руки Даниэла и целует их, благодарная. Для Даниэла самой важной деталью, которую ему предстояло разрешить, был Шико Мейя-Сола. Как быть? Подкупить его хорошими чаевыми? Чаевые — нет, ангел неба. Никакие чаевые не купят его верности Жустиниано, но охранник не учитывал одного обстоятельства: он спал в лавке во время поездок капитана, остальную же часть дома оставлял на попечение Терезы. При условии, что Даниэл будет входить через ворота двора и любовники воспользуются спальней капитана, наиболее удаленной от магазина, Шико ничего не заметит. Видишь? Все в нашу пользу, достаточно не дать зародиться у Жустиниано малейшему подозрению. Малейшему, понимаешь, Тереза? Она поняла: не даст ему повода для недоверия, хотя для этого ей придется собрать все свои силы.

27

На рассвете Даниэл простился с нею у ворот, прощание сопровождалось долгим поцелуем, вздохами.

Капитан вернулся только к вечеру. Выйдя из машины у магазина — двери оказались запертыми, да, день святого Жоана! — он услышал смех в доме сестер Мораэс. Капитан заглянул в окно: большая гостиная была открыта, и там в окружении четырех сестер молодой Даниэл с рюмкой в руке, изысканный и изящный, рассказывал им о

[1] 2 июля 1823 года бразильцы в войне за независимость страны от португальского господства заняли г. Салвадор (Баию).

столице, об интригах в обществе. Жустиниано сделал знак, приветствуя веселую компанию. Нужно будет сказать парню, чтобы он принял некоторые меры и не состряпал ребенка Тео, если решится лишить ее невинности. Если же все это будет обделано тихо, то, поскольку она совершеннолетняя, осложнений быть не может. Но при наличии ребенка она захочет, чтобы он женился, будет болтать, устроит изрядный скандал, тем более что дело касается сына судьи.

В столовой Тереза гладит белье, в лавке Шико Мейя-Сола очухивается от вчерашней кашасы; когда хозяина нет, он никогда не остается дома наедине с Терезой. Физически сильный кабокло, он за несколько часов сна оправляется от еженедельной неизменной попойки по субботам и накануне праздников. И все же он далек от сравнения с Жустиниано Дуарте да Роза, способным пить подряд четверо суток, не смыкая глаз, возиться с девушками, а потом отправляться в поездку на лошади — железная выносливость. В лавке — Шико, изнуренный, храпит.

— Тереза, пойди сюда!

Она замерла с утюгом в руке, услышав этот зов. Боже мой, найдет ли она в себе мужество вынести? Страх еще окутывает ее, как простыня; завернувшись в простыню, она убежала в первый раз. Почему бы не убежать с Даниэлом далеко отсюда, от брачного ложа, от голоса и присутствия капитана, далеко от избиения линейкой, от плети, от утюга?! От клейма для скота, которым он угрожает заклеймить ту, что решилась бы когда-либо обмануть его,— но кто осмелился бы? Ни одной безумной не находилось. Осмелилась Тереза, обезумев. Она ставит утюг, складывает белье, собирается с духом.

— Тереза! — Голос звучит угрожающе.

— Иду.

Он вытягивает ноги, она снимает ему ботинки, носки, приносит таз с водой. Толстые, потные ноги с грязными ногтями, язвочки, мозоли. А ноги Даниэла — крылья для полета, чтобы подняться в воздух, стройные, чистые, сухие, надушенные. Бежать с ним невозможно. Он сын судьи, молодой человек из большого города, студент, чуть ли не дипломированный доктор, она не подходит ему ни как любовница, ни как служанка; в столице у него их уйма, на выбор. Но он сказал ей — моя любовь, моя дорогая, никогда я не видел другой такой красивой, ты никогда мне не надоешь, я хочу, чтобы ты была моей на всю жизнь; зачем бы он стал это говорить, если бы это не было правдой?

Она моет ноги капитана старательно: нельзя вселять в него и тень недоверия, чтобы он не отменил свою поездку в Баию, не посадил охранников в засаду, не принес клеймо для скота — для коров и быков, для женщин-изменниц... Тереза слышала, как он говорил на петушином бою, куда ее привез, чтобы показать друзьям: «Если когда-либо какая-нибудь несчастная возымеет наглость меня обмануть — хотя я уверен, что ни одна не посмеет,— то прежде чем покончить с презренной, я поставлю ей на лице клеймо, которым мечу скот, чтобы она знала имя хозяина. Умерла бы, вспоминая его».

Капитан снимает пиджак, вытаскивает из-за пояса кинжал и револьвер.

— В постель, быстро!..

28

Дни беспокойства и нетерпения предшествовали отъезду капитана в Баию. Лишь один раз Тереза поспешно поцеловалась с Даниэлом в полдень, и он ободрил ее: поездка твердо состоится. Накануне он

оставил поблекшую розу на прилавке, ее увядшие лепестки придавали Терезе силы прожить эти пять дней смертельного ожидания.

Даниэл приходил ежедневно, почти всегда в обществе Жустиниано, они вели интимные беседы и смеялись; с бьющимся сердцем Тереза следила за каждым жестом небесного пришельца, желая предугадать послание любви. Если капитана с ним не было, юноша заходил и тут же уходил; американские сигареты — для приказчиков, для Терезы — томный взгляд, воздушный поцелуй — этого было уже мало для пробужденной страсти.

Зато он полдничал с сестрами Мораэс; стол был уставлен сладостями, самыми изысканными — из кажу, манго, жаки, гуайавы, ананаса, апельсинов, бананов, все сорта пирожных из маиса, не говоря уже о кокосовом молоке, твороге, прохладительных напитках и фруктовых ликерах. Скромный полдник — говорили сестры; сказочный банкет — делал комплимент Даниэл.

Напудренные, накрашенные, надушенные, четыре сестры пребывали в исступлении. В городе кумушки разделились на группы: одни предсказывали скорую помолвку Даниэла и Теодоры — бедный юнец попался в западню, расставленную в особняке этими ужасными сестрами; другие, во главе с доной Понсианой де Азеведо, ставили на Даниэла: он пожирает глазами предлагающую себя Тео и заодно поедает изысканные блюда и сладости — и только потому не проглатывает трех остальных, что уже насытился. Капитан — свидетель, наблюдавший собственными глазами за развитием событий, которому разговорчивый и забавный студент был симпатичен,— напомнил ему о возможной опасности: Теодора может забеременеть.

В день святого Педро, утром Жустиниано зашел за Даниэлом в дом судьи, чтобы взять его с собой на петушиные бои. Они уехали на грузовике. Капитан вернулся только к вечеру. Тереза еще лелеяла надежду, что он поедет на фанданго к Раймундо Аликате; ах, тогда она могла бы провести с Даниэлом свободную, праздничную ночь. Капитан не переоделся; как был в поездке, так и отправился выпить несколько кружек пива в пансион Габи, вернулся он рано и отправился спать. Тереза с тяжелым сердцем вымыла ему ноги. Ей хотелось убежать, хотелось найти Даниэла — на улицах, в доме судьи или в особняке Мораэс,— чтобы уехать с ним на край света. Она чувствовала себя такой измученной и несчастной, что не сразу осознала смысл слов Жустиниано: «Завтра я еду поездом в Баию, позаботься о чемодане и одежде».

На следующий день Тереза приготовила чемодан капитана, положив в него, как он распорядился, голубой кашемировый костюм, сшитый для свадьбы и совершенно еще новый, парадный костюм — для приема Второго июля во дворце губернатора. Белые костюмы, лучшие рубашки в большом количестве, по-видимому, он намеревался там задержаться.

Перед тем как отправиться на вокзал, капитан отдал распоряжения Терезе и Шико Мейя-Соле: все внимание магазину, глядеть в оба за приказчиками — когда хозяин в отъезде, им может прийти в голову мысль начать воровать, потащут продукты домой. Как обычно, когда капитан в отсутствии, Шико Мейя-Сола, выполняя его распоряжение, должен будет спать в магазине на раскладушке: охранять товары, а кроме того, будет, очевидно, надежнее, чтобы он находился ночью вне дома, подальше от Терезы.

Что же касается Терезы, то ей строжайше запрещалось выходить из дома или из магазина и болтать с покупателями. После обеда Шико должен запираться в лавке, она — в доме. Капитан не хочет, чтобы о его женщине судачили; есть ли повод или нет — ему все равно.

Без каких-то слов — «до свидания, пока»,— без прощального жеста капитан отправился на станцию. Шико Мейя-Сола нес его чемодан. В кармане пиджака, вместе с приглашением от губернатора,— рекомендательное письмо Розалии Вареле, аргентинке, певице кабаре в Баие, мастерице танцевать танго.

29

Они провели ровно восемь ночей на брачном ложе капитана, причем одна из них длилась до воскресного утра, потому что Шико Мейя-Сола еще не очухался от попойки накануне. В субботу вечером он выпил две бутылки кашасы, сделал это прямо в магазине — хозяин в отъезде, ни за что в мире Шико не покинет товары, доверенные ему.

Сразу же после того, как колокол церкви святой Аны вызванивал девять часов — граница для флирта, для пребывания девушек на площади,— Даниэл появлялся у ворот. Уходил он до первых лучей солнца, при последних тенях. Ближе к вечеру (он спал дома до времени завтрака) Даниэл шел полдничать к сестрам Мораэс и заходил в лавку под предлогом спросить у Шико, нет ли известий о капитане: «Нет, еще не телеграфировал дату прибытия, доктор». Американские сигареты — для Помпеу и Мухолова, монета — для Шико, влюбленный томный взгляд — для Терезы. Он толстел от сладостей и каш, продолжая смущать сестер своими разговорами, недомолвками и нерешительными жестами,— три постарше вздыхали, Теодора же разве что не тащила его за руку в постель; как знать, если бы не увлечение Терезой, Даниэл оказал бы услугу Тео, стоящей этого, грациозной и легкомысленной.

Но тот, кто любит Терезу, о другой думать уже не может. Ставшая жертвой капитана около двух с половиной лет назад и с тех пор живущая с ним, замкнувшись в страхе, она сохранила целомудрие, чистоту и легковерие. Внезапно пробужденная женщина в эти быстро проходящие ночи открылась в бесконечном ликовании, расцвела в красоте. Прежде она была хорошенькой девочкой с простой девичьей грациозностью, теперь наслаждение омыло ее лицо и тело, наслаждение и счастье любви зажгли в ее глазах тот огонь, отблеск которого доктор Эмилиано Гедес заметил какие-то месяцы назад. Даниэл знал, чем кончится это каникулярное любовное приключение в провинции — коротка весна цветения Терезы. Тереза ничего не знала и не хотела загадывать, спрашивать, выяснять. Иметь его рядом с собой, быть рабыней и королевой,— чего еще желать? Уехать с ним, конечно; пока договорились, дело было завершено, не осталось вопросов или споров. Даниэл, ангел небесный, само совершенство.

Он обещал взять ее с собой, освободить от капитана. Почему не сейчас же, пока капитан путешествует? Вот нужно дождаться денег из Баии, это недолгая операция. Обещание неопределенное, объяснение — тем более, но неоспоримы его утверждения: капитан останется в дураках и узнает, кто настоящий мужчина, какова разница между истинной храбростью и бахвальством.

Проекты бегства, планы будущей жизни не занимали много времени в эти ночи, такие быстротечные, предназначенные для наслаждений. Тереза не сомневалась в юноше — зачем ему лгать? В первую же из восьми ночей она попросила его: «Увези меня отсюда, у тебя я могу быть служанкой; с ним — никогда больше». Чуть не торжественно Даниэл обещал ей: «Ты поедешь со мною в Баию, будь спокойна». И скрепил обещание поцелуем.

Позднее Тереза говорила: «Если я не уеду в Баию, то покончу с собой, повешусь на двери, с ним я больше ни за что не останусь. Ты возьмешь меня с собой? Не обманывай, скажи правду».

В первый и единственный раз она увидела его рассерженным. «Разве я не говорил тебе, что увезу? Ты сомневаешься во мне? Что же я, выходит, лгун?» Он велел ей замолчать: «Никогда больше не повторяй таких вещей, зачем портить радость этого часа угрозами и подозрениями? Зачем укорачивать, портить ночь наслаждения, говоря о смерти и несчастии? Каждому делу свое время, каждому разговору свое место». Этому тоже Тереза Батиста научилась у студента факультета юриспруденции Даниэла Гомеса, чтобы никогда больше не забывать. Она не стала его больше спрашивать о бегстве, не стала думать и о веревке.

Без тени страха поднялась во весь рост красавица Тереза Батиста — нежность и отвага.

30

Ни Даниэл, ни кто-либо другой не заметил, когда перед колокольным звоном в девять часов вечера Берта, самая дурная из четырех сестер, привела Магду, самую старшую, к жалюзи окна и вместе они уселись в засаде.

— Вот он идет, смотри,— сказала Берта.

Спрятавшись за окном, они следили за силуэтом мужчины на улице, видели, как человек огибает угол, слышали заглушенные далекие шаги в переулке.

— Он подошел к воротам, должно быть, входит.

Магда, считающая, что она, как старшая, должна нести ответственность, бодрствовала до рассвета и узнала довольного красавца, возвращающегося на заре после ночи, проведенной с Терезой. Подлец использовал всех четырех как ширму; идеальное прикрытие, чтобы скрыть от Жустиниано Дуарте да Роза и всего города грязную вакханалию с девчонкой из лавки, любовницей самонадеянного капитана: «Ни одна никогда не осмелится меня обмануть». Конечно, каналья купил за несколько бутылок кашасы Шико Мейя-Солу — только такой болван, как Жустиниано, может доверять имущество и женщину наемному бандиту — и, чтобы обеспечить полную безнаказанность, употребил во зло добрую дружбу, веру, искренние чувства, богатый стол четырех сестер — Магды, Амалии, Берты и Теодоры, выставленных теперь на всеобщее осмеяние, злословие кумушек, тогда как девчонка нежится в постели.

В колледже Магда занимала первые места по каллиграфии, но для этого типа корреспонденции она предпочла воспользоваться печатными буквами, по благоразумному совету доны Понсианы Азеведо. В нашумевшем происшествии она получила лишь одну радость, грустную радость старой девы — возможность написать дурные слова, которые не употребляют приличные девушки и сеньоры: рогоносец, дерьмовый альфонс, шлюха, ах, потаскуха!

31

Тереза заснула. Покуривая сигарету, Даниэл думает, как лучше объявить ей о своем неизбежном отъезде в Баию, на факультет и в кабаре, к коллегам по учебе, друзьям по богемной жизни, к старым сеньорам, к романтическим девушкам: «Потом я тебя вызову, доро-

гая, не беспокойся, не плачь, главное, не плачь и не жалуйся; как только я приеду туда, сразу же займусь этим». Досадно, но придется пережить неприятные четверть часа. Даниэл чувствует непреодолимый ужас перед сценами, разрывами, прощаниями, жалобами и слезами. Это испортит последнюю ночь, разве только сказать ей в последний момент, на рассвете у ворот, после прощального поцелуя.

Целесообразнее, возможно, оставить это на следующий день: он появится утром в магазине, чтобы проститься сразу со всеми — срочный, безоговорочный вызов на факультет; если он не явится, то потеряет год, ему приходится уезжать с первым поездом, но отсутствие его будет недолговременным — максимум неделю. Но что, если Тереза, которой ничего не было известно, поймет, что ее предали, и поднимет шум, устроит скандал в присутствии Шико Мейя-Солы и приказчиков? Какова будет реакция верного охранника, когда он узнает о рогах, наставленных хозяину и покровителю фактически на его глазах? Приговоренный в свое время к смерти за совершенное преступление, Шико сам рассказывал Даниэлу, что смягчением наказания он обязан усилиям, хлопотам капитана. Лучше, пожалуй, уехать, ничего не сказав. Подлость, конечно, и очень большая; девочка такая простодушная и доверчивая, она совершенно ослепла от страсти, считает его ангелом, спустившимся с неба, а он потихоньку удерет без единого слова извинения и даже не попрощавшись. А что еще он может сделать? Увезти ее в Баию, как обещал? Об этом даже и думать нечего, никогда ему не приходило в голову подобное безумие, он говорил об этом не мудрствуя, чтобы предотвратить жалобы и плач, разговоры о самоубийстве.

...Голос Жустиниано Дуарте да Роза сорвал Даниэла с постели и разбудил Терезу. Капитан стоит в дверях комнаты, и на запястье правой руки у него висит широкая плеть из сыромятной кожи, под расстегнутым пиджаком — кинжал и немецкий револьвер.

— Поганая сука, с тобой я сведу счеты очень скоро, ждать тебе долго не придется. Ты уже забыла об утюге? Теперь он послужит для клеймения этого скота, ты сама его накалишь.— Он рассмеялся отрывистым, злобным смешком, смех — роковой приговор.

Прислонившись к стене, Даниэл, бледный, трясущийся, онемел с перепуга. Капитан, повернувшись спиной к Терезе — у него еще хватит времени, чтобы заняться шлюхой, сейчас довольно того, чтобы она думала о раскаленном утюге,— делает два шага и, подойдя к Даниэлу, наносит ему удары, от которых у того хлынула кровь изо рта — пальцы у Жустиниано Дуарте да Роза унизаны кольцами. Вне себя от ужаса Даниэл вытирает губу рукой, смотрит на кровь, всхлипывает.

— Сукин сын, как ты мог осмелиться? Ты у меня испытаешь самые жуткие унижения, и всем об этом будет известно — здесь и в Баие.

Даниэл плачет, умоляюще протягивает руки. Капитан хватает плеть и наносит ему страшный удар ниже пояса: огромная плеть, дикий рев. Студент сгибается, ноги у него подкашиваются, он даже обмочился.

Капитан вновь замахивается, плетью рассекает воздух. Обезумевший Даниэл разевает рот, плеть пронзительно свистит, и в этот момент капитан внезапно чувствует удар ножом в спину — холод лезвия, жар крови. Он обертывается и видит Терезу — рука занесена, глаза горят, ослепительная красота и безмерная ненависть. Куда девался страх, почтение, которому ты так хорошо научилась, Тереза?

— Брось нож, несчастная, ты не боишься, что я и тебя убью? Ты что, забыла?

— Не боюсь больше! Страху конец, капитан!

Свободный голос Терезы поднялся под самые небеса и, отразившись на многие легуа, разнесся по дорогам сертана, эхо его достигло морского побережья. Позднее — в тюрьме, в исправительном доме, в пансионе Габи ее прозовут Тереза Страху Конец; из многих прозвищ, что получала она в жизни, это было первым.

Капитан видит ее и не узнает. Это ведь Тереза, без сомнения, но не та, которую он покорил, плетью подчинил своей воле, которую он научил страху и почтению,— без послушания, скажите, что сталось бы с миром? А здесь теперь другая Тереза, родившаяся только что, Тереза Страху Конец, совершенно необычная, она кажется много старше, будто расцвела под зимними дождями. Она та же и вместе с тем другая. Тысячу раз он видел ее обнаженной, но и нагота ее сейчас другая, сияет бронзовое тело Терезы, тело, которого никогда не касался Жустиниано Дуарте да Роза, которое никогда ему не принадлежало. Он оставил ее девочкой, а встретил женщину, оставил рабыней страха, рабыни уже нет, страх исчез. Она осмелилась обмануть его, она должна умереть, но вначале будет мечена клеймом с переплетенными буквами. Хлещет кровь из раны в спине капитана, жжет какой-то ужасный зуд.

Жустиниано Дуарте да Роза, по прозвищу «капитан Жусто», для доны Брижиды — Боров, худший из чудовищ ада, бросил Даниэла, кинулся к Терезе. Обмочившийся герой пользуется случаем и с конвульсивными всхлипываниями, голый, выбегает на улицу, врывается в особняк Мораэс. Жустиниано делает еще несколько неуверенных шагов, пытаясь схватить проклятую, задушить, наклоняется к ней. Быстро извернувшись, Тереза Батиста пролила кровь капитана ударом ножа для резки сушеного мяса.

Повествование о том, как Тереза Батиста сражалась с черной оспой

А

А когда на землях, окружающих Буким, разразилась эпидемия оспы, борьбу с ней, дружище, повели те женщины, что находились на самом дне жизни. Они одни смело встретили черную оспу лицом к лицу и победили безжалостную убийцу. Руководила этим сражением Тереза Батиста — как всегда, она с народом.

Ужасной была битва: не прими на себя Тереза командование, не осталось бы никого в окру́ге Мурикапебы, кто мог бы поведать эту историю. Многие обитатели городка даже убежать не могли, такой привилегией воспользовались лишь зажиточные люди, живущие в центральных кварталах, фазендейро [1], торговцы и даже медики, удравшие первыми, дезертировавшие с поля боя, один, правда, очутился на кладбище, другой умчался в Баию в безрассудном, сумасшедшем беге, без багажа, не попрощавшись: «Я отправляюсь в Аракажу за

[1] Землевладельцы.

помощью!» Но сел докторишка по ошибке на другой поезд, не поинтересовавшись направлением и местом назначения, все равно — чем дальше, тем лучше!

Оспа с яростью налетела на жителей; похоже, издавна затаила она ненависть к населению, к этим местам. Она нагрянула с преднамеренной целью — решив умерщвлять, действуя с мастерством, хладнокровием и злобой. Безобразная и дурная смерть, самая злая оспа. До и после оспы, за полгода до нее или три года спустя — поныне говорит народ, производя отсчет времени по собственному календарю, приняв за рубежи **до** и **после** ужасного события. Страх естественный и самопроизвольный, кто не испугался? Не испугалась, очевидно, Тереза Батиста, не выказавшая страха,— если она его и ощущала, то сумела сдержать: иначе нельзя было бы воодушевить женщин и повести их за собой на этот тяжкий подвиг. Отвага — это не атрибут того, кто бросает вызов и дерется, обмениваясь зуботычинами и выстрелами, кто отлично орудует кинжалом или ножом, так может делать любой, все зависит лишь от обстоятельств и необходимости. Но, чтобы ухаживать за больным оспой, твердо встречать зловоние и плач, залитые гноем улицы и лазарет, недостаточно быть храбрецом, отличающимся только в драках.

Если бы народ Мурикапебы располагал деньгами и властью, он воздвиг бы на площади Букима памятник Терезе Батисте и женщинам, вместе с ней совершившим подвиг.

Б

Буким навестила черная оспа: слепая, с пустыми глазницами, с руками, покрытыми гнойными пузырьками в сочетании с язвами и зловонием, она высадилась с товарного поезда компании «Лесте Бразилейра», прибыв с берегов реки Сан-Франсиско. Среди выбранных ею многочисленных мест пребывания — это одно из самых излюбленных; здесь оспа не одинока — здесь свирепствует тиф, сопровождаемый зловеще-мрачным семейством тифозных лихорадок и паратифов, малярией, тысячелетней и все более молодящейся, проказой, «болезнью Шагаса»[1], желтой лихорадкой, дизентерией, специализировавшейся на умерщвлении детей, а также бубонной чумой, чахоткой, различными лихорадками и... невежеством — отцом и сыном всего. Здесь, на берегах Сан-Франсиско, в сертане, раскинувшемся на территории пяти штатов, эпидемии имеют могущественных естественных союзников: землевладельцев, полковников, полицейских инспекторов, командующих «отрядами общественных сил», местных главарей, политиканов, наконец, правительство штата.

Зато по пальцам можно сосчитать союзников заболевших: святой Иисус, кое-кто из низшего духовенства, немногие врачи, кое-какие благочестивые и милосердные прихожане, медицинские сестры, скудно оплачиваемые учительницы — крошечное войско против многочисленной армии заинтересованных в существовании чумы.

Если бы не было оспы, тифа, малярии, невежества, проказы, «болезни Шагаса», а равно других бедствий, господствующих в сельской местности, то как же удалось бы сохранять и расширять границы поместий — фазенд, достигающих площади целых стран, как взращивать страх, внушать почтение и эксплуатировать должным образом народ? Без дизентерии, крупа, столбняка, голода в прямом смысле слова можете ли вы представить себе мир подрастающих детей и

[1] Особый вид тропической лихорадки.

взрослых, арендаторов, батраков, испольщиков, огромных отрядов кангасейро, захватывающих и делящих между собою земли? Эпидемии чумы необходимы и в высшей степени благодетельны, без них была бы невозможна индустрия засух, приносящая прибыли, конечно, не голодающим. Как без эпидемий сохранить созданное веками общество, как удержать народ от всех иных бедствий — более опасных? Представьте себе, старина, этих людей здоровыми да еще умеющими читать — какая страшная угроза!

B

Выползла оспа оттуда, из своих затаенных убежищ на берегах Сан-Франсиско, из ущелий Пираньяс, села на поезд в Проприá, сошла в Букиме. Чтобы испробовать свое оружие и не терять времени, она заразила сначала кочегара и машиниста, но расправилась с ними медленно, дав им возможность прежде добраться до Баии и умереть там, что вызвало тревожные сообщения в газетах. Несколько дней спустя телеграммы из сертана печатались под «шапками» на всю первую полосу: «Новое нападение оспы».

Почему она появилась и отчего она так свирепа? Узнать это с достоверностью никогда не удастся. Оппозиция приписывает злокачественный взрыв эпидемии умышленно организованным с провокационной целью торжествам. Хотя к утверждениям политиканов, да еще из оппозиции, следует прислушиваться с некоторым скептицизмом, с естественной сдержанностью, не придавая им большой веры, но, во всяком случае, в народных песнях, рассказывающих о памятном сражении, приводится версия насчет празднеств. Помимо этой версии, не известно никакого другого стоящего объяснения — если не считать того, что возникновение эпидемии объясняли отсутствием реальных превентивных мер, небрежностью властей в области здравоохранения, отсутствием внимания к проблеме эндемий и эпидемий в деревне, растратой ассигнований по бюджету теми, кто их получал, хотя именно эта версия была опровергнута компетентными органами.

Празднества были организованы как раз для того, чтобы продемонстрировать всеобщую признательность этим органам, объявившим о полном уничтожении оспы, малярии, тифа и проказы. Для проведения этих празднеств воспользовались пребыванием в Букиме превосходительнейшего директора департамента здравоохранения штата и его веселой свиты (переезжая из городка в городок, они навещали пункты здравоохранения и вымогали устройство банкетов).

Банкеты, фейерверки, военные оркестры, речи и снова речи, в которых пространно прославлялись упомянутые мероприятия по оздоровлению района, бывшего ранее рассадником оспы, теперь же, по утверждению правительственных коммюнике, даже аластрим,— заболевание, родственное натуральной оспе и ветряной,— который убивает мягко, почти незаметно, исчез с рынков и дорог, с улиц и из тайных закоулков. Навсегда изгнаны из сертана оспа, малярия, тиф, чума — все они, как известно, были эндемичными при прежних правительствах штата. И потому — да здравствует наш любимый генерал-губернатор, неутомимый поборник здоровья народа! Да здравствует всеми уважаемый директор департамента здравоохранения, посвятивший свой блистательный талант благополучию дорогих сограждан. И, наконец, да здравствует префект города, адвокат Рожерио Калдас, который меньше всех растратил из ассигнований, предназначенных на борьбу против сельских эндемий, ибо бóльшие жулики, занимающие высокие посты, пожирали эти ассигнования в

ходе бюрократического процесса по пути из столицы в провинцию,— и при всем том все же осталась какая-то доля для ревностного администратора.

Из всего множества красноречивых речей выступление сеньора префекта, говорившего от имени признательного населения (бандой неблагодарных, скептиков и плутов-насмешников он прозван Пожирателем Вакцины), было самым резким и содержало решительные утверждения: с полной ликвидацией эпидемий муниципалитет вступает в золотой век здоровья и процветания — уже пора! Вдохновенное выступление заслужило пылкие похвалы прославленного директора департамента здравоохранения штата. Взял слово и молодой, талантливый доктор Ото Эспиньейра, недавно назначенный руководителем учрежденного в Букиме пункта здравоохранения, по его словам, «полностью оснащенного и оборудованного, способного встретить любую неожиданность, обслуживаемого преданным и компетентным персоналом». Симпатичный молодой человек, наследник традиций и престижа семейства Эспиньейра, он рьяно готовился к политической карьере и даже метил в депутатское кресло. Речи подогревают сдерживаемый аппетит: участники торжеств буквально пожирали предлагаемые на банкетах яства.

Но не прошло недели после торжественного чествования победы над эпидемиями, как черная оспа, высадившись с товарного поезда, по случайному совпадению или намеренно одним из первых сразила префекта Пожирателя Вакцины, прозванного так из-за того, что в обмен на поддержку в политических кругах и комиссионные он ввязался в сложные махинации с вакцинами для скота, расхищавшимися в муниципалитете и продававшимися по дешевке окрестным фазендейро. В вину ему это поставить было трудно. Да и никто в этом не был виноват: поскольку считалось, что оспа здесь окончательно ликвидирована, никто не выезжал за границу, в отсталые страны Европы, еще подверженные оспе, так для кого, спрашивается, нужна была вакцина?

Едва появившись, оспа в тот же день свалила префекта, одного солдата военной полиции, жену ризничего (законную, а не любовницу, к счастью), одного возчика, двух арендаторов на фазенде полковника Симона Ламего — они перечислены здесь в порядке своей значимости — и, наконец, троих детей и старую каргу дону Ауринью Пинто, умершую первой, от первого же, самого легкого дуновения болезни, еще до того, как лопнули пустулы на лице, на руках и ногах, на впалой груди,— она была не такая дура, чтобы оставаться гнить в постели в страшных мучениях.

Г

Город победил черную оспу? Черта с два! Она продолжает свое победное шествие несмотря ни на что. Не анемичный аластрим, а натуральная белая оспа — постоянная спутница людей на плантациях и на улицах, распространяемая оптом и в розницу, даром. Когда гнойники подсыхают, оспа еще заразна: по дорогам, базарам и рынкам корочки болячек разносятся ветром, вписываясь в пейзаж сертана.

Белая оспа — «это еще не катастрофа», от нее погибают немногие: она, правда, умерщвляет обычно небольшое число людей, как бы по обязанности, но задерживается настолько в определенном месте, что народ как бы привыкает к ней и спокойно с ней сосущест-

вует: семья заразившегося оспой не делает прививок, не поднимает тревоги, не зовет врача — применяет дешевые лекарства, древесные листья, бережет только глаза, не обращая внимания на остальное.

Аластрим метит лица, щиплет кожу, несколько дней продолжается жар и бред. Кроме обезображенного, изрытого оспинами лица, изъеденного носа, деформированной губы, белая оспа оставляет более глубокий след — иногда ослепляет свои жертвы; также любит она нападать на детей... Глупая болезнь, немногим более опасная, чем корь или ветрянка. Но на этот раз вовсе не она прибыла с берегов Сан-Франсиско на поезде компании «Лесте Бразилейра» — то была черная оспа, она явилась убивать.

Не теряя времени вновь прибывшая принялась за работу. В центре Букима начала осуществлять намеченную программу, принялась за дом префекта, за дом церковного прихода, где жили священник и ризничий со своей семьей. Проклятая торопилась, она наметила себе честолюбивый план: уничтожить жителей городка, а также работающих на плантациях, не оставив в живых никого, кто мог бы рассказать о случившемся. По прошествии нескольких дней уже появились первые результаты: бдения у тела покойника, гробы, похороны, плач и траур.

Зуд, сыпь по всему телу, оспины, превращавшиеся вскоре в язвы, высокая температура, бред, гноящиеся глаза, померкший навсегда свет; к концу недели все бывало кончено, оставались только гроб, плач и молитвы. Чем более свирепствовала оспа, тем меньше хватало времени на плач и молитвы.

Молниеносно оспа распространилась по всему городку, добравшись к субботе до его предместья — Мурикапебы, где обитают беднейшие из бедняков, в том числе немногие девушки определенной профессии, приютившиеся на улице Канкро Моле. В Букиме, маленьком и отсталом городишке, числится с полдюжины профессионалок, прочие совмещают работу в постели с домашним хозяйством и стиркой, не считая элегантной портнихи и учительницы начальной школы, блондинки в очках, причем обе они приехали из Аракажу и обе имеют дело только с важными персонами, берут очень дорого.

Благоприятны для оспы условия: тинистое болото, зловоние, мусор. В Мурикапебе эпидемия оспы достигла гигантских размеров, дала решительное сражение. Собаки и детишки перерывали горы мусора в поисках еды, остатков пищи со столов из центра городка. Стервятники-урубу́ кружились в духоте наступающего вечера над глинобитными домишками, где древние старухи искали вшей,— это было у них единственным волнующим развлечением. Ветер гнал по воздуху вонючую заразу. Оспа свила в этом месте прочное гнездо.

В поселке умолкли песни, звуки гармоники и гитары. Как было в Букиме, так и в Мурикапебе — первых покойников еще хоронили на кладбище. Потом стало не до того.

Д

Да, за здоровьем населения в Букиме наблюдали не только макумбейро[1] Агнело, подвизавшийся в Мурикапебе, и знахарка Ардуина, у которых была обширная клиентура и которые пользовались широкой известностью,— в городском пункте здравоохранения работали двое врачей — доктор Эвалдо Маскареньяс и доктор Ото Эс-

[1] Жрец негритянского религиозного обряда — макумбы (кандомблэ)

пиньейра, медицинская сестра без диплома Жураси, переехавшая сюда из Аракажу и страстно желавшая туда вернуться, некто Масимиано Силва, или Маси дас Неграс, совмещавший обязанности санитара, сторожа и рассыльного, и, наконец, аптекарь Камило Тезоура, обладавший выдающимися клиническими знаниями: он осматривал крестьян, прописывал лекарства и старательно следил за чужой жизнью, стоя за прилавком «Аптеки Милосердия».

Семидесятисемилетний доктор Эвалдо Маскареньяс, весьма слабый диагностик, лечил больных тем небольшим количеством лекарств, названия которых еще сохраняла его угасающая память. Он с великим трудом наносил визиты больным — был полуглухим, полуслепым, почти совсем выжил из ума, по утверждению аптекаря. Когда оспа сошла с поезда «Лесте Бразилейра», старый эскулап не удивился: проживая в Букиме уже полсотни лет, он не раз слыхал от представителей властей сообщения о ликвидации оспы, хотя каждый раз она сюда возвращалась под руку со смертью.

Современный молодой человек, кончивший университет полтора года назад, доктор Ото Эспиньейра не сумел еще заслужить доверия жителей Букима из-за своего возраста, ему не исполнилось тридцати, а по виду можно было дать всего двадцать: редкая бороденка, мальчишеская физиономия, напоминающая лицо куклы. Причиной недоверия было еще и то, что он не женился и содержал любовницу, а это поощрялось в среде адвокатов, но решительно осуждалось среди врачей. Его, однако, не тревожило отсутствие пациентов. Происходя из зажиточной и почтенной семьи, он, едва закончив учебу, получил назначение на службу по линии департамента здравоохранения штата с шестимесячной (ни дня больше!) стажировкой в Букиме — достаточный срок для повышения; клиника его не соблазняла, у него были более высокие замыслы, нежели стать врачом в сельской местности: он мечтал попытаться сделать политическую карьеру, добиться избрания в депутаты федерального парламента и, используя депутатский мандат, махнуть на юг, где живут веселой жизнью, тогда как в Сержипе только прозябают, по убеждению знатоков житейских прелестей — почтенных докторов или простых мошенников.

Узнав о первых роковых случаях оспы в городе, он ударился в панику: ведь он поверил речам на торжествах, а какие меры следует принимать по борьбе с оспой — помнил лишь смутно лекции профессоров факультета. Он чувствовал священный трепет перед болезнями вообще, в особенности перед оспой, этой страшной болезнью, которая если не умерщвляет, то обезображивает. Он вообразил себе свое собственное изрытое оспой лицо, смуглое, округлое, кукольное лицо, гарантию его успеха у женщин. А после оспы он не завоевал бы ни одной, заслуживающей его внимания.

За годы учения в Баие он привык к красивым женщинам. Поэтому когда Тереза Батиста по возвращении из богатого приключениями артистического турне в Алагоас и Пернамбуко появилась, одинокая и свободная, снова в Аракажу — где Ото гостил, удрав на несколько дней из Букима под предлогом, что необходимо обсудить местные проблемы здравоохранения с вышестоящим начальством,— он познакомился с ней и тут же стал ухаживать.

Тереза чувствовала себя подавленной, ей хотелось плакать, она ни в чем не находила утешения. Ни перемена мест, ни знакомство с новыми краями, с неизвестными городами, церквами Пенедо, пляжами Масейо, рынком Каруару, мостами Ресифе, ни аплодисменты, которыми одаривали Королеву Самбы, ни покоренные сердца, страстные вздохи, предложения и объяснения в любви — ничто не стало

лекарством от ее страданий. Не утешали ее и некоторые переделки, в которые она попадала вследствие мании бороться против несправедливости, ввязываясь там, где ее совершенно не просят, движимая стремлением поправить чужие беды, не справляясь, однако, с собственными и с этой не отпускающей ее острой болью в груди.

Флори Лежебока, владелец «Веселого Парижа», хороший ее друг, также ходил с опущенным гребешком: мало посетителей, постоянная нехватка денег, нет возможности пригласить одновременно двух звезд для ярко освещенной танцевальной площадки кабаре. Двух, да, потому что, хотя дела в кабаре шли плохо, в любви ему наконец повезло: сердце его пришло в смятение при виде посетившей его новой артистки, Рашель Клаус, обладательницы роскошной рыжей шевелюры. На ее усыпанной веснушками груди Флори подавил, наконец, безнадежную страсть к Терезе; в течение нескольких месяцев он кусал локти, глядя умоляющими глазами на бронзовую девушку, умоляя ее, а она всегда вежливо и с улыбкой неуклонно отказывала ему. От печали, боли, подавленности, явившихся следствием жестокости Терезы и предполагающегося ее отъезда, он был вовремя спасен прибытием в город Рашель Клаус, певицы блюзов, кандидатки на выступления в «Веселом Париже» и на объятья его печального владельца: и вот из пепла воспоминаний о Терезе возродились и кабаре, и его хозяин. А другие друзья Терезы! Поэт Сараива разъезжал по сертану в поисках лучшего климата, где он мог бы спокойно умереть, художник Женнер Аугусто отправился в Баию в погоне за славой; знаменитый протезист Жамил Нажар был помолвлен и спешил жениться на богатой наследнице, которой он поставил пять замечательных пломб. Что касается любимейшего всеми Лулу Сантоса, он скоропостижно умер, рухнув прямо на трибуне в суде, защищая какого-то бандита из Алагоаса.

В Аракажу, без друзей и без работы, совершенно упавшая духом, Тереза вновь оказалась под обстрелом сыпавшихся на нее предложений того самого богача, о котором рассказывалось ранее, самого богатого человека Сержипе — по данным тех, кто осведомлен о чужих состояниях,— промышленника, сенатора и бабника. Настойчивый, не привыкший, чтобы ему отказывали, он дошел до того, что стал угрожать сделать ее жизнь невыносимой, если она не уступит его предложениям, которые, впрочем, были достаточно щедрыми. Сводница Венеранда не давала Терезе передышки: только сумасшедшая отказалась бы от покровительства такого влиятельного лица.

А «сумасшедшая», так и не обретшая домашнего очага, под некоторым воздействием молодого врача — красавчика, умеющего столь красноречиво говорить,— решила ни за что не уступать благороднейшему сенатору: стать любовницей пожилого человека, нет, никогда больше она не будет подвергать себя такому испытанию. Тереза приняла приглашение молодого врача сопровождать его в Буким, впрочем, не взяв на себя обязательство задержаться или остаться там на продолжительный срок, согласившись на небольшое приключение.

Хотя она не рассчитывала увидеть снова Жануарио Жерэбу, капитана парусника, с которым когда-то встретилась в порту Аракажу и в чьем жару загорелось ее мертвое сердце,— любовь без надежды, кинжал, вонзенный в грудь,— Тереза Батиста хранила своего рода верность моряку, не связывая себя увлечениями, которые грозили бы принять серьезный характер. Сумасшедшая — верно, Венеранда, но свободная, чтобы в любой момент отчалить, когда это будет надо.

E

Ее, Терезу, врач Ото Эспиньейра шутя попросил спасти от угрозы помолвки и женитьбы, которые неминуемо настигли бы молодого медика, отправься он один в провинцию. Там он немедленно стал бы желанной целью для матрон, охотящихся за зятем; он ничего при этом не обещал ей, кроме спокойного отдыха. Определив срок своего возвращения в Буким, он услышал от нее, что ей надоели большие города — Ресифе, Масейо, Аракажу — и что у нее появилось желание поехать в провинцию, и тут же предложил ей отправиться с ним отдохнуть: в Букиме полная тишина, абсолютный покой, там никогда ничего не случается, если не считать ежедневного прибытия поездов, одного — идущего в Баию, другого — в Аракажу и Проприю.

Так, удобно устроившись с Терезой, он не подвергнется риску попасться в ловушку, связавшись с какой-нибудь девицей на выданье в этом паршивом городишке — брачном рынке, и не приобретет сифилиса у местных проституток. По красоте и по легкомысленным и приятным речам врач напоминал девушке Дана, первого, кого Тереза полюбила, однако Даниэл был с гнильцой внутри, подлецом высшей марки — насквозь лживый, фальшивый, как камень в кольце, за которое тетка Фелипа продала ее капитану. Неприятное воспоминание заставило было Терезу поколебаться в своем решении принять приглашение врача, но ведь Ото Эспиньейра, веселый, открытый, ничего ей не обещавший, был полной противоположностью Дану, и Тереза в конце концов согласилась.

Трус и лицемер, Дан выдавал себя за отважного, честного и порядочного, он клялся ей в вечной любви и посулил взять с собой в Баию, освободив ее от рабства, побоев линейкой и плетью из сыромятной кожи; на самом же деле он с самого начала собирался бросить ее на произвол судьбы, даже не попрощавшись. Обо всем этом она узнала в тюрьме, и не было, начиная с Габи, недостатка в людях, объяснявших ей это. А чтение показаний Дана, разве не слышала его Тереза? Невероятная защитительная речь, в которой он обвинял ее от начала до конца, утверждая, что это она, порочная женщина, затащила его в спальню капитана, предложив укрыть от дождя, и тем доказала свою испорченность; поскольку Даниэл не железный, случилось неизбежное, причем эта бесстыдная особа поклялась ему, что уже больше года между нею и капитаном нет ничего общего, что она не более как служанка в доме — не более; если бы Дан знал, что она продолжает быть любовницей Жустиниано, он бы, конечно, отверг ее притязания, будучи другом капитана и уважая чужой домашний очаг и чужую собственность. Тереза Батиста пережила тогда тяжелое время; но худшее, с чем ей пришлось столкнуться в ту пору, были показания Дана; она встречала и ранее многих дурных людей, но Даниэл превзошел всех, оказался, пожалуй, омерзительнее самого капитана.

Потому в тюрьме Тереза превратилась в дикого зверька, забившегося в угол камеры,— она замкнулась, не доверяла никому. Когда появился Лулу Сантос, посланный из Сержипе доктором Эмилиано Гедесом, она не захотела говорить с ним, считая, что адвокат такой же, как другие; кому можно верить в этом мире страданий и подлости? Когда — после убийства капитана Жустиниано — Терезу арестовали, пришлось объединиться трем жандармам в форме, капралу и двум солдатам военной полиции, чтобы скрутить ее силой. Адвокат помог ей освободиться из тюрьмы и поместил в монастырь, передав на попечение монахинь, которые надеялись перевоспитать ее, но даже тогда Тереза продолжала сомневаться в намерениях Лулу; на-

столько сомневалась, что убежала, не дождавшись дальнейшего облегчения своей участи; к тому же адвокат из скромности не называл имени доктора, пославшего его защищать Терезу.

Только во времена знакомства с доктором (поначалу она и в нем сомневалась) к Терезе постепенно стала возвращаться вера в жизнь и доверие к людям. Почему она согласилась уехать с Эмилиано Гедесом? Он приехал за ней в пансион Габи и, взяв за руку, сказал: «Забудь, что произошло, теперь ты начнешь новую жизнь». Один-единственный раз, еще на ферме, она видела доктора и тем не менее не стала спорить и упрямиться, почему? Не потому ли, что из всех мужчин, которых она знала, он был самым привлекательным,— он не обладал внешней красивостью Дана, но был прекрасен своей какой-то внутренней красотой. Какой? Тереза не могла дать себе отчет, и, несмотря на боязнь оказаться еще раз обманутой, она поехала с ним и никогда после не жалела об этом — стараясь забыть прошлое, она начала новую жизнь, как он ей обещал.

Таким же образом она могла судить и о враче Ото Эспиньейре; в противоположность Дану, он не прибегал к красноречию, чтобы увлечь ее, суля небо и землю, вечную ласку, глубокую привязанность, он не говорил о любви; он приглашал ее только на обыкновенную экскурсию в провинцию, возможно, веселую экскурсию.

Поскольку он обещал так мало, Тереза решила согласиться: по крайней мере, не будет разочарования, никаких иллюзий она не питает в отношении компаньона по поездке. Приятный в общении, шутник, он помогал ей выбраться из Аракажу и тем самым спасал от требований и угроз фабриканта — просителя-миллионера, который послал ей отрезы материи со своих фабрик и небольшую драгоценность; Тереза вернула подарки — доктору Эмилиано, наверное, было бы не по вкусу увидеть ее в объятиях сенатора.

Ж

Желая представить Терезу людям, доктор Эмилиано Гедес перестал держать ее взаперти, начал выходить с ней. Во время одной из прогулок по Эстансии он показал Терезе старинный особняк, пришедший в упадок от времени и отсутствия ухода, выкрашенный в синий цвет. Доктор обратил внимание Терезы на это чудо архитектуры, на отдельные детали, незаметно помогая ей оценить то, чем одна она не могла бы заинтересоваться и что не могла бы постичь.

Фабрикант (тогда он еще не был сенатором), низенький и толстый, мелкими шагами перешел улицу, чтобы поздороваться и поболтать с доктором Эмилиано Гедесом; он был многословен, суетлив, радостно настроен, смотрел на Терезу алчным взглядом. Доктор вежливо прекратил разговор, не замечая намеков фабриканта на то, чтобы его представили Терезе. Доктор Гедес будто не хотел, чтобы богатый толстяк коснулся Терезы хоть кончиком пальца, словом, жестом. Увидев, что тот, наконец, уходит, Эмилиано сказал с несвойственной ему грубостью:

— Он, как оспа, поганит все, до чего коснется; если не убивает, то оставляет метку. Черная оспа, заразная.

Спасаясь от домогательств ненавистного фабриканта, Тереза приехала в Буким в сопровождении врача, когда другая оспа, настоящая, высадилась здесь, чтобы уничтожать людей.

Живя с доктором, Тереза узнала значение нового для нее слова «подруга». Друг и подруга — идеальные отношения. Она — и доктор Эмилиано Гедес. Ни с кем другим у нее не было ничего подобного,

точно так же и с Ото Эспиньейрой, неопытным, не очень-то приятным. Ах, Жануарио Жерэба, где ты, любимый друг, любовь моя, почему ты не приезжаешь за мной, почему оставляешь меня умирать здесь!

З

Значит, не было у них настоящей близости, тем более — любви. Отношения Терезы Батисты с врачишкой Ото Эспиньейрой не переходили границы легкой связи, которая очень скоро прервалась из-за внезапно нагрянувших событий. Так лучше, подумала Тереза, очутившись одна лицом к лицу с гулявшей на свободе страшной болезнью.

Тереза приехала сюда с врачишкой, чтобы скрыться от преследований богача. Последнее время она пыталась жить на свой скудный заработок танцовщицы, но в кабаре ей платили нищенское жалованье, почти символическое; пение и танцы служили маскировкой для совершенно иных занятий; глупо было заработать на жизнь трудом артистки, титул и аплодисменты нужны были для того, чтобы подороже брать с клиентов. В Аракажу Флори платил ей высокое жалованье, надеясь завоевать ее, страдая от безумной страсти к ней. Сейчас он делал то же для Рашель Клаус — на этот раз, правда, он платил и получал.

В турне хозяева кабаре платили Терезе гроши, предлагая, если этого мало, увеличивать жалованье за счет щедрых посетителей заведения: звание артистки, имя на рекламе, на афише, в газете повышают женщине цену. Перед Терезой вновь встал вопрос — продавать себя?

В Букиме Терезе нелегко было выдерживать неистовую страсть врачишки. Но как сказать ему: я уезжаю, ничто меня не удерживает здесь, я устала играть, я приехала только как спутница, по печальной ошибке? Как сказать ему все это, если она согласилась приехать и он обращался с нею вежливо и даже довольно нежно, что делало его менее циничным и самодовольным, почти благодарным? Как оставить его здесь, в городке, без каких-либо развлечений, где совершенно нечем заполнить время? Но ей необходимо сделать это, она не может больше выдержать, она должна сбросить маску, иначе задохнется.

Все это длилось четверо суток — время, в течение которого тело обсыпают оспины в захваченном заразой, обреченном городе.

И

Изречение «Я жду тебя!» красуется на примитивной вывеске — висящей на двери доске с написанными на ней черной краской буквами: лучшей рекламы и не заслуживает этот плохонький погребок, в нем нет даже электрического освещения, его заменяет коптящая лампа. Несколько человек пьют кашасу, жуют табак в обществе двух женщин, смахивающих на бабушку и внучку,— это старая Грегория и почти девочка, изможденная и до зелени бледная, по прозвищу Козочка. Они ждут клиентов в надежде заработать хоть немного мелочи, сколько бы ни было,— не каждый вечер им удается дождаться кого-нибудь.

Входит Закариас, здоровенный детина, арендатор с соседней фазенды полковника Симона Ламего; он облокачивается на стойку, свет

лампы падает на его лицо. Миссу, хозяин заведения, вопросительно поднимает брови.

— Два пальца чистой.

Миссу наливает кашасу по названной мерке; арендатор с любопытством рассматривает стоящую у стены девочку: уже целый месяц он постился — не было денег. Он вытирает рот тыльной стороной руки перед тем, как выпить спиртное. Миссу переводит глаза с лица на руки посетителя. Закариас поднимает толстый стакан, открывает рот, пустулы вокруг его губ становятся виднее. Миссу хорошо знает, что это такое, он сам болел оспой, выжил, но оспины покрыли ему кожу лица и тела. Закариас проглатывает кашасу, ставит стакан на прилавок, сплевывает на глинобитный пол, расплачивается и снова оглядывается на девочку. Миссу подбирает монеты и спрашивает:

— Разрешите вопрос, дружище, вы понимаете, что у вас оспа?

— Оспа? Оспа — нет. Это просто сыпь.

Старая Грегория подошла к работнику в надежде: если не понравится девчонка, может быть, приглянется она, ведь ей с каждым днем все труднее добывать клиента. Услышав Миссу, она внимательно всматривается в лицо парня, она тоже разбирается в этом — пережила не одну эпидемию оспы, не заразившись ни разу неизвестно почему. Нет сомнения, это оспа, и черная. Она быстро отходит, хватает Козочку под руку и ведет ее к двери.

— Эй! Куда вы? Подождите,— зовет Закариас.

Женщины исчезают в темноте. Закариас поворачивается к другим посетителям, те молча жуют табак, опустив головы, уставясь в пол; он обращается как бы ко всем:

— Это просто сыпь, ерунда.

— По мне, так это оспа,— настаивает Миссу.— И лучше идти немедленно к доктору. Выяснить, пока не поздно.

Закариас обводит взором тесное помещение, люди молчат; он смотрит на свои руки, вздрагивает и быстро выходит наружу. Старая Грегория силой тащит Козочку, та сопротивляется, не понимая, почему старуха не позволяет ей заработать немного денег, а это так нелегко. Зловоние болота, грязь на земле, огромное звездное небо. Закариас, пришибленный, торопливо направляется к центру городка.

К

Каждый закон издается затем, чтобы его выполняли; распорядок дня, часы работы пункта здравоохранения указаны на объявлении, вывешенном на двери, на самом виду: с девяти утра до полудня, с двух до пяти вечера. Но это чисто теоретически, и Масимиано, и Жураси не любят, чтобы их отрывали от занятий: первого — от изучения и заполнения карточек лотереи, вторую — от сочинения ежедневных трогательных писем жениху,— священное время. Что же касается врача, то он и вовсе не придерживается никакого расписания, появляясь, когда ему взбредет на ум, утром или вечером, но всегда наскоро, второпях; в случае срочной необходимости достаточно медсестре или сторожу перейти улицу — квартира врача находится напротив,— и можно позвать его, вытащив почти всегда из постели, где он если не забавляется с Терезой, то спит мертвым сном, забыв обо всем на свете, даже о своих честолюбивых стремлениях.

Закариас, устав хлопать в ладоши и кричать — эй, там, в доме! — колотит в дверь кулаками. Аптекарь Тезоура отсутствует — уехал в Аракажу, доктор Эвалдо — у больного, в пункте здравоохранения —

один лишь молодой врач. Закариас, охваченный ужасом, грозит выломать дверь. Из-за угла появляется какой-то человек, ускоряет шаг, подходит к арендатору:

— Что вам нужно?

— Вы работаете здесь?

— Работаю, да, что с того?

— Где доктор?

— Что вы хотите от доктора?

— Хочу, чтобы он принял меня.

— В этот час? Вы с ума сошли? Не умеете читать? Вот смотрите расписание, здесь — с...

— Вы думаете, у болезни есть расписание? — хрипло выкрикивает Закариас и поднимает руки к глазам Масимиано, это был он: — Смотрите. Я думал, это простая сыпь, а похоже, что оспа, к тому же черная.

Инстинктивно Маси отступает, ему тоже кое-что известно об оспе, и он узнает ее немедленно. Тяжелый аластрим или черная оспа? Сейчас десять вечера, город спит, молодой врач, должно быть, нежится в постели с красоткой, привезенной из Аракажу, этой потрясающей кабоклой, от такой не отказался бы и сам Масимиано. Стоит ли будить доктора, рискуя получить нахлобучку? Маси в нерешительности. Однако что, если это действительно черная оспа? Он снова вглядывается в лицо крестьянина — да, гнойные пузыри, коричневые, темно-фиолетовые, типичные для проклятой, смертельной оспы. Масимиано работает в департаменте здравоохранения уже восемнадцать лет, перебывал во всех пунктах провинции, кто-что усвоил.

— Ладно, кум, дом доктора тут поблизости, напротив.

Остановившись у дверей дома, Масимиано хлопает в ладоши, откликается женщина, ее зовут Тереза Батиста: сторож, он же санитар, как-то услышал и запомнил ее имя.

— Это я, Масимиано, дона. Скажите доктору, что здесь на пункте больной, заразился оспой. Черной оспой.

Л

Лекарское дело постигается на практике — утверждал профессор Элено Маркес в лекции об эпидемиях на медицинском факультете в Баии. Глубокая ночь, пункт здравоохранения Букима, холодный пот на лбу, сжавшееся сердце, доктор Ото Эспиньейра, совсем недавно получивший диплом, пытается на практике постичь то, чего не постиг в теории; на практике это много труднее, отвратительнее и страшнее. Речь идет, очевидно, об оспе в самой вирулентной форме — о черной оспе, как называют ее в народе; чтобы узнать это, не нужно было учиться шесть лет, достаточно только взглянуть на лицо крестьянина с безумно вытаращенными глазами и испуганным голосом:

— Скажите, доктор, это черная?

Единичный случай или начало эпидемии? Врач закуривает сигарету; сколько их он закурил и выбросил с той минуты, как Тереза передала ему неожиданное известие,— на полу куча окурков. Какого черта он согласился поехать в Буким? Хорошо сказал Бруно, коллега по службе, опытный человек: нет такого соблазна, который вытащил бы меня из Аракажу, а провинция — скопище болезней.

Но как же бороться с оспой, как ликвидировать ее? Он бросает сигарету на пол, гасит ее, раздавив ногой. Протирает руки спиртом. Еще раз.

Шаркающие шаги на улице, дрожащая рука на дверной ручке; в помещение пункта входит, прихрамывая, доктор Эвалдо Маскареньяс, в его руках чемоданчик, весь потертый от многолетнего употребления; оглядывает комнату подслеповатыми глазами, отыскивает молодого врача.

— Я увидел свет, дорогой коллега, и вошел, хочу сообщить вам, что Рожерио, Рожерио Калдас, наш префект, при смерти. Он заразился оспой, случай очень серьезный, у меня мало надежд. Хуже всего, что это не единственный случай. Лисию знаете? Жену ризничего? Это жену так зовут, а имя любовницы — Тука. Так вот, Лисия тоже в тяжелом состоянии. Вспышка оспы, дай бог, чтобы не эпидемия. Но я вижу, вы, дорогой коллега, уже информированы, так как находитесь здесь и в этот час; вы, верно, собираетесь принять необходимые меры. Прежде всего — вакцинация всего населения.

Всего населения, сколько же это? Три, четыре, пять тысяч, считая городок и плантации? Сколько вакцины есть на пункте? Где этот запас хранится? Он, доктор Ото Эспиньейра, управляющий пунктом здравоохранения, никогда не взглянул ни на одну тубу, даже не подумал об этом драгоценном запасе. Даже если и есть достаточное количество вакцины, кто будет делать прививки? Врач закуривает новую сигарету, отирает со лба холодный пот. Свинская жизнь: мог бы находиться с той же Терезой или какой другой в Аракажу, а ведь вот очутился здесь, в окружении оспы, вне себя от страха. Оспа если и не умерщвляет, то обезображивает. Он представил свое смуглое лицо, изрытое оспинами,— столь привлекательное для женщин лицо куклы уже обезображено, неузнаваемо, ах, боже мой! Или он умрет, будет лежать мертвый, весь в гною.

Доктор Эвалдо Маскареньяс проходит внутрь помещения, останавливается около Закариаса, пытается узнать его: неужели это санитар пункта Масимиано? Нет, это неизвестный ему человек, лицо его в пятнах; старый доктор вглядывается внимательнее, нет, это не пятна — гнойники, это оспа.

— Тоже схватил проклятую. Это эпидемия, дорогой коллега; мы видим начало, но никому не известно, кто останется и увидит конец. Я уже пережил три эпидемии, но от этой, пожалуй, не спасусь, да и кто здесь может спастись.

Ото Эспиньейра бросает на пол очередную сигарету, пытается что-то сказать, но не находит слов.

— Так что же мне делать, доктор? Я не хочу умирать, почему мне надо умереть?..— с тоской спрашивает Закариас.

В конце концов появляется вызванная врачом Ото медсестра Жураси; она мирно спала, грезила о своем женихе, когда Маси разбудил всех в доме, где она снимала комнатку с пансионом. В голосе сестры звучали досада и вызов:

— Вы послали за мной в такой час, доктор, зачем? Что за срочность? — «Шальной докторишка, днем его не видно, а ночью будит людей».

Ото Эспиньейра не отвечает, и снова взрывается хриплый голос Закариаса:

— Ради бога, спасите меня, доктор, не дайте умереть.— Он обращается уже к доктору Эвалдо, известному во всем районе.

У медсестры Жураси желудок деликатный: ах, лицо у человека в язвах! Она больше не спрашивает, почему ее подняли с постели в столь поздний час. Доктор Эвалдо повторяет монотонно:

— Это эпидемия, дорогой коллега, эпидемия оспы.

Леча больных, ободряя умирающих, помогая при погребениях, ухитрившись спасти нескольких человек от смерти, он остался не-

вредим после трех эпидемий. Перенесет ли четвертую? Доктору Эвалдо не так страшно умирать, размышляет врач Ото Эспиньейра, но он, Ото, только начинает свою жизнь. Однако почти слепой, полуглухой, полная развалина — как злословит про него аптекарь,— доктор Эвалдо любит жизнь и собирается бороться за нее скромными возможностями деревенского медика. Из присутствующих только он и Закариас думают о том, как сопротивляться болезни. У медсестры Жураси начались позывы к рвоте; Маси дас Неграс пытается вспомнить, когда он делал себе прививку в последний раз,— должно быть, более десяти лет назад, уже потеряла действенность. Эспиньейра бездумно закуривает и тут же гасит сигареты.

В дверях появляется какая-то фигура, чей-то голос спрашивает:

— Доктор Эвалдо здесь?

— Кто меня зовет?

— Это я, Витал, внук доны Ауриньи, доктор. Моя бабушка умерла, я вас повсюду разыскивал и вот пришел сюда. Насчет свидетельства о смерти.

— Сердце?

— Возможно, доктор. У нее была сильная сыпь, потом начался жар, не успели даже вас позвать, как она отдала богу душу.

— Сыпь? — Доктор Эвалдо стал выяснять подробности. Подозрение его крепло.

— На лице, на руках, доктор, в общем, по всему телу; она сильно чесалась, потом, когда поднялась температура, умерла, градусник, который мы брали у соседа, показал выше сорока градусов.

Старый врач обратился к молодому врачу:

— Лучше вам, дорогой коллега, пойти со мной. Если это еще один случай оспы, будет констатирована вспышка эпидемии и выдано первое свидетельство о смерти.

И еще одна сигарета... Лоб покрылся потом. Не произнеся ни единого слова, доктор Ото соглашается кивком головы — что же делать, надо идти. Медсестра Жураси тоже намерена сопровождать их, никакая сила не удержит ее здесь, в помещении, куда проникла зараза,— этот ужасный человек с оспой на лице! Если она, Жураси, умрет от оспы, то виноват будет директор департамента здравоохранения штата, пусть все это знают: он преследовал ее по политическим мотивам, он отправил ее в эту ссылку, в Буким,— он знал, что она числится в оппозиции к режиму, к руководству департамента и, кроме того, что она бережет свою невинность, а его превосходительство не терпит ни того, ни другого.

Прежде чем уйти и заметив полное бездействие коллеги, доктор Эвалдо рекомендует Маси дать больному раствор марганцовки для протирания тела, порошок аспирина — против жара.

— Что касается тебя, парень, возвращайся домой, не забывай раствор марганцовки, обложись банановыми листьями, избегай света, ложись и жди.

— Чего ждать, доктор? Божьей милости или смерти — чего еще ждать?

М

Мертвая тишина временами прерывалась глухим плачем седой женщины. А сейчас Ауриньа Пинто лежит на столе в комнате, откуда вынесена вся мебель и нет ни единого человека, даже родственников. Она уснула последним сном при первом дуновении горячки.

В молчании доктор Эвалдо, Ото Эспиньейра и медсестра Жураси смотрят на труп старухи.

— Она умерла от оспы, эпидемия...— объявляет шепотом доктор Эвалдо, и не могут помочь ему ни возраст, ни опыт; он весь дрожит и закрывает глаза, чтобы не видеть.

Даже после смерти не успокоилось измученное тело Ауриньи Пинто, болезнь продолжается: сыпь возрастает в волдыри, волдыри в пустулы, кожа лопается, появляется черный, зловонный гной, грязная, мерзкая оспа. Труп, не нашедший покоя.

Медсестру Жураси с ее деликатным желудком рвет тут же в комнате.

H

— Непонятно, сеу Масимиано Силва дас Неграс, где же вы их все-таки хранили, куда так запрятали, что я, будучи управляющим пунктом и ответственным за здоровье населения муниципалитета, до сих пор не могу обнаружить драгоценные вакцины, в которых — спасение? Почему я не вспомнил о них раньше? Когда я согласился занять этот пост, мне гарантировали, что в Букиме хороший климат, идеальные условия для отдыха и что касается здравоохранения — все в полном порядке, мне клялись, что Буким — райский сад, эдем в сертане, и что мрачный призрак былых времен, жуткое привидение, уничтоженное прогрессом,— оспа навсегда здесь ликвидирована; ликвидирована не только она, покончено с возможностью всякой другой эпидемии: да здравствует наше рачительное правительство! Меня обманули, ах, как меня обманули! Где вакцины, сеу Маси? Нам нужно пустить в ход их немедленно, пока еще есть время и живы люди.

— Остаток вакцин из последней присланной сюда партии, доктор Ото, должен храниться в шкафу с лекарствами, который, впрочем, почти пуст; ключ от него — у доны Жураси.

— Больше года назад здесь была группа вакцинаторов-добровольцев, состоявшая из студенток. Я помогал девушкам убедить кое-кого из местных жителей в необходимости вакцинации; какие невежды, они не слушали ни разъяснений, ни угроз — боялись заразиться оспой во время прививки, отказывались от вакцинации и даже убегали в лес. Девушки уехали продолжать прогулку по всей провинции за счет органов здравоохранения,— каникулы. Вакцину не присылают уже несколько месяцев, только обещают. Раздавать обещания, конечно, тоже требует значительных усилий со стороны бонвиванов из Аракажу.

— Скорее, дона Жураси, поворачивайтесь, делайте же что-нибудь, не хнычьте, не угрожайте обмороком, достаточно ваших гримас и тошноты; принесите вакцины и готовьтесь, вы и Маси дас Неграс идите на улицы и делайте прививки, за это вам государство платит деньги, взысканные с налогоплательщиков. Несите коробку с вакциной, инструменты, если нужно, прибегнем к помощи солдат; делайте прививки всем подряд, можете начать с меня, нужно показать пример людям. Если я не иду с вами, то лишь потому, что мой долг оставаться здесь и руководить.

— Имеющегося в наличии запаса, сеньор управляющий, едва хватит, чтобы сделать прививки детишкам из начальной школы да некоторым важным персонам,— знайте это. Засучивайте рукав, я вам сделаю прививку, возможно, еще не поздно,— потом увидим. Мне самой не нужно, я делала прививку в Аракажу до отъезда: мой жених объяснил мне, что разговоры о ликвидации оспы — пустая болтовня ди-

ректора департамента, который меня преследует за то, что мой отец находится в оппозиции, а я — помолвленная невеста. Здесь поблизости, в домах богатых семейств, в торговых заведениях я еще могу производить вакцинацию, но не рассчитывайте, что я буду ходить по трущобам и делать прививки всякому вонючему сброду; я родилась не для того, чтобы возиться с зараженными оспой и смотреть на гной, я честная девушка из приличной семьи, а не какая-нибудь бродяга и пьяница вроде вашей шлюхи, которую вы нашли неизвестно где и поселили на чистой улице, что оскорбляет честные домашние очаги Букима. Если хотите делать прививки черни, зовите свою потаскуху и идите с ней.

— Ах, не спорьте, сеньорита, не жалуйтесь, не оскорбляйте меня, я этого не заслуживаю, я всегда относился к вам с уважением, но сейчас требую послушания, выполнения указаний, я доктор и управляющий пунктом, относитесь ко мне с должным уважением и поторопитесь, разве вы не видите, что я опасаюсь последствий.

— Когда откроется почта, вы, сеу Маси дас Неграс, отправьте быстренько официальную телеграмму в Аракажу с просьбой срочно прислать побольше вакцины, оспа объявилась и убивает людей.

О

Одной из первых покинула Буким медицинская сестра второго класса департамента здравоохранения штата — Жураси. Бывшая регистраторша приемной медицинской консультации, не закончившая учебного заведения, без диплома, но являясь дочерью руководителя избирательной кампании прежнего правительства штата, она получила сюда назначение. А когда сторонники бывшего правительства перешли в оппозицию, новое в отместку перевело ее к черту на кулички, в Буким. Ее желудок не способен был выдерживать вонь и гниение; а городок за несколько дней буквально стал разлагаться.

По прошествии суток насчитывалось уже семь больных, на рассвете их было двенадцать, а на пятый день недели число заразившихся поднялось до двадцати семи. Цифра эта все возрастала. Зараженные дома можно было узнавать по окнам, заклеенным красной бумагой, чтобы помешать проникновению света: при дневном освещении оспа ослепляла, прежде чем умертвить. Через щели дверей и окон просачивался дым от сжигаемого коровьего навоза — отличный окуриватель, очищающий от миазмов оспы.

Верующие молились день и ночь в церкви, где отпевали законную супругу ризничего,— наконец-то он стал свободным и мог спокойно жить с любовницей, если оспа их не убьет. Богомолки молили всевышнего об избавлении от проклятья, ниспосланного в наказание за грехи людям, предающимся разврату. К их числу относился и врач Ото Эспиньейра с его любовницей.

Из окна пункта последние, кстати, видели, как на улице появилась Жураси с чемоданом и зонтиком,— она направлялась к поезду. «Увольте меня, если сочтете нужным, но здесь я не останусь ни на минуту, я не хочу рисковать жизнью; если доктор хочет, пусть делает прививки и возьмет свою потаскуху в помощницы»,— ворчала она.

На следующий день после тревожной ночи, когда были отмечены первые случаи оспы, медсестра и Маси зашли в начальную школу, захватив коробку с вакциной. Учительницы выстроили детей, в этой очереди не хватало трех учеников; вести приходили дурные: поначалу матери подумали о кори или ветрянке; теперь же не было сомнений в том, что́ это были за волдыри темно-фиолетового цвета. Городок

переполняли раздутые слухи о заболеваниях и о больных. С остатком вакцины двое служащих пункта направились на главную улицу в богатые дома.

Медицинская сестра Жураси не стала дожидаться часа, когда ей придется навещать бедняков в глухих переулках: перепуганная насмерть, она вспомнила, что уже имела контакт с больным оспой в доме турка Скэфа, крупного коммерсанта, у которого обнаружились симптомы болезни. Через три дома повторилось то же самое.

— Можете меня уволить — мне наплевать, я не собираюсь подохнуть здесь от оспы. Возьмите коробку, доктор, передайте своей шлюхе, а я невеста все-таки.

С исчезновением Жураси уменьшился наполовину персонал пункта, врач Ото взывал к небесам: что же теперь? Он посылает новую телеграмму в Аракажу, требуя способных и храбрых помощников: пусть приезжают с первым же поездом. Дóма, отмыв руки спиртом, без конца закуривая и гася сигареты, охваченный страхом, предается отчаянию. Он советуется с Терезой: пока департамент в Аракажу не шлет служащих, кто сможет помочь? Потребуется четырепять групп, как только придет запрошенная вакцина. До сих пор они располагали Масимиано и медсестрой, что теперь делать без Жураси? Ведь не может же он, Ото, управляющий пунктом здравоохранения, идти на улицу делать прививки, подобно ничтожному санитару; достаточно и того, что от него требуют присутствия на пункте утром и вечером, чтобы давать объяснения, советы, обследовать подозреваемых больных, констатируя новые случаи, ох, Тереза, это ужасно!

Тереза слушает молча, серьезная и внимательная. Она понимает, что он боится, просто умирает со страха, ожидая лишь намека, чтобы последовать примеру Жураси. Если бы Тереза сказала ему: давай уедем отсюда, зачем нам умирать молодыми, любовь моя? — у врача был бы предлог бежать: я тебя притащил за собой, теперь увезу отсюда, нам нужно сберечь нашу любовь.

Расхаживая из стороны в сторону, врач Ото Эспиньейра становится все серьезнее:

— Знаешь, что она сказала, эта сукина дочь, когда я упрекнул ее, что она сбежала от вакцинации? Чтобы я завербовал тебя, представляешь?..

В ответ раздался твердый и почти веселый голос Терезы:

— Ну что ж, я пойду...

— Ты? Да ты что?

— Пойду делать прививки. Необходимо только, чтобы парень научил меня.

— Ты с ума сошла! Я не позволю.

— А я и не спрашиваю тебя, позволишь ты или не позволишь. Разве тебе не нужны люди?

Из церкви богомолки увидели, как она идет в обществе Маси дас Неграс со всем необходимым для вакцинации. Они даже подняли головы, чтобы лучше наблюдать, не прерывая вместе с тем литании. Молитвы не долетали и до потолка церкви, не говоря уже о том, что не доходили до небес и ушей бога; у старых ханжей Букима не было сил громко взывать к богу. Куда это отправилась сожительница врача с инструментами?

В момент погребения законной супруги ризничего раздались удары колокола. Сильнее, сеу викарий; велите звонить сильнее, бейте в набат по два колокола сразу, чтобы оповестить власти и бога о том, что черная оспа опустошает город Буким. Изо всех сил, сеу викарий, бейте, бейте в колокола!

П

Приятель, скажите мне, кто же отдаст последние почести умершим, если он будет бояться, что тоже умрет, если он каждое мгновение оглядывает свои руки, смотрится в зеркало, чтобы убедиться — не появились ли первые роковые признаки?

Бдение у гроба требует спокойствия, преданности и порядка. Провести бдение, достойное незабвенного усопшего, невозможно под страхом оспы.

В начале эпидемии еще можно было приглашать друзей, готовить угощение для поминок, откупоривать бутылки кашасы. Но по мере распространения заразы это уже становилось невыполнимым, не хватало времени для принятой церемонии, не велись соответствующие разговоры, не слышались похвалы умершему; у охваченных отчаянием родственников не было сил для таких торжественных церемоний с высокопарными речами, с плачем и причитаниями. При эпидемии все это становилось невозможным.

Где найти людей и деньги, чтобы организовать как следует бдение одновременно у двух-трех гробов в одну ночь? Нельзя держать в течение нескольких часов в помещении разлагающиеся трупы, нужно было скорее освобождаться от зараженного тела; позже уже не оставалось ни времени, ни сил для похорон на кладбище, и умершим приходилось довольствоваться ямами, вырытыми в грязи на дорогах, где было легче копать.

Когда люди заражаются оспой и охвачены страхом, они только и заняты тем, что жгут навоз, отмывают гной, прокалывают волдыри и молятся богу. Куда там еще думать о бдениях у гроба!

Р

Рожерио Калдаса, префекта, Пожирателя Вакцины — прозвище это приобрело страшный смысл в связи с эпидемией оспы и отсутствием вакцины — хоронили в ясный воскресный вечер. Из-за чрезвычайных обстоятельств Буким был лишен возможности устроить торжественное погребение с оркестром, пышной процессией из учеников начальной школы, солдат военной полиции, членов религиозного братства и масонской ложи и других выдающихся личностей, с вдохновенными речами, превозносящими достоинства покойного: не каждый день удается отправить на кладбище префекта, скончавшегося при исполнении служебных обязанностей. Немноголюдные проводы, краткое выступление президента муниципальной палаты. «Он стал жертвой гражданского долга»,— заявил он, говоря о печальном конце изворотливого администратора. Тот в последние дни имел страшный вид: гнойники слились и образовали на всем теле большие ядовитые язвы, обычные последствия черной оспы в час смерти.

Для народа черная оспа была самой опасной, самой страшной, ее прозвали матерью всех других видов оспы. По мнению президента муниципальной палаты, покойный префект, выполняя свой гражданский долг, наверняка решил испытать оспу, чтобы удостовериться, прежде чем препоручить ей население города, что это действительно первоклассная оспа, опаснейшая черная оспа, прародительница всех других видов данной болезни.

Доктор Эвалдо Маскареньяс был последним, кого несколько дней спустя проводили искренние слова сожаления. Восьмидесятилетний старик, полуглухой, почти слепой, полупомешанный, еле таскавший

ноги, он не заперся в доме, не уехал. Пока сердце выдерживало, он ухаживал за больными — за своими пациентами и всеми остальными, о которых ему давали знать: бывали случаи, что больные из боязни попасть в лазарет прятались не щадя сил, последних сил своего изношенного организма. Он делал все что мог, но что сделаешь против оспы? Это он распорядился подготовить лазарет, а в жизнь претворила его планы Тереза Батиста — правая рука доктора в столь трудные дни. Она помогала ему, пока усталое сердце старика не разорвалось.

Он успел лишь послать через Терезу записку коллеге Ото Эспиньейре, управляющему пунктом: надо стучать в дверь, добиваясь срочной присылки новой партии вакцины, иначе все погибнут от оспы. После этого он впервые не пришел к своим больным.

С

Совсем еще недавно Тереза Батиста выступала на эстраде в кабаре, а сейчас, за какие-то дни, с доктором Эвалдо Маскареньясом и санитаром Маси дас Неграс она прошла полный курс обучения, чтобы заменить медицинскую сестру; у нее всегда были способности к учебе — так говаривала еще дона Мерседес Лима, первая ее учительница.

Тереза не только научилась делать прививки и обмывать оспенных больных, смачивая волдыри раствором марганцовки и камфарным спиртом, ей уже удавалось убеждать наиболее упрямых, боящихся заразиться от прививки. Действительно, были случаи, что вакцинация вызывала резкую реакцию, жар и сыпь, волдыри — неопасную вспышку болезни.

Маси был более нетерпелив и предпочитал решительные действия. Делая прививку силой, он вызывал конфликты и только затруднял выполнение задачи. Терпеливая и улыбающаяся Тереза объясняла, показывая следы прививки на своей смуглой руке, делая себе прививку снова, чтобы убедить в том, что никакой опасности не существует. Все шло очень хорошо, люди сами приходили в пункт в ожидании прививки, когда запас вакцины неожиданно кончился. Последовала новая срочная телеграмма в Аракажу с требованиями помощи.

Доктор Эвалдо, озабоченный растущей с каждым днем заразой, получил в магазине дар — несколько матрацев для лазарета, где должны быть изолированы больные, у которых не было условий для лечения дома, те, что представляли особенно большую опасность в распространении вируса. Однако, прежде чем получить матрацы, нужно было вычистить и вымыть как следует предназначенный для лазарета барак, расположенный в лесу, вдалеке от городка.

В обществе Маси дас Неграс — каждый из них нес креолин и воду в банках из-под керосина — Тереза Батиста направлялась по лесной дороге к лазарету; лес здесь разросся, и Маси приходилось временами ставить банки на землю и прорубать с помощью сломанного тесака просеку, по которой они с трудом пробирались. Барак пустовал уже более года.

Последними его обитателями были двое прокаженных, вероятно, муж и жена. Они появлялись по субботам на рынке, где просили милостыню — горсть маниоковой муки или черной фасоли, корни маниока или батата, сладкого картофеля, редко никелевые монетки, брошенные на землю,— с каждым разом все более изъеденные проказой, с жуткими дырами вместо рта и носа, культяпками рук, с ногами, обернутыми в мешковину. Они, наверное, и умерли одновременно, так как перестали появляться на рынке после одной из суббот. Так как никто не поинтересовался их судьбой и не отважился сходить в

барак — подобрать и похоронить их останки, стервятники-урубу́ устроили пиршество, оставив на цементном полу только кости, очищенные от проказы.

Маси дас Неграс поглядывал с изумлением и уважением на красивую кабоклу, любовницу врача, которая без всякого принуждения, подняв юбку, босиком принялась мыть цементный пол будущего лазарета; собрав кости прокаженных, она сложила их в вырытую могилу. В то время как медицинская сестра Недотрога удрала, покинула пункт здравоохранения, наплевав на обязательства и последствия,— «увольняйте меня, что мне с этого, я не хочу помереть тут»,— эта девушка без всякого вознаграждения, совершенно неизвестно почему расхаживала из дома в дом, бесстрашная и неутомимая, обмывая больных, смазывая волдыри раствором марганцовки, прокалывая их шипами апельсинового дерева, как только волдыри вырастали в пустулы темно-фиолетового цвета, приносила из скотных дворов коровий навоз. Он сам, Масимиано, привыкший к нищете сертана, знакомый с горестями и несчастьями народа, закаленный и опытный, без родственников и друзей, хозяин своей жизни и смерти, нанявшийся на эту плохо оплачиваемую работу, хотя и получал деньги в конце каждого месяца, даже он не раз подумывал в эти дни бросить все и, подобно Жураси, уехать куда глаза глядят...

Зная о Терезе лишь то, что она красива и что она имеет отношение к управляющему пунктом, он все больше преисполнялся к ней уважением.

Когда она впервые отправилась с ним на прививки,— не понимая, почему подруга врача подменила удравшую медицинскую сестру в условиях эпидемии, нарушившей социальный порядок, смешавшей классовые различия,— Маси дас Неграс стал строить дерзкие планы. Подвергаясь смертельной опасности, испытывая страх, он считал необходимым поддерживать воодушевление Терезы и при удобном случае с божьей помощью собирался подобраться к кабокле и вместе с нею украсить лоб управляющего пунктом, никчемного врачишки, пышными рогами — восхитительная мысль!

Но он сразу отступил, даже не сделав ни малейшей попытки,— воодушевление и мужество внушала ему именно она, эта хрупкая женщина. Если Маси не последовал примеру Жураси, то этим он обязан только Терезе. Ему стыдно было оставить службу: он — человек здоровый и получает деньги за то, чтобы выполнять эту работу, в то время как она, слабое создание, не получая никакого вознаграждения, держалась, высоко подняв голову, твердо, без единой жалобы, отдавая распоряжения не только в домах больных, но также и ему, Маси дас Неграс, перепуганному врачишке Ото, старому доктору Эвалдо — она командовала всеми. Где было видано что-либо подобное?

Когда вакцина наконец прибыла — их привез аптекарь Камило Тезоура, который в Аракажу узнал о вспышке эпидемии оспы и по собственной инициативе отправился в департамент здравоохранения, где ему вручили посылку и обещали вскоре прислать людей — «скажите доктору Ото, чтобы он вышел как-нибудь из положения — нанял людей в городе, пока не будет направлен квалифицированный персонал»,— но легко ли заставить рисковать жизнью за грошовое вознаграждение?

Маси дас Неграс говорил Терезе:

— Жалко, что нет еще таких, как вы, дона. Если было бы еще человека три-четыре, мы бы постарались справиться с проклятой.

Тереза Батиста подняла усталое лицо и улыбнулась мулату, неотесанному и грубому, но неунывающему:

— Я знаю, где их найти, положитесь на меня.

T

Только к вечеру прибыл аптекарь с посылкой из департамента здравоохранения Сержипе; доктор Ото не дождался погребения доктора Эвалдо; они встретились с Камило Тезоурой на станции. Если бы быть ему поумнее, он мог бы находиться уже далеко, мог бы уехать с товарным поездом в пять утра после ночи Страшного суда, как только Закариас показал ему свое лицо, покрытое волдырями. Поразмыслив толком, продумав каждый факт, он решил, что во всем виновата эта злополучная женщина,— какого черта понадобилось ей идти делать прививки народу, ухаживать за оспенными больными, до чего же безрассудная девка эта Тереза. Как бы красива она ни была — это не женщина, а лесной зверь, бесчувственное животное, неспособное думать, понимать, ценить блага жизни. Молодой, с обеспеченным будущим, он, доктор Ото Эспиньейра, находится под угрозой, что его смазливое личико, нравящееся женщинам, превратится в страшную маску,— если он вообще не лишится жизни.

Наследник отца — политического деятеля, имея призвание к политической карьере, он приехал сюда, чтобы заполучить депутатский мандат, рассчитывая сменить этот край болезней и нищеты на богатые южные земли — земли праздников, театров, света, ночных клубов с «рандеву международной категории». Только не будет у него более красивой и более приятной женщины, чем Тереза. Женщины? Нет, не женщины — это призрак, королева оспы. Кроме того, заперевшись в страхе дома, промывая руки спиртом каждую минуту, прочищая горло глотком кашасы, безостановочно куря, рассматривая себя в зеркале, ощупывая лицо в поисках опухолей — в этой обстановке докторишка потерял весь свой лоск, все воспитание, политические амбиции, человеческое достоинство, его ухо не соблазняли голоса избирателей Букима, честолюбивые планы, прелести Терезы.

Когда после разговора, последовавшего за дезертирством Жураси, Тереза отправилась на улицу делать прививки, Ото не мог прийти в себя: он заговорил о нахальстве медицинской сестры, ожидая получить от Терезы нужный ему намек, приглашение к отъезду, совет, лишь одно слово. Вместо того чтобы дать хороший совет, эта дурища полезла в сестры милосердия, заставляя его идти на пункт, вместо того чтобы отправиться на станцию.

На пункте его посетил президент муниципальной палаты, взявший на себя обязанности префекта. Он пожелал узнать о мерах, предпринятых управляющим, а также побеседовать. Коммерсант и фазендейро, политический руководитель, друг семьи врачишки — это к нему Ото в свое время явился с рекомендательным письмом. Он говорил откровенно: политический деятель, мой молодой доктор, должен действовать как политик, даже при катаклизмах, а эпидемия — худший из них. Эпидемия, угроза смерти для жителей муниципалитета, имеет и положительную сторону для кандидата, который быстро может сделать политическую карьеру, в особенности если речь идет о враче, к тому же управляющем медицинским пунктом. Надо принять на себя командование сражением, встать во главе служащих или кого бы то ни было — намек на тот факт, что любовницу врача видели на улице за прививками,— чтобы смягчить вспышку черной оспы, изгнать безжалостного врага. Лучшей возможности нельзя придумать, мой дорогой, чтобы заработать признательность и голоса будущих избирателей среди населения Букима. Народ честно платит и обожает способного и преданного врача — свидетельствует престиж доктора Эвалдо Маскареньяса: тот не был членом муниципальной палаты, префектом или депутатом парламента штата, так как не придавал

значения положению и должности. Но если доктор Ото Эспиньейра захочет воспользоваться случаем, то, опираясь на престиж семьи и на то обстоятельство, что оспа изгнана им из города, он сможет создать прочную политическую базу, имеющую разветвления в соседних муниципалитетах, где вместе с распространением оспы заодно распространится и слава доктора,— для чего-то, дорогой друг, должна же пригодиться эпидемия.

Поблагодарите бога, доктор, за то, что он вам ниспосылает, и используйте ситуацию: риньтесь в бой, посещайте больных оспой, лечите их, богатых и бедных, превратите лазарет в свой дом. Если заразитесь — неважно, с прививкой вы едва ли умрете; несколько дней высокой температуры и лицо, усеянное следами оспы,— для избирателей не может быть лучшей рекламы: избранный кандидат — врач с лицом, изрытым оспой. Некоторая опасность, конечно, есть, случалось, что и после прививки оспа уносила в могилу врача, но риск — благородное дело, мой доктор, и в конце концов жизнь имеет цену только для того, кто играет ею каждое мгновение.

Дав такие советы своему ученику, президент муниципальной палаты распростился с ним. В конце улицы подруга доктора делала кому-то прививку на пороге дома. До чего же она красива, прямо страшно становится,— особенно такому добродетельному человеку, как он, богобоязненному и доброму семьянину; будто недостаточно одной оспы.

У

Ужасный сюрприз ожидал Терезу по возвращении домой — в вечер ее дебюта в роли медсестры. Она нашла Ото совершенно пьяным; упившись кашасой, он бормотал что-то невнятное. После обрисованной ему перспективы его избрания и возможности заражения оспой врач, укрывшись дома, опорожнил целую бутылку; слабо сопротивляясь алкоголю и быстро пьянея, он увидел входящую Терезу — крайне оживленную, порывающуюся рассказать ему о всех перипетиях дня. Ото резко отстранился от нее:

— Не дотрагивайся до меня, пожалуйста. Оботрись сначала спиртом — все тело.

Он продолжал пить, пока она мылась; не захотел есть, уселся в кресле, продолжая что-то бормотать про себя. Он держался в стороне от Терезы, пока не заснул; она уложила его в кровать в таком виде, в каком застала,— одетым. На следующий день Тереза ушла до того, как он проснулся, они почти не разговаривали. Ни разу больше он не коснулся ее в те дни, пока еще оставался тут, пьяный, борясь между желанием удрать и стыдом. Ото спал один на софе в гостиной, ожидая, чтобы она ушла, оставив его дома. Своим поведением она как бы обвиняла его. Да, обвиняла, потому что уходила каждое утро ранехонько помогать доктору Эвалдо и Масимиано и возвращалась только поздно вечером, вся разбитая от усталости; он же с каждым днем все меньше и меньше времени проводил на пункте здравоохранения, где все увеличивалось число больных, приходивших за марганцовкой, аспирином, камфарным спиртом. Для врачишки же единственным лекарством была кашаса.

Когда однажды Тереза разбудила его, пьяного, чтобы объявить — кончился запас вакцины и необходимо идти принимать больных, а доктор Эвалдо уже вышел из строя,— у Ото созрел план: поехать в Аракажу под предлогом привезти вакцину, там заболеть: грипп, колики,

анемия, сильная лихорадка — любая болезнь годилась — и попросить заменить его на посту управляющего пунктом в Букиме. Он совершенно опустился: небритый, с воспаленными глазами, с хрипаым голосом, утрачены остатки его былой изысканности. Когда Тереза довольно резко сказала ему, чтобы он расстался с бутылкой и шел выполнять свой долг врача, следуя примеру доктора Эвалдо, посещать больных, он взревел:

— Убирайся отсюда — к черту, в ад, грязная потаскуха!

— Отсюда я не уйду. У меня много дел.

Измученная, она повернулась к нему спиной и сразу же заснула. Теперь она была свободна от притязаний доктора, вечно пьяного, изнывающего от страха,— прелести Терезы его больше не привлекали.

Когда доктор Эвалдо свалился — у него сдало сердце, но мужество не покинуло его: он и в час смерти думал о вакцине для народа,— молодой врач Ото не стал дожидаться похорон коллеги: «Я поеду за помощью в Аракажу, привезу вакцину, поеду и сразу же вернусь». Без багажа, украдкой, заслышав гудок поезда, он бросился на станцию и укатил в Баию. Поезд в Аракажу должен был пройти только через четыре часа, он не сумасшедший, чтобы оставаться хоть еще минуту на этой земле черной смерти, с этой безумной, несчастной женщиной,— пусть ее сожрет оспа.

Ф

Факты эти потрясли многих — жители Букима в дни разгула черной оспы увидели удивительные события. Видели, как управляющий пунктом здравоохранения, молодой врач, удирал от оспы так поспешно, что даже сел не на тот поезд, поехав в Баию, вместо того чтобы направиться в Аракажу. Бегство дезертира, описанное во всех подробностях фармацевтом на пороге аптеки, вызвало дружный смех среди всеобщего горя. «Куда это вы несетесь с такой поспешностью, доктор?» — «Еду в Аракажу за вакциной».— «Но этот поезд не идет туда, он как раз пришел из Аракажу и отправляется в Баию».— «Мне годится любой поезд, любое направление, время не терпит».— «Но вакцина, доктор, я ее уже привез, вот она у меня в руках, большой запас, вполне достаточный для того, чтобы сделать прививки всему штату Сержипе, хватит с избытком. Так что оставайтесь на здоровье, оставайтесь со своими избирателями и, если у вас есть деньги, со своей девушкой, она ведь у вас — прямо пальчики оближешь».

Да, жители Букима увидели удивительные события в дни разгула черной оспы. Они видели отверженных женщин и девиц Мурикапебы, странный, хотя и очень маленький отряд под командованием Терезы Батисты, расхаживающий по городу и его окрестностям,— они делали прививки. Седалище, прославившаяся своими габаритами, и тощая Марикота для любителей худых женщин — сейчас это в моде; Волшебная Ручка, прозванная так поклонниками во времена своей юности, и Пышный Пирог — соблазнительная толстуха — многим и такие нравятся; старая Грегория с полувековым служебным стажем, еще с доктором Эвалдо одновременно она приехала в Буким; Козочка — девчонка пятнадцати лет, уже два года занимающаяся этим ремеслом.

Когда Тереза пригласила их, старуха ответила отказом: какая сумасшедшая полезет в самое пекло оспы?! Но Козочка сказала: а я пойду. Разгорелся жаркий спор. Что им терять, кроме жизни вечно впроголодь? Даже оспа не захочет такой дерьмовой жизни, даже

смерть ее отвергает. Грегория еще не сыта нищетой?.. Их было шестеро, и они быстро научились у Терезы, Маси и аптекаря делать прививки — для женщин их профессии нет ничего трудного, поверьте. Они собирали сухой навоз на скотных дворах, мыли больных марганцовкой, прокалывали пустулы, копали могилы, хоронили людей. Только они — жертвы общества, отвергнутые обществом.

Жители Букима увидели удивительные события в дни разгула черной оспы. Они видели оспенных больных, бредущих по улицам, изгнанных с фазенд, ищущих лазарет, умирающих на дорогах. Видели людей, в страхе покидающих свои дома, убегающих куда глаза глядят,— поселок Мурикапеба почти совсем опустел. Двое беглецов зашли попросить приюта на ферме Клодо, тот встретил их с карабином в руке: убирайтесь к черту! Они стали настаивать, раздались выстрелы. Один был убит наповал, другой долго мучился. А Клодо не знал, что сам уже заражен, что заражены жена, двое сыновей и еще один приемный, не осталось никого — всех пожрала оспа.

Жители Букима с изумлением увидели упомянутую Терезу Батисту, поднимающую на дороге оспенного больного и, с помощью Грегории и Козочки натянув на него мешок, потащившую его куда-то. Это был Закариас, но ни старуха, ни девчонка не узнали незадачливого клиента той ночи. Он и еще трое больных были изгнаны из имения полковника Симона Ламего. Полковник не потерпел заразы на своих землях — пусть подыхают где угодно, но не здесь, угрожая остальным работникам и членам знатной семьи. Когда Закариас и Тапиока подхватили оспу, полковник был в отсутствии, поэтому они и оставались было здесь оба; Тапиока вскоре умер, успев заразить еще троих. По приезде хозяина наступил конец, надсмотрщик получил строгий нагоняй, и четверо больных под угрозой оружия потащились прочь от ворот. Трое углубились в лес в поисках места, где можно было спокойно умереть, но Закариас слишком любил жизнь. Голый, с язвами напоказ, с лицом, превратившимся в сплошной гнойник,— черная оспа, адское зрелище,— там, где он проходил, народ обращался в бегство. Лишившись сил, Закариас упал на площади перед церковью.

Тереза увидела его и с помощью двух товарок — никто, даже Маси дас Неграс, не решался коснуться гниющего тела — как тюк засунула в мешок и, взвалив на плечи, потащила в лазарет, где уже находились добравшиеся на собственных ногах две женщины и парень с плантации, не считая четырех других, прибывших из Мурикапебы. Просочившись через мешковину, оспенный гной Закариаса запачкал платье Терезы.

X

— Хитрец, он отправился провести уик-энд в столице...— рассмеялся с довольным видом аптекарь Камило Тезоура, рассказывавший об отъезде врачишки.— Теперь управляющим пунктом здравоохранения стал Маси дас Неграс, а медицинскими сестрами — местные магдалины.

Но болтливому аптекарю пришлось прикусить язык, когда перед ним появился Масимиано с лицом, изрытым оспой.

Несмотря на то, что он сделал повторную прививку в начале эпидемии, в конце концов Маси получил свое. Тереза Батиста полностью приняла на себя командование сражением, взяла Маси к себе домой, уложила его на кровать врача-дезертира, поскольку дом пустовал, а сама перебралась в Мурикапебу.

Под руководством Терезы новоявленные медсестры сделали прививки большинству жителей города и части населения в сельской местности. Они хорошо знали, где жили и работали люди, и потому могли относительно успешно убеждать упрямцев и тупых невежд. На плантации Тереза смело схватилась с полковником Симоном Ламего, который запретил вход персоналу в свое имение: вслед за вакциной приходит оспа, твердил фазендейро.

Тереза пренебрегла запретом, проникнув через решетчатую дверь, за нею последовали Марикота и Седалище. Сильная перепалка, и ссора кончилась тем, что сам полковник позволил сделать себе прививку. Не в его привычке было бить женщин, а эта одержимая — красивая чертовка — не уступала ни шагу, заявив, что не уйдет, пока не будет сделана прививка всем. Полковник уже наслышался о ней, знал о больных, которых она таскала на спине в лазарет. Он видел, с каким величайшим спокойствием она встретила его, как будто находилась не перед скандальным полковником Ламего, и понял, что она готова на все и его упрямство будет не больше как трусливым тщеславием по сравнению с мужеством кабоклы. Девушка, ты — дьявол, победила меня.

Делать прививки было пустяком по сравнению с угрозами побоев, наглостью и прочими инцидентами. Настоящих ссор с дракой было три-четыре, не больше. Гораздо труднее было ухаживать за больными по домам и в лазарете; аптекарь выполнял иной раз обязанности врача, женщинам приходилось делать все остальное: они орудовали марганцовкой и камфарным спиртом, прокалывали пустулы иглами апельсинового дерева, очищали от гноя, меняли банановые листья, которыми обкладывали тело,— простыни здесь не годились, они прилипали к коже, срывали корки пустул, способствовали образованию язв. Из окрестностей, с фазенд и скотных дворов приносили горы коровьего навоза и раскладывали его на солнце для просушки, затем разносили по домам, где были больные оспой, сжигали его в комнатах, дым очищал зараженный воздух от миазмов оспы. В этот исключительный час коровий навоз служил благовонием и лекарством.

Ц

Цветистая шаль на голове, усыпанная черными и красными розами,— подарок доктора Эмилиано Гедеса в далекое время покоя, чистого дома, веселой и приятной жизни. Тереза Батиста шагает по переулкам Мурикапебы. Она живет в одной лачуге с Волшебной Ручкой, по соседству с остальными, в самой ужасающей, самой мрачной дыре.

Сколько могил вырыли эти женщины, которым редко-редко помогал какой-нибудь земледелец? Оспа настигала свои жертвы с такой быстротой, что не было ни времени, ни возможности относить стольких покойников на кладбище. Для одиноких, не имеющих близких, женщины кое-как выкапывали неглубокие могилы и сами зарывали тела. В некоторых случаях стервятники-урубу́ опережали их — для похорон оставляли одни кости.

Две из женщин заразились оспой, но ни одна — черной. Тереза успела сделать всем прививки. С сильной вспышкой оспы, однако оказавшейся не смертельной, пришлось поместить Пышный Пирог в дом врача-дезертира Ото, заполненного теперь больными,— лазарет-люкс, как называл его аптекарь. Тереза приходила утром и вечером ухаживать за толстухой, от которой остались теперь кожа да кости, и за Маси. Седалище тоже однажды появилась с высокой температурой, с

сыпью по всему телу: сыпь, однако, была слабой, все оказалось пустяком,— она даже не слегла. Оставалась на ногах, продолжая ухаживать за людьми Мурикапебы, где урожай покойников был обильнее, чем в городе. Ее, Седалище, не покидали силы и энергия, равных не было ей в рытье могил.

Ни одна из женщин не умерла, все выжили, чтобы потом рассказывать историю сражения с оспой, но после им пришлось уехать из Букима, чтобы зарабатывать на жизнь в других местах. Здесь у них не стало клиентов — все мужчины боялись их: а вдруг оспа притаилась у них внутри.

Тереза Батиста тоже уехала из Букима, как только кончилась эпидемия, но не потому, что ей не было предложений, совсем наоборот. Наблюдая, как она с цветистой шалью на голове проходит по городку, всегда нагруженная медикаментами и инструментами, марганцовкой, мотыгой, мешками из холста, занятая больными и покойниками, уступил свои позиции добродетельный президент муниципальной палаты, занявший до следующих выборов должность префекта, владелец фазенды, магазина, хозяин избирателей, дающий деньги под проценты в верные руки. Доныне он имел незапятнанную репутацию идеального главы семейства — жены и пятерых детей. Соблазненный красотой и бескорыстием Терезы, он вознамерился последовать примеру многих иных официальных лиц и завести наложницу, поселив ее в особняке, ибо префект, помимо всего прочего, все-таки нуждается в известном представительстве: автомобиль, чековая книжка, содержанка.

Выдвинул свою кандидатуру и полковник Симон Ламего, привыкший иметь любовниц. Намеки делали турок Скэф, страшный бабник, обосновавшийся в лавке галантерейных товаров, а также аптекарь, любитель посудачить о чужой жизни, исполняющий роль врача в свободные тоскливые часы.

Содержанка? Ах, никогда больше, лучше уж стать обычной проституткой в поселке Мурикапебы, где эпидемия, собственно, не кончилась,— просто черная оспа перешла в белую: мать — в дочь; пребывает и аластрим — болезнь сертана, ослепляя, а то и умерщвляя детей, время от времени убивая взрослых.

Ч

Что касается знахарки Ардуины, то она не знала ни сна, ни отдыха, зарабатывая во время оспы свои гроши, молясь за охваченных боязнью, уберегая их от заразы, излечивая тех, кто уже заразился; не всех, конечно, а только тех, кого ей дано было спасти — как она сама объясняла,— тех, в чьей груди не гнездился страх, очень немногих. Что же касается жреца макумбы Агнело, он не переставал бить в барабаны и распевать кантиги, адресованные негритянскому божеству Обалуайэ; даже когда число «дочерей святого» в макумбе сокращалось до трех — остальные либо сбежали, либо попали в лазарет. Как известно, божество не обмануло его при этих чрезвычайных обстоятельствах: воплотившись в Терезу Батисту, божество изгнало оспу из Букима, победило черную оспу.

Когда же, наконец, из Аракажу прибыла бригада из двоих врачей и шестерых дипломированных санитаров, чтобы погасить вспышку эпидемии, та уже догорала; правда, в лазарете еще стонали двое больных, но уже более недели не было ни новых случаев заболевания, ни смерти. Это не помешало тому, что в официальном восторженнейшем коммюнике департамента здравоохранения отмечалось

мужество и самоотверженность членов бригады, проявленные при окончательной (опять — окончательной!) ликвидации оспы на землях штата Сержипе. Было воздано должное и молодому доктору Ото Эспиньейре, управляющему пунктом здравоохранения Букима, который с самого начала принял решительные меры, чтобы преградить распространение эпидемии, причем благодаря его подвижничеству был достигнут успех в неутомимом сражении с болезнью.

— Я хочу только видеть, хватит ли у докторишки Уикэнда смелости вернуться...— язвил аптекарь Камило Тезоура, но так как злословие его было известно, то слова не достигли цели и управляющий пунктом (отдыхающий в Баие) получил обещанное повышение. Обещанное и заслуженное.

Поскольку отец оказавшейся торопливой Жураси успел примкнуть к новому правительству штата, дочь также была повышена в должности — она стала медицинской сестрой первого класса за ее выдающиеся заслуги во время вспышки эпидемии оспы в Букиме; она вскоре вышла замуж, но счастлива не была: жизнь ей отомстила по-своему. Только Маси дас Неграс не получил повышения, он остался простым сторожем и был рад, что жив и может повествовать о сражении с черной оспой.

Жители вернулись по своим домам, детишки и собаки снова перерывали горы мусора Мурикапебы в поисках пищи. Стервятники-урубу время от времени откапывали останки погибших от оспы, едва засыпанные землей, утоляя ими свой голод.

Два торжества состоялись в честь избавления людей от страшной опасности.

На макумбе Агнело в Мурикапебе негритянское божество Омолу танцевало среди народа. Оно обняло Терезу и заговорило ее от оспы на всю жизнь.

Из кафедральной церкви вышла процессия во главе с викарием и исполняющим обязанности префекта. Эти знатные персоны несли на носилках статуи святого Роке и святого Лазаря — божества белых, за ними тянулось множество людей. Взрывы многоцветных шутих-ракет, песни, веселый перезвон колоколов.

Чтобы уехать из Букима, где ей теперь нечего было делать, Терезе Батисте пришлось продать кое-какие безделушки турку Скэфу, давно помышлявшему сблизиться с ней, если бы только она согласилась, но Тереза на это не пошла. Никогда больше она не станет наложницей, ни даже просто компаньонкой в поисках удовольствия или покоя — никогда больше! Тереза, от которой отказалась смерть, которую отвергла оспа; Тереза, пылающая лихорадочным жаром, с сердцем, пронзенным кинжалом безутешного горя, уже не хочет жить, лучше пойдет к морю и утопится. Ах, Жануарио Жерэба, морской орел, где ты теперь? Даже смерть отступила от меня, когда в полном отчаянии я пошла искать тебя в разгул черной оспы, а без тебя, Жану, горячо любимый, на что мне нужна жизнь? Я хочу быть там, где плывешь ты, и, притаившись среди волн, последую за тобой, буду хоть издали смотреть на тебя и на твой баркас, пока ты в плавании... Ай, в котором же часу уходит поезд на Баию? Тереза тоже хочет бежать, бежать от нестерпимой тоски, от безысходности. С церковной паперти богомолки увидели Терезу, одинокую, бредущую на станцию. Одна из них проворчала — и все ее поддержали:

— Битая посуда два века живет. Сколько перемерло достойных людей, а вот эту бродяжку, которая и в лазарет-то втерлась, поскольку лезет повсюду,— ничто не взяло. Могла бы оспа, по меньшей мере, рожу ей изъесть...

Ш...Щ-Э-Ю

Шумливый Закариас выздоровел; только поныне не представляет себе, как это он оказался в лазарете.

Щадила его смерть, и с жизнью он был в ладах, а может, лишь вычитал о черной оспе в какой-нибудь книжонке, что сбывают по дешевке на базарах, не то услышал от бродячих сказителей или певцов, повествующих о плаче, о боли, о смерти.

Это вот — наше — повествование, конечно, самое достоверное из всех, что записаны и распродаются по ярмарочным дням в северо-восточных штатах страны.

Юным и пожилым достаточно уже поведано о происшедших событиях, да и рассказывать, впрочем, больше нечего.

Я

Я все же хочу, заканчивая повествование, повторить — и прошу мне поверить: черной оспе, блуждавшей по улицам Букима, дали бой отверженные женщины из Мурикапебы, которыми командовала Тереза Батиста. На острые ее зубки, на ее золотой зуб попала оспа, и искусанной была, выплюнута в лес, откуда умчалась поездом — в поспешном бегстве — на берега реки Сан-Франсиско, где предпочитает отсиживаться, а люди после смогли вернуться в свои опустевшие дома. Скрываясь в затаенной пещере, оспа выжидает, когда снова сможет напасть. Ах, если не перехватят ее, то вернется она, чтобы покончить с людьми и со всем, что осталось. Где отыскать тогда — боем руководить — другую Терезу, победительницу Черной Оспы?

(Окончание следует)

ХОСЕ АГУСТИН ГОЙТИСОЛО

Из книги «Псалмы на ветру»

Перевод с испанского НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

Прошло восемнадцать лет с тех пор, как я написал эти стихи. Срок не очень уж большой, но то время кажется мне бесконечно далеким, словно бы не я сам жил тогда, а некто старший поведал мне о событиях тех лет. Может быть, это защитная реакция подсознания против того, что уже миновало, но до сих пор причиняет боль. Я всегда считал, что те времена были плохими, но теперь, когда немного рассеялась мгла, окутывавшая сороковые и частично пятидесятые годы, и я непроизвольно вспоминаю о чем-то или вдруг вижу себя в моем потрепанном габардиновом пальто на улицах Барселоны или Мадрида, мне становится совершенно ясно, что мое отрочество было не просто плохим, а ужасным. И я убежден, что многие мои товарищи по пансиону и студенческому общежитию испытывают точно такое же чувство.

Все было тяжко и трудно: и поцеловать девушку, и поесть горячего, и достать книгу Вальехо, и открыто высказать свое мнение на улице или в аудитории. Казалось, история сделала странный поворот и все мы живем эфемерной жизнью на развалинах Трои, с той лишь разницей, что у нас есть продовольственные карточки и сигареты «Тритон».

Рабочие люди и студенты плавали в каком-то мутно-сером тумане и лишь иногда мимоходом встречались в киношке своего квартала, тесной и сплошь засыпанной шелухой подсолнухов. Зато буржуазия, на фоне общей апатии, сияла ослепительной роскошью и великолепием. Эта самая буржуазия преследовала меня как кошмар — вы увидите это, если прочитаете мою книгу.

В те годы чудовищная нацистско-фашистская авантюра уже завершилась, прошло какое-то время, но мы все еще жили в безвоздушном пространстве, потому что так называемая «холодная война», развернувшаяся в масштабах всего мира, изнуряла душу и тормозила всяческое развитие.

Об этих и других более конкретных вещах я и думал, когда писал «Псалмы на ветру». Теперь я их перечитываю и как гражданин с горечью констатирую, что они мало устарели и достаточно актуальны сейчас, в действительности 1973 года. Изменилось, конечно, многое, но не в такой степени, как мне, наивному, мечталось и верилось.

Я отнюдь не стремился стать моралистом и не настолько был глуп, чтобы думать, будто можно изменить мир одним лишь писанием. Я просто хотел рассказать о том, что видел, и рассказывал это с горечью, порой маскируя ее сатирой и беззаботностью тона — точно так же, как я делаю сейчас. Вот и все.

ХОСЕ АГУСТИН ГОЙТИСОЛО
(Предисловие к 4-му изданию, май 1973 г.)

Апология свободного человека

«...и еще говорю вам: удобнее
верблюду...»
(Евангелие от Матфея, 19, 24)

Могучий и великий владыка светлоликий,
опора нации, владелец ассигнаций!
Ты в золотом чертоге подводишь бизнеса итоги,
командуя людишками и чековыми книжками.

Твое богатство вырастало на ниве капитала
и махинаций разных — блистательных и грязных;
расцвел ты пышным цветом, в мошне звенят монеты,
и плешь сияет солнцем среди людского сонма,
и брюхо под жилетом изящного покроя
вздымается горою; цветочек наш бесценный,
чудесный златоцвет! Нигде во всей вселенной
тебе подобных нет.

Преграды разрушая, пугливых устрашая,
расталкивая слабых, ты бушевал, как лава,
среди толпы притихшей
и глыбою застывшей
ты высишься отныне над серенькой пустыней.

Пускай наставник высший — тот самый, что когда-то
велел любить, как брата, и недруга и друга,—
решит сию задачу:
за что тебе удача, твоя ли в том заслуга,
что ты богат безмерно, когда всем прочим туго,
когда всем прочим скверно; ты все за деньги купишь —
и царство и свободу,
а что же для народа?
А для народа — кукиш.

И если для тебя ни в чем отказа нету,
и если безраздельно владеешь ты планетой,
и если на тебя работает свобода,
то, значит, ты хозяин и все тебе в угоду:
каноны создаются и пишутся законы,
награды раздаются и делятся доходы.

Избранник, о избранник,
заткни покрепче уши, не слушай гнусной брани,
накапливая силы для разных славных дел;
порода толстозадых — особая порода:
на шее у народа
сидеть и править миром — таков ее удел.

Блудный сын

> «Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите; станем есть и веселиться!»
>
> *(Евангелие от Луки, 15, 22—23)*

Повержен несправедливо,
высмеян и оболган
подлой толпой злоязычной,
он процветает — отрок счастливый,
отпрыск семьи приличной,
здоровый и благородный
белый ягненок чистопородный.

Родится такой детеныш,
наследственно чистый,
не замаранный нищетой,
и сразу — в душистой волне батиста —
с молитвой заносится в список,
в список дельцов святой.

Время бежит, сынок подрастает,
носит галстучки и перчатки,
постигает знаний начатки,
для гостей читает стишки,
получает затрещины и плевки
от уличных наглых ребят,
и в школе сверхидеальной
у педагогов принципиальных
формирует свой облик моральный
и получает груды наград.

Наконец, этот юноша, гордость наша,
полный терпенья и рвенья,
образец хороших манер,—
с благословенья папаши
водворяется в храм науки,
не дает конкурентам потачки,
дает педелям подачки
и неуклонно восходит вверх.

Не скрою, к сожаленью, порою
на дороге неровной, длинной,
на крутизне трамплина
в бешеном напряженье
забываются дисциплина,
связи, происхожденье,
собственная безупречность,
и — какая беспечность! —
наш юнец, устремленный вперед,
замедляет движенье
и делает странный,
необдуманный поворот.

И завистники-лицемеры —
вы знаете их повадки —
свой язык распускают гадкий,
желчью исходят, брызжут слюной,
смакуя чужой проступок:
мальчишка, мол, стал порочным,
он с компанией связан дурной,
и шляется к проституткам,
и в кабаре веселится ночью,
и часто бывает хмельной...

Но, право, не стоят волненья
столь мелкие прегрешенья:
принципы в нем не увяли
и материнские наставленья,
юность, как половодье, схлынет,

на пороге больших решений
сын оставит свои проказы,
вернется в родное лоно
нерушимой семьи буржуазной,
станет ягненок добрым бараном,
консерватором станет рьяным,
и приумножит свою чистоту,
и пребудет бессменно
у добродетели на посту.

Сильная женщина

«Кто найдет добродетельную жену?
Цена ее выше жемчугов».

(Книга притчей Соломоновых, 31, 10)

Красивая старуха Франсиска
здесь, у любимого очага,
полна надежды и радости чистой.

Неутомимое сердце, достойное прошлых
эпох великих,— о средневековье,
уважавшее сильных, презиравшее хлипких! —
бьется толчками: скорее наверх,
в опочивальню прелестных крошек.

(Кто скажет об этом высоким слогом,
где он, поэт отважный,
воспеть готовый необходимость дел повседневных
и их ничтожность прославить до неба?)

Никого. Еще слишком рано. Даже любви
дебютанты, что крадутся неслышно,
пугливой мышью, не появились;
пустынно, нарядно в этих покоях прохладных,
откуда градом сыплются стрелы
в грудь застарелой супружеской скуки.

После краткого смотра и ритуальных вопросов
семейных — как дела, настроенье? —
Франсиска, Хозяйка, Матрона,
Королева Этого Дома, с любовью и рвеньем
хлопочет, наставляет сердечно своих подопечных,
что-то считает, уточняет детали,
готовя радостный праздник для скромных граждан.

Ни секунды покоя. Благословенные руки
утопают в потоках шалей и тканей,
в трепыханье косынок, ключей, простынок,
а уста с неизменной улыбкой светлой
рождают бравурный напев победы.

Ах, Франсиска, Франсиска, ты в своем ремесле извечна,
как негасимое пламя в твердыне храма.

Ты без устали смотришь, сгорая от нетерпенья,
как движется стрелка часов к заветному часу,
когда станет реальностью счастье:
остановится время, и, раздвигая пространство,
любовь плеснет через край, разольется свободно,
и озарит ночные кварталы твой Дом,
как вспышка огня, как голоса всплеск,
как блеск звезды путеводной.

Небесные поэты

«Не всякий, говорящий мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное...»

(Евангелие от Матфея, 7, 21)

После всего, надо всем — над обломками стен,
над осколками стекол, над провалами окон,
когда смолк последний раскат канонады
и убрался из города дым горьковатый,
после всего — когда гордость зарылась поглубже в нору
и стиснула зубы, боясь закричать ненароком,—
там, наверху, на руинах и на бульварах,
которые солнце ласкало жарко,
появились поэты, вполне приличные люди.

Самое время, сказали поэты,
разрабатывать до смешного бессмысленные сюжеты,
то есть надо забыть обо всем, что случилось,
и слагать красивые вирши, пустые, но полные звона,
мелодичные, словно лютня,
чтобы люди смягчились, и размягчились,
и — какая жестокость! — в корне переменились.

Приняв решенье мудрое это,
на ассамблею — в кафе — собрались поэты,
без околичностей, единогласно
воскресили они Гарсиласо, воскресили, на щит возложили,
как реликвию, долго носили по улицам и журналам,
а потом на трон посадили. И стих благозвучный,
аккорд певучий и сладкий — и другие остатки —
смаковали, жевали и глотали поэты.

Были отданы почести ветру,
и матросам, и ливням, и цветам апельсина,
и, как в старину, одиночество было воспето
и с ним вместе — долины, и струи потока,
и прочие дивные вещи,
короче, весь набор красоты непорочной.

В этой работе летели дни и недели,
и постепенно ресурсы скудели.

Очень устали поэты, и даже слегка отупели,
и стали писать сонеты
в кафе: столику столик соседний,
собеседнику — собеседник; и однажды, под гром созвучий,
кто-то воскликнул: — Други!
Мы потрудились на славу, но этого мало,
ибо мир не сделался лучше.
Наши нежные трели не смягчили божьего гнева,
не достигли неба и господа не согрели.

И прошло по столам волненье,
нарастая, подобно шквалу, и воскликнули все поэты:
— До чего же верное мненье! Мы совсем забыли о боге,
мы — жалкие псы, мы — игрушки в его деснице,
не будем лениться и споем ему славу!

И вытеснил бог старика Гарсиласо
и был возвеличен, и посыпались разные клички:
нежный тиран, мессия, дружище,
прародитель, воитель, рачитель, хранитель
и покровитель, жизни опора и — хором,
на «ты», с придыханьем,— Всевышний, Всевышний!..
И отважное сердце исходит стихами,
болит, и бурлит, и клокочет, и — множатся строчки.

И конца этим охам и вздохам не слышно.

Вот и вся моя повесть, сеньоры,
правдивый рассказ о поэтах небесных, которым
подражать не желает упорно
кучка поэтов других — одержимых, безвестных:
человека они воспевают и ничтожное царство его
высмеивают, и прославляют,
и требуют громко, бия себя в грудь:
— Родину нам верните, мир сохраните,
свежего ветра дайте глотнуть!

Триптих о солдатике

«Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы.. то не бойся их...»

(Второзаконие, 20, 1)

I

Денек-другой — и грянут
колокола. И, шаг чеканя рьяно,
подтянуты и ладны, тесней смыкая строй,
мы все замаршируем — в каскеточке нарядной,

небесно-голубой! И люди глянут
и закричат: «Чудесная картина!
Идут солдаты в бой!»

Картиночка что надо:
повизгивают пули, бабахают снаряды,
а мы под канонаду шагаем и поем;
и умереть мы рады,
и стать песчинкой малой, былиночкой, репьем.

Картина — загляденье!
Бесстрашные герои,
на фронт идем мы строем,
придем — огонь откроем и сразу победим.
Науку боевую недаром мы твердим.

II

И вот солдатик — раз-два-три — ушел в поход.
Была дорога на войну ужасно далека,
но километры, как известно, чепуха.
Решив — победа или смерть,
он шел сквозь все преграды напролом
и по ночам играл, бессонный,
почти что настоящим маршальским жезлом.

Вперед, вперед! Тебя подталкивают сзади
отечество, культура, честь
и все такое... А здесь —
давай шагай — все сутки напролет,—
шагай — хоть целый год —
всегда вперед!

Эй, смерть, с дороги прочь,
свои позиции оставь!
В предчувствии чудес
на фронт солдатик прибыл
и на врага полез —
как требует устав:
каскетка до бровей, ружье наперевес.

III

Все сразу кончилось для нас.
Попали в плен — и точка.
В шеренгу становись — гласит приказ —
и в путь без проволочки.

Каскеток нет. И песни распевать
охоты нету. И снова километры —
без родины — без всяких этих штучек,
которым нас прилежно учат.

И вот мы здесь. Баланда на обед.
Встаем чуть свет и — на работу строем.
Возводим мост. Ни охнуть, ни вздохнуть —
велели строить, мы и строим.
А в голове — сплошная муть.

Автобиография

«Я несчастен и истаеваю с юности;
несу ужасы Твои и изнемогаю».

(Псалтирь, 87, 16)

Помню, мальчонкой малым
был я всегда печальным,
и отец, головой качая,
мне говорил, бывало:
— Сыночек, какая жалость,
ничего из тебя не выйдет.

Когда я в колледж уехал,—
с нехитрым ребячьим скарбом,
с печалью, прилипшей прочно,—
стал воспитатель каркать:
— Мальчик, я знаю точно,
ничего из тебя не выйдет.

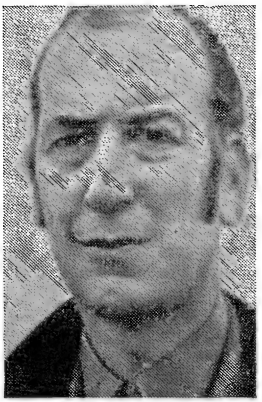
Война разразилась вскоре,
и смерть я вблизи увидел.
Потом миновало горе,
и люди все позабыли
и — печальному — мне твердили:
— Ничего из тебя не выйдет.

Студентом, столкнувшись с ложью,
постигая ее законы,—
те, что я ненавидел,—
я слышал одно и то же,
припев печально-знакомый:
— Ничего из тебя не выйдет.

Я кочевал по печалям
с самым печальным видом,
и трудной была дорога.
И сказала моя невеста,
весело, без упрека:
— Ничего из тебя не выйдет.

С ней мы давно поженились,
я — вычищен, вымыт, выбрит...
И порой говорю я дочке,
весело, без упрека:
— Печальная недотрога,
ничего из тебя не выйдет.

■



БОБ ДЕН ОЙЛ

Рассказы

Перевод с голландского С. БЕЛОКРИНИЦКОЙ

Крабы в консервной банке

Яхек стоит перед зеркалом и вытирает после бритья щеки. Он почти вплотную придвигает свое круглое лицо к стеклу в поисках пропущенных остатков пены и видит при этом свой рот — неправильной формы, беззащитный. И видит, что левый угол рта опускается, благодаря чему лицо его приобретает выражение крайнего презрения, становится жестким и безжалостным, но в то же время решительным. Как странно — на самом-то деле его губы неподвижны: он не чувствует работы мышц, которая необходима для того, чтобы вызвать такое изменение. Вообще-то он много раз упражнялся перед зеркалом, добиваясь такого выражения лица, но ему это еще никогда не удавалось. Он быстро отворачивается от зеркала. Самое лучшее — сейчас же забыть об этом маленьком происшествии.

Придя на службу, он сначала берется за самые срочные дела, потом пьет кофе, намереваясь посвятить остальное время текучке. Он — служащий в главном управлении гигантского концерна по производству и продаже консервов. Положение у него подчиненное, честолюбивых устремлений нет, и он старается привлекать к себе как можно меньше внимания. Именно поэтому при всяких служебных перестановках, награждениях и повышении жалованья коллеги немного побаиваются его. Они привыкли к открытой борьбе, в которой все средства хороши, и поведение Яхека им непонятно. Они предполагают, что у него есть какие-то скрытые ресурсы, о которых они и не догадываются; они не знают, чего от него ожидать, а это порождает злобу. Может, он заведомо настолько уверен в успехе, что не считает нужным участвовать в обычной конкуренции, может быть, он родственник кого-нибудь из директоров и в один прекрасный день неожиданно для всех вознесется к недосягаемым вершинам. Вдобавок хоть Яхек и лишен честолюбивых устремлений, он далеко не лентяй. Правда, дела ему поручаются не слишком ответственные, зато они всегда сделаны вовремя — он просто не может иначе. Другие обычно так стараются продемонст-

рировать свои деловые качества, что на то, чтобы работать, их уже не хватает. Сколько раз случалось, что господа с самого верха обращались за какими-нибудь срочными данными, и все оказывались не на высоте, только ничтожный Яхек, вопреки собственному желанию, мог тут же сообщить требуемые сведения. Это вызывает враждебность, которая неизменно разбивается о терпение Яхека.

За работой Яхеку удалось забыть утреннее происшествие, но за кофе это было уже труднее. И вот он сидит с чашечкой в руке, уставясь в пространство,— пришло время осмыслить этот неприятный факт. «Хорошо,— думает он, ставит чашечку на стол, принимает рабочую позу и начинает рассуждать: — И что же все-таки произошло? Каждый день я бреюсь без всяких неприятностей... обыденность — величайшее счастье... и вдруг — такое. Может, это связано с временем года? Декабрь — самый темный месяц, тревожное время всяких праздников. Кроме того, уже целый месяц льет дождь. По утрам в темноте, под дождем идешь на работу, по вечерам в темноте, под дождем возвращаешься домой; это как-то угнетает».

Он чертит квадратик на лежащем перед ним листе бумаги. Потом делает из квадрата куб, пристраивает к нему еще несколько кубов. Надо же — видеть в зеркале, что рот у тебя искривился, а на самом деле он неподвижен. Но ведь этого не может быть! Даже непроизвольное, рефлекторное движение всегда ощущается. Но самое главное, пожалуй,— это выражение лица. Угроза и без того сомнительному будущему.

Он — в уборной, в конце коридора. Долго смотрит в зеркало на свой рот, медленно отводит глаза, потом снова бросает быстрый взгляд в зеркало. Рот пухлый, бесформенный, как всегда. Он стоит в полной тишине, никакие звуки сюда не проникают. Тишина нежно звенит у него в ушах. «Я есть,— думает он,— я есть; все совершенно обычно, и да будет так. Со мной ничего не может произойти — я этого не хочу, я этого не заслужил. Так пусть же все остается по-прежнему». Услышав, что кто-то, насвистывая, отворяет дверь, Яхек начинает судорожно вытирать руки.

— Ах, вот как, Яхек,— говорит вошедший.— Так ты, значит, стоишь себе и вытираешь руки?

Яхек кивает, в глотке у него пересохло: что подумает о нем этот человек?

— Так-так,— говорит тот,— руки, значит, вытираешь, ха-ха.

Он открывает дверь одной из кабинок, насмешливо оглядывая Яхека. Яхек отвечает ему самым дружелюбным взглядом, на какой он способен, он не знает, что сказать, да и не уверен, что тут вообще стоит что-то говорить. Он видит, как усмешка медленно сползает с лица сослуживца.

— Да что ты,— говорит сослуживец,— я же ничего плохого не имел в виду, просто пошутил.

Он еще раз удивленно оглядывает Яхека и исчезает в кабинке, быстро закрыв за собой дверь. Яхек не понял последней фразы, он продолжает вытирать руки и случайно взглядывает в зеркало. Он видит жесткое, волевое лицо, теперь уже и другой угол рта опущен.

Парализованный страхом, он смотрит в зеркало, медленно глотает слюну. Он видит, как движется адамово яблоко, но рот, точно застыв, сохраняет форму.

Он смутно сознает, что это явление должно быть исследовано. Медленно открывает рот; рот в зеркале тоже открылся, но линия сохраняется, теперь его рот похож на серп луны в последней четверти, с этих жестких извилистых губ может слететь только проклятье или приказ. Он чувствует, что земля уходит у него из-под ног, хватается

за раковину и закрывает глаза. Когда он снова открывает их, рот в зеркале такой, каким был всегда, кошмарное видение исчезло.

Все снова как обычно. Он держит руки под струей холодной воды и ждет, пока пройдет сердцебиение. Он слышит, как человек в кабинке спускает воду, и поспешно покидает уборную. Вернувшись в отдел, он старается незамеченным прокрасться к своему столу. Лежащие перед ним бумаги кажутся чужими и странными, цифры и буквы не образуют больше чисел и слов, а как будто превратились в бессмысленные каракули, нацарапанные без всякой связи друг с другом. Он не может спокойно думать, все попытки рассуждать логически подавляются одной всепобеждающей мыслью: то, что произошло сегодня утром за бритьем, не было случайностью, это явление повторилось, и вполне возможно, что оно будет повторяться снова и снова. Пока еще ничего не случилось, но если так пойдет и дальше, он погиб, это несомненно.

Весь остаток дня он сидит, низко склонившись над бумагами, приложив руку к губам, как будто с головой ушел в работу. Хаос у него в мозгу приобретает все более устрашающие формы, иногда ему хочется громко застонать, но он сдерживается. В пять часов, закутав подбородок в кашне, он отправляется домой. Идет дождь; не разбирая дороги, Яхек ступает по лужам, ноги у него промокли и застыли. Дома он, пряча лицо, просит квартирную хозяйку на этот раз подать обед ему в комнату. Она согласна, но предупреждает, что это только в виде исключения. Съев мясо, он вываливает остальное в целлофановый мешочек, намереваясь выбросить его завтра и избежать таким образом язвительных вопросов мефрау Крамер. «Может быть, мне пойти к врачу,— думает он,— хотя при чем тут врач?» Он старательно отворачивается от зеркала над умывальником.

Беспокойно меряет он шагами комнату, садится и снова встает. Как жаль, что умер его старший брат, он всегда умел найти выход из положения. Слезы наворачиваются ему на глаза, он чувствует, что надо взять себя в руки, но не знает, как это делается. «Лягу спать,— думает он,— завтра все пройдет, все снова придет в норму. Может быть, я застудил мышцы лица, я никогда не слыхал о таких случаях, но, наверное, это бывает». Он раздевается и ложится в постель, не почистив на ночь зубы. Он лежит с поднятыми коленями и ждет, когда придет сон, но сон не приходит, мысли скачут в диком круговороте, от которого его физически тошнит.

Но все-таки надо заснуть! Вдруг он вспоминает, что в шкафу у него есть снотворное, ему выписали его полтора года назад, когда он был так потрясен смертью брата. Он встает и лезет в шкаф, где каждая вещь лежит на своем определенном месте. Не зажигая света, подходит к умывальнику, наливает стакан воды и развертывает пакетик. Но когда он хочет принять порошок, то оказывается, что в пакетике ничего нет: возясь в темноте, он все просыпал по дороге. Твердо решив не смотреть в зеркало, он дергает за шнурок и при ярком электрическом свете открывает второй пакетик. Хотя руки у него сильно дрожат, ему удается на этот раз высыпать поблескивающий порошок себе в рот. Он берет стакан с водой, чтобы запить, при этом случайно взглядывает в зеркало и видит то, что в общем-то ожидал увидеть — этот скотский рот. Может, он уже давно с таким ртом? Он смотрит на себя, похолодев, в желудке у него сосет.

— Господи Иисусе,— говорит он; его рот движется, произнося эти слова, презрительно опущенные углы губ говорят ему, что этот новый рот пришел к нему, чтобы остаться. «Я не могу больше жить»,— думает он в панике. Он проглатывает порошок, запивает водой, трясущимися руками открывает еще два пакетика и их содержимое тоже высы-

пает себе в рот. Он гасит свет и идет спать, но, передумав, возвращается, чтобы принять четвертый порошок — полумерами здесь не обойтись.

На следующий день Яхек просыпается около полудня с тяжелой головой. Он еще с полчаса лежит в постели, приходя в себя и собираясь с мыслями. Ну вот, проспал, в отделе небось переполох: за все годы службы не пропустил еще ни дня, только два раза, когда ходил на похороны. Он удивлен, что его это не беспокоит: он не знает, что это безразличие — побочное действие снотворных порошков. Умываясь, Яхек снова видит рот. Теперь он уже не так испуган, может, со временем ему удастся привыкнуть?

Если присмотреться, не так уж это и страшно: конечно, лицо нельзя назвать приятным, но, во всяком случае, в нем чувствуется известная значительность, сила. И то сказать, чем уж так хорош был его собственный рот? Халтурная работа — неровная дырка, как будто конверт вскрыли руками.

Он одевается, идет по коридору и стучит в дверь к мефрау Крамер. Он просит ее позвонить на службу и сказать, что у него тяжелый грипп — болезнь, мысль о которой сама собой напрашивается в эту холодную погоду. Он слышит свой голос, и до него смутно доходит, что в нем звучит что-то вроде грубого окрика: он и говорить стал жестче, чем раньше. Квартирная хозяйка, привыкшая к робкому, тихому Яхеку, в ужасе смотрит на него. В ее собственном голосе всегда слышится укоризна, как будто все ее постоянно обижают. С Яхеком она обычно держится так, словно еле-еле терпит его в доме. Она хочет разразиться привычными упреками — неужели он не может сам позвонить, что она ему, прислуга, что ли? — но она смотрит на его рот, она вздрагивает от его тона: этого человека она не знает. Она говорит: «Хорошо, менеер Яхек»,— провожая его взглядом, когда он удаляется в свою комнату, замечает, что даже походка стала у него более уверенной. После долгих поисков в телефонной книге она звонит в управление, начальник отдела со смехом отвечает: «Господи, а я и не заметил, что его еще нет!» Она не знает, надо ли ей тоже засмеяться, она вообще не часто смеется, к тому же она все еще видит перед собой преобразившегося Яхека.

Вернувшись к себе в комнату, он садится на постель: что делать дальше, он не знает. Он стаскивает ботинки, намереваясь переобуться в комнатные туфли, но чувствует, что его снова клонит в сон. Он ложится, ему кажется, что он только на минуту закрыл глаза, но когда он снова открывает их, в комнате уже почти темно, будильник у его кровати показывает половину шестого. Теперь действие снотворного кончилось, безразличие исчезло, и все проблемы, как по команде, снова выстроились у него перед глазами.

Яхек садится, закрывает лицо руками и пытается думать, но в голове у него хаос. Ни на что не надеясь, он подходит к зеркалу — и, конечно, опять видит свой новый рот. Он видит и щетину. Надо бы побриться. Это он может и на ощупь. Он вынимает из ящика свою маленькую дорожную бритву, включает ее и водит жужжащим аппаратиком по лицу до тех пор, пока оно не становится совсем гладким. Он приводит в порядок одежду: есть ему не хочется, но в желудке — сосущая пустота, надо ее заполнить. Это означает, что снова придется просить мефрау Крамер, чтобы она подала в комнату: ужинать вместе со всеми, как заведено в этом доме, он не в состоянии. Он собирается с духом: но тут стук в дверь. Он открывает и видит мефрау Крамер с горячим ужином на подносе. Он молча отступает на шаг, она так же

молча входит, ставит поднос на стол и, отвернувшись, спрашивает, как он себя чувствует, но Яхек слишком ошеломлен, чтобы отвечать. Хозяйка поспешно выходит из комнаты: он замечает, что она не волочит ноги, как обычно, когда хочет показать, как тяжело ей что-нибудь сделать для постояльца (она жаловалась на какую-то таинственную болезнь ног).

Яхек садится и ест. Выждав момент, когда на кухне никого нет, он бежит туда с подносом и ставит его на стол. Вернувшись в комнату, раскрывает детектив, взятый в библиотеке. Но то, что он читает, не доходит до него; он в отчаянии откладывает книгу, и снова начинается круговорот ни к чему не ведущих мыслей. Часок поломав себе голову, он принимает два снотворных порошка, чистит в темноте зубы и ложится спать.

Подобным же образом он проводит и следующий день. В нем зреет убеждение: что-то должно произойти, дальше так продолжаться не может.

Мысль весьма тривиальная, но он считает ее результатом своих глубоких размышлений, и это вселяет в него надежду, что, когда уж совсем припрет, его серьезность и основательность в конце концов помогут ему найти выход. Квартирная хозяйка по-прежнему молча приносит ему еду.

Вечером Яхек действительно приходит к важному решению. На следующее утро он пойдет в свою контору и уволится. Он не знает, действительно ли это решение самое разумное, но одно он знает твердо: в таком виде он не может показаться на глаза своим коллегам, не говоря уже о многочисленных начальниках. Ну как объяснить им то, чего он и сам не понимает и что, возможно, по существу ужасно непристойно? Что он будет делать после увольнения, ему пока неясно. Может быть, переедет в другой город. Образование у него не ахти какое, опыт работы тоже, с его теперешними обязанностями справится любой, стоит ему подучиться три недели. Во всяком случае, он не намерен пасовать перед трудностями, хотя при мысли о грядущих временах в желудке у него будто что-то обрывается. И все же, приняв решение, он немного успокаивается, он даже может время от времени ненадолго подходить к зеркалу и смотреть на свой рот без ужаса. На этот раз перед сном он принимает один порошок, завтра ему лучше не быть таким одурелым.

В половине десятого он робко входит в холл своего управления, умышленно опоздав на полчаса, чтобы не попасть в поток стремящихся в свои отделы коллег. Он быстро проходит мимо швейцара, который его не замечает. Он поднимается в лифте на одиннадцатый этаж, где пребывает заведующий отделом найма и увольнения. В этой фирме чем выше положение человека, тем выше располагается его кабинет; дирекция занимает тринадцатый этаж, а на четырнадцатом, самом верхнем, с огромными окнами-витринами, находится конференц-зал, где принимаются важнейшие решения и где раз в год держателям акций сообщают о прибылях и убытках. Сам Яхек сидит на третьем этаже — ужасающе низко в глазах тех, кто работает выше и пользуется особым лифтом, который идет без остановок до восьмого этажа.

В приемной Яхек говорит секретарше, что хотел бы попасть к заведующему отделом найма и увольнения.

— По какому вопросу? — спрашивает секретарша.

— Видите ли... — говорит Яхек,— я... видите ли, я здесь работаю.

Больше ничего добавить он не может, ему почему-то неудобно сказать этой женщине, что он хочет уволиться, и он только улыбает-

ся ей. Женщина строго смотрит на него через очки, она хочет заявить ему, что это не так просто — попасть к заведующему, но, увидев лицо Яхека, которое улыбка превратила в повелительную маску, она вскакивает и исчезает в кабинете. Немного спустя она возвращается и гостеприимно распахивает перед ним дверь. Яхек осторожно входит, он никогда еще здесь не был. Когда его, сразу после школы, принимали на должность самого младшего клерка, необходимые скромные формальности были выполнены служащим из отдела заработной платы. Конечно, Яхек знает заведующего в лицо, он видел его несколько раз в коридоре.

Он вежливо здоровается и ждет, когда заведующий оторвется от изучаемого им рекламного проспекта. Наконец, тот поднимает глаза, Яхек называет свою фамилию и ждет, что будет дальше. «Так, Яхек»,— хочет произнести заведующий отделом найма и увольнения тем отеческим тоном, который выработался у него на этом посту, но, взглянув на человека, стоящего перед ним, невольно привстает, указывает Яхеку на стул и говорит:

— Здравствуйте, менеер Яхек, моя фамилия Фоогт, чем могу служить?

Его немного пугают собственные слова: в сущности, он никому не может служить, кроме дирекции. «Яхек, Яхек,— думает он,— фамилия знакомая, но в каком же отделе он работает, я его никогда не видел. Наверное, в каком-нибудь заграничном филиале, в этом все дело. Судя по виду, с этим парнем шутки плохи».

Яхек откашливается. Он считает, что надо бы сделать какое-нибудь вступление, но ему ничего не приходит в голову.

— Видите ли,— говорит он наконец,— дело, в сущности, вот в чем: я хотел бы уволиться.

Чтобы смягчить свои слова, которые ему самому кажутся ужасно резкими, он смущенно улыбается, но заведующий видит презрительную, высокомерную усмешку. «Уволиться,— думает заведующий,— боже милостивый, если б я хоть знал, кто он такой!»

— Ну зачем вы так, менеер Яхек,— говорит он,— это же серьезный шаг. Подождите, пожалуйста.— Он нажимает клавишу селектора и, наклонившись к светло-зеленому аппарату, просит принести ему личную карточку господина Яхека. И поспешно прибавляет: — И принесите две чашки кофе. Вы ведь выпьете кофе?

Яхек кивает. В ожидании карточки заведующий хочет завязать светскую беседу, но, к счастью, звонит телефон. Он затягивает разговор до того, пока молодая девушка, робко постучавшись, не входит и не кладет ему на стол карточку. Тогда он опускает трубку на рычаг и быстро впитывает в себя данные. Двадцать лет на службе, поступил сразу после школы. До сих пор третий этаж! В графе «личные качества» подчеркнуто красным: «аккуратность», «чувство ответственности» и «старательность». В примечаниях записано: «отсутствие инициативы, к руководящей работе непригоден». Господи, что за кретин это писал? Заведующий третьим отделом совершенно не разбирается в людях, вот еще одно доказательство. Я ему еще скажу об этом. Если я видел когда-нибудь человека, созданного для руководящей работы, то это Яхек. Он и рта не успеет раскрыть, как перед ним начнут пресмыкаться.

— Менеер Яхек,— произносит Фоогт,— давайте сейчас не говорить об увольнении, к этому вопросу, если вы будете настаивать, мы вернемся позже. Но сначала о другом. Я вижу, что вы двадцать лет сидите в третьем отделе, и я считаю это неправильным.— Он делает паузу.— Абсолютно неправильным,— повторяет он, чтобы устранить последние сомнения.

Яхек хочет сказать, что он вполне доволен своим положением, он хочет уйти отсюда, он хочет, чтобы его правильно поняли,— тогда ему выдадут лучшую характеристику. Но Фоогт отметает его робкие попытки что-то возразить:

— Я знаю, что вы хотите сказать, менеер, конечно, чьи-то махинации помешали вашему продвижению, так иногда бывает. Вы знаете, что способны на большее, чем та работа, которую вы выполняете сейчас, вам это в конце концов надоело, и вы хотите уйти. Вы полагаете, и вполне справедливо, что в другом месте перед вами откроются большие возможности.

Он выдерживает паузу, чтобы его слова лучше осели в сознании. Однако Яхек совсем не рад, повышение ему не нужно, наоборот, оно его скорее пугает. Он-то думал, что его увольнение будет пустой формальностью, которую и выполнят с полнейшим безразличием. Но рассказать эту историю с его ртом, наверное, нельзя. В этой обстановке она ему самому представляется такой невероятной, что он просто не смог бы с ней вылезти, даже если б хотел.

— Вот что я вам посоветую,— продолжает заведующий.— Возвращайтесь-ка на свое место в отделе и спокойно ждите развития событий.— Тут он наклоняется к Яхеку.— А события начнут развиваться, в этом вы можете быть уверены,— начнут, и очень скоро. Без ложной скромности скажу, что я немножко разбираюсь в людях, сами понимаете, иначе я не занимал бы этот пост... ошибки бывают всегда и везде, и иногда мы становимся жертвами подобных ошибок... Я прекрасно понимаю ваше... как бы это выразиться... раздражение. Конечно, я не могу вот так сразу предложить вам что-нибудь конкретное, тут надо поразмыслить, но будьте уверены, я не стану откладывать это дело в долгий ящик.

Тут дверь отворяется, и в комнату, переваливаясь с боку на бок, входит безобразно толстая женщина с подносом, на котором стоят две чашки кофе.

— А,— улыбается Фоогт,— вот и Анна, моя правая рука.— Анна не смеется шутке, с безразличным видом ставит кофе на стол и молча выходит.— Тоже фрукт — эта Анна,— говорит Фоогт доверительно, пытаясь создать непринужденную атмосферу, но Яхек ничего не воспринимает. Из всего сказанного он понял одно — его не отпускают, а заставляют вернуться в отдел. А это исключено. Конечно, он может встать и уйти навсегда, но ведь ему нужна характеристика, нельзя пренебрегать своим общественным лицом. Не говоря уже о том, что он от природы не способен на столь решительный поступок. Его охватывает ужас, все оказалось еще хуже, чем он опасался, какое все-таки счастье, когда один день похож на другой и никто тебя не замечает! В полной растерянности он выдавливает из себя, что ни в коем случае не вернется на третий этаж.

Фоогт как раз поднес чашечку к губам; резкие слова Яхека так испугали его, что он делает непроизвольное движение, и кофе проливается на рекламный проспект. Он снова внимательно разглядывает Яхека. Круглое лицо с грубыми чертами и волевым ртом чуть-чуть покраснело, в голосе еще сильнее звучит металл. «Господи помилуй,— думает Фоогт,— глубоко же это в нем засело, его агрессивность и жажда действия подавлялись двадцать лет, в общем-то его можно понять. И все же, не будь нам позарез необходимы парни такого сорта, я бы с наслаждением вышвырнул его из своего кабинета пинком под зад! Но куда бы его сейчас сунуть?»

Он медленно ставит чашечку на поднос, а в это время мозг его лихорадочно работает. Этот Яхек — прирожденный надсмотрщик.

И вдруг его осеняет. Он ведь слышал вчера от Бастенакена — директора, который курирует заграничные филиалы,— что на новом консервном заводе не то в Анголе, не то в Мозамбике, в общем в какой-то забытой богом негритянской дыре, никак не наладят производство. «Туда,— сказал Бастенакен,— надо послать крепкого парня, который сумел бы по-настоящему взяться за ленивых черных выродков». Но как найти сейчас такого идиота, который бы согласился поехать в Африку, где нет ни телевидения, ни хороших автотрасс, а если у тебя заболит зуб, придется полдня болтаться в самолете, чтобы попасть к нормальному врачу? Он еще раз оценивающе смотрит на Яхека. «Да, черт побери, уж если даже я побаиваюсь этого парня, так негры и подавно сдрейфят. Но тогда он должен занимать высокий пост, быть, как минимум, заместителем заведующего производством, а это слишком уж большой скачок, учитывая, что сейчас он работает всего-навсего на третьем этаже. Как мне провести это через дирекцию?» Он размышляет, поглядывая на Яхека, который в отчаянии уставился на носки своих ботинок,— со стороны же он производит впечатление незыблемой скалы. «Старикан,— думает Фоогт,— вот оно, решение: старикан любит такие неожиданные штучки, они дают бедняге возможность проявить свое так называемое чутье».

— Менеер Яхек,— говорит он,— это случай исключительный, и я должен в него глубоко вникнуть. Полагаю, что во избежание всяких осложнений в третьем отделе вам лучше сейчас посидеть дома и подождать. В течение двух-трех дней я свяжусь с вами. Вы не возражаете? Скажите мне только одно: как вы в принципе относитесь к работе — на весьма значительном посту — в одном из наших заграничных филиалов?

Яхек радостно хватается за возможность пойти домой. Это единственное, чего он сейчас хочет,— сидеть дома, спокойно размышлять и уж во всяком случае не возвращаться в третий отдел. Он с благодарностью произносит: «Положительно» — и испускает облегченный вздох, при этом на его лице появляется какое-то дикое и необузданное выражение. «Великолепно,— думает Фоогт,— он попался на удочку, ну, теперь держитесь, негры».

— Значит, решено,— говорит он и протягивает Яхеку руку. Но тот не видит ее, он уже шагает к двери, одержимый одним желанием — запереться у себя в комнате.

Фоогт роняет протянутую руку и смотрит вслед Яхеку. Его охватывает сомнение — парень явно «с приветом». Потом он пожимает плечами: людей, годных для работы в третьем отделе, хоть пруд пруди, а вот надсмотрщики для Африки — большая редкость, и тем более он «чокнутый», тем лучше. Он заглядывает в свой календарь и, убедившись, что ничего серьезного на сегодня не намечено, решает тут же покончить с делом Яхека. Он снова наклоняется над селектором и спрашивает, у себя ли менеер Таке.

— И заодно,— говорит он,— узнайте, где мы недавно начали консервировать крабов, в Анголе или в Мозамбике.

— Это я по чистой случайности знаю,— говорит секретарша,— в Иньямбане, в Мозамбике. А вот насчет менеера Таке я должна выяснить.

Менееру Таке за семьдесят, он единственный ныне здравствующий из зачинателей дела. Склероз у него прогрессирует в бешеном темпе, и когда надо принять какое-нибудь важное решение, его заботливо держат в стороне. Но когда он сам время от времени выдвигает какую-нибудь идею, к нему все же прислушиваются: ведь он — держатель весьма значительного пакета акций. Через десять минут раздается звонок секретарши — менеер Таке обнаружен, он стоит у окна на

четырнадцатом этаже — это его любимое местечко. Фоогт собирает несколько отчетов — он взял за правило никогда не показываться вне стен своего кабинета без документов в руке, они придают более деловой вид.

На четырнадцатом этаже он действительно встречает старикана. После краткого вступления Фоогт излагает ему суть дела, описывает — слегка сгустив краски — качества Яхека и свои планы, касающиеся этого человека.

— Но,— говорит Фоогт,— вы же знаете Бастенакена, он не любит выходить за рамки общепринятого, он ведь такой формалист. Вот я и подумал, что вы, с вашим светлым умом, с вашей способностью вопреки всем условностям принять единственно правильное решение, могли бы меня поддержать...

Господин Таке сначала ничего не понимает. Фоогту приходится повторить еще раз, но когда до старикана, наконец, доходит, он ублаготворенно кивает. Нужный человек на нужном месте — таков всегда был его девиз, с его-то помощью он и придал размах делу. Правда, он впервые слышит о существовании завода в Иньямбане, а Бастенакена все время путает со своим шофером, фамилия которого Вастенхаудт.

Он рвется к Бастенакену, Фоогту приходится его удерживать, неизвестно, кто там сейчас у Бастенакена. Но секретарша последнего сообщает, что ее шеф один у себя в кабинете и может их принять. Они спускаются в лифте на тринадцатый этаж и входят в чрезвычайно скудно обставленный кабинет Бастенакена. У него есть теория, что хорошо работается только среди голых стен, и он никогда не упускает случая ехидно упомянуть об этом, входя в роскошные кабинеты своих коллег-директоров. Таке и Фоогт садятся на жесткие стулья и рассказывают о цели своего визита.

Бастенакен считает Фоогта абсолютным ничтожеством, хоть он и умеет прикинуться расторопным и обладает способностью, принимая какое-нибудь решение, обезопасить себя от последствий возможных ошибок. Зачем, например, он притащил сюда старикана? Известно, что Таке можно настропалить на что угодно. С другой стороны, консервирование крабов в Иньямбане действительно налаживается чертовски медленно, завод еще не дал ни цента прибыли; если у этого Яхека есть половина тех качеств, которые ему приписывают, он и тогда уже восьмое чудо света. И если его назначение не принесет пользы, то оно не принесет и вреда, учитывая, что дела на этом заводе не могут идти хуже, чем идут. Но, с другой стороны, так вот сразу взять и согласиться тоже нельзя, того гляди, начнут говорить, что Бастенакеном можно вертеть, как кому захочется, а это недопустимо. Поэтому он высказывает различные возражения: мол, а знает ли этот Яхек английский и португальский; а как он насчет женщин — ведь распутство с негритянками не должно переходить известных границ; и как могло получиться, что такая личность двадцать лет оставалась незамеченной, в общем-то ведь это недоработка Фоогта. Кроме того, как отнесется к этому заведующий производством в Иньямбане? Но Таке уперся, он во что бы то ни стало хочет настоять на своем и подчеркивает, что всю ответственность берет на себя. На самом-то деле от этого ничего не меняется, но Бастенакен делает вид, что именно этот довод и убедил его; он согласен, но с одним условием — он хочет прежде сам прощупать этого Яхека. «Пусть придет ко мне в понедельник»,— серьезно говорит он, и таким образом вопрос решен.

Все эти три дня Яхек просидел у себя в комнате, скрываясь ото всех. Вдова Крамер регулярно приносила ему еду. Однажды она попы-

талась было протестовать, но Яхек вопросительно взглянул на нее, и с безошибочным инстинктом человека, который сам всю жизнь тиранит других, она поняла, что он ей не по зубам.

Почти все время он находился в состоянии растерянности и отчаяния. Даже уволиться ему не удалось. Правда, он начал осознавать, что изменение формы рта, а вместе с ней и всего строения его лица коренным образом изменило отношение к нему окружающих. Бывали минуты, когда это было ему очень приятно, но, вдумавшись поглубже, он понял, что дух его не пришел в соответствие с новой формой. Раньше его глуповатая внешность полностью отвечала его духу, теперь же равновесие было нарушено, и хотя жесткая форма рта несомненно давала ему некоторые преимущества, незримый для других разрыв между формой и содержанием сводил их на нет; более того, он мог впоследствии привести к самым чудовищным недоразумениям.

Ну что сказать, например, о письме, которое он получил в субботу? Разговор с менеером Бастенакеном с тринадцатого этажа ему не по силам, независимо даже от того, что имеет сообщить ему этот господин. Он не уволен, это ясно, но тогда что же? Он много раз пытался вспомнить свой разговор с Фоогтом, но как он ни напрягал память, точные слова заведующего отделом найма и увольнения ускользали от него. Помнил он только, что Фоогт велел ему идти домой.

Суббота была самым ужасным днем — письмо лежало на столе, а он вертелся вокруг, читал его и перечитывал, безуспешно стремясь извлечь из стереотипных фраз их глубинный смысл. Он все больше и больше нервничал. Он должен говорить с Бастенакеном, с человеком, самое имя которого на третьем этаже произносили шепотом, да и то редко. В поисках выхода он подумал о самоубийстве, но как его осуществить? Тем не менее в этот вечер он принял шесть снотворных порошков сразу — все, что у него осталось. Но снотворное было слабенькое, оно не привело бы к смерти, даже если бы он принял двадцать порошков. В сущности, он так и предполагал, но на решительные поступки Яхек не способен, он возится с суррогатами, которые в своем убожестве принимает за подлинный выход из положения. В воскресенье он проснулся с ужасной головной болью, которая отпустила только через несколько часов, сменившись уже знакомым ему блаженным безразличием. В этом состоянии он отыскал коробку сигар, которую ему, некурящему, подарили как-то на день рождения. Стоя перед зеркалом, он засунул в угол рта сигару, и от этого лицо его стало выглядеть еще более устрашающе, он даже рассмеялся. Ему пришла в голову крамольная мысль вообще не ходить к Бастенакену, но потом он решил, что это уж слишком.

И вот он сидит напротив Бастенакена, опоздав на четверть часа, но он ведь, право же, не виноват. Лифт нормально поднялся до тринадцатого этажа, но когда он хотел выйти, оказалось, что дверь заело. Вскоре появился техник и освободил его, но для этого ему сначала потребовалось открыть много разных ящиков и ковыряться в них отверткой.

Яхек хочет прежде всего объяснить Бастенакену причину своего опоздания, но от смущения у него это никак не получается. Впрочем, Бастенакен его и не спрашивает: опоздание как раз произвело на него выгодное впечатление. Только значительный человек может позволить себе опоздать на важное деловое свидание.

Ему так же, как и другим, импонирует внешность Яхека, в этом, по крайней мере, Фоогт оказался прав. Отупение Яхека, своего рода шоковое состояние, он принимает за спокойствие и самообладание. Он

предлагает ему сигару; Яхек благодарит и сует ее в угол рта. Затягиваться он не умеет и через несколько мгновений сигара тухнет. Бастенакен смотрит на него одобрительно, ему представляется, как этот парень разгуливает по Иньямбане среди негров и мулатов, жуя потухшую сигару и время от времени чертыхаясь. Рассказывая о заводе, он приукрасил факты, на самом деле это просто большой железный сарай, а кругом болота, жарища, тучи мошкары. Только что выстроенные бунгало для белых издали кажутся симпатичными, но на деле и они никуда не годятся. Во время официальной церемонии открытия даже он, твердокаменный Бастенакен, немножко оробел, увидев их.

— Итак, менеер Яхек,— говорит он,— я рад, что наконец-то мы можем потолковать спокойно. Вашу предысторию я знаю от менеера Фоогта. Прискорбно, поистине прискорбно. Итак, вот о чем речь...

И он начинает рассказывать об Иньямбане, расположенной в чудесном Мозамбике, о том, как там все прекрасно и как тем не менее огорчительно низок уровень производства.

— Для человека, наделенного силой характера и упорством, там открываются невиданные возможности. И вот из многочисленных кандидатур мы решили выбрать вашу. Решение за вами. Жалованье во много раз превосходит ваше теперешнее, у вас будет отдельное бунгало, приятные коллеги, многочисленная женская прислуга, которая будет обслуживать вас чуть ли не даром. Конечно, работа нелегкая, но в конце концов вам ведь надо только приглядывать за другими. Вот вкратце что мы можем вам предложить. Конечно, придется пройти известную подготовку: обследоваться у врачей, сделать прививки, немножко подучить португальский, познакомиться с техникой консервирования — это все мелочи. Переподготовку у нас проходят в Дрибергене, там настоящий замок — замок в лесах, да и время года сейчас подходящее. И все вместе займет месяца полтора, не больше. А потом — здравствуй, Иньямбане! Ну, менеер Яхек, что скажете?

Яхек молчит. Иньямбане, Мозамбик, Африка? Консервирование крабов, приглядывать, отдельное бунгало? Он даже не пытается думать обо всем этом, он жует свою сигару, которую предпочел бы просто выбросить. Он покоряется судьбе; под влиянием приветливости Бастенакена, который разговаривает с ним на равных, его первоначальное отупение исчезло, мало-помалу слова директора стали складываться в его голове в осмысленные фразы. Ему ясно, что люди чего-то от него ждут, что они ему доверяют. Это для него главное — о предстоящем путешествии в Африку он думает меньше, все это так несущественно. Но как это чудесно — знать, что тебе доверяют! Он чувствует себя спокойно и уютно как никогда. Ему, Яхеку, доверяют директора!

Бастенакен смотрит на него, ожидая ответа. Он видит замкнутое, жесткое лицо Яхека и не сомневается, что тот холодно и трезво взвешивает все «за» и «против». Если Яхек согласится поехать в Иньямбане, Бастенакен позаботится о том, чтобы он остался там до конца своих дней. Сидя в главном управлении, такой человек будет представлять опасность, и в первую очередь для него, директора по заграничным филиалам. Все посты заняты, мест больше нет, и так уж низшие все время подпирают высших. «Этого парня надо упечь в тропики на всю жизнь»,— решает Бастенакен.

Яхек понимает, что теперь уже он должен что-то сказать. «Африка,— думает он,— что я буду делать в Африке?» Перед его мысленным взором появляются негры — они танцуют, размахивают дротиками. Имеет ли он право обидеть этих людей грубым отказом? Во всяком случае, он еще полтора месяца пробудет в Дрибергене — достаточно времени, чтобы подумать и решить. Он избавится от третьего отдела,

избавится от мефрау Крамер, которая кидает на него удивленные взгляды, ему не придется обивать пороги в поисках нового места. Но, может быть, он не расслышал или не понял? Он вынимает сигару изо рта и бросает ее в мусорную корзину рядом с Бастенакеном.

— На полтора месяца в Дриберген,— говорит он,— а потом в эту... как ее... Африку?

— Вот именно,— говорит Бастенакен.— И за время, проведенное в Дрибергене, вам, само собой разумеется, будет идти ваше новое жалованье.

— Ну, что ж,— говорит Яхек,— видно, так тому и быть.

Когда он произносит эти слова, ему вдруг становится нехорошо, слишком много всего сразу на него обрушилось, и он не уверен, правильно ли он поступает.

Бастенакен встает, обходит свой стол и торжественно пожимает руку Яхеку.

— Вы все продумали,— говорит он,— и приняли правильное решение. Я уверен, что никто из нас не пожалеет о нем.

Яхек тоже встает и благодарит менеера Бастенакена за доверие. Больше всего ему бы хотелось вернуться в свою комнату, но он понимает, что это невозможно.

И действительно, оказывается, что надо еще выполнить кое-какие формальности. По телефону вызывают Фоогта, он является, как всегда, неся какие-то бумаги, и втроем они обсуждают поездку Яхека в Дриберген. Все решается к общему удовольствию: через неделю Яхек отправится на загородную виллу, где его доведут до кондиции, потребной в Иньямбане. Они пьют кофе, а потом Бастенакен начинает проявлять признаки нетерпения, ему надо вернуться к своей работе. Он еще раз жмет Яхеку руку и напоминает: приличие требует, чтобы Яхек зашел к менееру Таке познакомиться; в конце концов именно Таке — вдохновитель всего этого дела, говорит он, заранее умаляя заслуги Фоогта на случай, если назначение Яхека принесет успех, а кроме того, считая, что не мешает облечь это назначение в более приличные формы. Фоогт, ухмыляясь несколько скептически, выражает свое согласие. Секретаршу Бастенакена отправляют на розыски менеера Таке, и она снова находит его на четырнадцатом этаже, у окна.

Фоогт церемонно вводит Яхека в роскошный зал заседаний. Яхек едва осмеливается оглядеться по сторонам, он движется как во сне. Фоогт информирует Таке о ходе дела, и тот тоже жмет руку Яхеку. Да, он помнит; правда, он все время вместо крабов говорит о сардинах.

Иньямбане, да, он просил собрать ему исчерпывающую информацию; если там поставить дело как следует, результаты будут потрясающие. Он испытующе смотрит на Яхека, что-то одобрительно бормочет и опускается в глубокое кресло. Фоогт и Яхек тоже садятся. После пяти минут вялой беседы, прерываемой паузами и бормотанием старикана, раздается телефонный звонок, Фоогт снимает трубку — его срочно вызывают, он извиняется и быстро уходит.

После отбытия Фоогта Таке поднимается.

— Послушай, Яхек, не выпить ли нам ради такого случая по стаканчику хереса? — говорит он тихо.— Но только никому не рассказывай: если они узнают — пиши пропало. Дело в том, что у меня есть ключ от бара, но никто этого не знает, все думают, я хожу сюда любоваться видом.

Яхек говорит, что с удовольствием пропустит стаканчик. Он вообще не пьет и считает, что время сейчас совсем неподходящее для хереса, одиннадцать часов утра, но он не осмеливается отказаться. Таке осторожно приотворяет дверь, чтобы убедиться, что вокруг все спо-

койно. Он вынимает связку ключей, подходит к бару, манит Яхека к себе, потом с видом заговорщика открывает бар, наливает два стакана хереса и один протягивает Яхеку.

— Вот,— говорит он,— пей сразу, увы, мы не можем спокойно посидеть и выпить, риск слишком велик.— Сам он выпивает полный стакан в три глотка, после некоторых колебаний Яхек следует его примеру. Таке быстро ставит стаканы на место, запирает дверцу бара и со вздохом удовлетворения снова опускается в кресло. Яхек тоже садится, херес жжет его пустой желудок — сегодня утром он так нервничал, что не мог есть. Сейчас ему станет дурно, он сжимает губы, стискивает руки и пристально смотрит на торшер, прислушиваясь к странным ощущениям у себя внутри. Но через несколько минут жжение немного успокаивается, постепенно из желудка по всему телу начинает распространяться приятный трепет. Окружающие предметы приобретают более резкие очертания, напряжение ослабевает и уступает место холодной ясности ума. Он так занят регистрацией изменений в своем организме, что почти не слушает болтовни Таке, ударившегося в воспоминания о прежних временах и пионерском духе, который тогда царил. Яхек тоже обращается к прошлому, ограничиваясь, правда, минувшей неделей — с того мгновения, когда он во время бритья впервые обнаружил у себя новый рот, и до настоящей минуты, когда он на равных беседует с менеером Таке, о существовании которого он неделю тому назад еще и не подозревал. Его страхи и сомнения сменились необузданной дерзостью. А почему бы ему и в самом деле не стать тем человеком, который наведет порядок в иньямбанской шарашке? Ведь не дураки же все эти люди — Фоогт, Бастенакен, Таке? Раз они в нем что-то видят, значит, это не случайность, значит, в нем есть такие качества, о которых он и сам не подозревал, но которые не укрылись от их наметанного глаза. Ну, что за жизнь была у него до сих пор — забитое прозябание, серая обыденность, без всякого напряжения или ответственности. Наконец-то он станет настоящим мужчиной, из тех, с кем нельзя не считаться. А что там говорил Бастенакен насчет женской прислуги? И эта сторона его жизни здорово изменится, уж он не оплошает с черными служанками, ему долго приходилось подавлять свои влечения, но теперь-то он даст им волю. Перед ним мелькают образы голых негритянок с блестящей кожей и твердыми острыми грудками, они задыхаются от восторга перед ним, великолепным мужчиной... Может быть, он будет еще и бить их — кнутом или просто так, это он решит на месте.

Когда Таке предлагает ему совершить второй марш-бросок к бару, он вскакивает и с жадностью вливает в себя полный до краев стакан.

— Я всегда ограничиваюсь двумя стаканами,— говорит Таке,— но ты можешь спокойно выпить третий, мне не жалко. Даже если ты выпьешь всю бутылку, не страшно, я куплю новую и поставлю вместо этой.

— Тогда еще полстаканчика,— говорит Яхек и вдруг икает. Ему страшно неловко, но Таке только смеется. «Ну что за славный малый»,— думает Яхек: он растроган до слез. Как глуп он был, когда боялся этих людей, в них совсем нет той подозрительности и недоброжелательности, которая царит на третьем этаже. Эти люди сидят на самом верху, им некого опасаться, и он, Яхек, теперь один из них.

Третий стакан быстро выпит, бар снова закрыт, и они возвращаются к креслам. Яхек замечает, что движется зигзагами; это кажется ему очень забавным. У него нет никакого опыта в этой области, и он не понимает, что скоро будет пьян в стельку. В воздухе возникает какое-то золотое свечение, вся атмосфера лучится благожелательностью.

Глаза Яхека снова увлажняются, ему хочется плакать от радости. Он даже хлопает менеера Таке по плечу, и начинает сбивчивый рассказ о том, что он собирается делать в Иньямбане. Ему жарко, лицо его раскраснелось. Таке, окутанный туманом своего склероза и захмелевший после двух стаканов первоклассного хереса, находит, что все это просто замечательно, а иногда начинает хихикать, как ребенок.

Яхек собирается перейти к тому, что он будет делать с женской прислугой,— может быть, Таке даст ему какой-нибудь совет, но ему становится немного душно.

— Откроем окно? — предлагает он.

— Валяй,— говорит Таке, он идет впереди Яхека к окну и распахивает его широким жестом. Дождь все еще моросит, но погода уже не кажется такой унылой. Яхек глубоко вздыхает холодный воздух и в безмолвном восхищении смотрит на море мокрых крыш и узор блестящих улиц, он чувствует себя властелином всех этих букашек, что копошатся там, внизу.

— Знаешь, чем я иногда занимаюсь? — спрашивает Таке с таинственным видом.

— Ну? — Яхек заранее смеется.

— Я кидаю вниз сигарные окурки,— говорит Таке, сияя.— Обхохочешься, люди никак не могут понять, откуда эти штуки взялись. Самое интересное, конечно, когда окурок упадет кому-нибудь на голову: человек иногда подпрыгивает на целый метр. Давай попробуем?

Яхек, едва ворочая языком, соглашается, ему кажется, что это ужасно веселая игра. Таке идет к креслу, возле которого стоит кожаный портфель. Яхек ковыляет за ним и видит, как Таке достает из портфеля целлофановый пакет, полный окурков.

— Я специально собираю их,— говорит он,— они идеально подходят для этого дела: достаточно тяжелы и вместе с тем не такие твердые, чтоб по-настоящему ранить кого-нибудь. Пошли.

Они возвращаются к окну, и Таке, посмеиваясь, бросает первый окурок, который падает на улицу, никем не замеченный.

— Мимо! — ликует Яхек.— Теперь я.

Он берет окурок из мешочка и выжидает, пока на тротуаре далеко под ними не показывается довольно большая группа людей. Тогда он бросает окурок, и оба высовываются в окно, чтобы проследить за его падением. Они теряют его из виду — слишком они высоко,— но один из прохожих делает прыжок в сторону.

— Попал! — кричит Таке, и, мыча от смеха, хлопает Яхека по плечу. Яхек теряет равновесие, подоконник низковат и не может удержать его. Он чувствует, что сейчас вывалится, его охватывает панический страх, он пытается за что-нибудь ухватиться и хватается за руку высунувшегося из окна Таке. Тот тоже теряет равновесие, и вместе они медленно вываливаются из окна, вместе начинают свой последний бросок в глубину, вслед за окурками.

Они пролетают мимо окна Бастенакена, но он их не видит: с лупой в руке он склонился над редкой почтовой маркой, раздумывая, покупать ее или нет. Но Фоогт, двумя этажами ниже, как раз смотрит мимо посетителя в окно. К своему изумлению, он видит, как старший из директоров рука об руку с новоиспеченным помощником заведующего производством делают сальто-мортале на уровне окна, и тут же начинает размышлять о том, как скажется исчезновение этих двоих на его собственном положении.

Человек без стадного инстинкта

Я всегда был ярым противником самолетов. Наверное, это отвращение осталось у меня со времен войны. Всякий раз, как я слышу гул самолета, хотя бы рекламного, я замираю в ожидании залпов зениток, стрекота пулеметов, воя бомб. Пренеприятное чувство. А путешествие на самолете для меня — мука, которую я терплю только ради того, чтобы быстрее достигнуть цели. И на этот раз жизнь снова подтвердила обоснованность моего недоверия к летающим предметам.

Мне надо было как можно скорее вернуться из Токио домой. Первый самолет, на котором я мог улететь, принадлежал компании «Эр Франс». Я сначала хотел было подождать другого, потому что французский самолет наверняка никуда не годится, но на следующие рейсы все билеты были проданы. Меня высмеяли за мое предубеждение — я решился и взял билет.

Огромный самолет, восемьдесят пассажиров. Летит в Париж через Северный полюс — дело нешуточное! Я весьма предусмотрительно забился в самый хвост (там больше шансов в случае чего остаться в живых), испуганно жевал все замысловатые бутерброды и пил все напитки, которые мне предлагали, и ждал, когда самолет рухнет на землю. Я не решался смотреть в окно, читал какой-то журнал, не воспринимая прочитанного, нервно раскачивал ногой — словом, вел себя так, как всегда веду себя в самолете.

И вдруг, едва стюардесса своим красивым голосом объявила, что мы пролетаем над Гренландией — все при этом посмотрели вниз,— как моторы закашляли, затрещали, и выяснилось, что один из них загорелся. Приятного тут мало; мы со страхом смотрели, как один мотор отделился от крыла самолета и рухнул вниз, а крыло воспламенилось. Настроение у пассажиров сильно упало, некоторые молились, мое же состояние было самым тяжелым — я весь побелел и в панике закричал: «Выпустите меня!» Бледная стюардесса поспешила ко мне. Я вскочил и побежал по проходу, но в это время самолет резко качнуло, я ударился обо что-то головой и упал без сознания. Должен честно признаться: в критической ситуации от меня мало толку. Но могу сказать, что и в обычных условиях я тоже не лезу людям на глаза.

Снежные просторы Гренландии. На заднем плане — обгоревший остов самолета. Тридцать человек сгрудились вокруг дюжего командира корабля. Наша жизнь была у него в руках, но я не чувствовал к нему доверия. Когда я говорил, что французские самолеты никуда не годятся, надо мной смеялись. Ну и кто оказался прав? А теперь вы хотите, чтобы я доверял французскому пилоту с внешностью киногероя тридцатых годов? Я не виню его за аварию — конечно, он не поджигал мотора. Но я и не считаю, что он способен вывести оставшихся в живых к населенным местам.

— Надо взглянуть правде в глаза.— Летчик бросил жгучий взгляд из-под темных бровей на продрогшую толпу.— Мы далеко отклонились в сторону от обычного курса. Мы хотели обойти бурю и потому отклонились. Обычно обо всех изменениях курса тут же сообщается на аэродром. Но было ли это сделано в данном случае? Нет.

Он выжидательно и свирепо оглядел своих слушателей. Все молчали, да и что сказать, когда ответственные лица признаются в своей несостоятельности? Я разозлился, головная боль у меня почти прошла. Я громко крикнул: «А почему?» — и хотел присовокупить пару креп-

ких ругательств, но не вспомнил их по-французски. Летчик не сразу ответил на мой вопрос, он скорчил такую рожу, как будто с трудом сдерживается, и попросил, чтобы ему дали договорить:

— Не перебивайте меня, у нас очень мало времени.

Надо бы, чтоб ООН запретила французам водить самолеты.

— Итак,— сказал летчик,— на аэродром не сообщено об изменении курса. Радисту было приказано это сделать, но у него в аппаратуре оказалась небольшая поломка, он как раз чинил ее, когда произошла катастрофа. Может быть, он и успел передать радиограмму, но спросить у него об этом мы не можем, потому что наш храбрый радист погиб. Мы были слишком далеко от аэродрома, чтобы нас могли нащупать радары, так что и на это надеяться нечего. Итак, мы должны исходить из того, что на аэродроме ничего не знают об аварии, и даже когда поймут, что с нами что-то случилось, то не будут знать, где нас искать. Они начнут искать нас в районе обычного курса. И не найдут. Мы находимся на сотни километров в сторону. Конечно, на аэродроме знают, что по курсу у нас была буря, они сами нам о ней сообщили, и, не найдя нас, они догадаются, что мы отклонились от курса. Но в какую сторону? Вправо или влево? Это неизвестно, и поэтому нас будут искать и там и там.

Он перевел дух.

— Прекрасно! — крикнул я.— Хватит, я уже все понял. Значит, надо просто сидеть и ждать, пока нас найдут? Ну и организация, просто прелесть!

Летчик побагровел.

— Мне кажется,— сказал он,— среди вас есть люди, которые все еще не могут или не хотят понять серьезность нашего положения. Право же, мосье, нам не до шуток, мы не на теннисном корте.

При чем тут теннисный корт? Может быть, он употребил иностранный термин, не зная его смысла? А может, у него патологическое отвращение к теннисным кортам?

Летчик закурил. Мне тоже очень захотелось курить, но все мои запасы чудесных японских сигарет сгорели, у меня не осталось ничего. Рядом со мной стоял старик, поддерживаемый дочерью,— наверное, это была его дочь, хотя в таких случаях никогда нельзя знать наверняка; во всяком случае, его поддерживала молодая женщина.

— Послушайте, вы,— сказал я,— дайте мне сигарету.

— Я не курю,— ответил старик.

— Это еще не причина, чтобы не иметь при себе сигарет,— возразил я. Разумеется, я был совершенно не прав: я сорвал на старике свою злость на летчика.

— Как вам не стыдно! — сказала молодая женщина.

— А почему? — ответил я.— В курении нет ничего дурного.

Я огляделся, но никто вокруг не курил — видно, в курении все же было что-то дурное.

— Смотрите,— продолжал между тем летчик,— вот обгоревший остов самолета.

Все посмотрели на остов самолета, как будто видели его впервые. Полчаса назад они сами сидели в нем, но стоит кому-то приказать: смотрите, мол,— и все как по команде оглядываются. Или они хотели уличить летчика во лжи? Самое удивительное, что они даже и не смотрят,— можно подумать, что они оглядываются просто из вежливости: летчик сказал, посмотрите, мол, на остов, и получится неудобно, если никто даже не оглянется, но нет, кое-кто продолжает внимательно разглядывать остов и после того, как летчик снова заговорил. Может быть, таким путем они вновь обретают доверие к летчику: он сказал,

дескать, смотрите, вот остов, они оглядываются и — надо же! — действительно видят остов. Значит, с этим летчиком не пропадешь.

— Поверхностному наблюдателю,— продолжал летчик,— может показаться, что этот огромный черный остов машины будет хорошо виден с воздуха. Но это совсем не так. Правда, мы приземлились на более или менее белой поверхности, но те из вас, кто из самолета смотрел вниз, видели, что снежное поле испещрено проталинами, которые сверху кажутся черными. Кроме того, ландшафт холмистый и кое-где есть глубокие расселины. Холмы отбрасывают тень. Таким образом, вполне возможно, что со спасательного самолета нашу разбитую машину примут за проталину, расселину или тень от холма. К тому же они будут осматривать все темные пятна подряд — ведь каждое может оказаться разбитой машиной,— а на это уйдет много времени. На самолете, конечно, согласно инструкции, имелись ракеты, сигнальные пистолеты и прочее, но все это сгорело, так что мы ничем не можем воспользоваться. На самолете сгорело дотла все, что только способно гореть, так что мы не можем подавать дымовые сигналы. Мы — тридцать человек — могли бы встать так, чтобы сверху видна была какая-нибудь геометрическая фигура, но долго ли мы выдержим — в таком холоде, голодные, да еще не зная, есть ли в этом какой-нибудь смысл? Но даже и не это главная проблема,— сказал летчик и бросил сигарету. Окурок был довольно длинный: у того, кто выбрасывает такие окурки, наверняка есть хороший запас.— Главная проблема вот в чем. Из-за того, что мы отклонились от курса и на аэродроме не знают, где нас искать, область возможных поисков увеличилась во много раз. К тому же видимость плохая, здесь всегда легкий туман. Поэтому лучше нам исходить из того, что найдут нас не скоро. А так как у нас совсем нет продовольствия, то, когда нас найдут, будет уже слишком поздно — во всяком случае, для многих из нас. Я знаю, что это жестокие слова. Но наш самый большой шанс — может быть, единственный — самим позаботиться о своем спасении.

Он умолк, и люди стали покашливать, прочищать горло.

— Плохо то,— продолжал летчик,— что у нас нет ни компаса, ни карты, мы лишь приблизительно знаем, где находимся. Положение у нас серьезное, но не стоит поддаваться панике. Я убежден — бог мне свидетель,— что все мы благополучно доберемся домой, если вы будете точно выполнять мои указания. Я как представитель авиакомпании сделаю все, что в моих силах, ради спасения каждого из вас, но для этого мне необходимо ваше доверие.

Ну и пустомеля этот летчик! Ему необходимо наше доверие, а вот доверия-то он как раз и не вызывает. За психов он нас считает, что ли? Кому мы могли бы довериться в Гренландии — так это проводнику-эскимосу, да еще вооруженному картами, компасами, собачьими упряжками и съестными припасами. Но не этому полоумному французскому летчику, этому опереточному герою, который Гренландию видел только с самолета. Замечу кстати, что он обращался к пассажирам по-французски, хотя даже он не мог не понимать, что по крайней мере половина — не французы. Они, наверное, ничего не поняли, хотя это, может быть, и к лучшему, во всяком случае, они не утратили последнего доверия к этому комическому персонажу. Но между тем я ведь и сам в руках летчика! Доверия к нему у меня никогда не было. Еще в самом начале полета, в Токио, когда он с широкой улыбкой вышел познакомиться с пассажирами и показать трусишкам, если такие найдутся, что их судьба — в надежных руках, я почувствовал к нему большое недоверие. И оказался прав. Какие у него, в общем-то, основания теперь претендовать на руководство? Ну, то, что ему принадлежало руководство в самолете,— более или менее естественно.

Но почему именно летчик должен руководить спасением людей в условиях Гренландии? Потому, что он умеет держать в руках штурвал? Знание навигации здесь, конечно, пригодилось бы, но именно в этом он позорно и провалился. Обстоятельства катастрофы поневоле заставляют призадуматься. Как мог летчик отклониться от курса, не сообщив об этом на аэродром? Уж лучше бы летел сквозь бурю! Конечно, не его вина, что мотор загорелся, но то, что он так и не сумел повлиять на ход событий, мне все больше и больше не нравилось. Очевидно — теперь уже не проверишь,— где-то он допустил халатность, и, что бы он там ни болтал про теннисный корт, ответственность в конечном счете лежит на нем. А покорность в глазах слушателей меня просто пугает. В своем слепом доверии они пойдут за ним навстречу смерти и потянут за собой меня, ибо Гренландия — не то место, где можно отколоться и плевать на остальных. Меня прошиб пот: воображение у меня работает очень живо, когда речь идет о собственной жизни или смерти,— и тут я понял, что смерть этих тридцати человек меня нисколько не волнует; лишь тот факт, что я могу оказаться среди них, побуждает меня попытаться ослабить позиции летчика или, если это не удастся, отделиться и поступать по-своему. Я подошел к летчику и встал рядом с ним, лицом к слушателям.

— Мосье пилот,— воскликнул я по-французски (я всегда очень устаю, когда говорю по-французски, но в такую трудную минуту не приходится обращать внимание на собственные неудобства),— мосье пилот, я прошу слова.

Он не мог мне отказать.

Я сказал:

— Вы прекрасно обрисовали положение, но ведь, по-видимому, половина людей не понимает по-французски. У меня есть предложение: чтобы всем было все ясно, я переведу вашу речь на английский — или, может быть, вы это сделаете сами?

Он покачал головой и сделал мне знак продолжать. Он все еще смотрел на меня сердито, и плохо скрытый упрек в моих словах только усугубил его настороженность. Не исключено, что стюардесса рассказала ему о моей чрезмерной нервозности во время катастрофы, и он считал меня слабаком, трусом, склочником и так далее, чего я, впрочем, и не отрицаю. Но, несмотря на все это, в теперешней ситуации я могу оказаться более полезным человеком, чем он. Ну и что, если в критическую минуту, когда уже ничего нельзя было изменить, я лишился чувств? Какой был смысл держать марку (наш пилот, разумеется, твердой рукой поднес огонек к сигарете и лаконично заметил: «Parbleu, on tombe»[1], а остальные члены экипажа лезли из кожи вон, стремясь казаться еще хладнокровнее, чем начальник) — это ведь делается лишь для того, чтобы потом, когда несчастье окажется позади, хвастаться своим героизмом.

Я коротко пересказал речь летчика по-английски; при этом я — без всякого, впрочем, умысла — сильнее подчеркнул сомнительность выводов летчика, чем собирался. Увы, мое выступление не имело успеха. Те, кто понял речь летчика, не слушали и переговаривались между собой; большинство же остальных, видно, и по-английски не понимали и смотрели на меня как баран на новые ворота; но, как бы то ни было, я выполнил свой долг. Чтобы снова привлечь внимание слушателей, я громко крикнул: мол, чем болтать, делали бы что-нибудь, например, поддержали бы вон того старого немощного человека — ведь девушка уже совсем выбилась из сил. Несколько мужчин тут же подскочили к старикашке, оттерли девушку и стали его поддерживать. Остальные растроганно смотрели. Наконец-то можно что-

[1] Черт побери, мы падаем *(франц.)*.

то сделать, хоть и не много. Для меня во всем этом было два преимущества: во-первых, самому мне уже не пришлось поддерживать старика, во-вторых, в чем-то я опередил летчика, ибо это предложение, конечно, должно было исходить от него. Кажется, почва для дальнейшего наступления была подготовлена.

Но я выжидал. Моя идея поддержать старикашку произвела больший эффект, чем я предполагал. Взгляд у людей стал целеустремленным: они явно уже видели себя на пути к населенным местам. Мое предостережение, что, мол, старик сейчас упадет,— это была находка, пришедшая из глубины подсознания. Я решил пока воздержаться от дальнейших речей, чтобы не портить произведенного впечатления, и стал прохаживаться взад-вперед около старикашки, а окружающие бросали на меня благодарные взгляды.

По-видимому, наш командир чувствовал себя задетым. Все, что он думал, без труда можно было прочесть на его лице. Его подробный и серьезный отчет о нашем бедственном положении почти не дошел до слушателей, а мое вскользь брошенное, зато попавшее в самую точку замечание пробудило к жизни этих отупевших от отчаяния людей. Теперь столько народу одновременно поддерживало старика, что ему стало неловко, а потом он даже рассердился. А девушка сиротливо стояла сзади. Раньше она чувствовала, что кому-то нужна, но теперь это чувство перешло от нее к кучке людей, толкавшихся вокруг старика. Я пробрался к ней и сказал, указывая на него:

— Ваш отец?

Но он не был ее отцом. Обрадованная, что с ней заговорили, она рассказала мне все. Меня удивила ее откровенность, я не ожидал симпатии с ее стороны: ведь всего каких-то полчаса тому назад произошел тот обмен репликами из-за сигареты. Но потом я понял, что всеобщее расположение ко мне захватило и ее. Кроме того, как потом выяснилось, ей тоже не нравилось поведение летчика — чисто интуитивно. Итак, вслушиваясь больше в голос, чем в слова, я все же узнал, что она не родственница старикашки — к нему ее привязывают чувство долга и благодарности и хорошо оплачиваемая работа секретарши. Мне приятно было звучание ее голоса и выбор слов, я сочувственно хмыкал и всякий раз, как она собиралась умолкнуть, с заинтересованным видом задавал какой-нибудь вопрос. Под звуки ее голоса мне вдруг стало хорошо и уютно на промерзшей гренландской земле, и у меня пропала всякая охота искать выход из бедственного положения. Это продолжалось, пока она говорила; потом мы оба стали смотреть на возню вокруг старикашки, которого теперь поддерживали так активно, что ноги его оторвались от земли. С несчастным видом он висел на плечах у своих мучителей — первый из нас, кто покинул гренландскую землю.

Наш командир меж тем оправился от ущерба, нанесенного его престижу, и избрал новую тактику. В сопровождении стюардессы он обошел всех с целью регистрации наличного запаса продуктов. Здравая идея, однако безрезультатная, ибо мало кто, отправляясь на аэродром, берет с собой запас хлеба и консервов. Другие члены экипажа залезли в разбитый самолет и занялись опознанием трупов и извлечением неповрежденных приборов — по крайней мере, так я думал.

Я спросил молодую женщину, как она намеревается достигнуть обитаемого мира, но у нее на этот счет не было никаких планов. Несмотря на неприязнь к командиру, она все же доверяла ему. Его ведь специально обучали, и он уже бывал в подобных передрягах и лучше всех знает, где именно мы находимся.

— Вот этого-то я и не думаю,— сказал я и стал излагать свои аргументы против командира; при этом мои смутные ощущения при-

обретали ясную, четкую форму. Мысленно я спрашивал себя, зачем я это делаю, и нашел следующий ответ: ни под каким видом я не соглашусь подчиниться требованиям командира. Это инстинкт самосохранения, ибо если я буду действовать по своему усмотрению, то у меня больше шансов выжить, чем в составе группы, слепо выполняя приказы командира; в совместные решения и голосование я тоже не верю: влияние командира слишком сильно; я должен убедить эту женщину в своей правоте, чтобы и она наплевала на группу и искала спасения вдвоем со мной. Тогда я буду во все время испытания находиться в ее обществе, что, несомненно, скрасит мне это испытание.

— Послушай,— сказал я,— как можешь ты доверять командиру, который хоть и невольный, но все же виновник катастрофы? И разве мало того, что он француз? Высококультурный народ, конечно, но это не те люди, которые способны вывести из гренландских льдов. К тому же французы за пределами Франции всегда плохо ориентируются в обстановке, как кошки в незнакомом амбаре, и вдобавок не доверяют иностранцам и, в сущности, всех их презирают. Они прямотаки с молоком матери впитывают это чувство, и наш командир, конечно, тоже — уже из-за одного этого он не может руководить нами. Он не доверяет тем из нас, кто не француз, и думает, что мы не доверяем ему, он в большей или меньшей степени презирает нас, и это, конечно, подтачивает его чувство ответственности: ведь если мы и погибнем, так в конце концов мы же всего-навсего какие-то иностранцы. И его неумение ориентироваться за пределами Франции сыграет свою отрицательную роль: он может недооценить опасность, а может и вовсе ее не заметить. Ты скажешь: а вдруг он — исключение? Конечно, не все французы одинаковы, но мы не можем рисковать. Кроме того, у меня есть причины считать, что он как раз типичный представитель, а не исключение. В его речах я чувствую неодолимое стремление к власти и славе. И разве не он несет ответственность за то, что у нас загорелся мотор? Со всяким может случиться, согласен, но ведь очень возможно, что здесь была допущена оплошность.

Тем временем я все сильнее влюблялся в нее; она была американка, стройная, красивая, с рыжеватыми волосами и белой кожей, какая часто бывает у рыжих.

— Я уверен, что все его решения будут неправильны, что все его попытки спасти нас будут неудачны. Если у него что и получится, то лишь по чистой случайности, а ведь на случайность мы не можем рассчитывать. И не надо жалеть остальных! Каждый отвечает за себя, хотя, конечно, если я, проходя мимо, увижу, что кто-то тонет, я его спасу. Но вот что я хочу сказать: если люди от недостатка сообразительности и избытка стадного чувства с открытыми глазами шагают навстречу гибели — пусть их! Речь идет о том, спасать ли свою голову или допустить, чтобы тебя погнали в могилу. Имей смелость выглядеть несимпатичной и эгоистичной, если таким образом ты можешь спасти человеческую жизнь — пусть даже свою собственную. Я скажу тебе, в чем состоит мой план. Исходя из того, что командир наверняка решит неправильно, надо поступить наоборот — много шансов за то, что это приведет к спасению. Например, если он прикажет идти в какое-то им выбранное место — а как раз это он, наверное, и прикажет, но это будет заведомо неправильно, он ведь даже не знает точно, где мы находимся,— так вот, тогда мы остаемся здесь и ждем помощи с воздуха. А если он прикажет остаться здесь, тогда нам надлежит отправиться в путь и быстрым маршем достичь ближайшего населенного пункта. Очень может быть, что вон за теми холмами находится эскимосская деревня или американская военная

база. Тут у нас будет еще и то преимущество, что мы спасем всю группу. Они вышлют аэросани, трактора или даже вертолеты и всех спасут. Наши имена в газетах, огромные шапки: «Они не потеряли голову», фанфары, медали...

Я перевел дух и стал ждать ее ответа. Она в задумчивости смотрела в пространство. Я взял ее за локоть и, постаравшись вложить в свой голос как можно больше теплоты, проникновенно сказал:

— Пойдем со мной.

— Не знаю,— произнесла она,— право, не знаю. Я считаю, что безопаснее быть вместе со всеми, что бы они ни делали, потому что все друг другу будут помогать. К тому же большую группу людей легче заметить, чем одного человека. В таких случаях, я слыхала, люди обязательно должны держаться вместе, а кто отделяется, того идут искать. Командир и не согласится, чтобы мы остались. Он заставит нас идти вместе со всеми. И потом — я должна быть с мистером Лейном... — Последнее явно пришло ей в голову только что, ей стало стыдно, что она не подумала об этом в первую очередь, и потому она стала спорить со мной: — Ты думаешь, командир не сумеет нас вывести? Напрасно ты его недооцениваешь. Он француз — ну и что? Наверное, все, что ты говорил про французов, вздор; по крайней мере, я этого никогда еще ни от кого не слыхала. По-моему, это все предрассудки.

— Ладно, ладно,— сказал я.— Послушай. Мы в опасности. Положение серьезнее, чем ты думаешь.

— Я знаю, каково наше положение.

— Конечно, но опасность не в том, о чем ты думаешь. Допустим, национальность командира не имеет значения. Я лично недолюбливаю французов — может, у меня заскок, не знаю. Но одно я знаю точно: этот человек нас не выведет. Повторяю: положение серьезнее, чем ты думаешь. Речь идет о жизни, твоей собственной жизни, а не чьей-нибудь еще. Какое тебе дело до того, что другие умрут? Так уж сложились обстоятельства! Если они спасутся — прекрасно, я нисколько не против, знаешь пословицу: живи и давай жить другим, и тому подобное. Но одно ты должна понять: я не допущу, чтобы группа потащила меня на верную смерть. В этой смерти не будет ни капли романтики. Ничего нет хуже, чем умереть из-за чьей-то оплошности. Еще будешь и себя при этом корить. Черт побери, как ты это себе представляешь? Мы тихо испускаем дух в объятьях друг друга, а вдалеке нам чудится колокольный звон? А знаешь, как будет на самом деле? Мы подохнем от голода и холода, только двум-трем первым еще закроют глаза, а потом уже никто не будет обращать внимания.

Она заплакала. Я неуклюже попытался ее утешить, обнял. В таких обстоятельствах самое лучшее было бы заняться любовью, это придало бы мне мужества и спокойствия. После этого наверняка пришло бы в голову что-нибудь путное и вообще возросли бы шансы на спасение. Но как воспримет это группа приличных людей, только что переживших авиационную катастрофу? Очевидно, им это покажется странным.

— Но почему,— всхлипнула она,— я должна быть с тобой? Почему ты выбрал меня? Бросить группу — это непорядочно. Так может вести себя только псих или дурак, но ты ведь ни то, ни другое — хоть я и сама не знаю, почему я в этом уверена.

— Об этом я тебе уже рассказывал, радость моя, цыпленочек мой, поцелуй меня.

Я крепко поцеловал ее в губы и погладил по волосам. Конечно, ей пришлось отстраниться, но сделала она это далеко не сразу.

— Послушай, я повторю тебе все еще раз, и тогда ты увидишь, что мы не можем поступить иначе. У меня действительно нет выбора, обстоятельства вынуждают меня, прямо-таки тащат за руку к спасению: мое дело — лишь правильно истолковать обстоятельства. Как мне это удается? Не знаю. Но что-то говорит мне — а что, я сам не понимаю,— что предложения командира, вернее, его приказания приведут нас к гибели. Может быть, что-то в его глазах, в том, как он держится. Следовать за ним — значит идти на верную смерть. Таким образом, все его советы, его планы — словом, все, к чему он нас побуждает,— ошибочно. И потому вполне вероятно, что правильнее поступать как раз наоборот. Я убежден в этом и уверен, что нам надо отделяться. Тогда мы избежим беды.

Она внимательно слушала, слезы ее высохли. Я упрямо продолжал:

— Так что же я должен делать, исходя из этой убежденности? Если я уверен, что она ведет к спасению, то на первый взгляд может показаться, что мой долг — повести за собой всю группу. Для этого понадобится необыкновенное красноречие, большая сила убеждения, колоссальная энергия. Возможно, дойдет и до драки, но ради общего блага можно ни перед чем не останавливаться. К сожалению, однако, я не обладаю упомянутыми качествами. Я сумею убедить кого-нибудь одного, но остальные ополчатся против меня. Я не способен завоевать популярность, так уж я устроен, и на каждого моего сторонника всегда приходится четверо-пятеро врагов. Я знаю это: ведь самое главное — познать самого себя. И, следовательно, мне не удастся убедить группу. Но допустим, что я обладал бы необходимыми качествами и пустил бы их в ход. Думаешь, тогда бы мне это удалось? Нет, и тогда бы ничего не вышло. Хочешь верь, хочешь нет, но я знаю, что только под угрозой оружия эти люди отступились бы от командира. Он для них — и отец, и мать, и еще немножечко господь бог. Наконец, последнее. Принципы, на которых я основываю наше спасение, теряют силу, если в них поверит и примет участие целая группа. Они пригодны лишь для одиночки, сделать их достоянием массы — значит поставить их с ног на голову. И потом, остается ведь крошечный шанс, что командир прав. Я-то, конечно, в это не верю, но в действительности такой шанс есть. Это тоже основание, чтобы удрать одному. А почему я хочу взять тебя? Да очень просто: потому что из всей группы только тебя одну мне хочется спасти. Да, потому что ты молода и красива, более того, мой выбор — результат работы определенных желез в моем организме, и я это знаю. Но это не мешает мне считать мое желание достаточным основанием. Мы хотим сохранить свою жизнь, испытываем голод и жажду, избегаем боли и стремимся к наслаждению — что тут можно возразить? Вероятно, мне следовало бы сказать, что я вдруг, неизвестно по какой причине, воспылал к тебе необыкновенной любовью,— это тебе было бы приятнее услышать. Но я говорю: я увидел тебя, единственную привлекательную женщину среди всех этих людей, железы продолжения рода пришли в действие, и родилась любовь. И это не исключает того, что ты мне действительно очень — ну да, очень — нравишься.

Я замолчал; я замерз и чувствовал себя очень несчастным. Наверное, все это без толку. Хотелось бы мне быть скупым на слова, сильным мужчиной, который спокойно идет своей дорогой, плюет на всех и делает то, что ему нравится.

— А у тебя не найдется сигареты?

Она кивнула и вытащила пачку сигарет. Я закурил, наблюдая за тем, как люди снова окружили командира, чтобы получить очеред-

ную порцию мудрых указаний. Нашего отсутствия они как будто даже не замечали. Я повернулся к ней:

— Скажи же что-нибудь. О чем ты задумалась? Решаешь, кто тебя вернее спасет — командир или я? Или терзаешься нравственными муками? Скажи что-нибудь, выбирай, и тогда можно начать действовать.

Она сделала несколько шагов прочь от меня и остановилась, глядя в пространство. Прямо за ней был разбитый самолет, и я стал смотреть на него; я замерз и совершенно упал духом. Как хотелось мне сейчас быть дома, развалиться в покойном кресле и смотреть скучную телевизионную программу. Я мог бы встать и сделать что-нибудь приятное: пойти вынуть из почтового ящика газету или выпить стакан пива. На худой конец, я согласен был даже сидеть с зубной болью в приемной у стоматолога и просматривать в затрепанном журнале трехлетней давности очерк о Гренландии.

Она медленно вернулась и посмотрела на меня. Я почувствовал волнение, прочитав в ее глазах, что она доверяется мне. Я нахожу, что это самое прекрасное — когда тебе кто-то доверяется. Моя надежда на спасение снова укрепилась, и я понял вдруг, что эта девушка необходима мне: один, без ее поддержки, я ничего не смогу сделать. Все мои рассуждения в основном были просто болтовней. Но, вне всякого сомнения, вдвоем мы одолеем все.

— Я подумала,— начала она,— и, во-первых, я должна тебе сказать, что не согласна с твоими взглядами на любовь, я буду считать, что я этого не слышала. Сам ты мне нравишься, и я тебе доверяю, но не думай, что это результат действия определенных желез. Да, кстати, меня зовут Джейн. А сейчас я тебе объясню, что, по-моему, нам надо сделать. Ты сказал, что не можешь повести за собой группу, потому что у тебя нет для этого данных. По-моему, ты не прав. Ведь убедил же ты меня, и поэтому я — может быть, ошибочно — полагаю, что и с другими тебе бы это удалось. Они ведь сохранили расположение к тебе, они бы к тебе прислушались. Думаю, ты ошибаешься, считая, что не смог бы привлечь группу на свою сторону. Наверное, тебе просто не хочется, может быть, ты стесняешься или что-нибудь в этом роде. Ты считаешь, что шансы выжить уменьшатся, если на твою точку зрения встанет много людей, но против этого я знаю средство. Если я тебя правильно поняла, ты просто хочешь сделать противоположное тому, что предлагает командир. Честно говоря, мне это кажется самым слабым местом в твоих рассуждениях: если ты сделаешь противоположное тому, что, с твоей точки зрения, неразумно, то это не обязательно будет нечто разумное. На практике это может оказаться еще гораздо неразумнее. Но допустим, я согласна, выбирать нам особенно не приходится. Допустим, твоя точка зрения правильная, так давай спросим у самого командира, что он собирается делать, и попробуем убедить его сделать обратное. Если нам это удастся — твоя цель достигнута, группа, без сомнения, послушается командира, а на самом деле выполнит твой план, но с одобрения и при поддержке руководства, и, я думаю, тогда твои принципы не встанут с ног на голову. Но только не высказывай командиру своих опасений так, как ты высказал их мне, а то ничего не получится. Тебе надо просто ему что-нибудь наврать, например, сказать, что ты хорошо знаешь Гренландию, бывал здесь не раз, или что твой дядя — близкий друг директора «Эр Франс». Это, конечно, нечестно, но когда речь идет о спасении людей, можно закрыть на все глаза. Давай подойдем к нему, отзовем его в сторонку. Если он заупрямится, пригрозим ему, что мы постараемся вырвать группу из-под его влияния. Это ему наверняка не понравится. Но я думаю, он согласится с нами, я с ним

немного пококетничаю — раз он француз, это должно произвести на него впечатление...

— Вот это ужаснейший предрассудок,— сказал я раздраженно (мне не понравилось, что она строит планы и, в сущности, взяла руководство в свои руки).— Почему француз должен скорее подпасть под твое обаяние, чем, скажем, норвежец? Нездоровое суеверие, особенно распространенное среди женщин в Соединенных Штатах Я считаю это вздором.

И я мрачно уставился в пространство, избегая ее взгляда.

Но подумав, я решил, что предложение ее правильное и именно оно-то и приведет нас к быстрому решению. Командир, без сомнения, будет с нами так груб и высокомерен, что всякое обсуждение окажется невозможным. Это еще дальше оттолкнет нас от группы — и тем лучше. Я дал ей себя уговорить и в первый раз назвал ее по имени:

— Ты права, Джейн.

Обрадованные, что наконец-то мы можем что-то делать, мы вместе подошли к командиру. Я остановился перед ним, всем своим видом выражая желание что-то сказать. Он был занят беседой с механиком, который размахивал плоскогубцами у него перед носом, но моя красноречивая поза вынудила его посмотреть на меня. По его недовольному взгляду я понял, что он никогда не согласится на наше предложение, что никакой разговор с ним невозможен, и это меня обрадовало.

— Мосье,— начал я сухо,— вы обещали спасти нас и вывести из щекотливого положения. Хоть это и ваша прямая обязанность, все же отрадно видеть, что вы столь энергично взялись за дело нашего спасения. Я рукоплескал бы вам, если бы это не было преждевременно. Поясню, что я имею в виду. Мы, то есть эта дама и я, полностью вам доверяем и понимаем, что наша жизнь в ваших руках, вернее, наши жизни, ибо речь идет о двух жизнях, то есть множественное число тут более уместно. И вот, стало быть...— Тут я потерял нить, кашлянул и начал снова: — Наше доверие к вам и к компании «Эр Франс» непоколебимо, несмотря на постигшее нас несчастье. И все же мы, а когда я говорю «мы», я имею в виду...

— Эту даму и себя,— сказал командир.

— Совершенно верно. Мы хотели бы услышать от вас, каковы ваши планы, то есть каким именно образом вы собираетесь спасать нас и выводить из этого положения. Как уже было сказано, не потому, что мы вам не доверяем, а потому, что... э-э... видите ли...

Мне трудно было объяснить ему — почему, хоть и очень хотелось. Во время моей, признаюсь, не слишком изящно сформулированной речи этот противный тип смотрел на меня презрительно и высокомерно, ввернул уничтожающее замечание и, что было хуже всего, стоял и улыбался Джейн, которая улыбнулась ему в ответ. Мы об этом договорились заранее, и все же мне было неприятно.

— Я буду краток,— заявил командир.— Мне не кажется разумным на этом этапе полностью раскрывать мои планы. То, что я считал нужным, я уже сообщил группе, и если бы вы не отделялись, то были бы в курсе дела. Повторять я не собираюсь, тем более вам. Вы вели себя недостойно как во время самой катастрофы, так и здесь. Я не понимаю, мадемуазель,— тут он с любезной улыбкой повернулся к Джейн,— почему вы оказались в обществе этого господина. Насколько мне известно, вы были с мистером Лейном, и, хотя я ничего не хочу сказать, ибо это не входит в мои обязанности, мне все же кажется...

— Благодарю вас, мосье пилот,— сказала Джейн,— можете не продолжать.

Я безумно обрадовался. Вот это характер! Я сам на ее месте бросил бы меня и под влиянием командира, который внешне гораздо меня интереснее, вернулся бы в группу.

— И я теперь буду краток, мосье пилот, или, вернее, мосье командир группы,— сказал я.— Вы бестактны.— Я думаю, что ему и раньше об этом говорили, потому что он тут же надулся.— И мы просим вас не рассчитывать на наше сотрудничество. Прощайте.

Мы повернулись и медленно двинулись к прежнему месту, старательно обходя группу. Энтузиазм, вызванный необходимостью помочь мистеру Лейну, явно угас, старик с несчастным видом привалился к какому-то мужчине, который небрежно обнимал его за плечи. Джейн быстро подошла к нему и что-то сказала. Я видел, как он на нее окрысился. Вполне понятно, ну что же, ничего не поделаешь. Джейн вернулась ко мне.

— Что он сказал?

— Что он еще ни в ком так не ошибался.

Этого и следовало ожидать, но Джейн огорчилась. Постепенно чувство разочарования в нас овладело всей группой. Все они теперь повернулись и смотрели на нас. Удручающее зрелище. Я взял холодную руку Джейн в свои — что еще я мог сделать? А группа неодобрительно качала головой.

Мы шли молча. Все наши дальнейшие планы, все то, что мы собирались делать после разговора с командиром, стало теперь бессмысленно, об этом не стоило больше говорить. Если разобраться, то все правы — и командир, и группа, и мы. В том, что происходит, ничего нельзя изменить. Страх, радость да и другие человеческие чувства совершенно излишни. Кто-то — а может быть, и все — будет спасен, а кто-то погибнет, и тут уж ничего не поделаешь. Можно только выжидать и наблюдать.

Мы находились на полдороге к вытянутому бугру и, не сговариваясь, двигались прямо на него. Может, поднявшись на его вершину, мы увидим уже упоминавшуюся американскую военную базу: ведь в конце-то концов в Гренландии есть американские базы, а на случай можно положиться. Но, поднявшись, мы не увидели ничего, только в точности такой же холмистый ландшафт. Естественно, ведь если бы поблизости была база, ее обитатели наверняка заметили бы потерпевший аварию самолет. Время от времени я произносил: «Да-да», просто чтобы нарушить тишину. Я нежно пожимал руку Джейн, но она не реагировала. Оглянувшись, мы увидели, что за это время рядом с разбитой машиной навалили высокий снежный курган, увенчанный деревянным крестом. Очевидно, под ним лежали трупы погибших. Возле братской могилы стоял командир, перед ним полукругом — остальные. Он держал в руке фуражку и явно произносил речь.

— Мне кажется, там происходит что-то вроде богослужения,— сказал я, и Джейн кивнула.

— Ну вот,— сказал я, вспоминая свои страстные слова, обращенные к Джейн, как мне тогда казалось, с полной искренностью. Теперь же я не испытывал к ней никаких чувств. Все вместе взятое было мне противно, я хотел одного — чтоб это поскорее кончилось, безразлично как. Мне нечего было дать Джейн, и я сожалел, что заставил ее порвать с большинством. На меня-то группа, несмотря ни на что, всегда смотрела как на чужака, да я ничего другого и не желал. Но Джейн была любимым и уважаемым членом коллектива и бросила его ради меня, и этого ей никогда не простят.

— Что касается красивых слов, то мы оба наговорили их предо-

статочно,— сказала Джейн. Выходит, мы с ней думали об одном и том же.— Просто невероятно,— продолжала она,— до чего можно увлечься какой-нибудь идеей, планом и тому подобным. Входишь в азарт, чего только не придумываешь и строишь целое сооружение, но как только об этом перестанешь думать, или что-нибудь произойдет, или у тебя переменится настроение, все сразу пропадает. У меня появилось предчувствие — знаешь, женская интуиция,— что случится нечто совершенно ужасное: нас спасут, а остальные погибнут. Если это произойдет, я буду тебе обязана жизнью, но смотреть на тебя не смогу. Это ужасно — оказаться правым вот так. И в сущности смерть всех этих людей будет на твоей совести. Но ты не обращай внимания на то, что я говорю.

Я не обращал. Я был охвачен глубокой меланхолией и отвращением ко всему. Если бы я был один, я бы вернулся в разбитый самолет и сидел там, уставясь на какой-нибудь прибор. Нет, такая жизнь— не для нервных натур вроде меня. А между тем именно эта наша нервозность заставляет нас искать или создавать ситуации, которые нам не по плечу и к которым гораздо лучше приспособлены люди, ничего такого в своей жизни не переживавшие и уютно проводящие вечера за картишками.

— У предчувствий есть одно свойство: они никогда не сбываются,— сказал я. Это изречение тоже было порождено моей меланхолией. Когда я не в духе, я начинаю изрекать афоризмы, которые звучат вполне разумно, но ничего не значат. Мне стало страшно, я начал глубоко дышать и таким образом преодолел страх. Я принял твердое решение никогда в жизни больше не путешествовать. В глубоком кресле посиживать у камелька, а лед чтоб был только в стаканах.

В группе у разбитой машины началось какое-то движение — видно, они что-то решили. Люди суетились, до нас доносились голоса, хоть слов мы и не разбирали. Из самолета вылезли двое членов экипажа, один — все еще с плоскогубцами. Из алюминиевых полос они смастерили что-то вроде носилок; мы молча наблюдали, как они подошли с носилками к мистеру Лейну и тот, поломавшись немного, улегся на них. Четверо мужчин подняли носилки и прошлись для пробы. Проба получилась неудачная — старик чуть не скатился. Командир, наблюдавший за ними, подал знак, чтобы опустили носилки. Остальные пассажиры подошли, сняли с себя пояса и привязали ими мистера Лейна. Итак, эта задача была решена.

Они медленно построились в колонну — правда, то один, то другой все время вылезал, но все же появилось какое-то подобие порядка. Командир низко надвинул на лоб фуражку и прошелся вдоль ряда, очевидно, произнося при этом что-то ободряющее. Наконец-то они успокоились, подровнялись — ну в точности школьники, всем классом отправляющиеся на прогулку! Командир указал на нас. Вся колонна оглянулась, даже мистер Лейн попытался повернуть голову в нашем направлении, но это ему не удалось — видно, привязали его на совесть. Начальник поманил нас, мы махнули ему в ответ. Я думал, что теперь он погрозит кулаком, но так далеко он все же заходить не стал. Он пожал плечами и одновременно развел руками — жест, выражающий бессилие. Мы поняли, что сделал он это для группы, а не для нас, и потому не обиделись. С облегчением мы смотрели, как колонна, наконец, тронулась — очень медленно, но когда через некоторое время я снова посмотрел в ту сторону, они продвинулись уже достаточно далеко. Итак, мы расстались; ну что ж, посмотрим, кто из нас выживет. Согласно нашему плану нам предстояло остаться у самолета, и я очень этому радовался: мне вовсе не хотелось месить ногами суровые гренландские холмы.

Взявшись за руки, мы медленно побрели к самолету. Осмотрев его внутри, мы обнаружили в хвосте два кресла, уцелевшие после пожара. Не так-то легко было очистить их от сажи и пепла. Но нам хотелось укрыться от холодного ветра, а потому на вонь мы уже не обращали внимания. Да к тому же через четверть часа мы к ней принюхались — просто удивительно, как быстро человек приспосабливается к любым обстоятельствам.

Много часов провели мы там, подобно потерпевшим крушение на необитаемом острове. Мы сняли с себя пальто и накрылись ими. Время от времени что-нибудь говорили. Джейн рассказывала о своей жизни, я — о своей, мы задавали друг другу вопросы вроде: «Ты меня любишь?» и: «Мы будем потом встречаться?» — но все это было очень трудно сейчас решить. Если мистер Лейн не умрет и не уволит ее, возможно, они заедут в Голландию во время одного из их путешествий. Где они только не побывали — послушать ее, это было очень утомительное занятие. Я настаивал, чтобы они приехали в Голландию, но она вспомнила, что мистер Лейн раз уже был там и ему не понравилось, так что шансы на повторный визит невелики. Так мы болтали, а больше молчали. Через какое-то время у Джейн пробудилось чувство вины перед мистером Лейном — я, впрочем, этого ожидал. Я терпеливо разъяснил ей, что какая бы судьба его ни постигла, винить он должен только себя. Почему ему не пришло в голову отделиться от группы — он ведь достаточно разумный человек. Кто мы такие, чтобы пытаться вмешиваться в чужую жизнь?

Так говорил я, изрекал и другие истины в том же роде, а ворочать языком становилось все труднее. Разговоры перемежались долгими поцелуями; потом я почувствовал, как потянуло холодным сквозняком. Постепенно темнело и холодало, и оба мы погрузились в какой-то полусон, все больше и больше застывая. Чтобы не замерзнуть, мы все теснее прижимались друг к другу, и наконец я почувствовал, что мы обратились в единое целое. Так прошла ночь. Мы проснулись от шума снижающегося вертолета.

Высунувшись наружу и увидев американский военный вертолет, я удивился тому, что совсем не удивляюсь. Видно, я довольно твердо рассчитывал на то, что нас спасут. Все шло именно так, как я себе представлял. Мы не суетились, не трудились, а за нами прилетели. Вертолет мягко приземлился неподалеку от нас, дверца открылась, и из нее выпрыгнул военный. Он медленно направился к разбитому самолету, а другой военный, сидя в дверях, наблюдал за ним.

— Пошли,— сказал я Джейн,— автобус подошел к остановке, надо поспеть на него, интервалы очень большие.

Я в первый раз услышал ее громкий смех. Мы с трудом, помогая друг другу, вылезли из кресел, из-под пальто. Мы страшно закоченели, и, когда, пошатываясь, мы вылезли на волю, вид у нас был вполне подходящий для людей, перенесших катастрофу. Увидев нас, военный испуганно остановился. Он не ожидал встретить людей.

— Расскажите мне все,— сказал он.— Что произошло, остался ли еще кто-нибудь в живых?

Он сунул мне пачку сигарет, после чего бросил меня на произвол судьбы, а сам стал поддерживать Джейн. Я сделал несколько приседаний и взмахов руками — при этом я упал и уже не мог встать без посторонней помощи. Когда меня подняли, на меня напал приступ смеха, но я, хоть и с величайшим трудом, подавил его: мне не хотелось, чтобы наши спасители приняли меня за кретина. Наконец-то застывшая в жилах кровь снова пришла в движение, и я смог открыть

пачку и закурить сигарету. Джейн в это время подробно обо всем рассказала, так что мне, слава богу, не пришлось ничего говорить. Нам помогли залезть в вертолет, и, должен признать, весьма относительный комфорт этого аппарата вызвал у меня ощущение непередаваемого блаженства. Я уютно устроился на маленьком стульчике и чуть не сказал: «Итак, я сижу», но вовремя удержался.

В вертолете находилось еще двое, и им тоже хотелось все узнать. Джейн вкратце повторила свой рассказ, особо подчеркнув, что еще человек тридцать отправились пешком и, конечно, не могли уйти особенно далеко. Я спросил, почему они нас нашли; американец, который дал мне сигареты, ответил: «Потому что искали», и всех это очень рассмешило. Дверцу закрыли, и пилот начал дергать разные рукоятки. С оглушительным шумом мы поднялись в воздух и полетели по следу группы. Через полчаса мы увидели внизу неровную колонну. Они все стояли и махали руками как сумасшедшие.

Когда мы приземлились, они бросились к нам, командир — впереди всех. Военный снова открыл дверцу и выпрыгнул. Я поспешил высунуться и с приветливой улыбкой посмотрел в лицо командиру. Выражение, которое на нем появилось, я не скоро забуду: оно вошло в сокровищницу моих самых дорогих воспоминаний.

У группы был жалкий вид, они провели скверную ночь. Они вытащили вперед мистера Лейна на носилках — бледного, без сознания. Конечно, уже через полчаса после начала похода они уронили носилки: передний из несших оступился, попав ногой в скрытую под снегом яму. Мистер Лейн с тех пор так и не приходил в сознание. Мы развязали пояса и ремни и положили его на пол в вертолете. Командиру было велено оставаться на месте: за ним и за остальными в самом скором времени пришлют несколько более вместительных вертолетов. Ему сунули сигареты, небольшой запас продовольствия и питья, и мы снова улетели. Поскольку мы с Джейн уже сидели в вертолете, нас не стали высаживать, поэтому мы первыми из спасшихся жертв катастрофы появились на базе и были встречены с подобающими почестями.

Через два месяца я получил письмо от Джейн. Мистер Лейн поправился. Он простил ее, но о путешествиях пока не может быть и речи: он еще слишком слаб. Больше я не получал от нее ничего.

Убийца

Атмосфера печали на Йонкхеренстраат так плотна, что ее можно прямо-таки пощупать рукой. Почему — неизвестно. Печаль засела в стенах домов при застройке.

Булыжная мостовая вздымается волнами, вместе с нею, хоть и не так необузданно, вздымаются трамвайные рельсы. Десяток кафе, несколько дешевых закусочных и заведений, где продают жареный картофель, магазины. Если вы любите военную терминологию, можно сказать, что магазины стоят здесь сомкнутым строем. Улица всегда перекопана: водопроводные трубы и кабели вечно оседают в рыхлой почве. Да и дождь, кажется, чаще моросит на этой улице, чем на других.

В одном из кафе у стойки стоит Серейн. Он только что положил на стойку револьвер, стоит и смотрит на него. Кафе оформлено так,

чтобы создать «интим». Тщетная попытка: всем известно, что «интим» зависит только от самих людей. Но, чтоб выпить, любая обстановка годится.

Серейну лет пятьдесят. К разговорам он не расположен. Но тот, кто кладет на стойку заряженный револьвер, должен все же дать при этом кое-какие пояснения. Он принимает вид человека, который хочет сообщить нечто важное. Все посетители смотрят на револьвер — его не часто увидишь в наших мирных кабачках, где и обычный-то мордобой — редкое явление. А сверкающий вороненый револьвер — это нечто уж совсем необычное.

— Я много лет прожил в Америке,— безразличным тоном начинает Серейн.— Поехал туда во время кризиса. Эмигрантское судно, мы все заросли щетиной и обовшивели, но так или иначе доехали.

Он умолкает и думает о том, что вовсе не надо было ему вытаскивать револьвер. Но когда он у тебя в кармане, хочется вытащить его и посмотреть. Это получается невольно.

— В Америке, конечно, тоже был кризис, оттуда-то он к нам и пришел. Стал я бродяжничать, работы было мало, еды мало. Приключений — да, конечно, хватало, но я их не люблю. Ну так вот, оказалось, что заработать себе на хлеб с маслом можно только одним — преступлением.

Трактирщик наполняет стаканы. Он недоволен. Человек с револьвером — это неприятность. Но он приходит к выводу, что все равно ничего не поделаешь, и успокаивается.

— Америка — не то что Голландия, и преступления там не те. Здесь в кои-то веки раз воры заберутся в квартиру или пристукнут какую-нибудь старуху ради пары сотен гульденов. Но все это детские игрушки по сравнению с тем, какие сложные замыслы осуществляются там, за океаном. Ну вот, какое-то время я присматривался; когда ищешь работу, поневоле ведь сталкиваешься с гангстерами — они там везде сидят. Наконец, в Нью-Йорке я присоединился к одной группе гангстеров. Ну, а в такой группе человеку дают выбирать. Платят ему в зависимости от риска, которому он подвергается. Работа, на которой скорее всего можно выдвинуться, хотя и больше всего шансов загреметь,— это работа убийцы. И я стал убийцей. Выполнял заказы объединений или отдельных лиц, которым требовалось кого-то устранить. Интересная, живая работа, много свободного времени.

Все это производит большое впечатление на слушателей. Ведь не каждый день случается выпить с профессиональным убийцей! Трактирщик сожалеет, что телефон так далеко от его места за стойкой. Ну, авось обойдется — и на нервной почве он угощает всех присутствующих бесплатной кружкой пива. Это создает заговорщицкую атмосферу, каждый чувствует себя немножечко гангстером.

— За это время я застрелил довольно много людей. Конечно, мне всегда бывало неприятно, но чего не сделаешь ради хороших денег! Каждый день вечеринки, девочки, выпивки сколько душе угодно. Но все же пришел момент, когда я почувствовал, что сыт по горло, все это стало действовать мне на нервы. Было это в тридцать девятом году, я скопил уже кругленькую сумму, и вот в один прекрасный день я позвонил в бюро путешествий и попросил забронировать мне место на самолет, летящий в Голландию. Никто не должен был знать об этом — к гангстерам нельзя просто прийти и сказать: «Ребята, я завязал». Они этого не допускают, это слишком опасно для них. Я себе работаю, а на следующий день, за час до отлета, беру такси и потихонечку смываюсь, без багажа. Как только я сюда добрался, началась война. Во время войны я пять лет проработал ночным сторожем в

бюро выдачи продовольственных карточек. Здесь, в этом городе. Для меня война была спокойным временем, я полностью оправился от всей этой стрельбы в Америке.

Он делает хозяину знак налить всем — он угощает. Вновь пришедших шепотом вводят в курс дела, Серейн чувствует, что первоначальная враждебность уступает место пониманию. Ему очень приятно. Убийца редко встречает понимание.

— Но вот война кончилась, и я остался не у дел. Работы кругом было полно, но не для снайперов. И тогда я решил вернуться к своей основной специальности — устранять людей за большое вознаграждение. Мне казалось, что после войны должен появиться спрос на такого рода услуги. Но трудность была в том, что здесь положение вещей иное, чем в Америке. Здесь, если ты убиваешь людей, то рано или поздно тебя зацапают, а этого я совсем не хотел. В Америке за твоей спиной стоит организация, располагающая деньгами и адвокатами, тебе обеспечивают алиби, боссы полностью подготавливают убийство. Тебе, можно сказать, остается только спустить курок и положить в карман денежки. И потом — никакой мороки. Полиция, конечно, знает, что ты убийца, но ничего не может сделать. Если ты аккуратно платишь налоги, ты в безопасности. Тебе угрожает лишь одно: тебя самого может пристрелить наемный убийца; но лично я был для этого слишком мелкой сошкой. А вот как поставить дело здесь, в Голландии?

Все задумываются над этим вопросом. Серейн ощущает себя центром всеобщего внимания и смотрит на слушателей, как учитель на учеников.

— Первая проблема заключалась в том, как без особого шума приобрести клиентуру. И вот послушайте, как я разрешил эту проблему. Я звонил по телефону людям, у которых были затруднения, связанные с тем, что во время войны они нажили капиталы, происхождение которых им не хотелось раскрывать перед налоговым управлением. Я говорил им по телефону, что за определенную мзду берусь устранить кого надо. Никто не верил, они бросали трубку или смеялись надо мной. И вполне понятно: здесь ведь эта система до сих пор не применялась. Наконец однажды человек, которого здорово прижали, приглашает меня к себе домой. Я прихожу, он объясняет мне, кто должен исчезнуть, и мы договариваемся о цене — пять тысяч гульденов. Как и в Америке, я требую и получаю половину вперед. Придя домой, я сообразил, что во всем этом есть одна неувязка. А именно: у меня есть возможность присвоить эти деньги, не выполнив своей части уговора. В Америке это по-другому: там тот, кто заключил с тобой договор, обычно нанимает еще кого-то, чтобы следить за тобой. И тогда ты, разумеется, вынужден позаботиться о том, чтобы жертва получила свою пулю. Потом ты идешь к своему работодателю за второй половиной. Он тут же выкладывает ее, ему и в голову не приходит зажать денежки, потому что иначе его самого завтра утром найдут мертвым в сточной канаве. Я только хочу сказать, что там все в полном порядке, никто никого не может обжулить. Но здесь-то ведь по-другому! Я был этим очень озабочен, потому что мне хотелось работать по всем правилам. Но когда я стал размышлять о другой проблеме — о том, как мне избежать лап полиции,— я вдруг понял, что решение уже найдено. Отныне я всегда буду брать половину денег вперед, а выполнять заказ не стану. И денежки в кармане, и никаких хлопот с полицией.

Слушатели восхищенно прищелкивают языком, кто-то произносит: «Вот это да!» — и с перепугу заказывает угощение на всех.

— Но если бы я взял деньги и просто ничего не сделал, я б себя

чувствовал мошенником, и потому я выполнил все, как положено. Я следил за своей жертвой и, когда хорошо изучил все ее обычные передвижения, наметил время и место убийства. Интересующий меня человек каждый вторник вечером проходил по Эендеганг из конца в конец. Почему и зачем — не знаю, но в нашем деле это и не важно. Эендеганг с одного конца — совсем узенькая, темная улочка, там стоят одни старые склады. Я беру напрокат машину, занимаю выгодную позицию и поджидаю его. Вот он приближается; тогда я опускаю стекло, целюсь в него из револьвера и нажимаю на курок. Но ничего не происходит — револьвер не заряжен. Однако совесть моя спокойна: я отработал свои деньги.

Слушатели сочувственно кивают, им все это очень понятно. Серейн закуривает сигарету.

— После этого я стал ждать, что будет. Мой заказчик не знал моего адреса: мы встречались у него. Но он был парень дошлый и ухитрился выяснить, где я живу. В один прекрасный день он явился ко мне со своими расспросами и угрозами. Я рассказал ему все в точности как было. Он потребовал деньги назад. Я ответил, что это невозможно: я ведь проделал работу, и мне тоже надо жить. Конечно, я не стану требовать с него вторую половину суммы, на нее я не имею права. Он начал возмущаться и кричать, называть меня аферистом и тому подобное. Тогда я вынул револьвер и сказал, что на этот раз он заряжен. Клиент ушел и больше не доставлял мне хлопот.

Серейн с довольным видом отхлебывает из своего стакана.

— Я намеревался спокойно пожить на заработанные деньги и лишь потом снова взяться за дела. Но тут началось самое удивительное. Примерно через месяц ко мне приходит некто, представляется, ссылается на моего первого заказчика и спрашивает, не возьмусь ли я устранить одного человека. Я, естественно, соглашаюсь, а про себя смекаю: мой первый клиент решил, что ему будет легче, если и другой попадется на ту же удочку. Но меня это не касается. Я снова запрашиваю пять тысяч гульденов, он хочет тут же заплатить половину, но я говорю: нет, я вам позвоню. Он уходит, я выслеживаю его, он действительно идет туда, где, как он мне сказал, он живет. На следующий день я навожу о нем справки, и все как будто в порядке — во всяком случае, он не из полиции. Я звоню ему, назначаю встречу. Он приходит и сует мне в руку двадцать пять сотенных. После этого я месяц вкалываю, чтоб определить время и место убийства. Все идет по намеченному плану, я опускаю стекло, целюсь и нажимаю на курок. Вскоре мой второй заказчик приходит ко мне и мечет икру. Я и ему говорю то же самое, и он уходит. Через какой-нибудь месячишко снова некто является ко мне и заказывает двойное убийство. Так за годы упорного труда я приобрел обширную клиентуру — это обманутые, которым нельзя выплакать свое горе в полиции; единственное, что они могут, это сорвать свою злость на других. В высшем обществе теперь мой адрес — тайна, которая известна всем. Иногда мне даже приходится отказываться от заказа — так я занят. Но несмотря на это, я не чувствую себя счастливым — мне кажется все же, что я поступаю немного нечестно. Не по душе мне эти холостые выстрелы: я все спускаю и спускаю курок — и ничего не происходит. В Америке — вот это было время, тогда выстрел был выстрелом, ты его чувствовал, ты видел пулю. А сейчас ты только слышишь щелчок и больше ничего. Но мой долг — продолжать, мне надо жить, мне надо откладывать на старость, я ведь, так сказать, мелкий свободный предприниматель...

Серейн вздыхает, а слушатели активно сопереживают. Он смотрит на часы.

— Вот и время подошло. Если вам угодно, сейчас вы можете увидеть, как я выполняю заказ. Через пять минут мимо этого кафе пройдет престарелая супружеская пара. Их обоих надо застрелить; очевидно, дело в наследстве, это часто бывает. Вы, наверное, уже отметили, что улица эта не тихая и у меня нет машины. Вот так с годами у меня появилось равнодушие в работе: в конце концов это ведь все равно подделка. И все же я пришел, я не могу совсем отказаться от иллюзии.

Серейн хватает револьвер, подходит к окну и слегка отодвигает тюлевую гардину. Кафе находится на углу, из окна просматривается вся улица. На улице безлюдно; темнеет, вот-вот зажгутся фонари. Все двинулись от стойки вслед за Серейном и стоят полукругом позади него. Каждому хочется увидеть получше. Они объединены этой напряженной тишиной, напряженным вниманием. Серейн левой рукой вынимает носовой платок и сморкается, в правой у него револьвер.

— Ну и мерзкая же улица,— говорит он,— уж и не знаю, что это в ней такое. Всегда кажется, что вот-вот гроза разразится.

Никто не отвечает, все подстерегают престарелую чету, каждому хочется первому обнаружить ее. И все же первым замечает ее Серейн — замечает в самом начале улицы, у моста.

— Вот они.

Напряжение растет. Еще бы: сейчас они увидят наемного убийцу за работой! Серейн спокоен, пистолет не дрожит в его руке. Как всегда в такие минуты, он уносится мыслями в Америку, вспоминает время, когда одно имя его наводило страх. Теперь он опустился до голландского кафе, где дюжина нервных завсегдатаев дышит ему в затылок пивом и можжевеловой водкой.

Момент приближается: престарелая чета уже доковыляла до кафе. Серейн поднимает револьвер, целится, прищурив глаз, и спускает курок. Щелчок, он снова взводит курок, и снова щелчок. Тогда он сует оружие в карман и, не оборачиваясь, произносит:

— Конец, господа.

Зрители всё стоят у него за спиной. Они ожидали большего. Но время идет, и больше ничего не происходит. Вздыхая, недовольная публика возвращается к стойке. Трактирщик еще раз наливает всем за счет фирмы — под впечатлением и от радости, что все уже позади, что револьвер, слава богу, снова исчез в кармане Серейна. И что в самый захватывающий момент не ввалилась полиция, например, чтобы проверить, есть ли у него лицензия на продажу спиртных напитков.

Когда все выпили, трактирщик смотрит на Серейна, все еще стоящего у окна, и говорит:

— Конечно, это было небезынтересно, однако же, как бы вам сказать, о таких вещах нельзя говорить в подобном тоне. Парень, по-моему, не в своем уме.

Завсегдатаи кивают. У них было превосходное развлечение, они прекрасно провели полчаса, но теперь все кончилось, и Серейна надо как можно скорее отдать в руки палача.

А Серейн, у окна, смотрит на печальную улицу, взгляд его мрачнеет, потная рука в кармане дрожит. Он тоскует по Америке.

■

Критика

ХОСЕ МАРИА КАСТЕЛЬЕТ

ПОЭЗИЯ ХОСЕ АГУСТИНА ГОЙТИСОЛО

Имена трех братьев Гойтисоло — писателей, связанных в свое время «с новой» испанской литературой,— известны у нас в стране. Поэзии одного из них — Хосе Агустина Гойтисоло — посвящены два предлагаемых фрагмента из книги видного испанского критика и литературоведа Хосе Мариа Кастельета. Х. А. Гойтисоло — автор нескольких поэтических сборников, отмеченных крупными литературными премиями.

Формировавшаяся в 50-е годы глубоко лирическая поэзия его вместе с тем чрезвычайно чутка к социальному неблагополучию в испанском обществе, к демагогии и лицемерию официальных франкистских доктрин, о чем в особенности свидетельствуют «Псалмы на ветру» (1956) и «Ясность» (1961). Пятидесятые годы провозглашались франкистскими идеологами «годами мира» в Испании, но именно в эту пору в стране усиливаются оппозиционные настроения, нарастает протест против фашизма. И именно тогда созревает и в полный голос заявляет о себе целое поколение молодых писателей, определившее лицо испанской литературы 50—60-х годов. К нему принадлежит и Хосе Агустин Гойтисоло.

Обращаясь к сатирическому жанру (в сборнике «Псалмы на ветру»), Гойтисоло не просто следует одной из глубочайших традиций национальной литературы — только этот жанр, по его мнению, может раскрыть всю неприглядность лжи, на которой построено общество, где поэт вынужден жить, вместить боль и горечь за судьбу своей страны, своего поколения. Позднее поэт и издатель Карлос Барраль назовет его «поколением, у которого была украдена юность».

Написанные почти два десятилетия назад и переизданные в 1973 году, «Псалмы», как и анализирующая их статья Х. М. Кастельета (вошедшая, кстати сказать, в тот же сборник в качестве предисловия), живут и сегодня, хотя в них нет тех конкретных дефиниций и слов, которые уже звучат в сегодняшней Испании; стихи эти живы, потому что согреты искренним чувством, глубокой любовью и тревогой за судьбу своего народа. «Теперь я их перечитываю и как гражданин с горечью констатирую, что они мало устарели и достаточно актуальны сейчас, в действительности 1973 года. Изменилось, конечно, многое, но не в такой степени, как мне, наивному, мечталось и верилось». Пафос этой фразы из предисловия Гойтисоло к новому изданию его сборника не уступает по горечи чувству, которым пронизаны стихи поэта.

Испанская поэзия 50-х годов не богата сатирой. И это понятно: обстоятельства ни в коей мере не способствовали появлению сатирических и критических произведений.

Неудивительно поэтому, что сатирический сборник Хосе Агустина Гойтисоло «Псалмы на ветру» (1956), едва выйдя в свет, был принят с огромным интересом. Эта книга потрясла испанскую поэзию подобно взрыву и по праву считается одной из наиболее значительных и оригинальных в нашей литературе периода после гражданской войны [1].

«Псалмы на ветру» относятся к малочисленной и совершенно особой группе поэтических произведений, помимо своей чисто литературной ценности обладающих и другими достоинствами, прежде всего — ценностью исторической, что делает их вехами — если не главными, то во всяком случае определяющими — в процессе развития испанской литературы.

...Центральные темы книги можно сгруппировать следующим образом: буржуазия и ее нравы, чужие, интеллектуальная жизнь и простодушные.

«Буржуазия и ее нравы»

Мир буржуазии показан в пяти стихотворениях-сатирах.

Три из них высмеивают «мужскую» половину этого мира — с ее агрессивностью, откровенным цинизмом, жаждой власти и денег. В двух других изображается та сфера, где хозяйкой является женщина,— семья и социально-семейные связи.

Как же видит Гойтисоло эти два лика прочно укоренившейся власти буржуазии, или, говоря словами поэта, лавовой «глыбы застывшей», которая высится над «серенькой пустыней»?

«Могучий и великий, владыка светлоликий, опора наций, владелец ассигнаций!» — восклицает Гойтисоло в «Апологии свободного человека», описывая основы, на которых покоятся сила и власть буржуа, иными словами — его «свобода»:

И если для тебя ни в чем отказа нету,
и если безраздельно владеешь ты
планетой,
и если на тебя работает свобода,
то, значит, ты хозяин и все тебе в угоду:
каноны создаются и пишутся законы,
награды раздаются и делятся доходы.

Буржуа прочно обосновался в своем мире, который является всего лишь удобным креслом для «породы толстозадых», чей удел — «на шее у народа сидеть и править миром», однако это не значит, что он, буржуа, может похвалиться полным отсутствием человеческих слабостей, ставящих его на одну доску с прочими смертными. Отнюдь нет. Ему хорошо знакомы и падение, и грехопадение, но он умеет скрывать их: более того, он должен тратить часть своих денег, чтобы поддерживать порядок и спокойствие в обществе, создавая себе в то же время иллюзию приключения. Это и делает некий дон Клаудио в стихотворении «Жизнь праведника»; после бурно проведенной ночи он является в «респектабельное и уважаемое» учреждение — Центр информации,— направляется в свой кабинет и начинает рабочий день: «...сеньорита, быстренько статейку о поддержке всех устоев...».

Поступать иначе дон Клаудио не может, ибо только порядок способствует прогрессу и безупречной продуктивной работе, и все тот же порядок позволяет ему наслаждаться маленьким беспорядком, имя которому — грех. Бедняжка буржуа! — порой даже на службе ему приходится мобилизовать всю свою волю, чтобы не поддаться искушению:

Эта тоже мне по вкусу: и свежа,
и миловидна, и как яблочки колени,
но — на службе!.. бред, ей богу!.. Мой
престиж
и, главное, порядок...

К счастью, искушение побеждено благодаря «неувядающим» принципам. Эти самые принципы помогают и юнцу, история которого рассказана в стихотворении «Блудный сын». Порой юный буржуа, окруженный опасностями и соблазнами, забывает о «собственной безупречности» и делает «странный, необдуманный поворот».

Но волноваться не стоит: блудный сын вернется к своему очагу и к своим принципам, как заблудшая овца возвращается в свой загон:

...юность, как половодье, схлынет...
сын оставит свои проказы,
вернется в родное лоно
нерушимой семьи буржуазной,
станет ягненок добрым бараном,
консерватором станет рьяным,
и приумножит свою чистоту,
и пребудет бессменно
у добродетели на посту.

Был бы возможен такой финал, если бы не существовало семьи, в лоне которой молодой человек постигает все предписания и правила морали, хорошего тона и поведения в обществе, семьи, дающей своему отпрыску возможность учиться в «школе сверхидеальной у педагогов принципиальных»? Вероятно, нет. И поэт показывает, на каком фундаменте строится брак и возводится семья, откуда выходит такой вот «здоровый и благородный белый ягненок чистопородный».

Этому вопросу посвящено стихотворение «Идиллия и свадебный марш», состоящее из двух частей, каждая из которых трактует

[1] Имеется в виду национально-революционная война испанского народа (1936—1939 гг.). *(Прим. ред.)*

одну из тем, указанных в заглавии. В первой части — «идиллия» — показано, какими правилами должно руководствоваться в тот сложный и полный проблем период, когда молодые люди готовятся вступить в брак:

На пути человека стоят законы,
как нерушимые вехи, и поведения нормы
для ситуаций разных давно известны.
В ситуации данной — опасной — должно
влюбленным
умерить резвость, слушать рассудок
трезвый,
не спорить с геометрически строгой
моралью,
к цели раньше времени не стремиться
и того, что стыдно,— стыдиться.

Во второй части стихотворения влюбленные, подойдя вплотную к намеченной цели, торжественно празднуют бракосочетание. Здесь сатирический тон поэта несколько меняется. Если раньше критиковались нравы «мужской» — агрессивной — половины буржуазии, то теперь высмеиваются курьезные, на первый взгляд, нравы «женской» половины. Сатира несколько теряет едкость, ослабевает ее натиск, поэт останавливается более подробно на мелких деталях, например, на описании свадебной церемонии со всеми ее аксессуарами:

Они выходят, вокруг суета,
толпятся друзья, глазеют зеваки,
и море цветов, и оплачены все счета,
у невесты — куча подарков, у жениха —
куча талантов, доходное дело
и ум, энергичный и смелый.

И музыки гром до самого неба,
и от невесты исходит сиянье,
и цыплята жарятся в ресторане,
и всхлипы, и страстные взгляды,
и музыка снова, и речи,
и улыбки подруг, и наряды,
и поток пожеланий горячих,
и марш — Великий Марш Новобрачных...

В таком же ключе написано стихотворение «Визитеры». Иногда в нем проскальзывают и мягкие нотки — наряду с высмеиванием различных условностей, связанных со смертью и похоронами одного из представителей буржуазного общества (бдение у гроба, традиционное выражение соболезнования, любопытство соседей, погребальный ритуал, согласованный с тарифными расценками). Визитеры, сдержанные, но втайне полные любопытства, наводняют дом умирающего, ожидая того момента, когда врач объявит о кончине. И тогда:

...они в молчании застынут —
заученном и долгом,—
к усопшему поочередно подойдут и
кинут
последний взгляд — какое горе, право,
мы сожалеем, любим, помним... —
и уберутся прочь из этих грустных
комнат.

А пока что визитеры, терпеливые и верные долгу,

...как на дежурстве, напряженно,
неутомимо ждут — в гостиной, и в
прихожей,
и в застланных коврами коридорах,—
когда свершится все. Волнуясь, визитеры
готовятся к своей печальной роли:
замкнется жизни круг, и им придется,
как герольдам,
о бренности земной поведать миру.

«Чужие»

Итак, мы познакомились с различными типами, характерами, нравами буржуазии, жизнь которой идет по привычному, раз навсегда установленному кругу: сватовство, брак, семья и ее обычаи, грехопадение и раскаяние, богатство и благотворительность,— и все это под эгидой доброго буржуазного порядка, разумеется.

Но, оказывается, вокруг буржуазного общества отираются (а иногда и проникают в него) «чужаки» — личности, о которых даже и говорить неприлично, такие, как «меченый» или «сильная женщина».

Франсиска, «сильная женщина», лелеет, охраняет и возглавляет свое «заведение»; ярко освещенное во тьме ночного города, оно «как вспышка огня, как голоса всплеск, как блеск звезды путеводной». Владелица печется о нем с не меньшим усердием и любовью, чем настоящая хозяйка настоящего семейного дома:

Благословенные руки
утопают в потоках шалей и тканей,
в трепыханье косынок, ключей,
простынок...

«Меченый» же, «как все прочие, учится, ест, устает и болеет...».

И тем не менее нечто отделяет «чужаков» от общества, делает их «чужими», к их же собственному огорчению. Действительно, с одной стороны, Франсиска «у любимого очага полна надежды и радости чистой», а с другой:

Никого. Еще слишком рано. Даже любви
дебютанты, что крадутся неслышно,
пугливой мышью, не появились;
пустынно, нарядно в этих покоях
прохладных,
откуда градом сыплются стрелы
в грудь застарелой супружеской скуки.

Да, Франсиска, «Хозяйка, Матрона, Королева» этого дома греха, является разрушительницей семьи, погубительницей — к счастью, не слишком опасной — блудных сыновей и праведников.

Что касается «меченого», он хотя и учится, ест и пьет, как все прочие люди, но в то же время «воспринимает иначе обычные вещи, не спит по ночам, воюет и любит». А изучает он

...стихи небесных поэтов, и гвоздики
букеты,
и сумрачный шелест нижнего платья,
и культуру Эллады во всех аспектах.
И время проводит среди эрудитов —
в кафе, на собраньях, в библиотеках...

«Меченый», без сомнения, тоже принадлежит к племени отверженных, к тем, кто грешит против Святого Духа. Для буржуазного общества он представляет бо́льшую опасность, чем «сильная женщина», поскольку является сознательным носителем разрушительного начала — беспорядка:

Его действия и порывы противоречивы.
Он восклицает сегодня: демократия —
это прекрасно,
и просит свободы для человека,
а завтра выходит на улицу очень
серьезный
и сквозь толпу проносит слинявший
лозунг:
Семья, Единенье, Порядок!

Но — осторожно! — мы у опасной черты, идеологии! И поэт приглашает нас познакомиться с жизнью интеллектуалов, рисуя картину не менее реалистическую, чем виденные нами.

«Интеллектуальная жизнь»

В стихотворении, открывающем «Псалмы», Хосе Агустин Гойтисоло воспроизводит историю испанской поэзии первых лет после гражданской войны. «Когда смолк последний раскат канонады», рассказывает автор, появились поэты:

Самое время, сказали поэты,
разрабатывать до смешного
бессмысленные сюжеты,
то есть надо забыть обо всем, что
случилось,
и слагать красивые вирши, пустые, но
полные звона,
мелодичные, словно лютня...

Так они и сделали. Воскресили Гарсиласо,[1] стали носиться с ним, как с реликвией, а потом возвели на трон. Однако продолжалось так недолго. Поэтам это быстро надоело, и в один прекрасный день их осенило, что они забыли о боге:

И вытеснил бог старика Гарсиласо,
и был возвеличен, и посыпались разные
клички:
нежный тиран, мессия, дружище,
прародитель, воитель, рачитель,
хранитель
и покровитель, жизни опора и — хором,
на «ты», с придыханьем, — Всевышний,
Всевышний!...

Вот и вся краткая история «небесных» поэтов, которые такими остаются и ныне. На смену им, как показывает Гойтисоло, приходят другие:

...кучка поэтов других — одержимых,
безвестных:
человека они воспевают и ничтожное
царство его,
высмеивают, и прославляют,
и требуют громко, бия себя в грудь:
— Родину нам верните, мир сохраните,
свежего ветра дайте глотнуть!

К этой группе, конечно же, принадлежат лучшие испанские поэты наших дней, в том числе и сам Гойтисоло.

Нечто подобное наблюдалось в то время и в других областях культурной жизни. В стихотворении «Пророк» Гойтисоло рассказывает об удивительном учреждении, носящем название «Высший Совет Метафизических Исследований».

Пророк, «честный философ на службе у собственной доброты», призван господом богом, который не в силах дольше терпеть возросшую до угрожающих размеров греховность своего царства, воздеть длани и обрушиться на него с гневной проповедью. И вот пророк у стен Совета восклицает:

Вы позабыли о миссии вашей
священной —
изучать причины и следствия всех
явлений
и законы прогресса; вы здесь сидите
и готовите спичи, доклады и юбилеи,
вы обленились,
вам неохота подумать, что люди
за пределами крепости этой страдают
жестоко,
что когда-нибудь их прегрешенья
и кровавые слезы
на головы ваши хлынут потоком...

Но голос его никого не вразумил, лишь

...появились
зловещие лица в проемах оконных,
и ненависть растеклась по балконам...

И пророк умирает — он убит во время этой проповеди в защиту человека и прогресса, в защиту угнетенных и их будущего. Газетная хроника сообщает, что «растерзала его печенки свора голодных собак и маститых ученых».

Эти два стихотворения характеризуют жизнь испанской интеллигенции гораздо более точно и остро, чем все литературные исследования, опубликованные у нас в 50-е годы.

«Простодушные»

Среди замкнутого и эгоистического мира буржуазии с его специфическими нравами, среди «чужих» с их мелочными и смешными заботами порой встречаются и люди светлые, чистые, неспособные лгать и лицемерить: это «простодушные», к которым обращены симпатия и нежность поэта.

Мы уже упоминали некоторых из них, например, пророка, этого «честного философа на службе у собственной доброты» и — добавим — у собственного святого гнева. К ним же относятся и «одержимые» поэты, требующие мира, родины и свежего ветра.

Но есть люди и еще более простодушные. Они никогда не сумеют сформулировать тех «постулатов истины», которые проповедуют интеллигенты, подобные пророку и «одержимым» поэтам.

Одной из таких «простодушных» является «девчурка» из упомянутого выше стихотворения «Жизнь праведника». После ухода дона Клаудио она

...прослезилась,
может быть, из-за того, что с ней
случилось,
иль от счастья, или от любви,
хоть не освященной богом и законом,
но кристально чистой и бездонной.

Она не в состоянии полностью осознать того, что с ней происходит, не понимает и никогда не поймет объективной вины дона Клаудио перед ней и обществом. Поэтому, одеваясь, девушка

...больше уж не плачет,
весело глядит на шелковистые кредитки
и — поет. Поет! — какое чудо!

Порой у «простодушных» даже нет имени. Они настолько незаметны, что ничем

[1] Гарсиласо де ла Вега (1503—1536) — испанский поэт-лирик. Здесь, вероятно, имеется в виду возникшее в испанской поэзии в конце 30-х годов течение «неогарсиласизм», означавшее уход от актуальной тематики в чистую лирику. *(Прим. ред.)*

не выделяются среди тех, кто погряз во лжи социальных отношений. И лишь в редкие мгновенья вспыхивают они подобно искре, подтверждая тем самым факт собственного своего существования. Так, в стихотворении «Визитеры», пока родственники и прихлебатели толпятся в доме усопшего, кто-то плачет «безутешно и самозабвенно и совсем, совсем неэстетично...». Этот некто, безымянный, затерянный в толпе визитеров, никем не замеченный в предпохоронной суете, плачет в углу, нисколько не заботясь о производимом впечатлении, плачет так, как могут плакать только дети или... простодушные.

Но не всегда надо искать простодушие, как иголку, затерявшуюся в стоге сена, в лавовой «глыбе застывшей» буржуазного общества. В трех стихотворениях — первое из них сатирическое, два других написаны в мягкой иронической манере — Гойтисоло дает нам еще три примера «простодушных».

Пример первый — «солдатик». Ему задурили голову, нахлобучили каску и внушили, что война — вещь прекрасная:

...мы все замаршируем—в каскеточке нарядной,
небесно-голубой! И люди глянут
и закричат: «Чудесная картина!
Идут солдаты в бой!» —

и, несомненно, героическая:

Картиночка что надо:
повизгивают пули, бабахают снаряды,
а мы под канонаду шагаем и поем;
и умереть мы рады,
и стать песчинкой малой, былиночкой, репьем.

Но прекрасной война не бывает никогда, а героической и победоносной — далеко не всегда. И «солдатик», которому для поднятия духа твердили:

Вперед, вперед! Тебя подталкивают сзади
отечество, культура, честь
и все такое... —

побежден в бою, взят в плен и с изумлением видит, как рушатся все его иллюзии. И он — абсолютно простодушный, обманутый, как «девчурка» дона Клаудио и многие другие,—ничего не понимает, ничего не в состоянии уразуметь и лишь констатирует:

И снова километры —
без родины—без всяких этих штучек,
которым нас прилежно учат.

Все это он принимает с покорностью, ибо такова участь простодушных, брошенных на произвол судьбы теми, кто злоупотребил их доверием.

Простодушны и «девочки-подростки». Их хочется приласкать и ободрить, когда они с наступлением осени

дрожат и бледнеют; и минуло лето,
и нет ни улыбок, ни песен,
и брошена в угол смятая красная лента...

В «Промокших девочках» Гойтисоло с нежностью и иронией говорит о девочках-подростках, вступивших в ту удивительную пору жизни, когда они вот-вот станут взрослыми, а пока что полны тревоги и ожидания больших перемен. В мире все идет своим чередом, а эти

...бедняжки ежатся зябко, бледнеют
и грустят, потому что зимой, как известно,
девочки мокнут, и коченеют, и выглядят неинтересно.

К «простодушным» можно причислить и таких мальчиков, жизнь одного из которых — свою собственную — поэт описывает в стихотворении «Автобиография»:

Помню, мальчонкой малым
был я всегда печальным,
и отец, головой качая,
мне говорил, бывало:
—Сыночек, какая жалость,
ничего из тебя не выйдет.

Мальчик, из которого «ничего не выйдет», «мокнущие и коченеющие» девочки, «солдатики», неизвестные люди, которые плачут «совсем, совсем неэстетично», девушка («Поет! — какое чудо!»), «одержимые» поэты, «честный философ на службе у собственной доброты» — все они противостоят миру, где царят могучие и великие, доны клаудио, «блудные сыновья», «визитеры», женихи и невесты, любящие друг друга «с канонической серьезностью», «меченые», «сильные женщины», «небесные» поэты, «маститые профессора» и ассистенты из «Высшего Совета Метафизических Исследований». Заметьте, речь идет не о хороших и плохих, а о слабых и сильных, о простодушных и лишенных совести.

В книге нет оценок по шкале индивидуальных абсолютов, все оценки даются с точки зрения социальных отношений. «Псалмы на ветру» — это не нравоучительная поэзия, это поэзия реалистическая в подлинном смысле слова и — если уточнить ее концепцию — поэзия социальной сатиры.

Откуда — может возникнуть вопрос — черпает эта сатира свою поэтическую убедительность? Я бы сказал, что дело здесь не только в чисто внешних достоинствах стиха, не только в удачном выборе размеров и ритмов, яркости метафор («когда гордость зарылась поглубже в нору»), эпитетов («порода толстозадых») и прочих поэтических средств («плачет совсем, совсем неэстетично»). Источником поэтической убедительности этой книги является ее строгий реализм, сконцентрированная в ней диалектика целой эпохи в жизни Испании.

Поясню свою мысль: «Псалмы на ветру» остались бы сатирическим произведением, если бы в книге не было тех, кого мы назвали «простодушными». Однако без них, без такого реалистического и живого контраста между простодушными и лукавыми, слабыми и сильными, сборник был бы лишь одним из ярких — но не более — образцов поэзии социальной критики. Присутствие же «простодушных» придает ему глубину, объясняет, почему те, другие, могут быть сильными, на чьей слабости основывается их гнет, почему на них ложится объектив-

ная вина, хотя порой они сами, в силу своего цинизма, а еще больше невежества, не чувствуют себя виновными.

Из этого контраста, из этого сопоставления и проистекают оригинальность «Псалмов на ветру» и поэтическая убедительность книги.

Эстетическая формула этих стихов таит в себе огромную силу воздействия — стоит поэту лишь чуть-чуть повернуть кран, и наружу мощной струей вырываются горечь и нежность, печаль и любовь, которые нас ранят и ослепляют, обогащают наш опыт и наполняют нас свежестью жизни.

«Ясность» — третья книга стихов Хосе Агустина Гойтисоло, произведение автобиографическое, углубляющее то единое русло, по которому течет поэзия Гойтисоло. Для предыдущих своих книг поэт избрал такие несхожие формы выражения, как элегия и сатира; однако обе эти формы не что иное, как две пробы, взятые из пласта окружающей его — человека и члена общества — действительности и предложенные читателю.

Итак, «Ясность» — автобиография, и это сразу чувствуется, потому что вся книга — в строгом соответствии со своим заглавием — достоверна, полнозвучна и прозрачна, одним словом, это «ясная» книга.

Так что же это — лирическая автобиография? Самовыражение, к которому столь склонны поэты? В какой-то мере. Впрочем, с самой первой страницы, открывающейся цитатой из Антонио Мачадо, у читателя не остается ни малейшего повода для сомнений: «Не выходя за свои пределы, замечаю, что в пульсе моем бьются другие пульсы, что сердце мое участвует в хоре...». Верный этому девизу, Гойтисоло развертывает перед нами биографию, несомненно, свою, личную, неотъемлемую от его собственного «я», но спетую, рассказанную таким образом — в разрезе историческом, с сознанием своей причастности к званию человека,— что она становится явлением типическим, общественным, приобретает ценность социального свидетельства.

Нам не приходится ломать голову над какими-либо загадками, уже в первых строках поэт дает ключ к пониманию своей добровольной солидарности с миром:

Со вчерашнего дня у меня
собеседник привычный —
как все, человек обычный,
и он—это я самолично.

Как это далеко от чванливого, чрезмерного самоуважения поэтов символистского толка, уверенных, что уж они-то владеют всеми тайнами поэтического мастерства, что уж им-то, избранникам, чародеям и магам, покоряются все слова и звуки! Гойтисоло — в том же самом первом стихотворении — решительно отмежевывается от всякой потусторонности, от метафизики в поэзии, дает обет верности гуманизму и ни разу на протяжении всей книги не нарушает его:

Со вчерашнего дня он говорит:
твоя судьба—это вся земля,
и твой народ, и твои друзья,
и ты сам у домашнего очага.

«Вчера»

Стихотворение, откуда взяты эти цитаты, открывает первый раздел сборника, озаглавленный «Вчера». За этим стихотворением следуют три других, построенных на образах детства; в них поэт воскрешает счастливые годы — «тот клад, который мальчиком зарыт» и который теперь, через много лет, можно было бы отыскать, «когда бы смог я вновь свой путь пройти сначала».

Детству, счастливым годам внезапно наступает конец. На испанской земле начинается гражданская война, не утихавшая три страшных года:

И рухнул внезапно
сожженный воздух
и огненной шпагой
вонзился в землю.

Война оставила неизгладимый след в душе поэта, и ее отголоски не раз звучат в книге — и во второй и в третьей ее частях. А стихотворение «Остается пыль» из первой части — это и воспоминание, и предостережение, ибо пыль и пепел войны до сих пор носятся в воздухе,

...осыпая память мою,
и грудь и листы той бумаги,
на которой пишу...

Первую часть сборника завершают пять стихотворений, рисующих отрочество поэта: товарищей («На улице»), школу и монастырский коллеж («Мои учителя»), отход от религии («Я хотел бы»), друга («Другу»), братьев («Всегда»).

«В пути»

Кризисом отрочества завершается один период в жизни поэта и начинается другой. Вторая часть сборника, названная «В пути», рассказывает об осознании таких понятий, как родина и социальная действительность,

и об открытии поэтического слова, которое может стать орудием труда и борьбы.

Поэт вступает в этот новый мир, пройдя через «Смутные годы» (таков заголовок первого стихотворения второй части), во время которых он едва узнает самого себя:

Я ли это — печальный и хриплый
звук вне колокольного звона?..

Стихотворение «Двадцать лет». Время учебы в университете, пора приобретения новых друзей, тревожных и бурных любовных увлечений... Но эта пора богата и жизненно важными событиями: окончательно осознается собственная принадлежность к единому человеческому коллективу, во всей полноте проявляется призвание поэта.

В стихотворении «Такие слова» провозглашается поэтический манифест Гойтисоло. Молодой поэт открывает, что такие давно известные слова, как «голод, боль, ложь», в контексте жизни вдруг приобретают особый смысл, гораздо более суровый и жестокий, чем в обиходном языке: «За каждым — целый хор застрявших в горле криков». В нем нарастает возмущение против существующего положения вещей, а оно рождает новое видение мира и чувство собственной ответственности — поэта и человека — перед этим миром:

Поэзия моя! Иди,
подняв знамена,
на битву против слов таких.

Три эти стихотворения — открытая исповедь, в которой поэт говорит о том, как он представляет себе роль своей поэзии: это знамя борьбы против нищеты, боли и лжи, терзающих человечество, это стяг, поднятый во славу справедливости, радости и правды. Это исповедь поэзии гражданской, воинствующей, место которой — в рядах исторического реализма, иными словами — поэзии на службе человеческого общества, борющегося за торжество справедливости, правды и радости, потому что каждый человек имеет на них право.

Итак, перед нами поэзия, бесконечно далекая от чистого искусства, от поэзии волшебных звуков, от поэзии, проводящей границу между словом поэтическим и «речью племени», как говорил Малларме. Более того, не приемля такой поэзии, Гойтисоло в стихотворении «В кафе» высмеивает «небесных поэтов» — как он их назвал еще в «Псалмах на ветру»,— поэтов, которые по сей день считают поэзию эстетическим упражнением, словесной игрой, выражением невыразимого, скрывая за этим и явный обман, и тревогу, и собственное творческое бессилие, и плагиат,— короче говоря, повторяют старые формулы стихописания с оговоркой, что якобы нет в поэзии иной достойной традиции, кроме символистской — «классической».

Как мы отметили, во второй части сборника Гойтисоло повествует не только об открытии поэзии, но и об открытии родины, реальной, настоящей, далекой от того детского представления о ней, какое сложилось у мальчика еще до начала гражданской войны. Вторую половину второй части книги составляют четыре стихотворения, посвященные различным уголкам родной земли («Написано в Оропесе», «Авилский ноктюрн», «Земля Кампоса» и «На острове»), а также песня, где имя той, к кому обращены эти строки — Лилиана,— повторяется не только ради звучного ассонанса со словом Испания, но и несет определенную смысловую нагрузку, еще два стихотворения, в которых говорится о связи родины с прочими странами мира, и заключительное — «Как танго». В нем поэт, окинув взглядом всю свою страну и заглянув в ее душу, спокойно и торжественно воспевает надежду:

Пускай замыкается круг,
очерченный тенью черной,
но продолжается жизнь, и она
прекрасна, как бог
ясности неомраченной.

«К жизни»

Третья, и последняя, часть «Ясности» названа «К жизни». Ее лейтмотив — осознанное решение поэта, преодолевшего кризис и открывшего для себя поэтическое слово и животрепещущую современность, посвятить и себя, и творчество свое людям, потому что и личность, и личная жизнь поэта сливаются с их жизнью.

Стихотворение, открывающее третью часть, «Не ведаю, как...» — это рассказ о том, как поэт вдруг услышал голос народа, зазвучавший в его душе «подобно грому в неразберихе прочих голосов»:

...а я,
я ждал его так долго,
и он, народа древний голос,
вернулся вдруг ко мне
и стал звучать, звучать немолчно —
так возвращают слух глухому
колокола любви.

Поэт, услышавший этот голос, испытывает радостное чувство, словно обретая вновь старого друга, и эта радость находит выражение в стихотворении, созвучном предыдущему и названном «Встреча». Отождествление радости с чувством обретения народа, встречи с народом (встречу, конечно, надо понимать метафорически, речь идет о внезапной встрече с тем, кого все время ждешь и хорошо знаешь заочно, хотя и не знаком с ним лично) — одна из главных поэтических находок Гойтисоло. С другой стороны, эта встреча как бы обновляет все существо поэта, потому что до сих пор жизнь его «катилась, как малая капля воды...».

После таких встреч формируется и укрепляется воля человека. В стихотворении «Бродячая песня» Гойтисоло обращается к своим друзьям, и новым и давнишним, с призывом «постоянно бороться» и,

...подобно камню,
бродячей песне подобно,
быть грозным и чистым
и вытерпеть все, не дрогнув.

Четкое, волевое провозглашение и утверждение задач творчества — эти мотивы вновь появляются, когда поэт излагает свою

концепцию роли поэзии как свидетеля всего происходящего:

Хочу записать
все то,
что вокруг происходит.

Такое точное понимание задач творчества характерно для всей поэзии и поэтики Гойтисоло, мы уже видели это на примере приведенного выше стихотворения «Такие слова». Не вызывает сомнения, что творческое кредо Гойтисоло — кредо поэта-борца.

Еще два стихотворения из третьей части книги. В них поэт не конфликтует с внешним миром. «Таким образом» и «С нами» — это две зарисовки семейной жизни, той самой, что в соответствии с творческими принципами поэта сливается с жизнью человеческого коллектива. Стихотворение «Таким образом» одно из немногих (если не единственное) представляет любовную лирику Гойтисоло. «С нами» повествует о вторжении в семью нового существа — дочери поэта.

Три последующих стихотворения как бы составляют ядро третьей части. В первом из них автор открывает секрет своего обновления: он стал по-новому честным, шагая по дороге, ведущей «к жизни»,— открывает его всем тем, кто поверит ему и пойдет вместе с ним:

Если пойдешь со мною,
тайну тебе открою.

В этих строках звучит эхо романсеро:

Пойдешь за мной — спою
тебе я песнь мою.

Во втором стихотворении, «Воспоминание», с новой силой оживает память о гражданской войне — лейтмотив всего творчества Гойтисоло. «Воспоминание» занимает центральное место в этом разделе и совпадает по тематике с первым сборником поэта, «Возвращение». Вокруг «Воспоминания», как вокруг оси, вращаются все стихи третьей части, это как бы минута размышлений, вслед за которой звучат итоговые мысли книги, спроецированные из прошлого на экран будущего. Эти мысли изложены в стихотворении «Рассвет» и в четырех последних стихотворениях книги.

Гойтисоло, поэт-гражданин, в то же время и поэт-горожанин, певец города, член городской общины. В стихотворении «Однажды» он дает — опять-таки в сопоставлении с прошлым, на сей раз далеким, включая в стихотворную ткань известные слова Сервантеса о Барселоне,— образ родного города, перенесенный в будущее.

Сходный поэтический прием — противопоставление прошлого и будущего, минуя безотрадное настоящее,— мы находим в двух стихотворениях, посвященных двум поэтам — Антонио Мачадо, по случаю двадцатой годовщины со дня его смерти, и Мигелю Эрнандесу, в связи с его пятидесятилетием. Вместе со стихами, посвященными памяти Федерико Гарсиа Лорки (из второй части книги), они могли бы составить «трагический триптих», воспевающий трех великих погибших поэтов.

Завершает книгу стихотворение, название которого стало заглавием этого сборника. В нем Гойтисоло говорит не только от своего имени, но и от имени всех тех, кто по той или иной причине обречен на горестное молчание:

Ты слышишь —
перекрывают мой голос
крики людей,
не смеющих вымолвить слова.

Его голос становится эхом «пульсов», бьющихся в его пульсе. Выбор цитаты из Мачадо в качестве эпиграфа к книге полностью оправдан: поэт неуклонно стремится влить свой голос в общий хор, присоединить его к голосам тех, кто взывает, требует, стонет:

Ради борьбы, ради каждой
попытки разрушить твердыню,
возведенную мраком,
взываю к тебе: не померкни,
освети мою жизнь
и будь мне отныне
спутницей, ясностью.

Барселона

Перевод с испанского НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

◆

Ю. КАГРАМАНОВ

ВЕСТЕРН ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Он на коне
В стальной броне
В лучах и тенях Ада.
Песнь на устах,
В днях и годах
Искал он Эльдорадо.

Эдгар По

Эту статью можно было бы назвать иначе: «Фронтир вчера и сегодня», потому что «вестерн» ассоциируется с трескотней выстрелов и конским топотом стереотипных кинобоевиков. Английское «frontier» переводится на русский язык словом «граница» (в специальных исследованиях употребима транскрипция: «фронтир»), но речь идет о границе в специфическом американском смысле. От начала колонизации Северной Америки до конца XIX века «границей» называли изменчивый и приблизительный предел расселения продвигавшихся на Запад белых пионеров.

«Граница» — грандиозная в пространстве и времени историческая эпопея. Вестерн — это, собственно говоря, любая литература, кинопродукция и тому подобное о «границе». Хотя опыт «границы» сложным образом преломился чуть ли не во всей американской культуре, вышло так, что, собственно, тематику «границы» почти целиком присвоила именно «массовая культура» с ее тягой к упрощениям, к стереотипам. Это не значит, что нет «серьезных» вестернов — они есть, и о них тоже пойдет здесь речь. Заметим, однако, что и стереотипный вестерн — предмет, на первый взгляд, довольно-таки пустопорожний и потешный — вовсе не так уж прост, как это кажется, и заслуживает того, чтобы к нему приглядеться.

Исторические реальности «границы» и жанр вестерна (в литературе, кино, телевидении, комиксах) — эта проблема соприкасается и переплетается с другой: вестерн и современность. Ибо связь прошлого с настоящим выражается не только в том, что настоящее вышло из недр прошлого. Хотя прошлое — раз навсегда «ставшее» — объективно неизменное, оно не перестает меняться в сознании поколений. Каждая эпоха по-своему переосмысливает — как теоретически, так и образно — минувшее, а переосмысленное минувшее, актуализуясь, участвует в духовном движении общества. Это, так сказать, вторичная связь истории с современностью.

Два обстоятельства, касающиеся вестерна, заслуживают быть сразу отмеченными. Во-первых, необычное, неиссякаемое изобилие в США продукции в этом жанре. И в литературе: ежегодно появляется в среднем около сотни новых вестернов (романов и повестей) и почти столько же переиздается. И в кино. И особенно на телевидении: нередко можно посмотреть целую дюжину вестернов на протяжении одного только дня.

Во-вторых, эффект присутствия вестерна до недавних пор не был оценен по достоинству. Эстетическая мысль не то чтобы совсем не замечала бравых «покорителей Запада», но уделяла им совсем немного внимания. Причем это внимание обычно сосредоточивалось на проблеме сопоставления «история и легенда», тогда как в плане взаимоотношений «жанр и жизнь» роль вестерна почти не исследовалась.

Между тем связь вестерна с американской действительностью многосложна. Сейчас критика, наверстывая — по причинам,

о которых ниже будет сказано,— прежний свой недостаток внимания к вестерну, жалует последнему («массовому», «каноническому», бульварному вестерну) ранг «мифа Америки». Словом «миф» нынче злоупотребляют, но, пожалуй, в данном случае оно все-таки более уместно, чем в других. Если точнее — стереотипы «саги о границе» являют собою специфический и вместе с тем характеризующий «срез» американской (а в какой-то мере вообще западной) «массовой культуры».

Несколько строк о самой «границе». Без малого три столетия существования (1607—1890, последняя дата, впрочем, условна) наложили глубокий отпечаток на американское общество и его культуру. Хотя реальности к востоку от линии расселения пионеров менялись — в XVIII веке они были не теми, что в XVII, а в XIX иными, чем в XVIII, «граница» оставалась долговременным фактором американской истории и продолжала им быть в качестве фактора культуры уже после того, как в словарях английского языка рядом со словом «граница» в данном значении появилось коротенькое «ист.» (исторический термин).

В конце 1890 года очередной бюллетень Суперинтенданта переписей констатировал «закрытие границы», ввиду отсутствия сколько-нибудь крупных массивов незанятых земель. Эпопея закончилась — эпопея родилась. В начале нынешнего столетия «сага о границе» сложилась примерно в том виде, какой сейчас принято считать «каноническим».

Разумеется, складывалась она нескоро. У вестерна своя собственная долгая история. Два направления в этом жанре литературы, которые при слиянии своем дали жизнь современному вестерну, обозначились уже в первой половине XIX века. Одно из этих направлений можно назвать литературой документа: это автобиографические записи бывших пионеров, самыми известными из которых были Дэниэл Бун и Дэви Крокетт. Особенно был популярен последний, продиктовавший (за малограмотностью) в 1833 году «Рассказы и шутки полковника Дэвида Крокетта». Грубоватый, но «порядочный», бесшабашный, балагур и хвастун, «полковник» имел множество подражателей и до сих пор остается одним из сквозных персонажей вестернов.

Другой сорт вестерна разохотившийся читатель находил на страницах дешевых бульварных романов (dime novels; вестерн их почти все «оккупировал»). Их авторы обычно смутно представляли себе жизнь на Диком Западе (иным из них никогда не приходилось бывать западнее западных окраин Нью-Йорка), зато они набили руку на фабрикации приключенческих сюжетов. Им было все равно, о чем писать — о пиратах или о пионерах, Запад им служил просто сценической площадкой для беллетристического вымысла. Таким сочинителем был, например, Э. Джадсон, автор многих вестернов, чьей книгой «Черный мститель Испанского моря» зачитывался Том Сойер.

И в бульварной беллетристике, и в литературе документа характеры и ситуации еще весьма далекие от тех, что приняты в «канонических» вестернах (то, что выжило и было канонизировано,— образ того же Крокетта, например,— претерпело значительную трансформацию). Эти последние, в кинематографических главным образом вариантах 30—40-х годов, достаточно известны миру (некоторые из этих вестернов шли на наших экранах). Напомним о них.

Наспех сколоченный деревянный городок, затерявшийся где-то на Диком Западе. Фон — яркий, или величественный, или мрачный, или все вместе: сочная прерия, выжженная солнцем пустыня, горный скалистый склон, неоглядный простор. Городок — с населением преимущественно мужским, транзитным, разношерстным; откуда-то приходят и куда-то уходят дилижансы, в подозрительных салунах режутся заядлые картежники, сильно «пахнет порохом». В этой обстановке разворачиваются похождения героя, тоже невесть откуда взявшегося,— похождения, в которых будут и индейцы, и бешеные скачки с перестрелками, и любовная история, и, конечно, обязательный счастливый конец.

Герой тут особенно важен. Вы его узнаете, как только он оказывается в кадре: едва он слез с коня или появился в дверях салуна, вы уже видите, что это «Он». Если в фильме есть «Она» — некий эталон слабого пола (обычно есть), ей это тоже ясно с первого взгляда. «Им» может быть Кларк Гейбл, или Гленн Форд, или Гэри Купер — ладный, статный, прямо-таки лучезарный, уверенный в себе, почти полубог. «Рыцарь в белых одеждах и на белом коне», по выражению покойного французского кинокритика А. Базена, странствующий в поисках своего Грааля. С самого начала зритель будет с ним душой во всех перипетиях.

«Он» отнюдь не появился на свет готовеньким, во всеоружии, как Афина Паллада — из Зевсовой головы. За его идеальными пропорциями — целое столетие опытов, эскизов, примерок, прикидок, вариаций, поправок и уточнений. Вся эта подготовительная работа совершалась в литературе.

Американские исследователи обычно начинают историю вестерна с Фенимора Купера, автора знаменитых романов о Натти Бумпо — Кожаном Чулке, подчас как-то скрадывая разницу между этим большим писателем и позднейшими ремесленниками. (Вообще создается впечатление: так сложилась судьба вестерна, что сначала в нем пробовали силы подлинные художники, кроме Купера это были еще Ф. Брет Гарт, Марк Твен, потом этот жанр был как будто отдан на откуп бульварной романистике и кинопромышленности, а в последнее время вновь привлек внимание качественной, так сказать, литературы.) Верно, что Натти Бумпо — Кожаный Чулок из романов Купера был первым широко известным не только в Америке, но и за ее пределами героем «границы» (отчасти автор писал его

Ю. КАГРАМАНОВ
ВЕСТЕРН ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

с упомянутого Д. Буна, первопроходца конца XVIII века).

Романтик, не приемлющий цивилизацию и побратавшийся с индейцем Чингачгуком, этакий вообще не похожий на других, Натти задевал в читательских сердцах какую-то чувствительную струну. Но, увы, звенели в них и другие струны, или, может быть, просто были другие читатели, для которых Натти оказался слишком уж хорош. И вот появляется на свет в 1837 году и выдерживает 34 издания «Ник-лесовик» Роберта Берда — книга жестокая и вульгарная. Ее герой Натан Слотер тоже охотник, но, в отличие от Кожаного Чулка, охотится он больше на индейцев, которых убивает хладнокровно ни за что ни про что. Натти Бумпо бежал капиталистической цивилизации, а Слотер — прокладывал ей путь. По стопам примитивного героя Берда пошли и другие герои бульварного вестерна: скауты, охотники, старатели, коммивояжеры, солдаты, шерифы и просто искатели приключений.

Когда «граница» просочилась сквозь леса, что вокруг Миссисипи, и вышла на степные и горные просторы Запада и Юго-Запада, на страницах вестернов появился новый герой, вскоре затмивший всех прочих: ковбой. Своим вознесением ковбой обязан Оуэну Уистеру, его книге «Виргинец» (1902). Именно Уистер сделал немудрящего западного скотовода воплощением странствующего паладина. Уистер одарил своего «ковбоя» рыцарственной учтивостью и отвагой, чувствительным сердцем, твердой рукой, а также «длинными золотистыми волосами, волнами ниспадающими из-под широкой белой шляпы», и тому подобными чертами романтической картинности. Покрытый дорожной пылью и романтической славой, гордый одиночка, Виргинец стяжал огромный успех у читающей публики. Этому способствовало и еще одно новшество Уистера: он привнес в вестерн любовную историю.

Заметим, что рыцарство Виргинца было не просто литературщиной, данью книжной традиции. Уистер был аристократом, южанином, и своему герою он передал неприятие промышленного капитализма и урбанизма с позиций угасающего южного барства, видевшего в себе носителя идеализированных феодальных доблестей (элементы феодальной идеологии были гальванизованы на Юге рабовладением). Но публика на Севере не восприняла всерьез ни «южного акцента» Виргинца, ни его отвращения к капитализму, ее увлек только «красивый» эскепизм, бегство от цивилизации.

И все-таки Уистер определенно «пересолил», когда наделял своего «ковбоя» рыцарскими добродетелями. Это почувствовал К. Малфорд, начавший в 1907 году серию вестернов, герой которых — ковбой Кессиди — во многих отношениях был антиподом Виргинцу и вместе с тем как бы дублировал его. Смутные тени Ламанчского рыцаря и его оруженосца угадываются за этой четой. Кессиди — нарочито «плебейского» склада, «здравомыслящ», с хитрецой, крут и нещепетилен, любитель крепкого словца и грубоватого юмора. В истории вестерна он, можно сказать, продолжает линию и Дэви Крокетта, и Натана Слотера.

Виргинец и Кессиди — непосредственные предшественники «идеального» героя, сотворить которого выпало на долю Зейна Грея, дантиста из штата Огайо, ставшего первым «классиком» вестерна. Весь накопленный в этом жанре опыт Грей перекроил по-новому, обнаружив вместе с тем незаурядное профессиональное мастерство и плодовитость: с 1912 года до своей смерти в 1939-м он ежегодно «выдавал» по вестерну. Грея приняли за основу и в Голливуде.

Героя своего Грей получил от «скрещения» героев Уистера и Малфорда, хотя, пожалуй, больше в нем все-таки от первого, чем от второго. «Он» у Грея, по замечанию одного из критиков,— «немножко слишком благородный, учтивый, культурный». «Немножко слишком», однако настолько, насколько это «надо». Грей нашел золотую середину — это вообще формула «массовой культуры»,— несколько снизив Виргинца и сгладив шероховатости Кессиди. «Усовершенствовав» героя, Грей в то же время сделал обязательными для вестерна элементы (но только элементы) реализма и исторической достоверности, которые раньше редко в нем присутствовали.

Между прочим, и Виргинец и Кессиди тоже «выжили» и поныне благоденствуют, в частности, в телевизионных многосерийных фильмах. Только они давно уже не выглядят антиподами. Виргинца сделали проще, снабдили чувством юмора, подрезали ему романтическую шевелюру. На Кессиди надели белую шляпу, натянули белые сапоги, приказали «не выражаться» и объясняться в любви такими словами, услышав которые, «настоящий» Кессиди, вероятно, плюнул бы с досады. Не следует думать, что во всех «канонических» вестернах герой унифицирован. Хотя разнообразие жанра достигается в основном за счет разнообразия ситуаций, характеры главных героев тоже, конечно, варьируются. Укажем на один такой, тоже сквозной, вариант: герой «демонический», загадочно-молчаливый, с некоторым изыском (есть подобный в известном у нас фильме «Великолепная семерка») — еще один далекий отголосок романтической поэтики. Но это уже герой, так сказать, пристяжной, подобный прочим. Коренным остается «Он», как его слепил Грей,— «Герой Америки № 1».

Конечно, герою обязательно противостоят злодеи. Такая у вестерна традиция: без злодеев он просто не сдвинулся бы с места. Они, злодеи, обычно сразу выдают себя черными одеждами или, по крайней мере, черными шляпами, да и в лицах у них всегда проскальзывает что-то злодейское (а если они «плохие индейцы» — то прямотаки зверское). Правда, Грей ввел в обиход и более сложный, так называемый «дурной хороший» персонаж, о котором не знаешь заранее, чью сторону он примет, но что именно в нем хорошо, а что дурно — это не должно вызывать сомнений. Нравствен-

ная антитеза — добро и зло — в вестерне наивна и весьма условна (в самоотождествлении героя вестерна с добром есть психологический нюанс, передаваемый репликой Бармалея из кинофильма об Айболите: «А кто не захочет, чтобы я сделал добро, я того в бараний рог скручу»). Но за ней — «правда», внушенная и выношенная чуть не веками, устоявшийся склад ума.

Серьезный разговор о вестерне, затрагивающий функцию «мифа», не может обойти вниманием те идеологические основания, на которых вестерн поднялся. Надо заметить, что у американцев всегда была и по сию пору сохраняется склонность рассматривать собственную историю в плоскости взаимоотношений абстрактного человека с природой. Будто бы преодолевшие Атлантику люди, оторвавшись от своих европейских корней, очутились в положении начинавшего на голом месте библейского Адама: человечество же таким образом после веков грехопадений и ошибок вновь обрело с ними свою ветхозаветную юность, начав историю сызнова.

Конечно, в действительности сложившееся за океаном буржуазное общество и его культуру связывали с Европой узы близкого родства. Но «граница» в большой мере определила в то время своеобразие капиталистического пути Америки, сообщила характерный колорит «американскому мышлению». В сфере социально-экономической «граница» выполняла функцию предохранительного клапана, вызывая высокую мобильность населения, предотвращая в уже обжитых районах страны «стабилизацию» на европейский манер, снижая напряжение классовой борьбы. Эти вопросы остаются предметом кропотливых исследований историков, их более или менее доказательных тезисов. В сфере культуры с доказательностью, конечно, обстоит сложнее.

Верно ли, что «дух границы», как любят утверждать в США, навечно вселился в американский характер? И что это за «дух»? Сам американский характер — как и любой вообще национальный характер — понятие весьма зыбкое, избегающее точного определения.

И все-таки можно рискнуть и выделить в этой эфирной сущности, именуемой «духом границы», два основных элемента: безудержный индивидуализм, вскормленный уже в Европе столетиями буржуазного развития, но за океаном освобожденный на время от внешних «пут», и своеобразное «равенство» перед дулом шестизарядного кольта, который был тогда у всех и каждого. Хотя далеко протяженное во времени «завоевание Запада» для каждой данной местности и, следовательно, для осевших в этой местности людей представляло собой относительно кратковременный эпизод. Какие-то считанные годы пионеры были сами себе хозяева, но за ними тянулись торговцы, потом приходили английские колониальные чиновники и солдаты, позднее — федеральные солдаты, появлялся шериф, появлялись земельные спекулянты и железнодорожные компании, мало-помалу прибиравшие к рукам разношерстную вольницу,— словом, жизнь входила в «нормальное», капиталистическое русло. «Граница», таким образом, очень скоро становилась воспоминанием, но воспоминанием устойчивым и властным.

Сами по себе реальности «границы» содержали мало идиллического. Освоение новых земель было делом нелегким, требовало большой настойчивости и трудолюбия, зачастую проявлялись и куда менее позитивные качества. Собственническая психология была основной пружиной «Великого предприятия», поэтому невозможно ни признать всю эту эпопею нравственно однозначной (достаточно вспомнить об индейцах!), ни разлучить черную и белую краски — тут было добро, а там зло. Хотя на «границе» существовал неписаный закон так называемой «честной игры» (кое-где с остатками дуэльного кодекса), одному богу, как говорится, ведомо, сколько в этой кровавой игре было честного, а сколько нечестного. Передовой отряд в армии землепроходцев нередко составляли отпетые бандиты, душегубцы, беглые каторжники, а ковбои, зверобои и прочий пришлый народ во многом должны были равняться именно на них.

Вернемся, однако, к вестерну, где все это обычно видится сквозь романтический флер. Есть, конечно, в вестерне занимательность — лучшие из «канонических» вестернов и сейчас еще читаются и смотрятся со смешанным чувством досады и увлечения. Для американца есть в нем и ностальгия: «люди тогда были людьми, а лошади были лошадьми». И еще эскепизм. Но не только это.

Чеховский Монтигомо Ястребиный Коготь, он же гимназист Чечевицын, подбивал приятеля («бледнолицего брата») бежать в Калифорнию «добывать золото», а потом «жениться на красавицах и обрабатывать плантации» — «ходы» воображения, дразнившие поколения читающих мальчишек далеко за пределами Америки. Но у американского читателя (зрителя), большого и малого, психологический механизм «идентификации» с героями вестерна срабатывал гораздо глубже, серьезнее. Ведь в вестерне так тесно переплетается: романтика приключения, поиска, этой извечной склонности непоседливого человечества — и авантюра, которой двигателем является корысть.

Эскепизм в вестерне как-то сочетается с апологией «американского образа жизни». Есть среди «канонических» вестернов почти чисто эскепистский вариант, где герой бежит, казалось бы, «неволи душных городов». И есть вариант почти чисто апологетический: герой-пионер — «строитель Союза», пафос его деятельности — «здесь будет город заложен!». Но в общем вестерн умудряется совмещать два эти столь различных мотива. Романтика, милая сердцу «практич-

---

Ю. КАГРАМАНОВ
ВЕСТЕРН ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

ных идеалистов» (еще одно, летучее, определение американского характера),— она не порывает с практическими убеждениями, напротив, социально-психологическая установка «среднего» американца в образах вестерна находила себе своеобразную «проекцию».

Эта установка предполагала, что хотя «граница» в собственном смысле слова «закрыта», это еще не значит, что индивидуальной инициативе поставлен предел. Линию «границы» попытались продолжить, так сказать, в новых исторических условиях. С завершением колонизации западных земель в конце XIX века капитализм развивался уже не «вширь», а «вглубь», дымный индустриальный пейзаж вторгался в сельскую тишь, на месте Америки мелкобуржуазной, фермерской вырастала Америка монополий. На индустрию указывали как на «новую границу» американцев. Успех на этом поприще ждет тех, кто сумеет реализовать в новых обстоятельствах старые ценности «границы». В пример приводили Эндрью Карнеги и Джона Рокфеллера — вот кто подлинные продолжатели первопроходцев.

Выходило, что каждый может стать Рокфеллером или Карнеги, прояви он «американский характер» отцов-первопроходцев. «Дух границы» оказался лукавым духом. Ибо он работал на Великую ложь о «равных возможностях», которая в монополистической Америке долгое время выполняла функцию своего рода предохранительного клапана, на этот раз уже психологического, предотвращая изживание — в сознании рядового американца — мелкобуржуазного в своей сущности, самонадеянного индивидуализма.

Этот последний в образе героя вестерна находил облагороженную версию самого себя. Заурядный «пробивной парень», «малый не промах», усаженный в посеребренное седло странствующего рыцаря, обретал значимость почти мифологического персонажа. Хотя его, героя, конечной целью представляется, помимо женитьбы на красавице, еще и обработка плантации, земельного надела — во всяком случае, перед читателем (зрителем) он обычно не «унижается» до того, чтобы пахать землю или пасти скот. Зато очень охотно демонстрирует он свое искусство обращения с кольтом, нередко с двумя сразу. Особенно показательны в этом отношении вестерны наиболее низкой пробы, а также «комиксы». Обычно ситуации в них предельно упрощены, остается одно лишь голое «действие», то есть герой крушит своих противников направо и налево, и хотя предполагается, что все его противники отъявленные негодяи, в конечном счете нравственным критерием здесь оказывается как раз результат действия: герой — это именно тот, кто убивает, но никогда — тот, кого убивают. Жажда «личного успеха», преуспевания во что бы то ни стало была одной из тех психологических пружин, которые побуждали добропорядочных бэббитов душевно «врастать» в ковбойские седла.

■

...И он устал,
В степи упал...
Предстала Тень из Ада.
И он без сил
Ее просил:
«О Тень, где Эльдорадо?»

Эдгар По

Сейчас в метафорическом смысле все чаще употребляется антоним «границы»: «закрытая граница». Таково кризисное мироощущение буржуазного общества Америки — ему уже не открываются новые горизонты, теряется его былая самоуверенность, улетучивается «легкокрылый оптимизм». Ни продолжающаяся экспансия науки и техники, ни полеты на Луну уже не могут рассеять ощущение «исчерпанных возможностей».

В унылых размышлениях на тему «закрытой границы» вновь возникает абстрактный человек. Теперь уже вместо прежней решимости его черты выражают экзистенциалистскую безнадежность. Тупики буржуазного общества объявляются участью всего человечества, мировой цивилизации. Американский «Адам», вокруг которого замкнулось казавшееся прежде необъятным пространство, будто бы свидетельствует в пользу «извечного» трагизма бытия.

Настроения «закрытой границы» не могли не отразиться на вестерне. Нет, отнюдь не следует думать, что ломаются и выбрасываются за ненадобностью старые каноны! «Канонический» массовый вестерн в целом необычайно устойчив и за последние шесть десятков лет изменился очень мало. Это — в целом. Но существуют внутри него, как и вообще в «массовой литературе» (и вообще в «массовой культуре»), разные художественные уровни. Так вот, на уровне наиболее высоком (А. Б. Гутри, Дж. Шэфер, М. Брэнд, Э. Хейкокс, другие) отход от канонов начинается уже в 40-е годы: убывает сентиментальность, прибавляется психологизм и реализм, вся работа делается тоньше, «хитрее», что ли. Отход, но не разрыв: еще соблюдаются основные принципы поэтики вестерна.

В США есть даже ассоциация «Американские авторы вестерна» (слово «американские» здесь не лишнее, так как вестерны пишут и ставят не только в Америке), которая объявляет своей задачей «сохранение в неприкосновенности популярной литературной традиции от поползновений «сверху» и «снизу». От авторов требуют соблюдения целого свода правил, условностей, ограничений. Начиная с места и времени действия — оно должно происходить на Диком Западе, то есть в пространстве между рекой Миссури, Скалистыми горами, канадской границей и западным Техасом, в период примерно между 1865 и 1890 годами, не раньше и не позже. И кончая описанием победного поцелуя (оно должно быть достаточно скромным). Вероятно, сам Буало не мог бы быть более придирчивым к классицистской писательской братии.

Только в последние годы кризис мироощущения дал о себе знать даже в вестерне. И в литературе, и в кино. Заговорили о кризисе жанра, о «начавшемся разрыве с мифом». Поколения воспитывались на вестерне и словно бы его «не замечали», теперь же, когда он, можно сказать, дал трещину, пробудилось внимание американской критической мысли к настоящему и прошлому этого жанра, его роли в современной западной культуре.

Вестерн, утверждает американский критик Лесли Фидлер, «настолько основательно овладел нашими умами, что ему уже не могут существенно повредить ни пародия, ни ирония, ни даже критический анализ». То есть настолько будто бы неколебим этот своего рода «мифологический» задник, что можно на его фоне с легким сердцем разыгрывать невинные пародии или даже отваживаться на критические комментарии — задник все равно выдержит.

Так ли это? Вот отрывок из письма студента колледжа, опубликованного в журнале «Нью-Йоркер»: «Эти великие герои Запада, которых так превозносят... были самыми себялюбивыми, бессовестными, продувными, жестокими, хищными ублюдками во всей мировой истории». Суждение, как и самый язык письма, своей страстностью характерно для поколения, поставленного перед трудным выбором. Лишний раз оно свидетельствует о том, что новые вариации на старую тему «границы» отнюдь не безобидны и что уместнее здесь сравнение иного рода: а именно, что примелькавшийся задник начинает закрашиваться новыми красками.

Посмотрим, как же разрабатывалась тема «границы» в последние полтора десятка лет. Мы коснемся лишь отдельных произведений, относящихся к той литературе, которую принято называть серьезной (и которая в недавнее время вообще не проявляла, за редким исключением, интереса к жанру вестерна). Они создавались помимо традиции и вопреки ей, но проявившиеся в них новые приемы трактовки темы уже оказывают влияние и на «массовый» вестерн.

Остропародийное решение вестерна предложено небесталанным Джоном Бартом в романе «Хозяин пьяного сорняка» (1961). Это монументальный «исторический фарс» о ранней «границе»: время действия в романе — конец XVII — начало XVIII века. Можно предположить, что обращение именно к этой «неканонической» эпохе продиктовано было двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что избранная автором — как наиболее отвечающая духу им задуманного — литературная манера отмечена явными следами влияния и Филдинга, и Вольтера, и автора «Фанни Хилл» [1] одновременно и должна была подсказать выбор соответствующе «плутовского» — в стиле XVIII века — сюжета. Во-вторых, тем, что нравы колониальной эпохи обычно изображаются незамутненным примером пуританской добродетельности и поэтому представляют в некотором роде вызов для сатирика.

Кажется неистощимым оптимизм юного поэта Эбенезера Кука, которому в начале повествования жизнь и вправду улыбается: ему предстоит жениться на красавице Джоан Тоуст и вступить во владение табачной плантацией в Мэриленде. Но сколько коварных ловушек уготовано ему судьбой! В пути от лондонских таверн до обещанной плантации его подстерегает череда рискованных приключений: кораблекрушение, рабство, индейский плен. Авантюрность у Барта — это не авантюрность традиционного вестерна, в котором приключения призваны выявить неизменную стойкость героя, всегда падающего на ноги. Это старая европейская «пикареска» с ее размагниченностью, где героями играет, как ей вздумается, прихотливая фортуна. Простодушный Эбенезер, попадая из одного переплета в другой, зарабатывает только шишки. Мало-помалу его оптимизм убывает, что шагреневая кожа.

Да и мудрено сохранить оптимизм, имея дело с тем «ассортиментом» человеческой породы, с которым сталкивается незадачливый поэт. Пираты и работорговцы, карточные шулера и продавцы опиума, продажные интриганы и наемные убийцы, сводни и проститутки, лжесвященники и лжесвидетели, мошенники и плуты всевозможных мастей — кажется, что из такой вот только публики и состоит все население доброго Мэриленда. Как, впрочем, и всего остального мира. Ибо ничего, собственно, нового взору пришельца Новый Свет не предлагает, «это просто часть большого мира вроде Англии, никакой разницы, разве что земля обширна и нетронута — там, где ее уже не истощил «пьяный сорняк». «Пьяный сорняк» на современном жаргоне — опиум.

Счастливый конец в романе все-таки есть, но с той ложкой дегтя, которая обращает его в злую насмешку над доломудренным Эбенезером. Он все-таки добирается до своей табачной плантации, которая, однако, оказывается не табачной вовсе, а плантацией «пьяного сорняка», да еще с домом терпимости в придачу. Он женится на прекрасной Джоан Тоуст, но, увы, уже зараженной венерической болезнью и к тому же бесповоротно пристрастившейся к наркотикам.

Роман пропитан ядовитой сексуальной окраской. Наряду со сравнительно еще безобидным бурлеском — такова, например, озорная сцена, где пираты берут на абордаж корабль с проститутками,— в нем есть эпизоды с вполне определенным умыслом— таков «секретный дневник» Джона Смита. Хотя имя его обросло легендой, Джон Смит лицо историческое: морской капитан, основатель Виргинии, первый летописец американских колоний. «Дневник», отрывки из которого разбросаны по роману, содержит историю грязных «интимных» похождений

[1] Роман Дж. Клиланда — «памятник» непристойно-эротической литературы XVIII столетия.

Ю. КАГРАМАНОВ

ВЕСТЕРН ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

его автора, представляя отважного капитана легенды в комически развенчанном виде. Здесь уже нашла выход снижающе гротесковая функция секса, в вестерне особенно скандальная (традиционный вестерн несексуален, наивно героичен и романтичен). Такой оборот отвечает нынешнему состоянию обывательской морали, которое у известного социолога Д. Рисмена вызвало горько-ироническое замечание о сексе как о «последней границе» американцев.

Романом Барта задано огульно негативное отношение ко всему наследию «границы», выраженное средствами тотального глумливого юмора.

В ведущемся в духе «философствующего века» споре добра со злом автор выступает в качестве «адвоката дьявола»: зло, убеждает он,— абстрактное зло — вездесуще и неискоренимо. «Откровение» вообще-то не слишком новое, но для вестерна явно «неуместное». Глубокой разочарованностью, мизантропией веет со страниц книги Барта, этой «моральной аллегории, облаченной в одежды колониальной истории», как ее назвал один из рецензентов.

«Маленький большой человек» Томаса Берджера (1965) — роман о Диком Западе. В отличие от Барта, решавшего свою тему в условногротескном ключе, Берджер писал с пристальным вниманием к историческим реальностям. Роман документализирован: в его основу положены записанные в 1951 году воспоминания 111-летнего Джека Крэбба, участника боя при Литл-биг-хорн. Повествование (оно ведется от имени Крэбба) охватывает «то самое», «каноническое» время,— пожалуй, самое колоритное и самое драматичное в истории «границы».

В центре повествования две взаимосвязанные темы: индейская тема и тема насилия.

Сражение при Литл-биг-хорн, венчающее «рассказ Крэбба», явилось, в сущности, последним боевым эпизодом в долгой и трагической истории «индейских войн» — остальные были уже просто избиениями краснокожих. В последний раз отроги Скалистых гор огласились победными кликами шейенов и сиу: белые каратели не выдержали натиска обуянных яростью отчаяния индейцев, лучшая часть 7-го кавалерийского полка во главе с прославленным генералом Дж. Кастером пала на поле боя. Это случилось 25 июня 1876 года, и весть о поражении пришла в Вашингтон в самый канун столетия Соединенных Штатов.

Что происходило потом — известно из истории. Бледнолицым не занимать было ни воинской силы, ни настойчивости в проведении политики геноцида краснокожих. К началу XX века «индейский вопрос» был окончательно «решен»: индейцев либо истребили, либо загнали в резервацию, так что их уже можно было не принимать в расчет. В Америке мифологизирующей краснокожим уготовано было почти единственное амплуа — «плохих парней» вестерна.

Сейчас, когда поблекли краски мифа, проявился широкий интерес к индейскому миру, ко всем не неприязненным его интерпретациям, художественным ли, научным ли — от старого, доброго, наивного Фенимора Купера до новейших антропологических исследований. «Краснокожий, — констатирует Л. Фидлер,— возвращается в центр нашего искусства и нашего глубокого воображения». Этот интерес объясняется не одним только проснувшимся «чувством вины», но главным образом вдруг открывшейся бледнолицым привлекательностью индейской культуры (привлекательностью, надо оговориться, многим обязанной разочарованности в собственных традиционных ценностях).

Роман Берджера изобилует всевозможными приключениями, без которых, вероятно, немыслим никакой рассказ о «границе». В данном случае, однако, они не столько представляют самостоятельный интерес, сколько служат поставленным автором композиционным задачам. Белый мальчик из разгромленного индейцами переселенческого отряда попадает в плен, получает у краснокожих второе воспитание и спустя несколько лет возвращается к белым, но волею случая еще не раз оказывается среди индейцев — такое развитие сюжета позволяет все время сопоставлять с индейским миром мир белой «границы».

Сопоставление оказывается в конечном счете проигрышным для последнего. Оно позволяет резко ощутить уродство буржуазного индивидуализма, как бы отстраненное антропологической перспективой. «Белые люди не любят друг друга, и рано или поздно один из них убивает другого»,— замечает индейский вождь, и это его убеждение совсем не далеко от истины. Белые «герои» обесчеловечены собственным оголенным самоутверждением. Жизненная философия генерала Кастера рассказчиком мысленно сжимается в короткий афоризм: «Я выигрываю — ты проигрываешь». Знаменитый Дикий Билл Хикок, искатель приключений, гулявший в ту пору на Диком Западе, предстает в романе «человеком одной идеи» — очень короткой идеи: «выстрелить первым». Отталкивающую картину общества, живущего согласно с такими моральными формулами, представляет заштатный городок Додж-сити: «Здесь все друг друга ненавидели — охотники за бизонами ненавидели погонщиков мулов, те и другие ненавидели ковбоев, игроки ненавидели всех, с кем им приходилось играть, и все вместе взятые терпеть не могли солдат из ближайшего форта».

Рядом выгодно контрастирует образ жизни шейенов с их примитивным коллективизмом, взаимной выручкой, с их своеобразным и ненадуманным рыцарством Дружелюбие шейенов в прежние времена распространялось и на белых, и только горький опыт научил их ненависти. Трогательно их заботливое отношение к золотоискателям, которых индейцы считали душевнобольными и потому заслуживающими снисхождения.

Берджер далек от идеализации индейцев, скорее его следует упрекнуть в завороженности примитивным мирочувствованием. Акцентируемая в культуре индейцев близость к природной стихии в ее как «добром», так и «злом» качестве противопоставлена «чрезмерно» организованной жизни

То есть сомнению подвергается и второй ряд ценностей «границы» — тех, которые вообще являются условием преобразовательской деятельности.

Такую трактовку «дикарей» следует рассматривать в контексте усилий авангардистов (за которыми в данном случае идет Берджер) по воспитанию «новой чувствительности», их попыток взломать пространственно-временной каркас собственной традиционной культуры, освободиться от ее рационалистического «балласта». Вызванные кризисом буржуазной культуры, эти усилия направлены мимо ее классовой альтернативы — к антропологической псевдоальтернативе. Обращение к чужеродной культуре имеет здесь целью не столько обогащение собственной культуры, сколько отказ от ее лучших достижений и приобретает, таким образом, двойственный смысл. Надо заметить, что в «Маленьком большом человеке» идея нравственного превосходства «дикарей» проводится с еще большей осторожностью. В поставленном спустя семь насыщенных событиями лет одноименном фильме А. Пенна, представляющем вольную экранизацию романа Берджера, эта идея внушается уже гораздо решительнее.

Двусмысленно и отношение романиста к насилию, его противопоставление рассчитанной жестокости белого и «естественной» жестокости опьяненного боем «дикаря». Тяжкий натурализм, с каким описываются сцены насилия, контрастирует с эффектной легкостью хода традиционного вестерна, где герой «красиво» подстреливает «плохих парней», заставляя подпрыгивать от возбуждения читателя (зрителя). Омерзителен «апофеоз войны», являемый молчаливой картиной побоища при Литл-биг-хорн. Неприглядностью правды как будто подрывается спаренное с жестокостью прекраснодушие вестерна, с убивающего сорваны его белые одежды, но само насилие привлекает пристальный, болезненный интерес: взгляните, мол, сколь оно отвратительно, насилие, но — «таков человек», «такова жизнь». Историческая, социальная обусловленность подобного «прозрения» достаточно ясна. Как ясна и искусственность предлагаемой (в послесловии к роману) альтернативы: «Да возобладает разум, и пусть лев мирно соседствует с агнцем». Блажен, кто скажет «аминь!».

Повесть Глендона Суорсэта «Благослови зверей и детей», нашему кинозрителю знакомая по экранизации С. Крамера,— не о собственно «границе», но о ее духовном наследии, о судьбах этого наследия в сегодняшней Америке, о самих наследниках. Человек и природа, деяние и подвиг, добро и зло — в повести разрабатываются эти традиционные лейтмотивы эпопеи покорения Запада.

Логическая интродукция: «А вернем мы вам ковбоя» — это обещает родителям установленный при въезде в лагерь плакат. Обещание, вероятно, не из тех, что даются даром, ибо родители, судя по всему, с достатком. Здесь начинается история шестерых мальчиков, ставших «ковбоями наоборот».

«Они были рождены для фильмов-вестернов. Они обожали эти истории, сказываемые под трубные звуки и оканчивающиеся горшком с золотом, или ведром крови, или пением национального гимна. Последний фильм, который они видели, отличный фильм, был «Профессионалы». Это был потрясный фильм, сага о парнях, знающих толк в стрельбе, горстке колоритных героев, скачущих в Мексику с благородной миссией — вырвать из рук бандитов пленительное юное создание, похищенное, вне всякого сомнения, ради гнусных целей. Это был основательный фильм, они это чувствовали, басня невинная и скабрезная, принципиальная и брутальная, истинная и ложная, старая, как эти холмы, и новая, как следующее поколение. Такой фильм не смотрят, его сосут, как соску. Ибо в этом суть всех американских приключений: вооруженные мужчины, куда-то спешащие, на какое-то рискованное дело. Исследовать ли континент в крытом фургоне, ковать ли «Союз» в вопиющей пустыне, спасать ли демократию за океаном, вспарывая дорогами джунгли и насаждая там наш флаг и наш дух, потому что в этом существо нашей мелодрамы: вооруженные мужчины, куда-то спешащие, на какое-то рискованное дело. Такими стали и они».

Шестеро скачут в преддверье ночи, торопясь на выручку тех, кому угрожает гибель. Мальчишечьи ночные приключения — в борьбе со злом — имеют свою традицию в американской литературе: вспомним хотя бы о Гекльберри Финне с Томом Сойером или о фолкнеровском Чике Маллисоне. В повести Суорсэта нет захватывающей интриги, коллизии в ней упрощены, но зато насыщены символикой, зло и его жертвы представлены обобщенно: жертвы — это бизоны, а зло — «охотники». В отличие от бизонов, «охотники», за исключением тупицы-воспитателя, показаны мельком (в фильме — со спины или общим планом).

Не вызывает сомнений, какой именно круг ценностей символизируют «охотники». Между прочим, к символике «охотника» некогда прибегнул в аналогичном контексте немецкий этнограф Л. Фробениус. Типичный американец, писал Фробениус, охотник по преимуществу, а уж за чем он охотится — за бизонами или за долларами, не столь важно. Даже рай он называет не как-нибудь, а «Местом счастливого отстрела». У Суорсэта и Крамера «охота» втиснута в узкое пространство дощатого загона: за вычетом элемента единоборства человека со зверем остается аттракцион, где вооруженные мужчины (и женщины) рискуют разве что натереть мозоль, спуская курок.

Итак, «охотники» оказываются «плохими парнями», а хорошими — шестеро, с точки зрения старших, недотеп, травмированных в разной степени семейными неурядицами. В лагере, призванном воспитывать «ковбойское» молодечество, их объединяет, помимо

того, небольшое детское нездоровье, оно их обособляет от других, «нормальных» детей, делает «неполноценными». От «неполноценности» часто проистекает серьезность не по летам и особая чуткость ко злу и обостренное чувство справедливости. Хотя такая ситуация сама по себе случайна, не случаен выбор автора повести. Равнение на «неудачников», на тех, кто не преуспел, кто сошел с круга,— один из реальных парадоксов «детей», своеобразная бравада, составной элемент программы «все навыворот».

Отношение к бизонам становится тем оселком, на котором проверяется человечность. Отвратительное избиение запертых в загоне животных как бы фокусирует «цивилизованную» зверскость «охотников». Участие, которое принимают мальчики в косматых (как и они сами) зверях,— контртема, наполненная подспудным смыслом.

Короткая справка: когда европейцы появились в Северной Америке, бизоны были настоящими хозяевами прерий, их там насчитывалось до сотни миллионов. В результате варварского истребления уже к началу нынешнего века бизон стал почти реликтовым видом. Тем большей сделалась его символическая значимость: косматый гигант воплощает теперь утраченную «буйную вольность», природную первозданность, внушая симпатию, будто напоминая о первоначальном — пастушеском — качестве ковбоя, которое «Он», с его гремящим великолепием, совершенно было заслонил.

Мишурный безукоризненно бравый «ковбой» уже не воспринимается всерьез. К чему, в самом деле, ковбойская удаль, если она служит таким вот «охотникам», чьи «сердца косматые» чужды элементарной человеческой чуткости? А если связь частного (оплаченное развлечение охотников) и общего кому-нибудь не ясна, то ее разъясняет повстречавшийся героям «злой мальчик»: на телеэкранах, как бы оправдывается он, не то что бизонов — там людей щелкают, как мишени в тире. А на телеэкранах, между прочим, убивают не только в фильмах, но и «взаправду»: например, события затянувшегося «сезона отстрела» в Индокитае (отнюдь не «счастливого отстрела», самим «охотникам» там крепко досталось) можно было регулярно наблюдать на голубом или цветном экране крупным планом. Мир насилия кажется универсальным, смешивая телевидение и жизнь, индивидуальное и общественное, историю и современность — в ряд с Литл-биг-хорн ставятся Дакто и Кхесань (повесть писалась в 1970 году, когда Сонгми еще было впереди).

Было бы опрометчивым утверждать, что авторы целиком на стороне своих героев, хотя они следят за ними с видимым сочувствием. Особенно в фильме заметен кинопромышленный расчет на «разновкусье» — режиссер С. Крамер известен не только своим мастерством, но и своей «политичностью». Если, например, выбор «неполноценных» детей в какой-то мере и оправдан своеобразием молодежного протеста, то вместе с тем такой выбор, как и подчеркнутая «психовость» мальчиков, делают возможным иное прочтение этой истории, приемлемое для «отцов». Известно ведь, что подавляющая часть юных протестантов из обеспеченных семей отнюдь не страдает какими-либо отклонениями, да и в смысле семейных отношений у них часто все в порядке. Конфликт отцов и детей социального, а не семейного происхождения. А у Суорсэта и Крамера чувствуется стремление не слишком растревожить буржуазных «отцов», снизить социальное звучание темы. Даже самый подвиг шестерых мальчиков (стоивший жизни одному из них) представляется в конечном счете ненужным, импульсивным, донкихотским: судя по всему, выпущенные на свободу бизоны далеко не уйдут, их все равно переловят, перестреляют.

Разве что жертва позволит усовестить «охотников», размягчит очерствевшие сердца? Акцент, нередко делаемый буржуазными критиками отколовшейся молодежи: последняя представляется инициатором некоего наивно-пуристического движения, ведущего не к отрицанию традиции «отцов», а к ее «очищению», как будто изначально эта традиция и впрямь указывала путь в святилище Грааля и сейчас достаточно пробудить усопшую в ее сердцевине человечность. При этом примером современного решения проблемы гуманизма предлагается библейская картинка идиллического сожития «всякой твари». Тем самым заслоняется необходимость действенного гуманизма, актуальность героизма позитивного, продуманно целенаправленного. Без чего и бизонов нелегко спасти, и вовсе трудно спасти — что много важнее — хорошее отношение к бизонам.

Разные подходы к теме «границы». В совокупности они, пожалуй, являют то новое в вестерне, что блюстители традиции рассматривают как «попользования» «сверху» и «снизу»: стремление к исторической достоверности, раздумчивость, совестливость и — черный юмор, секс, смакование насилия. Легко догадаться, что «массовый» вестерн особенно отзывчив к «попользованиям» именно «снизу». За невозможностью обозреть здесь хотя бы долю массовой продукции ограничимся отдельными «пробами».

Вот некоторые из последних издательских реклам. Вестерн первый: «адские налетчики, шестьдесят всадников в черном, убивают направо и налево с дьявольской жестокостью». Вестерн второй: «безжалостная охота на выжженной земле, в диком краю, населенном мужчинами необузданных брутальных вожделений». Вестерн третий: «возвратившись на ранчо, он нашел свою жену изнасилованной и жестоко избитой, лишившейся рассудка от потрясения и страха». Да, «канонический» вестерн определенно «сдает», коль скоро он допускает в своих владениях такие вопиющие диссонансы.

Эволюция вестерна дает представление о существенных сторонах духовной ситуации, в какой ныне оказалась буржуазная Америка, о характеристических особенностях, отличающих кризис буржуазной идеологии, о полной дискредитации ее традиционных прописей.

◆

Заметки на полях

НЕОДНОЗНАЧНОЕ КИНО ИНДИИ

В прошлом году в Индии выпущено 435 фильмов. Ранее эта цифра доходила даже до 500. Страна, немногим более четверти века назад бывшая колонией, сегодня по объему кинопродукции встала в один ряд с Японией и США.

Кино Индии имеет постоянного массового потребителя, и кассовые сборы не падают, но неуклонно растут. Ему не грозит и самый серьезный конкурент— телевидение: оно только начинает развиваться и еще не скоро получит широкое распространение. Порой сценарии для фильмов пишут известные литераторы страны, такие как Амритлал Нагар, Раджендра Сингх Беди, У. Ашк, Исмат Чугтаи, Р. К. Нарайан. Известно, что индийские фильмы и актеры, занятые в них, получают призы на международных фестивалях в Карловых Варах, Венеции, в Москве. Мы знаем такого выдающегося режиссера, как бенгалец Сатьяджит Рай. Его кинотрилогия — «Песня о дороге», «Непобедимый» и «Мир Апу» — получила мировое признание. На церемонии присуждения Раю почетной степени доктора Делийского университета о нем говорили как о «крупнейшей фигуре индийской культуры со времени окончания второй мировой войны». Ему принадлежат не только поэтические ленты о человеке, о мире, который его окружает, но и значительные документальные ленты: в частности фильм «Глазами души» — об известном индийском художнике Биноде Бехаре Мукерджи, потерявшем зрение и продолжавшем создавать замечательные полотна, и другой фильм — о Тагоре.

Кстати, документальное кино Индии — отдельная яркая страница современной культуры этой страны: ежегодно выходит примерно 150 (из общего количества в 450—500 лент) документальных фильмов производства правительственной корпорации «Филм дивижн». Это фильмы видовые, фильмы о древней и современной культуре страны, об ее искусстве, фильмы познавательные, информационные. Фильм о замечательных индийских ремесленниках — «Вишвакарман» — был удостоен серебряного приза на Венецианском фестивале.

Индия — многонациональная страна, и ее кинопродукция выходит на многих языках. Значительное количество индийских фильмов экспортируется в страны, где проживает много индийцев,— в Шри Ланку, в Бангладеш, в Сингапур, в страны Южной Африки, в Англию (демонстрация индийских фильмов только в одном Лондоне дает прокатным фирмам до 4 млн. фунтов стерлингов прибыли в год).

Но те имена и отдельные киноленты, которые мы знаем, мало расскажут об основной индийской кинопродукции. Абсолютное большинство фильмов выпускают коммерческие студии Бомбея и Мадраса (соответственно свыше ста и свыше двухсот фильмов в год). Что же стоит за этими цифрами, каково лицо массового кинематографа Индии? Многочисленные публикации в индийской и зарубежной печати говорят, что ситуация в нем сложилась весьма тревожная.

Вот что пишет о коммерческом индийском фильме английский журнал «Лиснер»:

«Крайне упрощенный... Абсолютное Добро сталкивается в нем с Абсолютным Злом. Злодей дан без малейшего просвета, как и герой — без единого недо-

статка. В конце злодей либо терпит поражение, либо полностью преображается, тогда как герой предстает ослепительным победителем. В промежутках идут песенные и танцевальные номера и, наконец, выступление в кабаре какого-нибудь шикарного отеля или клуба Бомбея, Дели или Мадраса, что дает возможность показать женские прелести с целью произвести впечатление на преимущественно мужскую аудиторию индийских кинотеатров».

Аналогичного мнения придерживается и индийская газета «Джан Юг». Ее критик В. Б. Матхур, характеризуя недавно вышедший фильм «Хлеб», замечает:

«Извивающаяся под дождем и кривляющаяся Мумтаз с вихляющимся Раджешем (по милости кинорецепта), драки, сцены любви, перестрелка и объятия, душещипательные сцены с родителями, исполняющими свой долг (по милости сценариста), полицейский офицер (все сделано, чтобы он менее всего походил на полицейского) — все требуемые приправы налицо. Да кроме этого показана девушка, ставшая, в силу обстоятельств, проституткой, и главный герой, который любит ее, как родную сестру».

Однако, вполне справедливо высказав неодобрение фильмам такого сорта, Матхур задается вопросами несколько наивного свойства.

«Непонятно, что происходит с нашими продюсерами и режиссерами?!— восклицает он.— Они никак не хотят расстаться с рецептом, в который обязательно входит потасовка, неестественная поза, неправдоподобная ситуация, лишенная смысла, дешевые эпизоды. Дело дошло до того, что рядовой зритель устал от всех этих приправ».

С последним, к сожалению, трудно согласиться. Зрителя еще привлекают подобные фильмы. И что происходит с продюсерами, тоже понятно. Те, кто заказывает и делает фильмы по таким рецептам, рассуждают, как обыкновенные дельцы: вложенные деньги должны вернуться с прибылью. И если эти фильмы оборачиваются прибылью (а это бесспорный факт), значит пользуются спросом, а если так — рецепт верен. Киронмой Раха пишет в «Таймс оф Индиа» следующее о природе фильмов на языке хинди (которые составляют основную продукцию студий Бомбея, этого индийского Голливуда):

«За два-три часа, которые зритель проводит в кинозале, он хочет забыть грубую действительность, в которой он живет. Несмотря на то, что доходы могут и возрасти, жизнь, которую ведет подавляющее большинство кинозрителей,— это однообразная повесть об изнуряющей, тяжелой работе, однообразии и борьбе. После Гонконга в мире, пожалуй, нет другой кинематографии, которая бы в такой степени уводила от реального. Эскапистская кинематография консервативна по преимуществу. Кино хинди и здесь занимает особое место. Принудительное вливание черных денег, с одной стороны, и необходимость делать фильмы на широкую аудиторию, представляющую различные классы, вкусы и языки,— с другой, привели к изобретению в фильмах хинди своей собственной формулы обожествления звезд, песен, танцев, экстравагантности, насилия и секса. Такая формула обеспечивала гарантию».

Все — розовое и подслащенное, мещанские добродетели возведены в идеал, мелодраматические суррогаты драматических коллизий вызывают искренние слезы сочувствия и умиления. Определенная категория зрителей не только не «устала» из года в год поглощать эту патоку в чудовищных количествах, наоборот, она никогда не чувствовала недостатка в аппетите.

Коммерция, этот главный отравитель кинематографа, опирается на глубокую традицию, сложившуюся задолго до того, как зал прорезал пучок света и ярко высветил экран. Еще в последней четверти прошлого века в Индии повсеместно получил развитие грубо зрелищный и сугубо развлекательный театр парсов. (Тогда, при специфическом развитии колониальной экономики, ростовщические деньги, вложенные в зрелища, оборачивались устойчивым доходом.) Простому (без кавычек) зрителю предлагались незамысловатые сюжеты; ставились они в аляповато пышных декорациях и костюмах, чтобы воспроизвести атмосферу парских чертогов или сфер небожителей. Обязательным элементом спектакля был музыкальный и буффонадный дивертисмент.

Вот как характеризует этот театр известный индийский писатель Мулк Радж Ананд:

«Преимущественная практическая сметка поставила коммерческий успех над артистическим, и они (театр компании.— С. П.) вскоре преуспели в вульгаризации любого начинания в области театральной жизни».

Уже в 20-е годы наиболее богатые и влиятельные объединения типа компании Мадана начали вкладывать капиталы в кино: новый вид искусства сулил блестящее будущее. И театральные антрепренеры стали превращаться в кинопродюсеров. Так возникла в Индии коммерческая кинематография. Новоявленные кинодеятели пере-

несли в павильон те же подмостки и продолжали делать то, что уже с точки зрения коммерции было проверено временем. При всем желании (появись даже таковое) эти дельцы от искусства и не смогли бы поступить иначе — они делали то, *что умели*, а упомянутый зритель тоже *был приучен* именно к такому зрелищу. Это были унаследованные традиции. Оттуда, из театра, пришли в студию роскошные покои (вспомните богатые буржуазные особняки с внутренними парадными лестницами, с хрустальными люстрами, статуями, а если в современном модерновом доме — то с подсвеченным баром во всю стену), абсурдные костюмы (золотая шляпа и золотые туфли у героя) и прочные амплуа богатого и консервативного отца, паясничающего простака дружка при герое (соответственно подруги при героине), обольстительной гетеры — танцовщицы и т. д. И конечно, оттуда же пришли в звуковой фильм обязательные песни.

По меткому замечанию журнала «Лиснер», индийский фильм представляет собою подобие математического расчета: столько-то потасовок и столько-то песен и танцев.

> «Я знаю,— говорит президент бомбейской гильдии продюсеров Б. Р. Чопра,— мы делаем мюзиклы, и это меня не смущает. Это единственный возможный путь. Из 16 моих фильмов только 2 были без песен. Музыку и танцы необходимо вводить в математической пропорции... Фактически сюжет — это только предлог. Сюжет оправдан постольку, поскольку он дает возможность включения песен и танцев».

Успех фильма сплошь и рядом зависит от того, как зритель принял включенные в фильм песни, музыку, танцы.

С годами выработался институт суперзвезд — здесь учитывается прежде всего, насколько актер или актриса, танцовщица или дублирующий певец способны выдержать одновременные съемки в нескольких фильмах, сколько фонограмм могут они записать подряд.

> «Количество и только количество определяет популярность индийского киноактера,— пишет «Лиснер».— Ведущие артисты считают, что они недогружены, если они не снимаются одновременно в 15—20 фильмах».

Безусловно, все это не может не влиять на качество игры. Во главу угла ставится гонорар, который продюсер обязан выплатить актеру сполна еще до того, как начались съемки. И продюсер делает это без колебания, он ничем не рискует, ведь играется определенный штамп, давно отработанный стандарт. О каком мастерстве может идти речь! Индийский коммерческий фильм — дитя безвкусицы, штампа и барыша. И это серьезно беспокоит тех, кто действительно устал от подобного кино.

Индийский зритель — это ведь еще и значительная прослойка индийской интеллигенции. Характерной особенностью социальной жизни развивающихся стран стал быстрый рост интеллигенции, учащейся молодежи, рост демократических низов. Политическая, социальная жизнь в стране приобрела широкие масштабы и убыстренный темп. Острый интерес к проблемам общественного развития, к состоянию национальной культуры, критическое отношение ко всему, что стоит на пути, мешает развитию прогрессивных институтов — все это характеризует передовую индийскую интеллигенцию.

Кино — самый массовый вид искусства,— естественно, приковывает внимание демократической общественности, справедливо считающей, что оно должно стать средством воспитания людей, приобщения их к подлинно высокой культуре.

Кое-что в этом направлении сделано. Есть несколько имен талантливых режиссеров — кроме упомянутого уже Сатьяджита Рая, успешно работают Мринал Сен, Гириш Карнад. В арсенале индийского кино есть такие большие удачи, как «Дети земли», «Два бигха земли», «Обездоленные» и фильмы Р. Капура и Х. Аббаса. Бывают и такие аномалии, когда кинозвезда Вахида Рахман соглашается сниматься в интересном содержательном фильме, отказываясь от всякого гонорара только потому, что ее привлекает сценарий. Но как редки эти вехи, разбросанные далеко друг от друга среди широкого и мутного потока коммерческого кино.

Главным тезисом всех без исключения статей постоянного кинокритика индийского прогрессивного журнала «Линк» А. Бармана остается требование обуздания коммерческого кино, мешающего развитию индийского подлинно художественного кинематографа. Прокат фильмов сосредоточен в руках тех же денежных воротил и спекулянтов. «Чем скорее,— пишет Барман,— правительство национализирует прокат фильмов — это средоточие рэкета,— тем будет лучше». Пока что в кино, по его словам, господствует альянс «черных денег и отсутствия культуры». Когда фильм вышел на экран,

> «говорят о том главным образом, во что он обошелся, сколько пошло на него легальных и нелегальных средств, сколько стоили идолы экрана, режиссер, сценарист и съемка. Но никто,— пишет Барман,— и не думает говорить о ритме фильма, о его драматургической канве, о развитии сюжета, о создании характера и т. д.».

Газеты и журналы Индии пестрят сегодня статьями, авторы которых приходят к общему выводу: индийское кино должно найти себя и занять достойное место в культурной жизни. Авторы по-разному видят пути реконструкции индийского кинематографа. Появившиеся и в Индии «новая волна», «авангард», «кинематограф правды» отрицаются большинством полемистов как элитарные эксперименты, призванные удовлетворить вкусы небольшой кучки избранных. Не на этом пути следует искать выход из того тупика, в котором находится сегодня кино страны.

В статье Т. К. Махадевана, опубликованной в газете «Таймс оф Индиа», говорится о том, что вред от элитарных новаций в индийском кино не меньший, чем от коммерческих фильмов.

«Сейчас мне представляется, что современная индийская кинематография,— пишет Махадеван,— развивается между двумя крайностями: есть популярное кино, которое делает деньги и является развлечением для миллионов наших граждан, и есть убыточное кино, которое питает нашу элиту. Если я не вижу необходимости поощрять первое, то в такой же позиции я нахожусь и ко второму. Я хочу сказать, что нам следует отказаться от обеих крайностей. К черту вульгарность с кассовым взрывом и туда же тонкую изощренность с ее убытком! Обе крайности вредны».

Элитарный кинематограф Индии подвержен заимствованиям и влияниям извне, несамостоятельность поиска наносит ущерб национальному кино. Махадеван продолжает:

«Мне не нравится, когда индийские фильмы сознательно манерны или раздражают напоминанием чьей-то работы. Имитационный синдром — род эндемии в Индии, низводящей нас до положения копировальщиков... Индийский кинематограф начался с голливудского прототипа... Но если присущая Голливуду грубость легко обнаруживается, поскольку лежит на поверхности, то новые тенденции — иного порядка. Будучи более гибкими, они представляют и большую опасность. Не желая быть поборником изоляции, я все же содрогаюсь при мысли, что это новое проявление, как и многое из того, что произошло в нашем культурном развитии за последние десятилетия, может обернуться еще одним следом старого «комплекса кули».

В течение многих и многих лет в сознание индийского народа пытались внедрить мысль о его политической, государственной и культурной несостоятельности перед «высшими» принципами «наилучшим образом» организованного мира. И некоторые круги усвоили этот преподанный с нескрываемым превосходством урок. Уже во втором поколении у людей, живущих почти тридцать лет в атмосфере независимости, ощущаются оттолоски этого ущербного сознания. Отсюда в основном берет свое начало элитарная культура.

«Мы остаемся плохими имитаторами,— пишет в «Линк» Барман.— В лучшем случае имитируется поверхностное, в худшем — как в большинстве фильмов — непростительные промахи».

По мнению подлинных представителей передовой индийской интеллигенции, кино должно утверждать новое отношение к «реальным вещам». Это мнение основано на учете имеющегося культурного фонда и при глубоком убеждении, что кино — искусство массовое. Махадеван продолжает:

«Если коммерческое кино одурачивает зрителя, то новое кино с его сомнительным качеством простоты — не меньшая проделка. И то и другое вырабатывает определенную формулу восприятия, и то и другое — суррогаты реальных вещей. Во имя изменения и улучшения — и уж конечно во имя искусства — все, что мы делаем, есть навязывание нашему народу нового вкуса. Является ли этот вкус нашим собственным, уходит ли он корнями в наше культурное наследие, истинно ли он присущ нам — об этом не было ни малейшей заботы».

Отбросив по причинам, им изложенным, имеющееся в наличии кино, Махадеван предлагает некий общий подход в поисках нужного Индии кинематографа, исходя прежде всего из задачи, что кино должно воспитывать художественный вкус в самых широких слоях современного общества.

Но можно встретить в прессе и предложения более радикального характера. В ряде статей ставится вопрос о расширении рамок социального кино и больше того — авторы требуют создания политических кинолент. Б. Б. Догра справедливо пишет в «Таймс оф Индиа»:

«Каждый фильм имеет политический подтекст, выраженный прямо или косвенно, приглушенно или явно, сознательно или бессознательно. Фактически нет фильма, который остался бы вне политики. Однако степень отражения в фильме политической темы всегда была спорным вопросом... Возможно, что кино само по себе не может изменить многое, но во всяком случае оно может усилить или ослабить существующие тенденции в значительной степени».

Догра указывает на идеальный исторический пример революционной России когда ее режиссеры (Эйзенштейн и Пудовкин) получили неограниченную возможность создания таких политических и пропагандистских фильмов, которые полностью совпадали с требованиями времени.

Политическое кино, по мнению Догры, должно воспитывать политическое сознание масс, ставить острые социальные проблемы борьбы с еще сильными остатками феодальных институтов, таких, как неприкасаемость. В этом отношении много сделали Х. Аббас, Бимал Рой, М. С. Сатью, Ф. Мазумдар. Но поле для деятельности чрезвычайно обширно.

Передовые люди Индии стремятся превратить индийский кинематограф в культурный фактор первоочередного значения. Они понимают, что именно этому виду искусства принадлежит важное место в ходе дальнейшего движения страны по пути социального и духовного прогресса.

С. ПОТАБЕНКО

АМЕРИКАНО-БРИТАНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

В минувшем году в культурной жизни Великобритании и других стран, говорящих на английском языке, произошло событие, вызвавшее оживленную полемику в периодической печати. Этим событием стало появление нового, 15-го по счету издания Британской энциклопедии. 15-е издание состоит из 30 томов и насчитывает 33 тысячи страниц и 26 тысяч иллюстраций: цена его — в зависимости от переплета — варьируется в пределах 249—500 фунтов стерлингов. Новой «Британике», подразделяющейся на три раздела: «Пропедию» (вступительную часть, занимающую первый том), «Макропедию» (10 томов, содержащих свод важнейших статей и справочный материал, отсылающий по частным вопросам к третьей части выпуска — «Микропедии») и собственно «Микропедию» (последняя охватывает 19 томов), предшествовала беспрецедентная по размаху рекламно-пропагандистская кампания по обе стороны Атлантики.

Журнальные обозреватели (и, как можно полагать, значительная часть читателей) оказались, однако, далеко не во всем удовлетворенными роскошным изданием, выпущенным по последнему слову полиграфической техники. Они заговорили о «вульгаризации» энциклопедии, «усредненности» и «заурядности» положенных в ее основу интеллектуальных стандартов, о резком снижении научного уровня издания, информационная насыщенность которого составляет прочную и давнюю национальную традицию, наконец, о прямой попытке «американизации» одного из наиболее ярких воплощений британского национального самосознания на протяжении двух последних столетий.

Что же вызвало столь негативную реакцию обозревателей и рецензентов респектабельных английских журналов? Чтобы уяснить причины реального — и притом достаточно сложного — положения дел в этой области, нам придется оглянуться на историю «Британики».

«Энциклопедия Британика, или Словарь искусств и наук» лишь ненадолго запоздала в появлении на свет по сравнению с беспокойным детищем Даламбера и Дидро; замысел ее родился у двух энтузиастов — Эндрью Белла и Колина Макфаркухара — в Эдинбурге в 1768 году. 1-е, трехтомное, издание ее вышло в свет четыре года спустя и до конца «века Просвещения» было переиздано трижды — в 10 и 18 томах. Возникнув из потребностей сугубо утилитарных, «Британика» довольно быстро выявила свои преимущества для широкого круга читателей: широту охвата, своеобразную «оперативность» (разумеется, с поправкой на специфические условия времени) информации о современной общественной жизни и фактах истории, экономики, сельского хозяйства, техники. Правящими кругами были не менее оперативно взяты на вооружение и ее несравненные идеологические возможности: недаром в «Дополнениях» к 3-му изданию прямо говорилось о долге редакторов и составителей «Британики» перед королем и необходимости хотя бы частично нейтрализовать ядовитые «семена анархии», посеянные крамольной французской «Энциклопедией».

«Золотой век» «Британики» пришел позже — когда постоянными сотрудниками ее 5-го издания стали Вальтер Скотт, отложивший ради этого в сторону недописанного «Уэверли», Джон Милль, Дэвид Рикардо, Уильям Хэзлит и другие. Издание выросло в объеме (к тому времени оно стало 20-томным), возросла и его популярность. В эпоху викторианства (когда увидели свет 7-е, 8-е и 9-е издания) под колонками мелкого шрифта не редкостью были подписи Томаса Де Куинси, Ч. Кингсли. На исходе последней четверти XIX века, благодаря инициативе энергичных американских предпринимателей, «Британика» перешагнула островные рубежи. Отметим существенную деталь: в результате она перестала быть собственно «британской», став по существу англо-американской; у нее появилось два редактора и две рабочие группы — в Лондоне и Нью-Йорке.

Начало нашего столетия было отмечено еще одним качественным скачком в научно-информативном развитии Британской энциклопедии. Наглядным свидетельством бурного прогресса естественных наук, философии и психологии на рубеже XIX и XX веков стало 11-е, так называемое «кембриджское», 29-томное издание (1908—1911), сделавшееся своего рода моделью и высшей точкой отсчета для всех последующих. Вместе с тем издателей ее постигло и множество тяжких разочарований. Первая мировая война усугубила финансовые трудности, с которыми все чаще в последнее время сталкивались издатели «Британики»; неуклонно росла деловая активность заокеанских компаньонов, все более настойчиво осваивавших не только сферы сбыта и распространения новых выпусков (заметим, что 11-е издание было перепечатано с дополнениями дважды, составив 12-й и 13-й выпуски энциклопедии), но и содержательно-информативную сторону «Британики», и в итоге многих бурных перипетий административно-финансовый «мозг» ее окончательно переместился из Старого света в Новый. 14-е, предпоследнее, издание «Британики» вышло уже после второй мировой войны в Чикаго под научным руководством редакционного совета Чикагского университета, а также объединенного комитета Оксфордского, Кембриджского и Лондонского университетов. В Чикаго же увидело свет и ее нынешнее, 15-е издание, получившее название «Encyclopaedia Britannica International».

Лондонский журнал «Букс энд букмен» отозвался на это событие двумя статьями — в июльском номере 1974-го и январском номере текущего года. Одна из них, выразительно озаглавленная «Британика или Американа?», принадлежит перу литературоведа старшего поколения А. Л. Роуза, другая — «Новая Британика» — прозаику Оберону Во, сыну знаменитого сатирика Ивлина Во.

Следует отметить, что позиции авторов статей в понимании роли энциклопедий в сегодняшнем мире, соотношения национального и интернационального в эпоху «информационного взрыва», да и самих границ «гутенберговой галактики» несходны, а в ряде отношений прямо противоположны. Тем больший интерес представляют их итоговые оценки нового выпуска энциклопедии, свидетельствующие — по воле каждого из авторов или вопреки таковой — о том, что в фокусе их внимания оказываются одни и те же, по существу, тенденции текущего культурно-исторического процесса в странах капиталистического Запада.

А. Л. Роуз в своей неудовлетворенности 15-й «Британикой» наиболее категоричен. Он не приемлет и «иностранных имен» многих редакторов, и английского языка, которым привыкли изъясняться «американские академики»,— языка, искусственно затрудненного и недоступного, как он убежден, широкому читателю, и того факта, что «число статей американских авторов (более 2000) вдвое превысило количество статей, написанных авторами британскими (1000)». Давая волю раздражению, автор статьи с возмущением восклицает:

> «Но почему... ее изготовители не назвали ее просто «Американской энциклопедией»? Новому изданию отведен ранг 15-го издания старой «Британики». Нам заявляют, что она представляет революцию в деле выпуска энциклопедий... Это обычное преувеличение, ибо оно (новое издание.— Н. П.) знаменует собой новое отступление от характера «Британики» [1].

Впрочем, А. Л. Роуз тут же спешит добавить, что американский «отпечаток», наложенный на «Британику», волнует его не с точки зрения национального приоритета, а с историко-культурной точки зрения:

> «Американская интонация и американские акценты заметны везде. Само по себе это не имеет смысла оспаривать: в сегодняшнем мире Америка неизмеримо важнее, чем Британия; это просто вопрос интеллектуальных стандартов».

Вопрос интеллектуальных стандартов, положенных в основу нового издания энциклопедии, по А. Л. Роузу, является определяющим с точки зрения принципиальных отличий новейшей «Британики» от ее предыдущих выпусков, отмеченных, как правило, высоким научно-профессиональным уровнем статей. Можно предположить, что помимо общего снижения познавательно-идейной ценности, объективно имеющего место в 15-й «Британике» и вызывающего нарекания маститого английского литературоведа, неудовлетворенность А. Л. Роуза вызывает и традиционный американский подход к энциклопедиям как к справочным изданиям по преимуществу, в которых идейно-воспитательная функция все более отступает на второй план перед функцией информативно-популяризаторской.

---

[1] Трудно устоять от соблазна привести в качестве подстрочного комментария к этому заявлению короткую выдержку из статьи, посвященной «Британике» в «Энциклопедия Американа» (издание 1955 года, том 10-й, стр. 317): «14-е издание... ознаменовало первую определенную попытку популяризировать, гуманизировать и в значительной степени **американизировать** (подчеркнуто мной.— Н. П.) энциклопедию, остававшуюся на протяжении более чем 150 лет прежде всего британской по содержанию и подходу. В Лондоне и Нью-Йорке были учреждены редакционные центры как с британскими, так и американскими консультативными советами; ни по отношению к британским представителям, ни по отношению к британской точке зрения не проявлялось пренебрежения». Думается, бесстрастно-констатирующий тон этой заметки как нельзя лучше оттеняет горечь сетований А. Л. Роуза на страницах «Букс энд букмен».

«Стандарты этих энциклопедистов,— пишет он,— неверны или, по меньшей мере, второразрядны. Они — академические американские популяризаторы в хорошем, равно как и не в самом лучшем, смысле этого слова. Их интеллектуальный уровень — средний, их не отличают ни выдающиеся способности, ни оригинальные открытия, и они, естественно, при каждом удобном случае отдают предпочтение тем, кого поднимают на щит средства массовой информации... Но — остерегайтесь, энциклопедисты! — ничто не устаревает так быстро, как новейшие массовые симпатии».

Эта «второразрядность», «заимствованность» интеллектуальных стандартов нынешних составителей и редакторов «Британики» и вызывает глубокую озабоченность автора статьи. Философскую и этико-познавательную ценность энциклопедии А. Л. Роуз видит прежде всего в бережно-внимательном отношении к великому культурному наследию прошлого, ныне подвергаемому грубой фальсификации в средствах массовой информации. Из статьи А. Л. Роуза явствует, что автору особенно близка «гуманитарная», просветительная функция энциклопедии в современном обществе (не случайно, оперируя конкретными примерами, он обращается чаще всего к литературе и истории).

Усредненный подход к явлениям материальной и духовной жизни, по мнению А. Л. Роуза, оправдывает себя лишь там, где автор статьи для энциклопедии имеет дело с рядовыми «проходными» или малоизученными явлениями. Когда же перед исследователем встает вопрос первостепенной важности, когда изложение его требует подлинного таланта, научной эрудиции, стилистического мастерства, излюбленный подход новейших американских энциклопедистов терпит полное банкротство.

Вот как, например, на страницах новейшей «Британики» предстает творчество Шекспира:

«Посвященная ему статья не плоха, а лишь нестерпимо **второразрядна** (подчеркнуто мной.— **Н. П.**),— пишет А. Л. Роуз.—...Никакого реального представления о подлинных обстоятельствах и фоне эпохи, в которую он жил. Что же касается сонетов, то нам предлагают просто жвачку: «Неизвестно, за сколь долгий период до 1609 г. были написаны сонеты... некоторые из них могли быть созданы в любую пору жизни Шекспира-поэта... Сонеты Шекспира, однако, не производят впечатления стройной последовательности, как у Сидни, Спенсера и других».

На самом деле,— ядовито комментирует признанный специалист по елизаветинской Англии,— они производят гораздо большее впечатление стройной последовательности, чем сонеты Сидни и тем более Спенсера. Но при таком второразрядном восприятии составителям представляется необходимым упоминать доводы простофиль в одном ряду с суждениями первоклассных историков века!»

Вообще пренебрежение к истории и историкам, по мнению А. Л. Роуза, один из худших изъянов 15-го издания. В частности, читатель может наткнуться на страницах «Британики» на весьма оригинальное утверждение о том, что «средневековой французской литературы не существовало», в то время как там были такие героические романы, как «Роман о Розе», о Тристане, романы об Артуре. Более того, как бы парадоксально это ни звучало (речь-то идет, в конце концов, о составителе национальной Британской энциклопедии!), не лучше обстоит дело и с историей английского народа. Оказывается, из Чикаго, например,

«невозможно увидеть, что англичане и валлийцы — два разных народа. Даже история Ирландии несколько разочаровывающе соотнесена с историей Британии как нечто единое».

И горечь А. Л. Роуза, болезненно переживающего забвение давних национальных традиций «Британики» классического периода, можно понять (не будем забывать, что для него культурное наследие прошлого ассоциируется прежде всего с культурным прошлым Англии, подвергаемым в настоящем издании существенной — и едва ли объективной — переоценке), хотя трудно согласиться с рядом его суждений, очевидно отражающих консервативный и порой предвзятый с узконациональной точки зрения характер его критики. Оберон Во, в противоположность д-ру Роузу, не разделяет комплекса «Великой Британии», неуклонно утрачивающей политический и культурный приоритет.

«Цель любой энциклопедии,— пишет он,— независимо от того, на каком языке она выходит,— должна быть одной и той же: суммировать все полезные или интересные человеческие знания».

С такими критериями Оберон Во и пытается подойти к 15-му изданию. Для него «Британика» прежде всего — универсальный справочник, практичность или непрактичность которого определяется такими свойствами, как: 1) доступность информации, 2) доступность изложения, 3) обширность охвата, 4) точность и 5) изящество стиля.

Он рассматривает энциклопедию как закономерный материальный атрибут «общества потребления» в системе других атрибутов этого общества. А следовательно, и

видит в позднейшем выпуске «Британики» то, что в силу иной пространственно-временной ориентации остается для А. Л. Роуза невидимым.

Издание и переиздание энциклопедий — не что иное, как производственно-торговая операция и как таковая в принципе ничем не отличается от продажи любого изделия ширпотреба; эта сторона дела для Оберона Во самоочевидна. Цитируя рекламный анонс издателей, он не без иронии добавляет:

> «В качестве особой приманки для покупателя к энциклопедии прилагается пластинка, с которой прочувствованный и несколько банальный голос... на весь мир расхваливает достоинства новой энциклопедии, как если бы это был деодорант или один из тех электроприборов, которыми так восхищаются низшие классы».

Издатели энциклопедии, продолжает рецензент, в прошлом ориентировались на библиотеки и академические учреждения. Академические круги и сегодня остаются для них основным рынком сбыта; однако в последние годы у бизнесменов от книготорговли появился новый потенциальный покупатель. Учитывая традиционный авторитет «Британики» среди читательских масс, издатели энциклопедии позволяют себе испытывать радужные надежды. В итоге, язвительно констатирует Оберон Во,

> «одни и те же интонации используются и для обольщения представителей академических кругов, и для выманивания 249 фунтов из кошелька усердного покупателя-пролетария».

Что же касается качественного уровня теперешней «Британики», то, отнюдь не приходя от нее в восторг, рецензент считает возможным заключить, что

> «она отражает моду и увлечения нашего времени. И сколь бы это ни было достойно сожаления, последнее делает ее более, а не менее ценной в качестве справочного издания... Те, кого утомляет новая «Энциклопедия Британика», утомлены современной жизнью, и хотя я не сомневаюсь, что большинство цивилизованных и образованных англичан, изучающих «Британику», придут к этому печальному выводу, по справедливости следует винить в этом времена, в которые мы живем, а не 15-е издание «Британики» за то, что она эти времена отражает».

Вывод поистине печальный; впрочем, в системе рассуждений Оберона Во иное заключение едва ли возможно. При сопоставлении критических оценок обоих рецензентов складывается парадоксальное впечатление, что оба они, в общем относясь к энциклопедии и ее достоинствам более чем сдержанно, предъявляя к ней принципиально разные критерии, впадают в равной мере опасные крайности. Если в роузовской неудовлетворенности поверхностностью и чрезмерной популярностью «Британики» ощущаются интонации ностальгии по безвозвратно утраченному теперешней Британией культурно-политическому престижу, то Оберон Во, видя в 15-м ее выпуске законченное воплощение интеллектуального уровня, типичного для сегодняшнего «массового общества», вообще отказывается предположить, что в нынешних условиях Британская энциклопедия могла бы стать чем-то большим. Один рецензент, не приемля энциклопедии 1970-х годов, по сути дела, не приемлет целого ряда симптомов и знамений времени, в которое она создавалась; другой, видя в ней именно знамение времени и конкретно-социологического климата «общества потребления», сознавая ограниченность воспитываемого этим обществом менталитета, сам, по существу, отказывается выйти за его рамки.

Об этом убедительно свидетельствует то, что Оберон Во, приводя многочисленные частные примеры, говорящие о реальных сдвигах, происходивших в недрах административно-издательского центра «Британики» от одного издания ее до другого, по сути, принципиально отказывается от попыток их интерпретировать в социально-политическом контексте времени. Так, обсуждая «критерий точности», как он реализуется в «Британике» 1974 года, Оберон Во, вслед за обозревателем предыдущего, 14-го, издания Эйнбиндером, справедливо констатирует, что от выпуска к выпуску, начиная с момента перемещения «мозгового центра» энциклопедии в Чикаго, в ней усиливается тенденция

> «к выхолащиванию посредством устранения или смягчения любых исторических вопросов, которые могли бы вызвать неприятие современных религиозных или этнических групп»,

однако никак не выражает своего отношения к этой тенденции. Или другой пример, еще более показательный.

По свидетельству Эйнбиндера, в «Британике» 1963 года число погибших в гитлеровских лагерях смерти колебалось в пределах от 18 до 26 млн. человек. Согласно тому же Эйнбиндеру, на которого ссылается Оберон Во, самой высокой цифрой массового уничтожения населения в нацистских концлагерях, фигурировавшей на Нюрнбергском процессе, была цифра 12 млн. Новое, 15-е издание низводит эту цифру до... 6 млн. человек. Что может быть красноречивее этого многозначительного «статистического сдвига» спустя всего лишь тридцатилетие после окончания второй мировой войны? Не в нем ли, в числе других показателей, проявились те самые тенденции к трансформации («популяризации», «американизации») и самой энциклопедии и — что

еще важнее — однажды запечатленных в ней фактов реальной истории, тенденций, вызывающие настороженную реакцию обоих рецензентов «Букс энд букмен» и наверняка многих других читателей?

Однако, отведя «Британике» 1974 года в собственной системе ценностей место повседневного справочника, Оберон Во предпочитает не затрагивать при этом острых вопросов (приобретающих и глубоко современное звучание) вроде преступлений фашизма и их реального масштаба, заслоняясь туманными рассуждениями о «сложности» определения исторической истины.

> «Разница между этими цифрами,— не может не признать он,— ошеломляющая, и тем не менее каждая из них приводилась в свое время «Энциклопедией Британикой» как максимальное приближение к истине, на которое может рассчитывать человек, по природе своей склонный к ошибкам».

Приводя другой пример разительного расхождения в двух предыдущих изданиях «Британики» — относительно действительного числа погибших при бомбардировке Дрездена союзной авиацией, Оберон Во подводит меланхолический и, мягко говоря, малоубедительный итог:

> «Очевидно, точное число тех, кто был убит в Дрездене, известно лишь господу богу, равно как и число еще более хладнокровно и жестоко умерщвленных нацистами в лагерях... Энциклопедия не претендует на владение абсолютной истиной о чем бы то ни было; она может лишь надеяться сообщить то, что в результате того или иного соглашения, достигнутого в любое данное время, общепринято в качестве истины (подчеркнуто мной.— Н. П.)... Сколько людей было уничтожено в Дрездене: 35 тысяч, или 135 тысяч, или 300 тысяч? Энциклопедии, подобно газетам, способны лишь снабдить нас последней новостью».

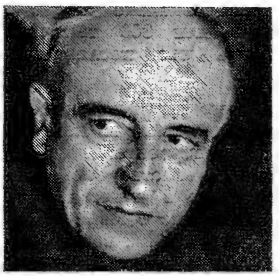
Заметим в скобках, что «Британика» удостаивается весьма неожиданного комплимента автора статьи, оказываясь приравненной к ежедневному периодическому изданию. Дело, однако, не в комплиментарности или критичности рецензента. Общеизвестно, что новость новости — рознь. В сегодняшнем мире есть множество людей, для которых число погибших в гитлеровских лагерях смерти не стало и никогда не станет статистической формальностью. Далее, ни для кого не секрет, что в мире все еще живы социальные силы, всемерно заинтересованные в том, чтобы любым возможным способом хотя бы частично обелить фашизм и исказить правду о военных преступлениях нацизма. Число умерщвленных в фашистских лагерях, равно как и число невинно погибших при варварской бомбардировке Дрездена или уничтоженных взрывом американской атомной бомбы над Хиросимой — вещи, неотделимые от социально-политической реальности середины XX века. Вокруг них не раз разгорались и продолжают разгораться идеологические бури. Не раз предпринимались (и продолжают предприниматься сегодня — вспомним хотя бы недавно вынесенное президентом Франции и вызвавшее резкий протест французской прогрессивной общественности постановление об отмене празднования Дня всемирно-исторической победы над силами германского фашизма во второй мировой войне, неизгладимого из современной истории и памяти живущих) попытки в самых различных формах и обличиях предать забвению правду о недавней истории, с помощью изощренных приемов превратить ее в полуправду и четверть-правду. В щекотливой ситуации, в которую вольно или невольно оказался вовлечен уважаемый обозреватель солидного лондонского журнала (нельзя же уйти от того факта, что на страницах по крайней мере двух изданий «Британики» черным по белому явлено это кричащее «статистическое» расхождение), едва ли уместны ссылки на авторитет господа бога. Политика — дело сугубо земное, и, думается, поправки и разночтения в 15-м издании «Британики» появились не случайно; они — не столь «академического», сколь идеологического характера. Как, впрочем, пронизано определенным идеологическим духом и все роскошное 30-томное издание «Интернациональной Британской энциклопедии», выпущенное в Чикаго.

Косвенным образом это признают и оба лондонских рецензента, объективно констатирующие неблагоприятные последствия продолжающейся «популяризации» и «американизации» культурного наследия Англии. Оба они — и А. Л. Роуз, и Оберон Во,— признавая, каждый со своей стороны, глубокое неблагополучие, приключившееся на сей раз с «Британикой», в сущности, не знают, что можно противопоставить массированному натиску бездуховных стандартов «массовой культуры» на индивидуальное сознание англичан. Один, в поисках точки опоры, взывает к былому величию «гордого британского духа»; другой отделывается ссылкой на то, что «Британика» — не что иное, как справочник, а ни один справочник в мире не является непогрешимым и всеисчерпывающим. А тем временем тотальная инфляция духовных ценностей, с которой не без успеха соседствует вполне определенная в политическом отношении «переоценка» некоторых явлений и фактов недавней истории, проникающая ныне, как мы увидели, и в такие «высокие» сферы и институты аккумулированного человеческого опыта, как «Энциклопедия Британика», продолжается.

НИКОЛАЙ ПАЛЬЦЕВ

◆

ПОЕЗДКА В СССР



БЕРНАР КЛАВЕЛЬ,

член Гонкуровской академии

Я впервые был в Советской стране, и каждый час моего пребывания там добавлял новую краску к фреске, окутывал меня теплом подлинной дружбы, о которой мне хотелось бы гораздо больше написать. Но поскольку обо всем написать невозможно, я остановлюсь лишь на двух моментах.

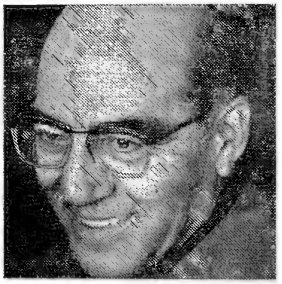
Первое воспоминание связано для меня с любовью к земле, а второе запечатлелось так четко, наверно, потому, что было это вечером, и оба напоены поэзией и исполнены великого гуманизма.

Я приобщился к земле, обрабатывая виноградники с моим другом испанцем, и, наверное, потому я никогда не забуду двор колхоза «Дурипш» в Абхазии, где под деревьями стоял длинный стол. Никогда не забуду это смуглое лицо, этот глубокий взгляд старика крестьянина, то, как он подносил нам хлеб и вино дружбы. За радостным, праздничным столом встретились писатели, крестьяне, бывший учитель, врач и — президент республики, чтобы воспеть свою любовь к простой жизни, и это, думается, свидетельствует в пользу Советской страны куда больше, чем любые самые высокопарные речи. Ибо именно в любви к земле и лучшим ее плодам зреет зерно мира.

Второе мое воспоминание относится к Москве — к тому вечеру, когда праздновали юбилей Пушкина. Перед статуей поэта молча шли люди, приехавшие, как мне сказали, порой издалека,— опускали на пьедестал скромные цветы и шли дальше. А в сквере под деревьями, где свет фонарей прорезал сумерки, молодые люди читали стихи, и им жадно внимали. Музыка русского языка, которым я не владею, но ритмика которого глубоко волнует меня, навсегда сохранится в моей памяти наряду с музыкой ветра, шумевшего в лесах моего детства.

Этот вечер нельзя ни описать, ни подвергнуть анализу. Наверное, нужен более сладкозвучный голос, чтобы воспеть его, голос глубокий и сокровенный, каким владел Пушкин. Ибо это его голос звучал над сквером и уносился далеко, чтобы смешаться где-то с горячим дыханием города.

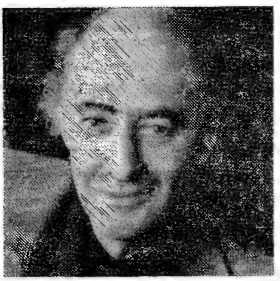
Поэзия земли, поэзия улицы, поэзия, которой насыщены вечера города, где столько деревьев подставляют вечернему ветру усыпанные снегом тополиного пуха ветви,— признак того, что близко лето,— это лишь несколько черточек страны, такой огромной, что голова идет кругом, и такой настоящей,— страны, где люди еще не разучились целоваться при встрече. Всего несколько черточек, но этого вполне достаточно, чтобы такую страну захотелось полюбить.



ЭММАНЮЭЛЬ РОБЛЕС,

член Гонкуровской академии

Мы увидели много нового в Москве и Пицунде в июне 1975 года, у нас было много приятных встреч, но наиболее интересными были разговоры между французскими и советскими писателями, многообразие тем, по которым велись наши беседы, выходившие иногда далеко за рамки чисто профессиональных интересов. Само собой, профессиональные проблемы занимали нас прежде всего, и мы уделили им достаточно внимания. Однако, обменявшись сведениями о том, как обстоит дело с выпуском книг в наших странах, мы оставили эти проблемы в стороне. Гораздо больше говорили мы о литературном творчестве, о роли писателя в обществе, о его вкладе в культуру, о его желании общаться и обмениваться со своими коллегами мнениями по разным вопросам. Если стремиться к тому, чтобы книга дошла до читателя, необходимо, чтобы такая книга перешагнула через границы. И тут я позволил себе подчеркнуть роль переводчика, значение его искусства, остановился на недооценке его работы, порой наблюдающейся во Франции, да и в других странах. Я могу говорить об этом с достаточной уверенностью, поскольку сам являюсь переводчиком и руковожу серией под названием «Средиземноморье», где публикуются работы и иностранных писателей: арабов, итальянцев, турок, испанцев, греков... Я высказал мысль, что каждый сколько-нибудь известный писатель должен в ходе своего творчества хотя бы раз что-то перевести (или адаптировать) по своему выбору. Я убежден, что это ничуть не умалит его достоинства и не унизит его. В нашем столь неверном мире любые средства, думается мне, хороши, если они способствуют сближению людей и помогают им лучше понять друг друга. В решении этой задачи переводчик и его искусство занимают достаточно большое место.



МИШЕЛЬ БАТАЙ,

писатель

Хотя в ту пору, о которой пойдет ниже речь, я еще никак не мог предвидеть, что через месяц буду приглашен в Советский Союз, на моем примере можно судить о том, каким престижем пользуется русская культура в глазах французского писателя, какое значение он ей придает. Дело в том, что зимой я должен был лечь на тяжелую ушную операцию, к несчастью, седьмую, причем очень болезненную, поскольку ее делают без анестезии, и мучительную, так как потом долгое время надо лежать совершенно неподвижно.

И вот, прежде чем поехать в больницу, я, глядя на полки своей библиотеки, задался следующим вопросом: какие книги способны помочь мне пережить муки и одиночество?

Я взял с собой лишь Достоевского и Толстого.

Однако сегодня речь идет уже не только

о «классическом вкладе» русской интеллигенции в мировую цивилизацию, речь идет не только об этом гениальном проникновении в человеческий механизм, позволяющем выявлять с удивительной ясностью работу его мельчайших колесиков и винтиков, речь идет даже и не о волнующем воздействии Москвы, ее Красной площади, русских полян и лесов, глядя на которые французу кажется, что он **это помнит,** что он **их узнает,** даже если он тут впервые...

Сегодня главное — это советская реальность... Когда впервые приезжаешь в эту страну, то, еще не доехав до центра Москвы, на шоссе, ведущем из аэропорта, видишь простой и величественный монумент, отмечающий место, где были остановлены фашистские полчища, понимаешь всю огромность того, что пережил Советский Союз. (А французский народ, как и народ советский, продолжает 9 мая отмечать годовщину окончательной победы над фашизмом.)

После этого первого, так взволновавшего меня впечатления я могу до бесконечности перечислять то, что видел и что меня поразило: размах столицы, величественность архитектуры, необозримые просторы, увиденные из самолета, с высоты небес, поля, на которых трудятся люди, новые города, рожденные по воле человека... Я мог бы до бесконечности говорить о широте и дружелюбии людей, которые нас принимали... Но романист старается прежде всего понять... ему свойственно раздвоение, некий остраненный взгляд, и если он чем-то восхищается или поражается, он всегда стремится понять **почему...**

И вот я стал искать и, думается, нашел то, что дало толчок такой архитектуре, то, что является движущей силой, побуждающей людей так трудиться, то, что воздвигло эти города и вскормило в людях такое дружелюбие,— это можно выразить одним словом: **мужество.**

АНДРЕ СТИЛЬ,

писатель

В памяти прежде всего осталась теплота отношений, возникших между советскими писателями и писателями французскими во время прошедшей встречи. Этот не протокольно-вежливый, а дружеский прием, который деятели одной культуры оказали деятелям другой культуры, эта общая озабоченность проблемами творчества, которая свойственна всем людям. Эти разговоры, свободные и откровенные, в которых, несмотря на разницу условий жизни в наших странах, чувствовалась общая заинтересованность, делавшая столь плодотворным сопоставление разных точек зрения..

Ну, а кроме того, подобные встречи немало способствуют взаимному ознакомлению двух литератур. Конечно, обмен мнениями не может заменить знакомство с самими произведениями, их чтение. Но в этой области еще столько надо сделать, и огромность задач — при соблюдении соответствующих пропорций — выступает особенно четко при таком обмене информацией... Нам эта встреча помогла расширить наши познания и понять масштабы и подлинные размеры советской литературы, количество и многообразие выпускаемых в Советском Союзе книг, деятельность издательств, необычайное расширение читательских интересов и т. д. А как мало советских книг появляется у нас во Франции — виной тому система капиталистического предпринимательства и существование литературных агентов; это несоответствие между богатством советской литературы и ее переводами во Франции ставит перед нами чрезвычайно серьезные проблемы.

И наконец, нас не могла не поразить глубокая, волнующая связь, которая существует в Советском Союзе между писателями и народом. А народ — мы это особенно почувствовали как в колхозе, так и на заводе,— с уважением и вниманием относится к литературному творчеству, и это позволяет писателям намечать и осуществлять великие и благородные замыслы.

Я ставлю на этом точку, чтобы не повторять того, что уже сказали мои друзья, чьи чувства я вполне разделяю, мне хочется лишь подчеркнуть радость взаимопонимания и тепло дружеских уз, завязавшихся под синим небом и солнцем Пицунды, которые ничто не изгладит из нашей памяти.

Перевод с французского Н. ИВАНИНОЙ

Н. ФЕДОРЕНКО

Плодотворный диалог

Многообразен мир человеческих отношений. Бесконечны пути общения людей. Здесь и средства искусства, раздвигающие горизонты нашего видения, обогащающие нас эстетически. И удивительная роль литературы, которая, помимо всего, обладает способностью приближения к нашим глазам неизвестных земель и народов, постижения их жизни, общественных и частных связей, социальной реальности. Именно через книгу мы часто познаем смысл происходящего вокруг: и собственного своего бытия, и человеческих судеб в зарубежных странах.

И все же ничто, пожалуй, не в состоянии заменить опыт личного знакомства, увиденное своими глазами. Оттого и гласит народное речение: лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Простая эта истина живым отсветом легла на публикуемые нами сегодня заметки французских писателей, которые недавно посетили нашу страну и делятся теперь своими впечатлениями о том, что увидели и сохранили в памяти. Это — впечатления, рожденные их собственным, личным опытом. Они получили представление о нашей стране и людях, раздвинув тем самым границы своих личных познаний.

Шесть литераторов Франции две недели были гостями советских писателей — прозаик, лауреат премии Стендаля Мишель Батай; члены Гонкуровской академии прозаик Бернар Клавель, прозаик и драматург Эмманюэль Роблес; поэт и профессор математики Жак Рубо, писатель, критик и общественный деятель Андре Стиль, прозаик и сценарист Жан Пелегри. Литераторы очень разные — и по характеру творческих индивидуальностей и склонностей, и по общественным и политическим убеждениям: среди них — коммунист Андре Стиль, социалист Мишель Батай. Настолько мало соприкасались на родине интересы наших гостей, что познакомиться друг с другом по-настоящему им довелось, кажется, лишь на нашей земле — кстати, за эту счастливую, по их признаниям, возможность они даже, шутя, благодарили своих советских хозяев.

Встречи французских и советских литераторов, проходившие в дружеской атмосфере, приняли форму свободного диалога, в котором были затронуты современные творческие проблемы. Наиболее острые, приковывающие к себе внимание. Потому они и вызвали активный обмен мнениями.

Полного соответствия взглядов по всем затронутым в беседах вопросам, разумеется, не возникло. И это объяснимо: многое в позиции, в суждениях участников встречи определялось различием политических систем, социальных и экономических условий, существующих в Советском Союзе и Франции. Различны соответственно условия и атмосфера творческой деятельности французских и советских писателей.

Существенные уточнения были высказаны при обсуждении темы войны. Высказывания демонстрировали далеко не однозначные подходы, разную методологию, выражали и индивидуальные особенности, и творческое своеобразие художников, личностные их черты.

Художник призван смотреть в будущее, вглядываться в то, что ждет человека впереди... В ходе обмена суждениями о миссии художника, о значении литературы в современном обществе французские писатели выразили заинтересованность в том, чтобы лучше узнать Советский Союз, условия жизни и труда советских людей и писателей, в частности.

Творческие беседы состоялись не только за «круглым столом» Союза писателей в Москве. Откровенный и уважительный разговор происходил, как того пожелали французские писатели, в непринужденной обстановке, без протокола и заранее сформулированных вопросов повестки дня. Были индивидуальные встречи, «кулуарные» собеседования французских и советских литераторов. На

взаимно интересующие темы. Были встречи на московском автозаводе, увлекательный разговор с рабочими, было волнующее знакомство с тружениками абхазского колхоза. Французские писатели увидели мир советского человека в живой, реальной динамике, в неостановимом движении, обновлении, преобразовании.

Увиденное своими глазами помогало нашим французским коллегам лучше понять природу и содержание советской литературы. Лучше понять, как и почему общность духовной жизни советских людей, сознание каждым своего соучастия в жизни общенародной, в исторически значимом движении, глубинные общественные сдвиги — все эти вопросы смысла и цели жизни — впервые стали содержанием современной советской литературы. Понять, почему пути творческих исканий советских писателей ведут к человеку, их современнику, образу его жизни, труда, мышления.

Никогда еще ни одной литературой не решались такой широты философские, моральные, общественные проблемы в прямых столкновениях героев книг, в лирических суждениях авторов. При этом между сознанием героев и большим социальным миром установилась нерасторжимая связь, все глубже влияющая на строй их мыслей, чувств, настроений, идей — общезначимых, выходящих за рамки проблем частного бытия и судьбы. И всему сопутствует здесь простор общенародных возможностей, расцвет личности — не отдельной, возвышающейся над толпой, а новой личности, щедро наделенной социалистическим отечеством истинными богатствами: свободой и раскованностью, всеми видами культуры, в том числе культуры зарубежных народов, лучшими их достижениями в области словесного искусства. Именно поэтому Советский Союз неоспоримо утвердил себя в благороднейшем качестве великой читающей державы. Читающей все ценное и достойное, что создается писательским гением отечественных и иностранных — Востока и Запада — художников слова.

В творческой нашей дискуссии указывалось на то, что литература призвана раньше всего творить нравственный климат времени, находить средства духовного сплочения людей — сколь бы различными ни были их индивидуальные особенности и склонности. Эту свою роль литература не в состоянии осуществить без погружения в глубины психологических состояний и человеческих характеров. Говорилось о том, что подлинной ценностью для художника является его литературный труд. В нем заключен смысл жизни. Его ничем нельзя восполнить, ничем заменить. Речь идет, конечно, о труде нужном, полезном. О труде, который предназначен людям. Невозможно писать, если нет уверенности, что созданное произведение кто-то прочтет.

«В Советский Союз,— сказал Бернар Клавель,— я приехал впервые. И больше всего меня поразили встречи с людьми труда: с крестьянами — в абхазском колхозе и с рабочими — на Московском автозаводе имени Ленинского комсомола. На заводе мы говорили не только о проблемах жизни рабочих, но и о литературе. Какая это радость для писателя — знать, что его книги необходимы людям!»

Может ли писатель оставаться «нейтральным», бесстрастно отображать жизнь, окружающий мир? Вопрос этот отнюдь не нов. Он возникал в разное время, при различных обстоятельствах. И ответ на него простым быть не может. Разумеется, в силу своей субъективной природы художник неотвратимо привносит в восприятие и постижение действительности собственную личность, свое видение.

Участники диалога отмечали также, что литература формируется в обществе как продукт общественной деятельности. Словесное искусство — составная часть жизни народа, нерасторжимая реальность его созидательных устремлений и воли. Литература произошла из трудовой и духовной деятельности человека и общества. И потому литература, являясь органическим фактором живого общественного организма, неизменно воздействовала на трудовые и духовные процессы в жизни людей.

Близкой всем участникам дискуссии оказалась проблема литературной критики. Суждения о ней писателей носили порой острый и нелицеприятный характер. Серьезные нарекания были высказаны нашими коллегами по поводу произволь-

ности оценок со стороны тех критиков во Франции,— а их немало,— которыми движет не доброжелательность, не стремление дать объективный анализ произведения, но личные симпатии и антипатии, а нередко своекорыстие и фальшь.

Интересными были выступления советских участников встречи, охарактеризовавших основные принципы и творческий опыт литературной критики в Советском Союзе. Отмечалось, в частности, что ответственность критики не просто в том, чтобы сопоставить одно произведение с другим и т. п., но в том, чтобы созданную писателем картину сверить с жизнью. Это, конечно, обязывает критика знать жизнь не хуже писателя, иначе он не сможет оценить должным образом созданное произведение, не сможет установить, насколько содержание книги отвечает реальной действительности.

Круг вопросов и тем обогащался по мере развития нашего диалога. Участники встречи отмечали, что во Франции, как и во многих других странах мира, широко обсуждаются проблемы общественной роли писателя в современной жизни, вопросы направления художественного творчества, положение литературы в условиях роста средств массовой информации, возникновения и формирования так называемой «массовой литературы». В этой связи французские литераторы указывали на важность и насущность задачи художника вести борьбу против «потребительской культуры», за создание книг о судьбах простых людей труда, об их жизни и работе, духовном богатстве — книг, доступных этим людям. Они говорили также о литературе как о действенном средстве преобразования мира и воспитания человека, о необходимости для художника выражать свой собственный взгляд на человека, исследовать природу его социальной борьбы за достоинство и свободу.

Обсуждая поднятую французскими писателями проблему абстрактного искусства и особенностей восприятия нефигуративной живописи, советские литераторы, со своей стороны, делились опытом истории нашего искусства и литературы, особо подчеркивали значение принципов социалистического реализма в его формировании. Разъяснялось при этом, что наш художественный метод отнюдь не ограничивает и не исключает, а, напротив, порождает стилевое и творческое многообразие, свободу выбора тем, сюжетов и форм художественного воплощения. Обращалось внимание на целостность и единство идейного смысла и художественной формы произведений социалистического реализма, на недопустимость их разъятия, на важность подхода к искусству с сущностной его стороны, на органическую взаимосвязь творчества писателя с общественным развитием. Риторическое словоизвержение чревато опасностями. Слова, оторванные от смысла, от реального их значения, способны привести к заблуждению, затуманить человеческое мышление, породить ошибочные представления.

Для советского искусства слова важнейший вопрос — способность литературы охватывать развивающиеся события, историческую их новизну и соответственно находить новые формы, выразительные средства, усложняющиеся по мере роста и усложнения духовного мира людей нового общества. Вместе с тем художественное творчество нами рассматривается и как фактор интернационального познания: через искусство важно уметь понимать чужой мир и делать миру понятным наш собственный мир.

Словом, мы говорили об искусстве, преобразующем действительность в революционном духе, искусстве социалистического реализма, которое вбирает в себя художественный опыт человеческого гения всех времен, Запада и Востока.

Справедливо указывая на то, что труженикам не нужна война, и называя служение миру главной задачей писателя, Бернар Клавель, однако, высказывался вообще против всяких войн, являющихся насилием. Взгляд этот оспаривался другими участниками дискуссии, утверждавшими, что войны бывают различны по своей природе и что здесь необходим дифференцированный подход. История и современность свидетельствуют, к примеру, о справедливом характере революционной национально-освободительной борьбы колониальных народов, общенародной войны против фашизма. Напомнив о своем недавно опубликованном романе «Трудные времена года», Эмманюэль Роблес говорил о том, что в этой кни-

ге затронута тема, которая волнует его всю жизнь: ужас войны... «Но бывают войны справедливые. Я рисую в своем произведении борьбу против фашизма, против того зла, какое он олицетворял».

Темы войны касается в заметках, которые нами публикуются выше, и Мишель Батай. В них мысль о том, что достойные люди — именно те, что помнят: «Французский народ, как и народ советский, продолжает 9 мая отмечать годовщину окончательной победы над фашизмом». Когда «на шоссе, ведущем из аэропорта, видишь простой и величественный монумент, отмечающий место, где были остановлены фашистские полчища, понимаешь всю огромность того, что пережил Советский Союз».

Разговор этот о войне приобрел тем большую знаменательность, что наша встреча совпала со временем торжеств по случаю тридцатилетия всенародного подвига в Великой Отечественной войне против гитлеровского фашизма. И это напомнило всем о неизбывности горя потерь: двадцать миллионов жизней, триллион восемьсот миллиардов рублей — стоимость войны за четыре года и 675 миллиардов рублей — ущерб, причиненный на оккупированной врагом территории. Но в горе этом и сила: у боли есть и лицевая сторона — мужество, благородство, подвиг созидания. Понимают это и наши друзья. Примечательны заключительные строки заметок Мишеля Батая: «И вот я стал искать и, думается, нашел... то, что является движущей силой, побуждающей так трудиться, то, что воздвигло эти города и вскормило в людях такое дружелюбие,— это можно выразить одним словом: **мужество».**

Враждебность можно скрыть под личиной воспитанности, но дружба нескрываема. Она вся в открытости, в искренности, радующей человека и вселяющей в него надежду на доброе будущее. В личном письме автору этих строк Бернар Клавель, обращаясь с просьбой «передать всем моим друзьям, что я им искренне признателен и надеюсь увидеть их во Франции», подчеркивает: «Благодаря им я сейчас, как никогда, верю в силу дружбы и в силы мира. От всего сердца...»

Московские встречи были продолжены на живописном побережье Абхазии — земле древней Колхиды, известной еще по старинным мифам, повествующим о том, как отсюда аргонавты с помощью очаровательной Медеи похитили Золотое руно. С солнечного этого побережья видятся те вечно заснеженные вершины Кавказа, к которым боги приковали Прометея, даровавшего людям огонь.

Обращаясь к французским писателям, Григол Абашидзе напомнил гостям, что они прибыли в страну одного из древнейших культурных народов, имеющего двадцативековую письменность и пятнадцативековую историю литературы. На земле, воскресшей в социалистическом бытии новой Колхиды, превращенной в процветающую республику чая и цитрусовых, рядом с монументами античной цивилизации и дремлющими руинами памятников старины всюду высятся школы, библиотеки, дворцы культуры...

И здесь, на чудесном мысе Пицунда, продолжалась начатая дискуссия. Одна тема сменялась другой. Участники были свободны в выборе и постановке любого вопроса. Интересным был разговор о долговременных завоеваниях человечества, познавательной ценности классического художественного наследия, творческом освоении положительного опыта и традиций в истории словесного искусства.

Развитию культуры, художественному движению человечества присуща преемственность, восприятие наследия предшествующих поколений. Мудрому человеку принадлежит замечание: «Литература — духовное завещание, которое одно поколение оставляет другому». Понятно поэтому всеобщее осуждение, которому подвергся чудовищный разгул хунвэйбиновщины, провозгласившей поход против классического художественного наследия китайского народа, объявленного «феодальными ядовитыми сорняками».

Общеизвестно убеждение Маркса и Ленина в том, что все культурные богатства, созданные человечеством, являются достоянием народа, и без овладения ими невозможно развитие подлинно социалистической идеологии и культуры. Глубокое это убеждение основоположников научного коммунизма сохраняет все свое значение и в наше время. Более того, оно приобретает особую актуальность

теперь в борьбе с разного рода явлениями нигилистического отношения к культурному наследию прошлого со стороны анархических и ревизионистских течений, с их тезисами «радикального» ниспровержения «старого» и «феодального» искусства и эстетики.

Сохранение и овладение накопленным человечеством культурным достоянием, сокровищами художественной мысли представляют собой неотъемлемое условие духовного и нравственного формирования человека нашего времени. Весьма существенно при этом замечание В. И. Ленина, что «хранить наследство — вовсе не значит еще ограничиваться наследством» [1].

Тот, кто не знает и не стремится знать свое прошлое, духовно себя обедняет. Прошлое постоянно рядом с нами. Оно и в мышлении, и в языке нашем. Архаизмы были когда-то обычными словами, емкий смысл которых сохранился и унаследован нами. Без понимания прошлого тускнеют краски и звуки прославленных творений литературы. Не стремиться понять его — значит повернуться спиной к истокам культуры народа.

История, культурное наследие присутствуют в каждом нынешнем дне, в каждой судьбе. Они наслаиваются могучими незримыми пластами — а порой и видимыми — во всем том, что создает сущность нынешнего, современного. Речь, разумеется, идет не об идеализации всего «безгреховного» прошлого, не о ностальгии по невозвратно ушедшему. Маркс и Энгельс неоднократно отмечали выдающуюся историческую роль античной культуры вообще, античной философии — в частности. «Греки навсегда останутся нашими учителями», — писал Маркс. «Новейшая философия только продолжала ту работу, которая была начата уже Гераклитом и Аристотелем» [2].

В наш век бурного научно-технического рывка стремительно сокращается дистанция, отделяющая нас от прошлого и будущего. Всякие противоположения минувшего и будущего, современности и истории не содержат в себе научного обоснования. Прошлое, как и будущее, существует сегодня. Это справедливо в отношении самой природы и развития культуры, цивилизации. Это всегда было справедливо и в отношении народа, человека, писателя, для которых без прошлого нет настоящего. Оно существует лишь благодаря тому, что было и что были художники, которые обладали творческим даром наблюдать и думать, искать, изображать. И не только то, что было перед их глазами, но и то, что чувствовали, знали, открывали, запоминали. Само же настоящее для них, как и для нас, своим чередом с каждым новым мгновением обращалось и обращается в историю для будущего. И потому в каждом человеке прошлое и настоящее постоянно сосуществуют. Каждый человек несет в себе прошлое, которое неотвратимо проявляет свою сущность, как несет и черты будущего, которому суждено утвердиться, получить новое развитие, новые качества.

Отмечалась также связь с мировой художественной мыслью, интеллектуальным и духовным опытом поколений, создававших произведения искусства в других странах и хранивших эстафету, идущую из веков творческого движения различных народов.

Внимание участников дискуссии привлекла и тема литературных связей и обменов, взаимных открытий в области постижения искусства слова в странах Востока и Запада.

Нужно ли доказывать: чем выше духовная, нравственная зрелость народа, тем большее значение приобретает в его жизни книга, отечественная и зарубежная. Каким высоким наслаждением для человека может служить чтение, которое захватывает воображение, раскрывает смысл непостигнутого, наполняет его неизбывными чувствами! Способность автора будить мысль и воображение, заставить читателя вместе с ним искать, мучиться и сомневаться, звать, увлекать, захватывать — эта способность не может не располагать.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., изд. четвертое, т. 2, стр. 494.
[2] Маркс и Энгельс. Соч., т. 1, стр. 479, 111.

Общеизвестно, что Советскому Союзу неоспоримо принадлежит лидирующая роль в области перевода зарубежной литературы на русский и на языки множества национальностей, его населяющих.

Согласно данным ЮНЕСКО Советский Союз — ведущая книжная держава, занимающая первое место в мире по количеству издаваемых книг. Статистика свидетельствует: только художественной литературы, начиная с 1918 года по настоящее время, в СССР издано свыше 270 тысяч названий общим тиражом более 11 миллиардов экземпляров, а всего за годы Советской власти вышло около 40 миллиардов экземпляров книг. Среди таких изданий — «Библиотека всемирной литературы», выпускаемая издательством «Художественная литература», включающая произведения крупнейших писателей 30 стран; она выходит в 200 томах, уже выпущено в свет 158 томов тиражом в 300 тысяч экземпляров.

Каждый год советские читатели получают более 80 тысяч книг и брошюр тиражом свыше 1,7 миллиарда экземпляров на более чем 100 языках народов СССР и зарубежных стран.

Традиционны взаимосвязи литератур русской, советской и французской, уходящие в далекое прошлое. Традиции эти живы и теперь. Достаточно сказать здесь, что за последние пять лет на страницах журнала «Иностранная литература» были опубликованы многочисленные произведения французских писателей и поэтов. Начать с того, что по разделу литературного наследия были напечатаны поэтические произведения Шарля Бодлера, Пьера Лашамбоди, Жерара де Нерваля, впервые на русском языке опубликованы пьесы Камю — Фолкнера «Реквием по монахине», Жана Кокто «Человеческий голос», Марка-Жильбера Соважона «Чао!» и др. Опубликовано немало интересных произведений французских писателей-реалистов (в том числе участников нашей встречи): «Плоды зимы» Бернара Клавеля, «Лошадь в городе» Жана Пелегри, «Кабильский соловей» Эмманюэля Роблеса, «Немного солнца в холодной воде» Франсуазы Саган, «Крик совы» Эрве Базена, «Пушка «Братство» Жана-Пьера Шаброля, «Кастель» Пьера Руане, «С алым цветком в петлице» Андре Пьеррара. «Ранний плод — горький плод» Адель Фернандес, из «Писем к Незнакомке» Андре Моруа, а также рассказы Жозефа Кесселя, Люси Фор, Андре Стиля, стихи Робера Десноса, Рамона Кено, Жоржа Брассенса, Рене Шара и др.

Восполнялись нашим журналом и своего рода «белые пятна». Наряду с произведениями критического реализма мы стремились показать советскому читателю и произведения иного рода, в частности, «театр абсурда» — напечатаны пьесы «В ожидании Годо» Беккета и «Носорог» Ионеско. Советский читатель ознакомлен с литературным течением «нового романа» («Изменение» Мишеля Бютора, а также отрывки из произведений Алена Роб-Грийе и Натали Саррот).

Мы упомянули только часть произведений французских писателей, переведенных и изданных в Советском Союзе. Лишь небольшую часть, увидевшую свет на страницах одного журнала «Иностранная литература». Публикуется же французская литература в нашей стране в значительно больших масштабах.

Достойно сожаления, что во Франции положение дел с переводом и изданием современной советской литературы оставляет желать лучшего. Картина здесь не вызывает даже самого сдержанного оптимизма. Другими словами, говорить о чем-либо похожем, как принято выражаться, на взаимность не представляется возможным. И уж если некоторые книги советских авторов печатаются, то тиражи их не выдерживают ни малейшего сравнения с тиражами французских книг, выходящих в Советском Союзе. Напомним лишь, что журнал «Иностранная литература» издается тиражом свыше шестисот тысяч экземпляров. Добавим, что журналу этому ни в одной стране западного мира не существует аналога. По признанию наших французских коллег, тиражи советских книг на французском языке поистине мизерны — три или пять тысяч и, разумеется, широкого читателя вовсе не достигают. А ведь высокий наш судья — читатель. И книга, верим мы, должна быть обращена к нему, должна завоевать, покорить и заставить читателя жить мыслями и идеями произведения литературы. Читателя,

который, как это, к примеру, в нашей стране, нередко знает о жизни едва ли не больше, чем сам автор книги. Заметим, кстати, что, по признанию Мишеля Батая, он «был потрясен масштабами распространения книг советских писателей в вашей стране». Об этом же говорил и Жан Пелегри: «Я ощутил громадный интерес к литературе, характерный для советских людей».

Каким же образом поставлена издательская диагностика, если книги советского автора не попадают в руки читателя на Западе (даже когда и напечатаны — ничтожным тиражом)? Тайна диагностики этой покоится в иной плоскости. Она носит внелитературный характер. И странное несоответствие тиражей, некую несбалансированность иначе, пожалуй, и не назовешь, как весьма парадоксальной. Кому же, смеем спросить, нужны пустые речи о значении и важности обменов литературой, идеями, информацией? «Свободных обменов», к которым с такой одержимостью призывают нас всякие «голоса» и «волны»? Быть может, издатели затрудняются выбрать достойные внимания западного читателя книги советских авторов? Или же, не ровен час, перевелись на Руси литературные таланты и дарования? Полноте! Мифотворчество такого рода давно уже и невозвратно кануло в бездну вечности и способно вызвать лишь ироническую усмешку. В чем же «грех умолчания»?

Французские участники дискуссии не без горечи отмечали, что одна из причин его все в тех же хищнических законах наживы и стяжательства, единоцарствующих в современном западном обществе. Печатание романов и поэзии для издателей — бизнесменов книжного рынка — не что иное, как торгашеская сделка, фискальная в первую голову, ничем по сути не отличающаяся от купли-продажи любого ширпотреба — дезодоранта или стирального порошка. Главная и единственная для них мера всех ценностей: как нажиться на книжном товаре, на пресловутых бестселлерах, независимо от их содержания и смысла. И чем более раздетое бесстыдство и порнографическую вседозволенность несут эти сочинения читателю, одурманивая его и опошляя, тем большую наживу извлекают издатели.

Еще в «Манифесте Коммунистической партии» гневно клеймилась мораль буржуазного общества, не признающего между людьми никакой другой связи, кроме голого, бессердечного чистогана. К. Маркс писал: «Этикетка системы взглядов отличается от этикетки других товаров, между прочим, тем, что она обманывает не только покупателя, но часто и продавца» [1].

Книжные барышники, использующие рекламу и «паблисити», создающие иллюзию эстетических ценностей в виде бестселлеров, манипулируют с помощью пустых этикеток, банкнот, не имеющих золотого обеспечения, лишенных подлинной художественной ценности.

Нет нужды подробно останавливаться на необузданном культивировании на Западе обывательского интереса к сочинениям, смакующим разных видов патологию и извращения. Общеизвестна чудовищная популярность всякого рода писаний уголовных преступников, убийц, террористов, с которыми издательства охотно заключают договора, выплачивая баснословные гонорары. Цинизм, однако, заключается в том, что гипертрофированные масштабы выпуска этой продукции лицемерно объясняются «свободой печати» на Западе. Ханжеские эти мотивы используются и для того, чтобы оправдать наводнение книжного рынка, наряду с порнографической литературой, антикоммунистическими и антисоветскими сочинениями, угодливо поставляемыми всякого рода профессионально ренегатствующими элементами, эмигрантщиной, «бывшими людьми», ныне выдворенными за пределы родины и лишенными гражданства.

Первая встреча советских и французских литераторов, проходившая в атмосфере свободного изложения различных точек зрения по широкому кругу проблем писательского труда, вне всякого сомнения явилась столь же важным, сколько и полезным началом творческого диалога.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, соч., т. 24, стр. 405.

Не все поднятые вопросы получили исчерпывающее освещение. Тем более не по всем проблемам найдено полное решение. Но такой задачи, собственно, перед участниками и не стояло. Несомненным, однако, представляется именно то, что личные встречи и непосредственный обмен мнениями позволили нам лучше узнать друг друга, ближе познакомиться с жизнью и творчеством литераторов Советского Союза и Франции, обогатить свое понимание проблем, которые подверглись обсуждению и анализу.

Именно об этом свидетельствует высказывание Жана Пелегри перед отъездом из Москвы: «До сих пор я весьма отвлеченно представлял себе советскую действительность. Теперь я лучше понял вашу многонациональную страну, масштабы ее литературы». Особую радость, сказал Жак Рубо, доставило ему знакомство с русскими и грузинскими поэтами: «Я увидел, какой огромный интерес проявляют советские люди к поэтическому творчеству».

«Встреча французских и советских писателей,— заявил Андре Стиль в интервью,— была очень полезной. Она прошла в атмосфере откровенности и сердечности. Мы стали лучше понимать современную советскую литературу, обогатились новыми знаниями о советской действительности. Нас поразили те усилия, которые предпринимаются писателями Советского Союза для того, чтобы сблизить литературу с жизнью народа. Мы стали лучше знать и понимать друг друга — таков главный итог прошедшей встречи».

Жизнь доказывает, подчеркивал Мишель Батай в личном письме к автору этих заметок, что надо реалистически смотреть на вещи, и если случай или дружба счастливо позволили завязать новые узы и принести пользу, нельзя этого упускать...

Как всякая положительная инициатива, прошедшее собеседование предполагает продолжение и позволяет надеяться на новые интересные встречи. Они приобретают особый смысл в свете Заключительного акта совещания в Хельсинки — важнейшего международного события, которое не знает прецедентов в мировой истории и открывает новые горизонты в области материализации разрядки, взаимного понимания и добрососедства. Зафиксированные договоренности в Хельсинки — это торжество реалистической политики, победа человеческого разума, практическое достижение международной демократической общественности, всех тех, кому в свете исторической перспективы дороги мир и сотрудничество.

Ныне возникли новые возможности для международного литературного обмена и взаимодействия творческих сил, для выполнения высокой гуманистической миссии в новых условиях ослабления международной напряженности.

В своем выступлении в Хельсинки Леонид Ильич Брежнев отметил: «Советский Союз рассматривает результаты совещания не просто как подведение необходимого политического итога второй мировой войны. Это вместе с тем осмысление будущего применительно к реальности сегодняшнего дня и многовекового опыта европейских народов».

Давно замечено, что непосредственным участникам событий, их современникам далеко не всегда удается всеохватно и по достоинству оценить все то, что вершится вблизи, на их глазах. Нужна дистанция, известное время, чтобы возникло необходимое расстояние, которое способствует лучшему видению всей картины, ее масштабности, исторической перспективы. Это так же справедливо в жизни, как и при оценке произведения живописи, когда мы должны отойти от полотна на несколько шагов, чтобы найти зрительный фокус и увидеть избранное в верном свете.

◆

ИВО АНДРИЧ

ЛИЦО ЗЕМЛИ

Перевод с сербско-хорватского и предисловие АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО

13 марта 1975 года умер Иво Андрич — замечательный югославский писатель, классик европейской литературы нового времени. Социалистическая Югославия потеряла в его лице выдающегося представителя своей многонациональной культуры, талантливого летописца судеб народа. Государственный и общественный деятель Иво Андрич остался в истории страны неутомимым борцом за высокое призвание человека, за его право быть хозяином своей судьбы и судьбы своего государства. Иво Андрич вошел в историю социалистической культуры Югославии как неустанный просветитель, приобщавший и приобщивший к мировой культуре тысячи земляков. Словом и делом боролся он за распространение просвещения, за то, чтобы все блага цивилизации и культуры в самом высоком их понимании стали достоянием трудящихся Югославии.

Мировую известность принесли Иво Андричу его романы, главными героями которых неизменно оставалась Родина — нищая и обездоленная, в течение многих веков угнетавшаяся иноземцами Босния, ее стойкие и мужественные люди, которые любили жизнь и во имя этой любви выходили на бой с угнетателями.

Иво Андрич избегал публичных выступлений, предпочитая спокойную, лишенную суеты и многословия сосредоточенную работу. Однако он оставил много любопытнейших суждений по актуальным проблемам развития современной югославской культуры. В высказываниях на страницах газет и журналов, в частых встречах с читателями и особенно с молодежью он размышлял о кино и телевидении, о журналистике и театре, о развитии библиотек и архивов, всячески подчеркивая мысль о том, что все это является частью одного большого общего дела, дела создания и формирования новой культуры, достойной эпохи социализма.

«Проблема образования и расширения культурных горизонтов органически связана с нашим всеобщим ростом и прогрессом,— писал И. Андрич в 1970 году.— Это лежит в основе всех наших принципов организации общественного управления и устройства. Никому из нас не безразлично и не может быть безразлично, в каких материальных и финансовых условиях находятся учреждения, выпускающие произведения

Составитель считает своим долгом выразить глубокую благодарность Сербской академии наук и искусств в лице секретаря отделения языка и литературы писателя Антоние Исаковича и Народной библиотеке СР Сербии в лице ее директора д-ра Светислава Джурича за помощь, оказанную в подготовке настоящей публикации.

нашей литературы, искусства, науки. Эта проблема волнует не только людей пера или связанных с книгой. Значение ее шире и глубже. Мы все должны работать, чтобы решить ее. И мы решим ее, поскольку ведь все наши хорошие решения есть результат преодоленных трудностей».

С неизменным вниманием и доброжелательностью относился он к молодежи, к молодым писателям, которым лишь предстояло вступить в литературный цех. Его советы молодым, по-человечески мудрые и профессионально точные, проникнуты чувством преклонения перед литературой и глубочайшего уважения к писателю-художнику и его роли в общественной жизни. По содержанию и тональности они близки к заветам А. М. Горького молодому писательскому поколению, да и вообще для югославской литературы роль и значение личности Иво Андрича могут быть сравнимы с ролью, которую в истории русской и советской литературы сыграл А. М. Горький. Кстати сказать, Иво Андрич испытывал глубокое уважение к замечательному русскому писателю, посвятил ему несколько статей (русский перевод их напечатан в 1968 году ленинградским журналом «Звезда» № 3).

В Советском Союзе творчество Иво Андрича широко известно. Его книги неоднократно выходили по-русски, переводились на языки многих народов нашей страны. И совсем недавно, в 1974 году, незадолго до смерти писателя, трехсоттысячным тиражом в серии «Библиотека всемирной литературы» в Москве были вновь изданы романы «Мост на Дрине» и «Травницкая хроника».

Иво Андрич — прежде всего романист и новеллист. Тонкий художник и своеобразный мыслитель, он обогатил современную югославскую прозу и жанром оригинального, лирико-философского очерка, созданного на основе и в результате многочисленных путешествий. Наблюдения Иво Андрича над «лицом земли», на первый взгляд, мимолетны, случайны, записанные на бумаге, они напоминают эпизоды, как бы мельком увиденные путником из окна мчащегося поезда. Однако это поезд жизни, жизни многогранной и неповторимой.

Иво Андрич любил путешествовать и много ездил. Проникновенные строки посвятил он родине, самым разным ее уголкам, которые умел описывать трепетно и нежно. Он любил Словению, где часто отдыхал в последние годы, его радовала и делала счастливым маленькая македонская речка Радика, увиденная в молодости, он наслаждался видом Охридского озера, взволнованные и сильные слова находил он всякий раз, говоря о родной Боснии.

Он хорошо знал Европу, повидал, вероятно, все ее страны, побывал в Африке, в Китае.

Несколько раз приезжал Иво Андрич в Советский Союз (впервые в 1946 году). Отношение его к нашей стране и ее литературе — особая, большая тема. Он видел победоносно вышедший из блокады измученный Ленинград (и посвятил ему очерк «На Невском проспекте», см. «Звезда» № 11, 1967), он был одним из первых югославских гостей в сожженном войной, ставшем символом победы Сталинграде. Вместе с писателями советского Азербайджана он праздновал юбилей Низами. Возвратившись на родину, он выступал во многих городах Югославии с рассказом о нашей стране и ее людях. И писал о нас, писал тепло и сердечно.

И. Андрич был деятельным сотрудником журнала «Югославия — СССР», возглавлял в Боснии и Герцеговине общество дружбы с СССР.

Об отношении его к советской литературе свидетельствуют и следующие слова из письма автору этих строк. И. Андрич, в частности, писал: «Я пользуюсь возможностью, чтобы высказать Вам и всем членам Союза писателей СССР, как обрадовало меня сообщение о том, что Нобелевская премия в этом году присуждена Михаилу Шолохову. Этого признания в полной мере заслуживают и награжденное произведение, и его автор, и великая литература, которой они принадлежат» (письмо от 24 ноября 1965 года).

Андрич был активным участником движения сторонников мира. В составе делегации Югославии он принимал участие во Вроцлавском конгрессе деятелей культуры, первом в ряду выступлений европейской интеллигенции против сил войны, был делегатом Всемирного конгресса сторонников мира в Париже.

Путевые записи Иво Андрича своеобразны. По обыкновению, они лаконичны и коротки. Писатель как будто говорит о себе самом, выступая активным действующим лицом; главное для него, на первый взгляд, собственное, субъективное, сугубо индивидуальное восприятие страны и свое внутреннее движение к ней. Однако за этой сдержанностью таится глубочайшее, универсальное знание культуры каждой страны, куда приводят его дороги, искреннее желание понять психологическую и нравственную основу ее народа, стремление осознать и вывести на первый план то, что сближает людей, подчеркивает общее в их мечтах, в их надеждах на переустройство жизни.

Из небольшого, не претендующего на глубокомыслие очерка, лирического и как бы камерного, вырастает облик страны с ее пейзажами и людьми, с их характерными национальными особенностями. Без пафоса и патетики, через очень точно обозначенные и умело выбранные детали он переносит нас з тот или иной край, самобытный и неповторимый, и не возникает сомнений в том, что он видит и изображает самое главное, самое ценное, самое характерное. Об этом свидетельствуют, в частности, его

записи о Португалии и об Испании, сделанные писателем в канун событий, которым вскоре суждено было повернуть эти страны к самому мрачному средневековью.

И. Андрич приехал в Португалию спустя два-три года после военно-фашистского переворота 1926 года генерала Кармоны (его преемником скоро стал Салазар). Видимо, в силу своего официального положения, не имея возможности касаться внутренней ситуации в этой стране, писатель буквально одной фразой дает почувствовать атмосферу «тревоги и печали тех лет», которая заставляла грустно задумываться португальских юношей. Симпатии И. Андрича — на стороне трудящихся Португалии, на стороне ее мужественного народа. И если мы примем во внимание, что очерк Иво Андрича был напечатан в другом архиреакционном государстве той поры — Королевстве Югославии с его кровавой монархо-фашистской диктатурой, то станет особенно ясен антифашистский, гуманистический смысл и направленность этого раннего очерка.

Вообще говоря, волею судеб писателю, как редко кому, довелось вблизи наблюдать европейский фашизм на всех стадиях его развития — от зарождения в Италии 20-х годов, затем видеть первый звериный его оскал в Испании и Португалии в 30-е годы, наконец, быть свидетелем апогея фашистской диктатуры в гитлеровской Германии начала 40-х годов.

Антифашизм И. Андрича был выношенным, глубинным, последовательным, именно поэтому с началом оккупации Югославии он отверг какое бы то ни было сотрудничество с гитлеровцами и их сербскими пособниками, равно как и с предавшим народ эмигрантским королевским правительством в Лондоне. И. Андрич отказался поддерживать с ними какие-либо контакты, не напечатав ни строчки и запретив переиздавать свои книги...

Но вернемся к публикуемым ниже очеркам. Конечно, не все они равноценны и одинаковы. Однако во всех них, как более отделанных и завершенных, так и в только намеченных, но не развернутых, присутствует умный и зоркий собеседник, мудрый и многоопытный художник, наконец, добрый и благожелательный человек.

Этим прежде всего и привлекают очерки-рассказы Иво Андрича о «Лице земли», лице, которое в наши дни стремительно меняется и которое он изучал «с постоянным и живым вниманием», стремясь к тому, чтобы дом, где обитает человек, был еще лучше, еще светлее, еще прекраснее. Всем своим творчеством Иво Андрич призывал современников к более бережному и внимательному отношению друг к другу, к будущему человечества, которое зависит от настоящего. Об этом, в частности, говорит его заметка о великом сыне китайского народа Лу Сине, который для И. Андрича стал одним из символов «борьбы за освобождение от мертвой традиции, за достижение связи с духовной жизнью прочих народов мира».

ВЗГЛЯД НА САРАЕВО

Очерк о Сараеве, столице Социалистической Республики Боснии и Герцеговины, под названием «Преображение одного города», впервые был опубликован газетой «Освобождение» в апреле 1948 года. Под другим заголовком и в несколько переработанном виде он затем несколько раз перепечатывался разными югославскими изданиями в течение 50–60-х годов.

Настоящий перевод сделан по сборнику «Поэзия Сараева» (Сараево, 1968).

Это город. В полном смысле слова. От фантастического содержания, которое вкладывают в него сказки, слышанные нами в детстве («и привели их тогда в один бааальшой гооород...»), до исторических сведений о развитии и угасании города в прошлом и статистических данных о его росте сегодня, в новой Югославии.

Увиденный с высоты, город разговаривает с нами на языке своих зданий, садов и улиц, нарисованных и прочерченных на склонах крутых скал, точно на страницах полураскрытой книги. Перед нами выступают размытые фрагменты его прошлого.

Сараево принадлежит к тем городам, возникновение которых связано с приходом сюда османов. Развитие и облик его обусловлены вековым османским правлением.

В течение более чем пяти столетий передовые отряды завоевателей были здесь частыми гостями. Позднее они здесь и осели. Они-то и основали первые поселения у самого выхода из ущелья, сквозь которое, точно нитка в игольное ушко, втягивалась река Миляцка. С утверждением власти османов в Боснии эти укрепления и посады вокруг них стали превращаться в административные, военные и торговые центры. Го-

род рос и украшался, особенно в XVI и XVII веках, однако не менял своего местоположения, оставаясь у выхода из ущелья, точно паук у трещины, от которой он никогда далеко не уползает.

Так возникло феодальное Сараево эпохи османов, строившееся и развивавшееся в тех же условиях, в которых росли и прочие балканские центры Османского государства. Период продвижения османов на Запад был периодом расцвета Сараева. В турецких документах его называли тогда «очагом войн и цветком среди городов», «городом воинов и победителей», а в старых сербских церковных записях — «богом хранимым градом Сараевом». В XVII веке Сараево — большой и богатый город, в нем более ста мечетей, великолепные общественные здания, купальни, крытые рынки, караван-сараи и часовые башни. Некоторые из этих сооружений, сохранившиеся и по сей день, свидетельствуют о величии тогдашнего Сараева. Все иноземные путешественники, будь то венецианцы, французы или немцы, писали о нем как о многолюдном, богатом и прекрасном городе, который является важным посредником в торговле между Востоком и Западом. В возвышении города важную роль играли люди нашей крови и нашего языка, принявшие ислам и достигшие высоких военных и административных постов в империи османов, как, например, Хусреф-бег, который двадцать лет с небольшими перерывами был губернатором Боснии и Герцеговины и построил самые прекрасные здания Сараева.

Однако войны, которые создали и возвысили Сараево, послужили и причиной его гибели. В конце XVII века Сараево заняли войска австрийского принца Евгения Савойского. Это был конец вторжения в турецкое государство и вместе с тем начало заката цветущего города Сараево. Сараево было сожжено, жители его всех вероисповеданий разбежались, оставшихся перебили или увели в рабство. Никогда больше город не смог оправиться от этого удара и достичь прежнего уровня богатства и красоты. Вместе с империей, его основавшей, в начале XVIII века Сараево погрузилось в летаргию медленного угасания.

В 1878 году после более чем четырехсотлетнего правления турок на смену им пришла австро-венгерская монархия. Таким образом, одну угасшую империю, Османское царство, сменила другая угасающая империя, монархия Габсбургов. Берлинский конгресс [1] доверил Австрии управление турецкими провинциями — Боснией и Герцеговиной, с тем чтобы она установила в этих землях справедливые и лучшие порядки и в первую очередь решила аграрные проблемы, которые превратились в постоянный источник недовольства и причину повсеместного оскудения страны. Монархия Габсбургов, которая, как утверждали, еще в наполеоновские времена на целое столетие отставала от уровня исторического развития Европы, и в данном случае проявила свою несостоятельность и не исполнила «миссии», доверенной ей великими державами. Она не решила ни одной из главных проблем, да и не могла их решить в оккупированных землях. Несомненно, что с появлением новых властей пришла относительная цивилизация, а вместе с нею и переустройство Сараева в более современном духе. Однако большая часть того, что австрийские оккупационные власти принесли в Боснию и Сараево, было нужно самой монархии для осуществления ее собственных великодержавных планов на Балканах, а не народу Боснии и Герцеговины. Урбанистика оккупантов, равно как и их архитектура, отражала их общественные воззрения и политико-экономические цели. В ориентальное Сараево, уже давно находившееся в состоянии умирания, но по-прежнему сохранявшее гармонию и логику и каждого отдельного здания, и всей панорамы в целом, новые австрийские власти привнесли архитектурные влияния Центральной Европы. Отсюда — узкие улицы, унылые дома, католические церкви и часовни без всяких следов благородной традиции и красоты. В то же время модернизировались, расширялись старые и возводились новые укрепления на высотах вокруг Сараева.

Австрийская архитектура, лишенная души и вдохновения, лишенная жизни и жизненных радостей, чуждая понятиям и нуждам новой эпохи и интересам широких масс народа, наложила свою печать на часть города. Таким образом, в старом гнезде османов образовалось новое, более современное гнездо империализма габсбургского типа.

Новая эпоха, которая началась после второй мировой войны, эпоха, когда народ Боснии и Герцеговины взял свою судьбу в свои руки, повлияла на древний город. И по логике новой жизни Сараево впервые в своей истории и навсегда выходит из ущелья, в которое уложило его почти пятивековое правление османов и из которого его не желала да и не могла извлечь последующая власть «христианских» держав.

Это город. Но город, который принадлежит к числу высоко расположенных столиц Европы. Высота его над уровнем моря свыше пятисот метров. Он расположен, как уже говорилось, у самого выхода из узкого укрепленного ущелья; стены этого ущелья, составленные из высоких черных скал, начинают здесь расходиться, все более отдаляясь друг от друга; и, отдаляясь, они постепенно становятся ниже и в конце концов каскадом снижающихся холмов и возвышенностей переходят в плодородную равнину Сараевского поля. В расщепе гор и холмов, которые с трех сторон окружают его, оставляя свободным только выход к

[1] Берлинский конгресс 1878 года был созван для пересмотра условий Сан-Стефанского мирного договора, которым завершилась русско-турецкая война 1877—1878 гг. Благодаря объединенным усилиям Австро-Венгрии и Англии позиции России на Балканах были значительно ослаблены. Австро-Венгрия, в частности добившаяся права оккупировать Боснию и Герцеговину, спустя тридцать лет, в 1908 году, попросту присоединила их к своей территории.

югу, лежит все Сараево. Лишь небольшая часть его зданий, общественных учреждений и улиц расположена на равнине, бóльшая часть их взбирается вверх по горным склонам. Здесь-то и находятся те крутые, но большие и богатые сады, которые окружают почти каждый дом и которыми в турецкие времена помимо всего прочего славилось Сараево. (Венецианский посол Дзено, в 1550 году проезжавший через Сараево, утверждал, будто красотой своей они не уступают садам Падуи.)

Итак, у Сараева два облика и два лица — одно темное и строгое, а другое светлое и доброе. На скалах непроходимой и тесной горловины вздымаются башни и бастионы османской крепости Из этой горловины, смешанное с пронзающим горным ветром, всегда доносится дыхание минувших войн и опасностей, страха и печали. А внизу, в долине, где во времена расцвета бурлила жизнь, ширится город Сараево. Город с древними и богатыми традициями, цеховыми законами и ремеслами, гражданским сознанием и муниципальной гордостью, деловой город денег и... нужды в деньгах, но в то же время город отменного вкуса, любви к порядку и красоте, стремления к радостному и гармоничному существованию.

Обе эти исторически обусловленные и противоречивые особенности оставили след и в душе жителей Сараева: они полны чувства, собственного достоинства, предприимчивости, устремлены к полнокровной жизни и к широким горизонтам, и вместе с тем — вуаль меланхолии, вздох смутной печали и сложившейся в ходе истории осторожности в отношении к жизни и ко всему тому, что она несет с собой.

Это город. Такое впечатление и такие мысли рождаются неизменно, когда поднимаешься на одну из украшенных старыми фортами вершин, которые сдавливают Сараево и возвышаются над ним.

По кручам взбираются отвесные, воспетые в песнях сараевские сады, а между ними спускаются вниз, подобно узким лавинам снега, многочисленные и столь своеобразные мусульманские белые кладбища. (Я не знаю, игра ли это ощущений или недоступная логика чувств, но мне всегда казалось, будто сады в самом деле поднимаются вверх, а кладбища спускаются.) С приближением неторопливых сумерек белизна надгробных камней выступает еще сильнее. Многие из этих узких и продолговатых камней накренились, будто намереваясь улечься в могилу вместе со своим хозяином. Кое-где они посеяны так густо и беспорядочно и так наклонены, что напоминают колосья, смятые и поваленные ветром.

В старинных мусульманских кладбищах нет ничего от мрачной печали и жути кладбищ христианских. («Турки хоронят своих покойников гораздо красивее, нежели мы, кладбища их — настоящие сады», — говорится в «Путешествии по Гарцу» Гейне.) Мусульманское кладбище в отличие от христианского в самом деле не унылое место на городских задворках, а составная часть живого облика города; на нем и вокруг него смерть не омрачает жизни и жизнь не оскверняет смерти. Окружающие Сараево кладбища со своими белыми камнями, все глубже уходящими в землю, умирают ныне и сами, но умирают спокойно и ясно, полные достоинства и красоты, подобно тому как умирали и уходили на вечный покой в течение столетий те, кто на них похоронен.

Внизу под нами утопает в фиолетовых сумерках старое Сараево, со строениями всех эпох и стилей, старыми и новыми церквами, синагогами и многочисленными мечетями, рядом с которыми растут тополя, стройные и высокие, как минареты. Город мятежей и войн, денег и голодных лет, чумных эпидемий и опустошительных пожаров, город умельцев, неизменно любивших жизнь, хотя и знавших ее с оборотной стороны. При последних отсветах дня город кажется исполненным древней мудрости; морщинами подвигов и векового опыта пролегли на нем линии улиц, извилистые и смелые — из турецких времен, прямые и крутые — из времен австрийских. Эти два типа городских улиц пока различаются вполне отчетливо, словно алфавиты двух различных рукописей и языков. Сгущающиеся сумерки все больше уравнивают их, заставляя слиться в неразборчивой повести всеобщей ночи, которая накрывает историю и легенды, деяния чужеземных завоевателей и местных мелких и крупных тиранов и олигархов, движения народных масс, долгие и запутанные счета и расчеты между теми, кто имеет, но не дает, и теми у кого нет ничего, кроме нужды.

Лишь внизу, на линии горизонта, где кончается старый город и начинается просторная равнина, заметен след дневного света. В розовом отблеске уже исчезнувшего солнца колышется дым фабричных труб и угадываются крыши новых районов. Там новые люди новых поколений древнего города строят и воздвигают новое. Медленно и мучительно — ибо великие дела осуществляются медленно и мучительно — там, на равнине, будет преодолено прошлое, превзойдена история. Под этой, на первый взгляд, девственной равниной в изобилии хранятся следы доисторических поселений, мозаика, и верстовые столбы римской эпохи, и монеты, и оружие средневековой Боснии, а на ее поверхности воздвигаются заводы, строятся жилые дома, вырисовываются контуры новой жизни. Вырисовываются медленно и мучительно, но неуклонно, в согласии с неподкупными законами общественного развития.

И в какую бы пору дня и с какого бы холма вы ни бросили взгляд на Сараево — вы всегда невольно подумаете об одном: это город, город, который угасает и умирает, но в то же время рождается заново и преображается.

ИВО АНДРИЧ
ЛИЦО ЗЕМЛИ

СТАЧКА В КОВРОВОЙ МАСТЕРСКОЙ

Очерк «Стачка в ковровой мастерской» впервые был напечатан белградским журналом «Женщина сегодня» в 1950 году.

Стачка в государственной ковровой мастерской скорее, пожалуй, напоминала репетицию; начатая без плана и подготовки, она и не могла закончиться удачей, однако даже своими ошибками принесла пользу забастовке, которая продолжалась позднее и была уже хорошо организована.

У ковровщиц началось так.

Восемьдесят женщин с левого берега реки Миляцка, где, кстати сказать, располагалась мастерская, получали столь мало и мысль об увеличении заработка была для них столь заветной мечтой, что их и не потребовалось уговаривать добиваться надбавки.

Весело и бесстрашно высказали они свои требования, а когда их отказались слушать, то вдохновенные и горячие, но недостаточно зрелые руководители сразу же подняли их на стачку, которая при отсутствии опыта и средств не могла окончиться победой. Работницы начали стачку, но большинство из них ничего не знало о содержании и методах этой формы борьбы. В первый же день пятнадцать человек пришли в мастерскую и приступили к работе.

На другой день правительство приказало директору позвать работниц на переговоры. Собрались все. И тогда, вместо каких бы то ни было переговоров, у входа появилась группа полицейских. Один из них вошел внутрь и по заранее составленному списку прочитал пятнадцать фамилий, приказав этим женщинам пойти с ним в полицию, прочим же было сказано, что до них тоже дойдет черед, если они не начнут работу. Воцарилось испуганное молчание. Работницы удивленно и беспомощно переглядывались. Казалось, дело закончится без шума, без единого слова протеста, но одна из пожилых, не названных в полицейском списке, женщин выкрикнула:

— Вы нас позвали договариваться, а потом арестовываете обманом. Позор!

И вдруг все ее поддержали: вызванные и невызванные, даже некоторые из тех, кто вчера работал, стали кричать и размахивать руками.

— Позор!

— Вы нас обманули!

— Отпустите наших товарок!

Маленькая женщина, с курносым носом и огромными глазами, в которых сверкали слезинки, но с открытой улыбкой на губах, вышла из толпы, поднялась на первую ступеньку и, размахивая по-дирижерски руками, требовательно воскликнула:

— Полицию вон!

За все время своего существования это здание не слышало такого шума, который начался после этого.

Изможденные, побледневшие от волнения женщины не могли вдосталь насладиться чудным новым словом, которое они произносили впервые:

— Вон! Вон! Вон!

Казалось, будто перед каждой из них, когда она выкрикивала его, распахивалась дверка, за которой таилось самое сокровенное, самое заветное, и поэтому каждая стремилась повторить это слово, чтобы дверка подольше оставалась распахнутой, чтоб она подольше могла видеть край своих грез.

Неожиданная смелость женщин, накал их протеста смутили полицейских. Однако им удалось вывести пятнадцать арестованных женщин и отправить их в полицейскую тюрьму, в то время как вслед им неслись возгласы остальных:

— Вон, вон, вон полицию!

На другой день работать вышло всего четыре женщины. Директор был вынужден отослать их домой.

Арестованных выпустили из тюрьмы через два дня и сразу же вслед за ними взяли пятнадцать других женщин. Было сказано, что таким образом всех пересажают по очереди, пока они добровольно не вернутся на работу.

В тюрьме женщины держались храбро. Они целыми днями пели. Окрестные улицы звенели от их песен. Надзиратели ругались, случалось, раздавались звонкие оплеухи. Некоторых сажали в отдельную камеру без окошка, носившую название «дункель» [1]. Это не помогало, потому что остальные пели еще громче, чтобы песней утешить подруг, попавших в дункель.

Снаружи собирались люди послушать, как поют арестованные работницы. Полиция разгоняла народ, и тогда снова начинались аресты, а народ не уходил, собираясь в другом месте, чуть подальше.

В канцелярии полицейского управления работалось с трудом. Его шеф Котас, огромный мужчина с черной расчесанной надвое, как у императора Франца-Иосифа, бородой, был вне себя от ярости. Он приказал любой ценой прекратить пение, долетавшее из тюрьмы невыносимым воплем и мешавшее работать, сравившее его перед посетителями.

А работницы пели. Короткие паузы не приносили отдыха начальнику, потому что их заполняло нервное ожидание новой песни.

Не зная никаких боевых песен, они пели самые обычные: про женскую долю, про любовь — этих песен полным-полно в бедняцких лачугах по всей Боснии. Главное не молчать, не позволять себе умолкнуть.

Взбешенный Котас вызвал адъютанта Бараньского и потребовал перевести ему одну из песен, чтоб, по крайней мере, знать, о чем они поют, если уж нет возможности заставить их замолчать.

В канцеляриях началась суматоха. Чиновники перешептывались и совещались. Советовались с местными жителями, вплоть до сторожей. В конце концов кое-как уда-

---

[1] Темная *(нем.)*.

лось перевести две сердалинки [1] на немецкий, тот немецкий язык, на котором говорили и писали в боснийских канцеляриях.

Дворянин Владимир Бараньский был подавлен. Он принадлежал к высшим чиновничьим кругам Сараева, считался образцом элегантности и отменных манер. Отец его слыл известным мадьяроном и занимал высокий пост в Загребе во времена бана Куэна Хедервари [2].

Высокий, худой, с моноклем в глазу, который сейчас непрерывно выскальзывал, Бараньский еще раз поправил галстук, нервно вынул монокль, прокашлялся и, дважды постучав особо почтительным и уважительным образом, вошел в кабинет шефа, держа в руках двойной лист голубой канцелярской бумаги.

— Ну что, перевели, наконец, эту премудрость?— резко спросил тот.

— Извольте, господин управляющий, перевели, то есть насколько возможно такие... вещи перевести, перевели...

— Дайте!

Переломившись пополам, Бараньский склонился над шефом, утонувшим в удобном глубоком кресле, и со смущением, граничившим со стыдом, начал читать перевод боснийской севдалинки:

Соловей в кустах запел, занялась заря.
Вставай, Фата, вставай, злато подарки готовь!
Молода я и неловка, обычай не знаю.
Коль глупа ты, коль неловка, замуж что ж идешь?

В переводе, который читал Бараньский, четыре изуродованные строчки звучали жалко и убого. Теперь это была сухая официальная проза, рожденная совместными усилиями полицейских чиновников, неловко, шиворот-навыворот переведенная на немецкий или, лучше сказать, на канцелярский, язык австрийских властей, и походила она бог знает на что, только не на песню.

Выслушав четвертую строчку, шеф вспыхнул и резким жестом прервал Бараньского:

— Глупость!

Он в сердцах вскочил с места и заорал, как орут офицеры перед строем. Он расхаживал по комнате и громогласно скандировал, выкрикивая в такт шагам по одному слову:

— Это слишком глупо! Или вы не способны перевести эту глупую песню, и тогда я не знаю, зачем вы вообще здесь, или они в самом деле поют то, что здесь написано, и тогда... тогда... тогда я действительно не знаю, что думать.

Бараньский стоял как на эшафоте; его худое бледное лицо покрылось красными пятнами, он опустил глаза в землю, словно именно он отвечал за все и был виновен в том, что его земляки вообще сочиняют и распевают подобные вещи. Впрочем, в глубине души он на самом деле испытывал стыд и чувствовал свое ничтожество перед этим сильным человеком с громким голосом, надменным взглядом, повелительными жестами, чье высокомерие казалось ему столь естественным и столь недостижимым.

Бараньский и сам не помнил, как он вышел из кабинета, исчез вместе со своей голубой бумагой и жалкими севдалинками, испарился, как испаряется на солнце влага. Ему требовалось время, чтоб прийти в себя, мелкому, измятому и несчастному, каким он себя чувствовал. Войдя к себе, он вымыл руки и лицо одеколоном, прошелся щеткой по гладким блестящим волосам, подпер веко моноклем, выбрал сигарету и закурил, отбрасывая широким непринужденным движением потухшую спичку и отталкивая подальше от себя дым первой затяжки; так он снова обрел манеры светского человека, которому завидовали сараевские богачи, многие чиновники и даже некоторые офицеры.

Когда кто-то из младших служащих вошел к нему в кабинет, ступая осторожно и бесшумно, как он сам входил к шефу, Бараньский молча одним из своих широких красивых жестов вернул ему листок голубой бумаги. Учтиво улыбаясь, чиновник осмелился полюбопытствовать, что сказало начальство, и Бараньский небрежным и беззаботным тоном сказал в сигарету:

— Что можно на это сказать? Глупость! Слишком глупо!

Чиновник вышел, восхищаясь уверенностью, легкостью и элегантностью, которые сквозили в каждом жесте адъютанта Бараньского, завидуя его врожденному и недоступному высокомерию.

А Котас продолжал шагать по своему кабинету. Он находился в том особом состоянии раздражения, в которое время от времени приводила его эта страна и контакты с ее обитателями. События, которые возмущали шефа, лишая его джентльменского спокойствия, были незначительны, но все вместе — эти неразумные, детские поступки, это пение фабричных работниц, которых кто-то втянул в глупую и бессмысленную историю, называемую стачкой,—раздражало и злило его как личное оскорбление. Сильный, гордый и тупой, как бык, бездумно опираясь на закон и мощь великого государства с его незыблемым порядком, он всегда находил выход из всех ситуаций, в которые ставило его положение начальника сараевской полиции,—из бесчисленных драк, убийств, мошенничеств, краж, самых тяжких преступлений. Однако легкомыслие, с которым боснийцы обходили законы, предписания и нарушали основные принципы общественного порядка, словно их несла неведомая сила и они сами не ведали, что творят, мгновенное забвение всякого почтения и отсутствие всякого страха рождали в нем бессильную ярость. Что предпринять

[1] Любовные песни *(турецк.)*.

[2] Банами во времена Австро-Венгрии назывались правители Хорватии. Куэн Хедервари был одним из банов (1883—1903), проводивших в стране курс «твердой руки». Мадьяронами в Хорватии называли сторонников провенгерской шовинистической политики.

против людей, которые не останавливаются ни перед чем, не щадят себя сами, не ищут и не ожидают от других ни пощады, ни снисхождения? Он называл это боснийским анархизмом. Где-то в глубине суровой чиновничьей души это вызывало у него чувство какого-то особенного ужаса, чувство, которое до невероятия походило на страх, которое по существу-то и являлось страхом, он только не смел употребить это слово, убежденный, что страха не ведает, ибо согласно кодексу своего сословия не смел ведать его. Тем более шумными были негодование и ярость, которыми наедине с самим собой он стремился прикрыть и запрятать поглубже это свое неведомое чувство.

Быстро и сердито шагал Котас по кабинету: поскрипывали его башмаки, потрескивала кожа кавалерийских брюк, и на выпуклой груди подрагивал крест за заслуги. А работницы в тюрьме после короткой передышки печальными альтами пели непонятные протяжные песни, по очереди, одну за другой, одну за другой. Их двойной рефрен бил его по мозгу, глубокий, протяжный, торжественный, как хорал:

...занялась за-а-а-а-ряяя!
...подарки-и-и-и-и гоооотовь!

Он шагал по кабинету как разъяренный бык, а из камеры через двор лилась песня, и с нею летело то разрушающее, безумное и низкое, опасное и непонятное, что он видел в этих людях и что вызывало его бессильную злобу и бесконечное презрение. Он шагал, охваченный гневом, чувствуя, что в нем все кипит и клокочет, как в горшке, из которого вот-вот выплеснет через край.

А в Сараеве прохожие звали друг друга:

— Пошли к полиции, послушаем, как ковровщицы поют.

Вот так безграмотные, убого одетые и малокровные ковровщицы с Бистрика и Бабича Башчи шли наперекор своим сильным противникам, били их чем могли и как умели, боролись за улучшение своей жизни. Вот таким странным образом проходила первая стачка в Сараеве.

ДОЛИНОЙ РАДИКИ И ДАЛЬШЕ

Радика — река в западной Македонии близ города Дебар и Охридского озера. Очерк был напечатан в новогоднем номере (31/XII 1965 — 1/I 1966 гг.) белградской газеты «Политика».

Это воспоминания о Радике, о реке с красивым именем и первом юношеском путешествии по ее долине много лет тому назад. Я был один, никем не встречаемый и никем не провожаемый, лишь в доброй компании со своей мечтой.

Память наша часто предательски покидает нас и, что хуже, еще чаще завлекает и обманывает, доставляя иногда сладостные, приятные минуты тихой, но могучей внутренней радости. Сама по себе, без всякой причины она сохраняет вид и дыхание какого-то пейзажа и очарование красоты, мимо которой мы однажды прошли.

Только тем, кто никогда в жизни не вел даже самого беглого дневника, доступно подобное наслаждение. Для них это словно бы награда за то, что они с верой и надеждой оперлись на столь слабую и неверную способность человека, как память.

А свои минувшие путешествия нужно воистину читать и разгадывать памятью, и чем они старее и отдаленнее, тем лучше их видишь. Воспроизведенные таким образом, они теряют свою отчетливость и еще более — фактографичность, зато приобретают полную реальность и достоверность; и если в них нет большого содержания — видимо, его вовсе не было или мы не смогли его увидеть. Но это означает в то же время, что в них нет ни лжи, ни прикрас, ни пустых и преходящих декораций. Чистая суть, один скелет, быть может. Это немного, но это правда.

Путевой очерк, в сущности, ничем иным и не является. Создавать его — значит увидеть внутренним взором пейзаж или город, который когда-то давно был виден, пережит наяву и изрядно уже позабыт, и потом это свое видение коротко, а это всегда лучше всего — передать своим землякам, которые, читая рассказ, если они решатся на это, будут вспоминать собственные впечатления, желания и дороги, неизбежно добавляя к нему краски и оттенки своего теперешнего настроения.

Вот вам и все назначение путевого очерка, а может быть, и того меньше, но никак не больше. И все-таки иногда не можешь его не писать...

Все здесь состоит из света, он то мягок и словно бы сливается с воздухом, то тверд до такой степени, что в сравнении с ним камни выглядят трепетными и даже нереальными. И повсюду синие цвета спектра отступают и прячутся от багровых и пурпурных, так что их видишь лишь по опушкам, по контурам предметов и на горизонте; здесь, оттесненные на задний план, они ожидают вечера и ночи — времени своего царства.

А поверх нас, рядом с нами движется радостная мелодия живой воды и просторной дороги. Таким образом, это одновременно и путешествие и праздник.

Кажется, перед тобой сама жизнь: то, что у тебя перед глазами, никогда не дает того, что сулит, а лишь что-то приблизительное. Пейзажи то и дело меняются. Вступив в эти места, пройдя их и покинув, вы не будете знать, каковы они на самом деле. Во всяком случае, они не такие, какими они кажутся с первого взгляда. Это наверняка; повторяю: они как жизнь, ваша и моя. Поэтому, должно быть, они столь близки и дороги нам, понятны в своей неопределенно-

сти. Очарование их нелегко выразить словами.

Зелень, тень и омуты — такие уголки не часто встретишь, но они, должно быть, являются в лихорадочных видениях тем, кто погибает в пустыне от жажды и жары. В этих местах вообще много красок и форм, которые наводят на мысль, что это не обычная земля, но реализовавшийся сон; здесь сбываются предчувствия и желания, сколь бы смелыми и невероятными они ни были, исполняются сами собой. Это происходит оттого, что все доступное нашему взгляду в наших думах сразу восходит к чему-то такому, что, дополняя и обогащая виденное, материализует представление о мире мечты. А он так богат, разнообразен (и гармоничен в своих различиях), что все наши помыслы и желания, связанные с ним, уже спустя несколько мгновений оказываются осознанными и осуществимыми.

В двух километрах — зеленая масса деревьев с густыми кронами, жмущимися друг к другу, словно овцы, что в зной прячут голову в куцей тени своей соседки. И глядя на этот оазис, обрамленный салатной зеленью лугов, вы представляете себе прохладу, густую ярко-зеленую траву с разбросанными там и сям желтыми и голубыми цветами, научное название которых вам неведомо; подмытый, мягкий берег; неширокую, но быструю речку, перекатывающуюся через большие камни, поросшие зеленым мхом, на которых вода становится белой и прозрачной, как тончайшая кисея; проворную форель, не различимую на речном дне.

Но прежде чем ваша способность к ассоциациям успела дорисовать дальнейшие богатства приближающегося уголка, ваша машина уже стоит возле маленького оазиса, вы уже вышли из нее, сбежали по откосу и сидите на точно такой же траве, смотрите в темную воду, где белые, освещенные изнутри струйки перекатываются через большие поросшие мхом камни, вы следите за виртуозными прыжками форели, мелькающей, будто черные молнии, вы обеими руками срываете мелкие цветы, и в самом деле желтые и голубые, и восхищенно подносите их к лицу, не отдавая себе отчета, целуете вы их или нюхаете. Кроме того, вы обнаруживаете здесь такие вещи, которые самой богатой фантазии не удалось уловить и нарисовать. Радостные открытия — дар этой действительности, явно превосходящей любую фантазию. В этом неожиданном подарке — вершина нашей невинной радости. В нем словно бы заключена душа этих мест.

Не все на этом пути одинаково вдохновенно. Время от времени попадаются и блеклая почва, и серый камень. Здесь, в стороне от дороги, лежат небольшие села, испокон века повернутые задами к путнику; изредка из-за горного перевала выглянет куполок церковки, затаившейся там еще с времен «лютого царя агарянского». Редкие поселения, какие-то перезрелые и сухие, выглядят обожженными или выкованными, подобно глиняным или медным сосудам. Тут они возникли и тут остались коротать свой век такими, какие есть. Река изменила нам и является лишь в образе высохшей лужи, а не сверкающего, льющегося минерала, окруженного многоцветной растительностью. Подобное происходит и с радостной мелодией. Она не исчезла, но, переплетясь с мыслями о прошлом, о судьбах людей и их поселений, затихла и притаилась.

И снова все меняется. Возвращается незамутненная радость и звонкоголосый дуэт дороги и ее спутницы — реки.

Но главное, и неизменное, и самое значительное на этом пути, куда бы он ни вел, это то, что сулит каждый открывающийся вид — море. Его нет, но блики его манят вдали и когда дорога ведет прямо, и когда она поворачивает. Каждый поворот, каждый новый вид все увереннее предвещают величественное появление моря. Дорога бежит, и обещания растут и зреют. Море не показывается, но вы его уже чувствуете и и так явственно представляете себе на горизонте, что в конце концов уже не уверены, настоящее ли перед вашими глазами море или лишь ваша мечта о нем, мерцающем где-то на юге радужным обещанием.

И кто знает, было ли это в самом деле море или же в своем юношеском экстазе я называл этим именем предвкушение широты и простора мира, которое неизменно угасает по мере того, как мы постигаем его, и которое в то утро плыло подобно мелодии над моей головой, долиной реки Радики.

ПИСЬМО ИЗ РИМА

«Театр неожиданностей»

В 1920 году Иво Андрич поступил на дипломатическую службу. Одной из первых европейских столиц, где он был аккредитован, стал Рим, точнее Ватикан. Писатель любил Италию, прекрасно знал итальянский язык и неизменно с большим интересом и вниманием относился к ее литературе и культуре. Он переводил «Историю Флоренции» Ф. Гвиччардини, стихи Сеннуччо дель Бене и Якопо Саннадзаро, сонеты Ф. Петрарки, он писал о Франциске Ассизском и Габриеле Д'Аннунцио. В начале 20-х годов он часто публиковал в югославской прессе свои статьи и корреспонденции из Италии: «Бенито Муссолини», «Фашистский переворот»,

---

ИВО АНДРИЧ
ЛИЦО ЗЕМЛИ

«Кризис фашизма — кризис Италии», «Италия и Ватикан в «римском вопросе», «Ватикан и наша страна» и др. Он решительно выступал против набирающего силу фашизма и его лидера, подчеркивая реакционную сущность происходящих событий и их опасность для самого существования и культуры европейских стран. Материалы эти, по словам одного из исследователей творчества И. Андрича, «свидетельствуют о его глубоком понимании обстановки в Италии».

Очерк «Театр неожиданностей» — о вожде итальянских футуристов Ф. Т. Маринетти — был опубликован в загребском журнале «Новая Европа» в 1921 году.

Я хотел рассказать вам о здешней театральной жизни. Случаю было угодно начать сезон футуристическим «Театром неожиданностей». И ничуть не моя вина, что в этом письме окажется мало или даже вовсе не будет речи о театре. Это лишь небольшая часть будничной жизни этой страны, изобилующей кризисами разного рода. Рекламируемый воинственными телеграммами из Неаполя и огромными разноцветными афишами, вчера вечером начал свои выступления «Театр неожиданностей» Маринетти. В «Салоне Маргериты», известном римском варьете, где до вчерашнего дня выступали танцовщицы с экзотичными именами или китайские жонглеры, вчера вечером дебютировало футуристическое театральное искусство. Из-за билетов шли настоящие баталии, хотя цены на них поднялись в несколько раз. Люди сидели друг у друга на голове в переполненных ложах.

Уже перед началом спектакля молодежь (прекрасно одетые бездельники, дети богатеев и эстеты) орала, пела и свистела. Где-то около десяти часов на сцену вышел Маринетти и, насколько я мог понять посреди всеобщего свиста и смеха, сообщил, что они намерены «развлекать других, развлекаясь сами». Оркестр наигрывал футуристические сочинения. Дирижер находился в одной из лож и длинной тростью отбивал ритм (вернее, лишь подавал знаки) музыкантам, также размещавшимся в ложах.

Все это закончилось под безумный свист и пение каких-то современных куплетов. Затем начался спектакль. Это были пьесы, из которых ни одна не продолжалась более трех минут, а некоторые всего лишь двадцать секунд. И я позавидовал Гёте, которому надобно было описать только римский карнавал. Я могу вам рассказать лишь о том, что я видел, поскольку слышать ровным счетом не слышал ничего, как, впрочем, и остальные. Пьесы, поставленные «Театром неожиданностей», видимо, вовсе не имели содержания и, вероятно, были рассчитаны на подобное страстное соучастие публики — только таким образом вместе с бурными протестами и свистом они создавали нечто цельное и, возможно, являлись выражением известных устремлений в искусстве. Они сменялись с молниеносной быстротой, и нельзя было не только что-либо услышать, но временами даже и увидеть, потому что помимо всеобщего свиста, воя и рева каждый упражнялся на свой лад — и стар и млад швыряли в актеров баклажанами, картофельными клубнями, сухим горохом, редиской, всем, что оказывалось под рукой, так что актерам нередко приходилось укрываться за кулисами.

В промежутках между сценами выходил Маринетти и с улыбкой благодарил, однако при виде такой вакханалии и под таким обстрелом даже его деловитое мужество ослабевало. Зал гудел как осиное гнездо. Повсюду виднелись возбужденные лица, вытаращенные глаза. Кто-то из футуристов аплодировал. Другие вопили: «Давайте послушаем! Выслушаем их!» Однако никто никого не желал слушать. Раздавались звуки пощечин. В непередаваемом шуме чаще других можно было различить возгласы: «Арлекины!», «Обезьяны!», «Карманники!», «Деньги обратно!», «Шарлатаны!», «Кокаинисты!», «Вам бы жеребцов ощипать!», «Бездельники!», «Безобразники!», «Отдавай нам обратно денежки, Маринетти!» Прочее невозможно повторить и напечатать. И все это под непрерывный свист и рев, завывание сирен, треск кастаньет и пение куплетов.

Безумие несколько умерилось при появлении танцевальной пары, исполнившей фокстрот без музыки. Все с удовольствием смотрели на полуобнаженную (не полу-, на три четверти) танцовщицу и ее ловкого партнера во фраке. Уходя со сцены, она развернула какой-то плакат и набросила его на себя словно шаль; на спине было выведено крупными буквами «СДАЕТСЯ». Мне показалось, что обрушился потолок. В ход пошли тарелки и фужеры из-под лимонада. Появился Маринетти, уже потерявший свою улыбку и уверенность. Он показывал пальцами, что хотел бы сказать только одно слово. Но ему не давали. Его фрак покраснел от баклажанов. Ему пришлось уйти. Однако спектакль продолжался. Служители то и дело подметали сцену, выглядевшую как базарная площадь после воскресной торговли. Над бесновавшейся публикой плясали столбы пыли. Белели лица женщин, дрожали от смеха перья на их шляпках, переливались атласные накидки.

На сцене появилось пятеро художников-футуристов, каждый держал в руках свой портрет, горло демонстрируя его публике, засыпавшей их всем, что попадало под руку, так что они использовали свои холсты вместо щитов.

В антракте закипали дискуссии. Мелькали руки и слова. Кому-то удавалось произнести целую речь. Неистовство византийских религиозных диспутов и плебейская потребность в смехе и развлечениях. Рука бессильна передать, да и ухо не может вобрать все, что вопилось и кричалось одновременно.

— Это просто скандально! — восклицал какой-то седой и пылкий господин.

— Политические дискуссии в парламенте еще более скандальны!

— Да, но это бесполезное свинство и дикость.

— Я полагаю, что большее свинство рисовать багровый закат таким, каким его изображали испокон века, и называть это искусством; вот эти изображают новое, рискуя всех оттолкнуть.

— Ах, оставьте, пожалуйста, это новое — неискренне, смешно, фальшиво.

— Челюсть у вас фальшивая, сударь,— вопил какой-то футурист. Начиналась потасовка, и что-либо разобрать было невозможно.

— Маринетти сам организовал торговлю овощами перед театром. И вы еще защищаете этих позеров!

— Не в том дело. Это бунт, а пока в мире возможны бунты, меня не беспокоит судьба человечества!

— Ха, ха, ха! Крещеный осел!

— Мир изобилует формами, которых вы не замечаете и которые мы должны вам открыть.

— Вы? Кто вы такие? Вы компрометируете Италию!

— Головы этих людей набиты стихами и мелодиями. Наш богатый и красивый язык превращается в однообразную декламацию, и я всерьез начинаю опасаться, как бы над нами не стали потешаться в Судный день. Мы задыхаемся, сударь, в мраморах и полотнах живописцев,— шептал мне в ухо сосед.

Внезапно всеобщее внимание обращается к сцене, где из-за опущенного занавеса возникает столбом огромная деревянная рука, показывающая фигу зрителям. Неописуемый шум, ярость и смех. А рука, преспокойно пройдясь несколько раз по сцене, исчезает.

Какой-то юноша из публики полез через пустую яму оркестра на сцену, намереваясь подобрать картофель и баклажаны и снова пустить их в ход, его заметил юный футурист, выглядывавший из-за кулис. Парень обратился в бегство, однако футурист догнал его и дал ему такого леща в спину, что тот, пролетев над оркестром, буквально вонзился в какое-то кресло. Театр рукоплескал, изнемогая от хохота. Футуризм торжествует.

В конце — уже миновала полночь — на сцене возникла группа людей, с Маринетти в центре, и начала любезно кланяться, благодарить самым учтивейшим образом, одаривать публику воздушными поцелуями, однако занавес стремительно закрылся, так как публика — на исходе сил своих — продолжала швырять последние баклажаны, яйца, конфетные коробки, монеты и т. п.

И пока толпа возбужденных и раздраженных зрителей, хохоча и споря, толкалась перед зданием театра, в дверях его появились Маринетти и его коллеги. Из толпы послышались шуточки в их адрес. Не отвечая, они поспешно уходили. Однако люди бросились следом. Хор человек в 200—300 скандировал:

— Комедианты, жулики, подонки!

Внезапно Маринетти остановился и выпятил грудь перед толпой, которая, умолкнув, замерла. В короткой речи он стал уверять, что все свое солидное состояние он вложил в это искусство и что ему обидно. Слушатели как будто устыдились. Но едва он еще стремительнее пустился вперед, как опять посыпались насмешки и брань. Он мгновенно обернулся и, смачно ругаясь, накинулся на первого попавшегося. Толпа растерянно отступила, но тут же опомнилась, и в ход пошли палки Коллеги плохо защищали своего вождя, и вскоре он упал на трамвайные рельсы. Суматоха и грохот. Робкие пустились наутек. В конце концов все разрешилось. Маринетти поправлял шляпу и очищал одежду, а в это время по деревянной мостовой с грохотом приближался отряд жандармов. Самых неистовых участников свалки арестовали, прочих стали оттеснять лошадьми в боковые улицы. И входя в свой роскошный отель, Маринетти еще мог слышать голос пузатого жандармского начальника, разгонявшего демонстрантов:

— Расходись по домам! Где это видано, чтоб так шуметь в ночную пору, e romperе i bottoni a quel' pover uomo![1]. Расходись!

Дебаты продолжались. Мы шли по опустевшим улицам.

ПОРТУГАЛИЯ, ЗЕЛЕНАЯ СТРАНА

В конце 20-х годов Иво Андрич получил назначение в югославское посольство в Испании (а возможно, по совместительству и в Португалии). Он совершил несколько поездок по этим странам и впоследствии неоднократно обращался к ним в своем творчестве. Уже в 1935 году он опубликовал рассказ «Байрон в Синтре» и эссе «Разговор с Гойей». Узы глубокой дружбы связывали И. Андрича и с известным югославским испанистом Кальми Барухом погибшим в годы гитлеровской оккупации. О совместном с К. Барухом путешествии по Испании зимой 1928—1929 годов (они посетили Толедо Сеговию, Вальядолид) И. Андрич рассказал в своих заметках, посвященных памяти погибшего ученого.

Он часто вспоминал Испанию, ин-

[1] И морочить голову этому бедному человеку *(итал.)*.

тересовался испанской поэзией, в частности, переводил стихи Х. Р. Хименеса. Уже в наши дни, возвращаясь в разговоре со словенским писателем Иваном Братко к Испании, Андрич говорил: «Баски напоминают мне вас, словенцев. Они трудолюбивы, аккуратны, предприимчивы. Их немного, но в них живет огромная внутренняя сила. А как они сражались против фашизма! Когда я работал в Мадриде, я ездил отдыхать летом в Сан-Себастьян, их столицу. Прекрасный край! Уверенные в себе люди!»

Публикуемые очерки переведены по собранию сочинений И. Андрича («Сабрана дела», книга X. Белград, 1965).

Утро на португальской границе. Чудесное пробуждение, свежестью своей и зеленью напоминающее утро детства, когда мы просыпались и от южного ветра, и от журчания воды, и шелеста тающего снега. Позади Испания как нечто желанное и тяжелое. Португалия (снова волна воспоминаний откуда-то из самых глубин детства, в котором название этой страны связано с видом и вкусом апельсинов), Португалия раскрывает зеленые ворота словно в праздничное утро.

Пограничная станция и какие-то виллы. Первые и слабые образцы португальской архитектуры, которая поверху расцветает нездоровыми формами тропических цветов, с характерной керамикой, она будет сопровождать нас с одного конца страны до другого.

Плохой кофе, теплая минеральная вода, недоразумения при расчете и обмене денег. Однако необыкновенно спокойные и учтивые таможенные чиновники, которые надевают белые перчатки, совершая досмотр багажа пассажиров.

Начинается волнистая равнина с пастельно-бледной зеленью. Земля выглядит худосочной, небрежно обработанной. Внимание начинают привлекать деревья, которые тянутся вдоль дороги и наконец превращаются в целые леса, редкие и обширные. Издали эти деревья напоминают оливы, однако значительно крупнее их. Стволы их целиком или частично обложены какой-то красной землей. Это cortica — дерево, которое дает пробку. Когда дерево подрастает, с него сдирают часть коры и оголенный ствол обмазывают красной землей. Через год обдирают другую, пощаженную прежде часть, пока дерево не покроется новым слоем, который обдирают таким же образом.

Часами проезжаем мы через однообразные поросли этих деревьев, которые люди стригут как овец.

Около полудня дает себя почувствовать жара. Все чаще попадаются виллы вдоль дороги. Под аркой высокого акведука возникает синяя плита моря.

Лиссабон. Беспокойный город на вулканической почве. Нигде в мире не встретишь более спокойных и учтивых людей, когда вы говорите с каждым в отдельности, и эти спокойные и учтивые люди все вместе создают такой невыносимый шум, от которого невозможно заснуть.

Учащиеся в Лиссабоне носят какие то странные, но приятные для взора пелерины. Без воротников, облегающие плечи и доходящие до земли, они много красивее известной испанской капы. Эта оригинальная одежда придает юношам вовсе несовременный, но необычайно симпатичный вид и напоминает о романтике и воспетой поэтами прелести юношеских игр времен Бранко [1]. На лицах этих смуглых юношей — задумчивость, рожденная тревогой и печалью гех лет, кажется, будто это идет сама Юность, и невозможно ни удержать ее, ни договориться с ней.

Кто зорю зорюет — в Лиссабоне будет вознагражден неповторимым зрелищем: рыбачки несут рыбу с пристани в город в широких плетеных корзинах. Совершенное равновесие их тел и груза, который они несут, улыбающиеся лица, громкие песни придают этой процессии тружениц вид не нужды и заботы, но торжественного и праздничного шествия. Они идут группами по дороге и несут свой груз на голове как некое украшение, удерживая его грудью, бедрами, босыми загорелыми ногами. Одна из женщин идет отдельно посредине улицы — кто знает, что у нее на душе,— и вдохновенно поет. Я долго следил за ней взглядом. Я понимал лишь два слова припева и бережно укрыл их золою, как накрывают огонь пастухи, из страха не позабыть. Теперь я храню эти два слова. И, вызвав их в памяти, как будто соединяю два противоположных конца электрического провода, и тотчас вспыхивает в душе мелодия чужой страны, лета, моря и безыскусной радости.

Однако не Лиссабон делает в моей памяти эту праздничную страну тем, что она есть. В двух десятках километров от столицы, прислонившись спиной к хмурым скалам и повернувшись лицом к равнине, завершающейся морем, стоит маленький городок, почти село. Это — Синтра, с бывшим королевским дворцом и замком Пенья, который по своему местоположению превосходит красоту всего, что можно себе вообразить или передать.

Короля давно больше нет. Вам показывают дворец с оставшимся убранством, маленький дворик с фонтаном и скамьей, на которой Камоэнс читал свои стихи королю Себастьяну, а каждое окно, каждая терраса раскрывают перед вами, всякий раз под новым углом зрения, единственный в своем роде вид, километров на двадцать, зеленой равнины, обрубленной неопределенной линией моря, которое сверкает и кажется издали жестким и неподвижным, точно оно de piedra, de metal, de cosa dura (из камня, из металла, из твердого вещества), как душа Камоэнсовой нимфы.

---

[1] Бранко Радичевич (1824—1853) — сербский поэт-романтик.

Перед дворцом — площадь с источником, окруженная домами и садами. Маленький отель, приятный и чистый. Один из тех отелей, где двери в комнатах не запирают, где с первого дня любой чувствует себя как дома.

Терраса вся в зелени. Деревья — по крутым склонам холма, по улицам, между домами; со всех террас и даже самих стен тянутся деревья, гибкие, буйные, всегда зеленые. На площади журчит вода.

Турки говорили о самом прекрасном крае своей великой империи: «Совершенная страна. Где копнешь, там потечет питьевая вода, а где упадет семя, там вырастет дерево». Здесь именно такая страна.

На площади под террасой худая девочка продает какие-то лакомства. Преодолейте отвращение ко всему, что продается на улице, купите эти пирожные, которые называются «кежада». Любовно завернутые в двойную бумагу, они чисты, вкусны и подобны хорошей поэзии: сладостны, но не приторны.

На невидимой башне бьют какие-то часы. Самая прекрасная послеполуденная музыка для ушей путешественника. Звук их настолько приятен, что, слушая, забываешь отсчитывать удары.

Вы счастливы и спокойны: вы в Португалии. У подъезда ожидает машина, которая увезет вас из нее.

ИСПАНСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРВЫЕ ШАГИ В НЕЙ

Quien ha visto la faz del Dios hispano?

A. Machado[1]

ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ. Если рядом с тем, что является общим для Испании и прочей Европы, вы хотите познать мечтами пределы специфической испанской действительности, то вам придется совершить смелый прыжок в ирреальное. Вообразите себе прямую, проведенную вперед от конечной точки того, что остальная Европа называет реальностью. До каких пор? Это сказать невозможно, поскольку нам, чужеземцам, не дано увидеть ее конца, а испанский дух нередко проявляется неожиданно для самого себя и во многих случаях не любит слово «граница». Здесь и возникает то, что мы называем испанской действительностью. И в ней самая никчемная вещь устыдилась бы, если бы служила только той цели, для которой предназначила ее повседневность. Все здесь существующее постоянно стремится превзойти себя, и все превзошло свое вульгарное предназначение на палец, на ладонь или на локоть, но все стремится вверх. И здесь, поверх линии практической жизни и, однако, в органической неразрывности с нею, возник фантастический климат, в котором причудливо перемешивают свои воды явь и видения, а самые будничные явления повседневной жизни часто приобретают окраску и интенсивность мечты.

ДОРОГА ЧЕРЕЗ КАСТИЛИЮ. Редкие синеватые и серебристые воды, разлившиеся и бесформенные, как в день творения. Повсюду библейские пейзажи. Впереди по дороге едет на ослике женщина с ребенком, следом пешком идет муж с длинным посохом в руке. Словно бегство в Египет. Еще немного — и появятся хмурые, вооруженные до зубов жандармы, ищущие по приказанию Ирода опасного младенца. На горизонте — одинокие пинии или развалины какой-нибудь башни, вокруг которой кружатся вороны. (Вот так все страны, обладающие чем-то своим, особенным, наполняют чужеземца при первом его шаге ощущением печали и страха, точно заветные золотоносные царства.) Иногда эти одинокие символы труда и человеческой культуры исчезают, и тогда перед глазами не остается ничего, кроме обнаженной земли, поросшей редкой травой, лишенной цвета и всяких признаков жизни, с каким-то торжественным, но безжалостным небом над собою. И непривычный зной, от которого невозможно укрыться и который одинаково охватывает и снизу и сверху, словно бы где-то у нас под ногами зажглось еще одно вот такое платиново-бледное, раскаленное солнце. И если б этот край, убогий и тоскливый, не пронизывали там и сям нити длинных и тонких речушек, переплетающихся между собой и разбегающихся в разные стороны, то нельзя было бы представить себе ничего печальнее в мире.

Изредка на равнине — позабытая деревня, стиснутая посередине и расползающаяся по краям, цветом абсолютно одинаковая с землей и сожженной травой. Она и не думает казаться красивой. Эти обугленные домишки собирает вокруг себя и ведет огромная церковь. Громоздкая, с романской колокольней, лишенная красоты и грации, она словно показывает, как тяжело на этой земле и под этим солнцем исполнять свою миссию, находясь между людьми и их мечтою о небе. Это означает вечно сводить концы с концами, никогда не иметь сил их свести и никогда тем не менее не отказываться от стремления их соединить. Эта сельская испанская церковь подобна грузовому кораблю, при закладке которого думали только о его назначении, но отнюдь не о форме. И теперь, такая, какая есть, она подтверждает древнюю истину, что преданно служащие богу не любезны и не желанны взору людскому.

Нет птиц. Не слышно ни звука, который поколебал бы воздух. Через глубокое ру-

[1] Кто видел лик испанского бога? А. Мачадо.

ИВО АНДРИЧ
ЛИЦО ЗЕМЛИ

сло почти пересохшей речки переброшен одноарочный римский мост из камня. Он так почернел и обвит плющом, что кажется тесно связанным, сросшимся с этой местностью. Точно уснув, стоит он над собственным отражением в мелкой воде. Под мостом, на песчаной отмели — несколько черных круторогих быков с пастухом на коне, скорее напоминающих геральдические символы в каком-нибудь гербе, чем пасущийся скот. Снова появляются пинии. Теперь их целая роща. Но кажется, будто они никогда не были юными и никогда не состарятся. Они стоят точно окаменев, отбрасывая перед собой неподвижную скупую тень.

Все как сон, полный значения.

И вновь исчезают воды, деревья и живые существа, словно их кто-то стер. Нигде ни тени, ни малейшего закутка, куда можно было укрыть на мгновенье раскаленную машину. И ни звука. Мы едем сквозь тишину, какой мне никогда не доводилось слышать, и здесь голос нашего скромного мотора кажется громовым раскатом вселенского катаклизма. А уже секунду спустя его стирает и засыпает сверкающая кастильская тишина, точно метель заметает птичий след на снегу. Нигде ни краски. И я спрашиваю себя, каким должен быть цветок, который осмелится вырасти здесь, и какая краска не устыдилась бы под этим жаждущим небом на гордом безжизненном камне.

В какое царство ведут эти двери божьего гнева? Какую кару таит лицо этой страны в своей отшельнической наготе и строгой задумчивости? Что означает эта огненная, все испепелившая непостижимая печать, которая оставила теперь лишь тень древней легенды о прадавнем грехе, после чего райская обитель превратилась в тягостную высохшую землю? Вечным рефреном между глухим небом и безмольвной землею, единственным ответом на все вопросы возникает у кастильца мысль: где-то в ином месте должна находиться наша истинная родина и земля обетованная, здесь же нет нам длительного пребывания и обитания.

А в конце дня сдвинулось и раскрылось над нами серое небо, точно металлический купол обсерватории, и в вышине открылась иная сфера с первыми звездами. И откуда-то от нее пахнуло райской свежестью и возникла гамма переливающегося синего света, неведомого миру. Почудилось, будто серая и скудная Кастилия раскрывает ризницу своих драгоценностей и богатств, которые, испытывая неведомую тоску в своей бесконечной гордости, никогда не надевает на себя. Перед нами развернулось небесное полотно, на котором иначе, по-новому располагались неведомые и новые звезды, свежие, и тяжелые, и близкие, точно плоды на ветвях в плодородные годы. Встретивший нас ветерок был дыханием нового мира и другого континента. Он кружил голову и одновременно заставлял широко раскрыть глаза. Глядя на открывшуюся мне картину, я в недоумении спрашивал себя: некто ли невидимый расстилает под нами небесное полотно, оставшееся после того, как он окутал высоты, или же в синей мгле вспыхивают бесчисленные огоньки поджидающего нас города?

Мы минуем какое-то поселение. Тяжелые, темные громады зданий с мелкими редкими огоньками, но по-прежнему полная тишина, и вдруг раздается голос, пронзительный, мужской, непонятный и внушающий ужас. Что означает этот возглас во тьме? Люди ли призывают друг друга, манят ли скотину или это начало неведомой песни? Но мы уже далеко, снова во тьме и тишине, и голос пропал бесследно, как внезапно он и возник. Кто различит голоса, которыми сквозь тьму встречает нас новая страна, людей и обычаев которой мы не знаем!

Еще одна действительность начинала свою игру с нашими чувствами.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О СТАЛИНГРАДЕ

Очерк «Впечатления о Сталинграде» был опубликован белградским журналом «Югославия — СССР» в конце 1947 года (№ 24—25). Заметки о праздновании юбилея Низами И. Андрич напечатал в № 1 за 1948 г. газеты «Книжевне новине», которая начала выходить 17 февраля этого года. С рассказом о своих впечатлениях И. Андрич неоднократно выступал тогда в различных городах Югославии (Сараеве, Скопле, Нише и др.) перед активистами обществ дружбы «Югославия— СССР», перед самой широкой аудиторией. О развитии за годы советской власти родного города Низами Кировобада писатель рассказывал в своей лекции о культурной жизни в Советском Союзе 2 января 1948 г.

Делегация деятелей культуры, в которую входили представители всех югославских народов, провела пять недель в Советском Союзе, знакомясь с культурной жизнью этой братской союзной страны, укрепляя и углубляя уже существующее сотрудничество между нашими обществами дружбы и Воксом. Я надеюсь и верю, что нам удалось достигнуть цели. Во всяком случае, это путешествие значительно обогатило нас и во всех отношениях стало подлинным событием.

Отправляясь в путь, мы следовали по колее наших добрых традиций. Вот так же протоиерей Матия Ненадович сто сорок лет назад выехал в Россию из Сербии с целью «Сербию с Россией познакомить», так вот и Негош шел по этой дороге из Черногории, так же двигались деятели культуры из Хорватии — от Рачкого и Ягича до Цесар-

ца и Крлежи. Однако, следуя по колее давних добрых традиций, мы передвигались по новым дорогам, которые показывает человечеству нынешняя, советская Россия в своем стремительном победоносном развитии за последние три десятилетия.

Я могу и должен прежде всего отметить одно. Представителей нашей культуры в Советском Союзе принимали по-братски искренно и тепло. Повсюду нас встречали как могут родные встречать родных. Ни на миг никто из нас не чувствовал себя иностранцем. В том большом мире, что называется Советским Союзом, имена Югославии и маршала Тито популярны и известны очень многим и произносятся всегда с глубокой симпатией и сердечностью. Широкие массы людей знают о борьбе наших народов за освобождение, о мужестве югославских партизан, а также о нынешних стремлениях и усилиях нашего народного государства ФНРЮ.

Деятели советской культуры хотят поближе познакомиться с прошлым наших народов, с их нынешними художественными и научными достижениями. Со своей стороны, как я уже говорил, мы привезли из этой поездки драгоценный опыт и знакомство с культурной жизнью советских народов. У нас были и будут в дальнейшем возможности подробнее рассказать об этом нашем опыте и устно и письменно. Сегодня мне хотелось бы поделиться лишь своими впечатлениями о недолгом пребывании в Сталинграде. Я знаю, что многим из вас исторические факты о битве под Сталинградом известны лучше, чем мне, и что об этом существует целая литература, но сейчас речь пойдет только о впечатлениях одного писателя, который считает своим долгом поделиться с вами этими впечатлениями в той мере, в какой их вообще возможно выразить словами и передать другим.

Подлетая на самолете с юга, вы некоторое время плывете над настоящей пустыней, на поверхности которой черная низкорослая трава борется с песчаными отмелями, белыми, как высохшие соляные озера. Однако постепенно песчаные острова встречаются все реже и реже, растительность становится гуще, выше и приобретает чуть приметный зеленоватый оттенок. И вдруг вы замечаете темно-красную тропинку, петляющую по зарослям. Радостью вспыхивает ваш взгляд, радостно становится на душе. Эти тропы, проложенные человеком, петляя, выступают перед вами точно письмена некоего общечеловеческого алфавита, при виде которого у вас становится тепло и хорошо на сердце после неразборчивых и непонятных узоров холодной и неприятной пустыни. Постепенно мелкое и пестрое письмо тропинок и троп превращается в проселки, затем в шоссе, пока однообразие равнины не разбивает огромный изгиб реки Волги. И вы смотрите на Волгу, знакомую вам по рассказам и стихам. Это не просто река, это стихия, причем спокойная, но могучая стихия. В стороны расходятся и пропадают из виду ее рукава, точно родственники в жизни человека, и дальше текут сами по себе, отдельными реками, как бы вовсе не ведая ничего друг о друге. И вам сразу становится ясно, что здесь непригодны обыкновенные мерки, что здесь все шире и интенсивнее, глубже и выше: и жизнь, и смерть, и созидание, и страдание. Или, как сказал в свое время поэт: Россию аршином не измерить.

С высоты тысячи метров, на которой мы сейчас летим, земля внизу кажется абсолютно плоской и однообразной. Друг от друга отличаются лишь вспаханные поля, четырехугольные, продолговатые, вонзающиеся в серую степь огромными пятнами одинакового бурого цвета, хотя и разных оттенков. Весенняя вспашка еще свежа, темная, почти черная, но уже выглянули озимые, и кажется, будто поле озарено тончайшим зеленоватым светом. Мы опускаемся ниже, и отчетливее становится видно, как вдоль пустынного до тех пор волжского берега появляются редкие разбросанные поселки. И в то же время возникают, вырезанные в серовато-зеленой целине траншеи, земляные брустверы артиллерийских укрытий, а затем, подобно мелким, начинающим зарастать царапинам, становятся видны и многочисленные брустверы одиночных стрелковых окопов.

Это Сталинград. Город, чье имя стало символом минувшей войны против фашизма. Предместья его тянутся одной линией, вдоль самой Волги, на десятки километров, потом расширяются на возвышенных склонах, превращаясь в застроенный центр города, чтобы вскоре снова продолжиться по речному берегу еще на десятки километров, в основном занятых заводами и рабочими поселками.

Видна бетонная дорожка аэродрома, затерявшаяся лоскутом белого полотна в просторной степи, и вот мы уже совсем недалеко от земли.

Но лишь ступив собственными ногами на землю, вы почувствуете бескрайность этого предела, физически ощутите силу пространства, на котором шаги ваши подобны муравьиной суете.

Приезжая куда-нибудь впервые, я всегда по давней привычке хочу проверить и опробовать землю, на которую я ступил, не только взглядом и подошвой ботинка, но раскрошить ее пальцами, ибо именно таково начало знакомства со всем, что живет и существует на этой земле. Почва в Сталинграде жирная, но твердая, словно железная, поросшая острой травой и степною полынью, которая мельче нашей, но обладает значительно более сильным запахом, когда вы разотрете ее в ладонях. И сразу видно: это земля, которая легко не уступит ни пахарю, ни завоевателю.

Четырнадцать километров избитой проселочной дороги ведут от аэродрома к городу. Мы преодолеваем их в автобусе, движущемся уверенно и неторопливо. За эти двадцать пять минут мы вновь переживаем

ИВО АНДРИЧ
ЛИЦО ЗЕМЛИ

одну из величайших трагедий мировой истории. И необычным образом. Рядом со мною сидит человек, один из руководителей местного Совета, он является нашим гидом, худощавый, загорелый (здесь все люди в конце апреля уже покрыты загаром), простой в движениях и скупой на слова. Загорелой рукой он указывает на высоты пересеченной местности, которая ближе к городу становится все более изрезанной, рассказывает, где располагались позиции захватчиков, а где — защитников. Из его слов на этой абсолютно безлюдной равнине перед нами возникают фашистские части немцев, венгров и румын, и снова немцев, все новые и новые немецкие части, такие, какими запомнила их Европа: моторизованные и механизированные, вооруженные до зубов и хорошо снабжаемые, но неизменно голодные и алчущие. Говоря о немецком наступлении, он употребляет слово «немец» в единственном числе:

— Вот здесь немцу удалось прорвать нашу оборону. Здесь мы его задержали. Здесь отступили румыны и венгры, а немец окопался.

Немецкого захватчика он представляет себе конкретно; собственно говоря, он и не представляет его, а просто вспоминает, так как сам был солдатом, защищал этот город.

И пока он рассказывает, по обе стороны дороги как иллюстрация возникают разбитые и не пригодные ни к чему останки танков и уничтоженных самолетов.

— Собираем, вывозим,— спокойно объясняет человек,— переплавляем и всячески стараемся снова использовать оставшийся металл, но еще много его в этих просторах. Что вы хотите, вот здесь, например, только вторая гвардейская авиадивизия, защищавшая город, уничтожила 336 вражеских самолетов, большей частью крупных транспортных «юнкерсов».

Я смотрю на окружающую нас равнину и вижу в редкой высокой траве белеющие кости. И опять человек спокойно объясняет:

— Много народу полегло. Вокруг Сталинграда похоронены сотни тысяч немцев. Хоронили наскоро, чтоб избежать эпидемий, в замерзшую, покрытую снегом землю. А потом по странной игре природы немецкие кладбища стали с течением времени выходить на поверхность, и пришлось их опять закапывать.

Мы остановились ненадолго в этом пустынном краю. Обмениваемся будничными словами, но в душе каждый ощущает величие этого места и момента. И человек, той частицей своей души, которая навеки остается детской, ожидает, что в любой миг может появиться нечто внезапное и дать понять, что это вовсе не обыкновенная пустынная местность, но арена фантастических подвигов, воспламенивших миллионы душ на всем земном шаре.

Арены великих исторических столкновений всегда кажутся нам как бы выделенными на географической карте, они лежат вне государственных границ, точно некая собственность человечества; такова вот и эта местность, где мы стоим. Однако поле этого боя — часть живой жизни, часть коллективной и личной судьбы каждого из нас. Мы жили этой историей всеми своими нервами, всем сердцем и всей душой, мы переболели ее. Можно без преувеличения утверждать, что за пять месяцев, сколько длилась битва под Сталинградом, нигде в мире, куда попадают газеты, где слушают радио или куда долетали слухи о военных действиях, не было человека, который остался бы равнодушным и неопределившимся в этой борьбе, которая шла за Сталинград. Каждый по-своему переживал Сталинград и как личную драму. Лучше всего это известно тем из нас, кто воевал и следил за каждым мгновением битвы за Сталинград, точно видя в ней отражение своей собственной судьбы и своей собственной борьбы. Это знают и те, кто провел годы немецкой оккупации в Сербии и помнит, как небольшой народ, как незаметные, плохо образованные люди воспринимали тогда сообщения о боях под Сталинградом, как изо дня в день они следили за схваткой на подступах к далекому русскому городу как ни за одним другим событием этой войны. И вот в начале ноября 1942 года радио союзников сообщило, что наступил семьдесят второй день безуспешного немецкого наступления под Сталинградом, тем самым пройден критический момент и попытку Гитлера можно считать провалившейся. Тогда народ, всегда обращавшийся к песне как к оружию в борьбе, стал распевать своеобразную частушку — пародию на популярную народную песню, в которой издевался над оккупантами.

За эту частушку рабочих хватали прямо на улицах, пастухов — возле их овец, и даже мальчишки-подмастерья, демонстративно насвистывавшие мелодию, попадали под арест.

Голос нашего гида, который стал излагать нам историю сталинградской битвы, пробудил меня от воспоминаний.

И пока он рассказывал о сражении, разгоревшемся на пространстве, где мы стояли, один из моих товарищей поднял с земли небольшую металлическую пластинку. И передал ее мне. Такие пластинки служили немецким солдатам удостоверением личности. На этой стояло имя: Иоганн Барт, Эйзенах. Затем следовали какие-то цифры, должно быть, обозначавшие год рождения и номер части, к которой принадлежал солдат, однако разобрать их было уже трудно из-за ржавчины. Кем был этот несчастный? Одним из тех немцев, от имени которых в разгар первых побед в ноябре 1939 года какой-то фашистский литератор заявил: «Человеку доступны многие возвышенные чувства, однако одним из самых прекрасных является наслаждение победителя, попирающего побежденную землю»? Или, может быть, он был самым обыкновенным человеком, подобно тысячам других, и лишь позволил вести себя тем, кто любил попирать землю побежденной страны? Кто это узнает? Он принадлежал к миллионной армии завоевателя, который, как говорил в свое

время Корнель, «вышел на грабеж — и повстречался с боем».

С Волги тянет свежий ветерок, слышится его негромкий пронзительный посвист в стеблях степной травы. И держа в руке металлическую пластинку, я невольно думаю о том, как тяжко было воевать на этой земле, рождающей полынь, и о том, что во много раз тяжелее было встречать смерть завоевателю, натолкнувшемуся на продуманное и неистовое, справедливое и справедливо-яростное сопротивление хорошо руководимого народа, защищавшего свою землю.

В балках справа и слева от дороги возникают огромные груды искореженного металла, торчащие к небу крыльями транспортных самолетов с черно-белыми крестами. Никакой фантазии кинорежиссера не под силу создать подобные нагромождения трофеев и столь совершенную картину краха безумного предприятия.

А на склоне рядом — вспаханное поле; борозды уходят в бесконечность и исчезают за горизонтом, словно стремясь опоясать всю землю. Несколько тракторов ползают по равнине. Один из них совсем близко от нас, огромный, тянет за собой шесть плугов, громыхая и лязгая своими металлическими членами. В кабине — тракторист в ватнике, рядом — женщина, повязанная красным платком, она покачивается на металлическом сиденье, точно головка пурпурного мака. Земля сухая, слышно, как она хрустит, рассыпаясь под сверкающими лезвиями плуга, который поднимает и разваливает ее.

Мы наблюдаем, как дорога и пашня ведут бой со степью, окружающей их повсюду точно море, мы наблюдаем за работой, напряженной работой здесь, где шла напряженная битва вот за эту самую твердую и плодородную русскую землю. А человек, повествующий нам о минувших боях, говорит медленно, серьезно, даже как-то озабоченно, и в его рассказе все как бы становится на свое место, все естественно и понятно: и то, что советские люди отбили немца и немец ушел туда, откуда пришел, и что теперь советские люди пашут эту землю, а там, внизу, в городе, восстанавливают разрушенное. И он хмурится, вспоминая о планах строительства, разработанных Советской властью перед войной и нарушенных немецким вторжением.

Мы въезжаем в город. Видим первые трамваи. На них тоже следы немецких пуль, раненными вышли они из войны, они скрипят и лязгают, но продолжают работать и перевозить людей на десятки километров по разбросанным заводам. Попадаются навстречу первые дома; скорее, это, пожалуй, небольшие домишки, абсолютно новые, ибо построены они за последние два года. В этом предместье каждому желающему построить для себя жилье городские власти давали материал, извлеченный из развалин, и предоставляли небольшой кредит, только бы люди поскорее воздвигали вот такие, пусть временные, какие ни на есть, жилища. На окнах многих домиков — белые занавески, на подоконниках — цветы, перед многими — садики, оградой которым служит подчас огромное крыло немецкого бомбардировщика. Лишь миновав эти дома, мы попадаем в настоящий город, вернее, в его развалины.

Подобно каждому из нас, мне доводилось видеть и в жизни, и на фотографиях множество разрушенных городов, но эти развалины по масштабам и по характеру разрушения ни с чем нельзя сравнить. Спустя три года, после обширных восстановительных работ, продолжает чувствоваться сила разыгравшейся на этом месте битвы; отчетливо видно, что здесь сражались даже развалины и что даже их приходилось разрушать. Ничто в истории войн не может, думается мне, по объему и ужасу быть сравнимо с этим разрушенным городом, расположенным между степью и водой, близ которого столкнулись два взгляда на жизнь и на мир, две воли, из которых сильнейшая победила. Развалины эти не мертвы, они еще словно бы дымятся от силы этого столкновения, но сквозь них уже пробиваются сотни ростков осознанной воли к жизни и к обновлению, осознанной воли народа, который знает, за что он сражался, и какой ценой победил, и как он распорядится своей победой.

Мы идем по расчищенным и убранным улицам. Для сталинградцев с самого первого дня освобождения стало делом чести и гордости содержать в порядке развалины своего города с той же любовью и вниманием, с какими они совсем недавно ухаживали за ним, с какими они вновь будут ухаживать, когда он встанет из развалин. Наш хозяин показывает, где находились высокие здания, располагались различные заводы и фабрики. Все это сровнено с землей и засыпалось землей, пока из последнего подвала не перестал стрелять последний солдат. В рассказе этого молодого серьезного человека странным образом перемешиваются картины боев, которые шли здесь осенью 1918 года, во время гражданской войны, и совсем недавно, осенью и зимой 1942 года.

Не спеша наш гид повествует:

— Тогда, в 1918 году, город носил имя Царицын, красный Царицын, как звали его революционные рабочие. Когда Царицыну стали угрожать белогвардейские банды Краснова, Совет Народных Комиссаров отправил в Царицын в качестве своего особого уполномоченного товарища Сталина. Тяжелейшие бои, разбернувшиеся здесь в 1919 году, закончились победой над контрреволюцией. Город, который позже стал быстро расти и был назван Сталинградом, изобиловал памятниками и могилами погибших бойцов гражданской войны, пока осенью 1942 года над ним вновь не пронеслась военная буря, разметавшая могилы и разрушившая памятники.

И когда слушаешь этот рассказ, в котором перемежаются картины сражений 1918 года с боями 1942 года, невольно начинает

казаться, что это одна война, с одними и теми же целями, частично даже с теми же участниками.

На широких площадях, расчищенных от развалин, тщательно убраны могилы защитников Сталинграда 1942—1943 гг. Рядом, точно застыв в удивлении, высятся уже восстановленные и заново воздвигнутые дома; в основном — это школы, учреждения, необходимые для жизни и труда людей.

И в самих развалинах, там, где еще что-то осталось, бурлит жизнь. Здесь временно разместились магазины, канцелярии, парикмахерские, в которых бреют и стригут женщины в белых халатах, с белыми косынками на головах. И хотя уже за полдень, на одной из площадок продолжался базар: длинные ряды прилавков, где люди покупают лук и картофель, а чаще всего рыбу, которой Волга кормит свой народ.

Мы минуем высокое здание элеватора, тонкая высокая башня которого чудом уцелела, хотя столько раз переходила из рук в руки. Мы осматриваем театр в импровизированном помещении, поскольку прекрасное здание сталинградского театра разрушено до основания.

Стоим на площади имени 9 Января 1905 года, названной теперь площадью Обороны. Здесь проходил передний край обороны частей славной 62-й армии. Все попытки немцев занять другую половину этой небольшой площади, сбросить вниз ее защитников и, прижав их к Волге, уничтожить, провалились.

Встречаются здания, от которых чудом сохранились стены. Таков исторический «дом Павлова». В течение двух месяцев горсточка людей из дивизии генерала Родимцева под командой сержанта Павлова оборонялась в этом ветхом доме, не желая ни отступать, ни сдаваться. Здесь вы чувствуете дыхание великих событий. На стене — надпись: «Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева. Этот дом отстоял сержант Яков Федотович Павлов». А спустя два дня после освобождения сталинградские женщины вывели на фасаде этого здания свою клятву: «Мы вновь возродим тебя, наш родной Сталинград». И в самом деле они возрождают его. Когда ранним утром вы смотрите на сталинградские улицы, вам кажется, будто никто не остался дома и все население вышло трудиться и расползлось по городу, точно пчелы. И повсюду рядом с мужчинами вы видите женщин, они расчищают улицы, они строят, водят грузовики и автобусы.

На каменной стене в районе Соляной написаны слова приветствия гвардейской дивизии Героя Советского Союза генерала Родимцева, той самой, в которой служил сержант Павлов. Вы читаете: «Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева. Выстояв, мы победили смерть».

Мы идем через центр города от одной славной позиции к другой. И спускаемся в хорошо оборудованный подвал большого здания универмага. Здесь располагался штаб командующего немецкими войсками генерал-фельдмаршала фон Паулюса, где 1 февраля 1943 года он сдался полковнику Бурмакову,— так завершилась сталинградская эпопея.

Заходит солнце. Медленно и незаметно угасает день в степных просторах. Мы проходим мимо сквера, мимо братской могилы защитников города. Из земли пробивается зеленая трава. На скамейке сидит совсем юная, хорошо и аккуратно одетая девушка и читает какую-то толстую книгу. Вокруг, насколько хватает глаз,— развалины, окрашенные багряными красками заката. На их фоне выделяются своей белизной новостройки или восстановленные здания. И здесь развалины сопротивляются новостройкам, подобно тому как степь там, наверху, сопротивляется пашне. Но в эти предвечерние часы повсюду царит затишье. Девушка читает. Она отдыхает после работы. Труд и отдых — эти два слова часто слышатся в разговорах советских людей. Это словно бы два полюса их активного и плодотворного существования, и они следуют одно за другим, подобно вдоху и выдоху здорового организма.

Я стою и думаю о том, что невозможно говорить о Сталинграде и вообще о Советском Союзе, не касаясь проблемы труда и отношения людей к труду. Великие русские писатели, прекрасно чувствовавшие и понимавшие потребности времени и запросы будущего, давно занимались проблемой отношения человека к труду. Так, например, Гоголь в письмах к матери и сестрам не переставал говорить им о труде, причем труде физическом, полевом, который «полезен и благодетелен». И дальше он писал: «После него всякая минута веселья кажется нам веселее вдвойне, пляшет дух от веселья, светлеют очи, смеются веселые мысли, хорошеет и молодеет и лицом человек».

Лев Толстой, другой великий писатель великого русского народа, пророчески глядел в будущее, когда шестьдесят лет назад, во времена самого тяжелого рабства русского народа, утверждал, что работа не должна быть пугалом для одних и тяжкой каторгой для других, но должна стать всеобщим, радостным делом, которое объединяет людей. Однако великая проблема отношения человека к труду могла найти свое полное и правильное решение лишь с установлением советского строя. Смысл этой новой эпохи лучше всего выразил Максим Горький в 1928 году, когда, славя быстрое развитие советской промышленности здесь, на Волге, написал следующие слова: «Я знаю, что такое труд: это источник всех радостей, всего самого прекрасного в жизни. И никогда, во всей истории человечества, никогда человеческий разум и воля не взлетали столь высоко, как сейчас у нас. Мы верим, что рука, которая создала все то, что я видел,— продолжал Горький,— эта рука будет строить и дальше. И если кто-нибудь попытается остановить эту руку, она сожмется в кулак, который раздавит все, что окажется у него на пути».

Это пророческие слова, и эта площадь — подходящее место, где о них стоит задуматься.

ся. Прошло немногим более десяти лет, и предвидение Горького осуществилось. Нашелся завоеватель, который в 1941 году в самом деле попытался остановить советскую руку, занятую трудом, и эта рука в самом деле сжалась в кулак и в самом деле сокрушила завоевателя. Имя этому кулаку советской обороны — Сталинград. И этот кулак, исполнив свою историческую миссию, становится сегодня вновь мирной трудовой ладонью советского человека.

Поглощенные такими раздумьями, мы уходили из небольшого скверика вокруг великой могилы славных защитников Сталинграда.

Уже стало темнеть. Девушка на скамейке продолжала читать, не поднимая глаз от книги.

Вечером мы сидим в гостинице Интуриста,— импровизированном скромном доме, который ценой многих жертв заботливо построили местные власти взамен разрушенного большого отеля.

С нами сидит один из высоких местных руководителей и спокойно рассказывает. Это широколицый, солидный человек, в очках. Взгляд его напоминает взгляд опытного и весьма занятого врача. Он — один из организаторов обороны Сталинграда и один из руководителей его восстановления. И говорит он обо всем со спокойствием ученого, как о самом будничном деле на земле. Изредка лишь произносит он фразу: «Это было чертовски трудно, но все хорошо закончилось». И в его рассказе все становится на свое настоящее место. Моряки Волжской речной флотилии, ежедневно в самых тяжелых условиях показывавшие чудеса храбрости при доставке продовольствия, боеприпасов и эвакуации раненых через Волгу. Рабочие Тракторного завода, которые под обстрелом немецкой артиллерии, располагая самыми скудными средствами, ремонтировали танки, а затем подбирали из своей среды добровольцев, которые на этих машинах прямо от заводских ворот вступали в бой. Все, что вы слышали или читали в книгах Константина Симонова и прочих русских и иностранных писателей и журналистов о жизни в осажденном Сталинграде или видели в кино,— все теперь оживало в рассказах этого живого свидетеля. В его рассказе вы видите двух противников, которые сплелись в смертельной схватке в один клубок — бой шел за каждый дом, этаж, комнату, люди различали дыхание друг друга. Во всем городе едва ли найдется пядь земли, которую пятьдесят раз не поразили бы осколки немецких снарядов. Все это, как он говорит, «чертовски трудно» Не хватает продовольствия, боеприпасов, нет надежды на помощь, ничего, кроме воли к сопротивлению. И вот так, преодолевая трудности, подходили к победе. Своей тяжелой рукой наш хозяин рисует в моей записной книжке схему основных оборонительных рубежей советских войск и завершающих боев. Он говорит о капитуляции немцев как о самом естественном событии и тут же переходит к восстановлению города. Он рассказывает, а мы смотрим на тоненькую брошюру — календарь этого восстановления. И листаем ее. Вот несколько дат:

1 и 2 февраля 1943 года немцы капитулировали, 4 февраля уцелевшее гражданское население собралось на площади Павших Борцов и поклялось целиком восстановить свой город. В тот же самый день начались работы. 13 февраля уже работали две большие пекарни и были открыты три почтовых отделения. 13 февраля прибыл первый поезд из Мичуринска. 28 февраля кружным путем установлено сообщение с Москвой и Тбилиси. 18 марта заработал первый кинотеатр. 11 апреля началось автобусное сообщение с аэропортом, 17 апреля после минирования льда из Астрахани прибыл первый пароход. 20 апреля восстановлен на Тракторном заводе первый станок. Два дня спустя из его ворот вышел первый танк. На башнях этих машин была выведена надпись: «Ответ Сталинграда». 15 мая восстановлен водопровод, одновременно открылись первые больницы и детские дома.

За три первых месяца на территории Сталинграда было обезврежено около 15 тысяч неразорвавшихся мин и снарядов. 18 августа во временном здании открыл сезон театр имени Максима Горького. 1 сентября уже работало 29 школ с 11 600 ребят. В конце этого месяца население города насчитывало 200 тысяч человек. Оно увеличивалось следующим образом: 2 февраля 1943 года — 1515 человек, 1 марта — 12 тысяч и так далее, пока не достигло половины довоенного уровня. Ибо все советские люди хотели вернуться к своим разоренным очагам. 1 октября вновь приступили к занятиям все пять курсов Сталинградского медицинского института, насчитывавшего 660 студентов. 12 января восстановлен завод «Баррикады» и пущена первая мартеновская печь. 26 декабря восстановлена городская трамвайная сеть.

А 1 января 1944 года Совнарком СССР одобрил план восстановления Сталинграда и выделил кредиты в сумме 400 миллионов рублей на строительство промышленных объектов, 144 миллиона — на строительство жилья и 50 миллионов на строительство помещений для учреждений культуры.

И так вплоть до сегодняшнего дня дело восстановления Сталинграда не прекращалось. Я привел в основном цифры первого года, поскольку они наиболее характерны, однако город продолжал расти и дальше, по числу жителей и восстановленных зданий и предприятий, школ и культурных учреждений. И все это время из различных, особенно соседних, республик Советского Союза прибывали в Сталинград не пустые приветствия, но реальная помощь зерном, углем, строительными материалами.

Склонившись над тоненькой брошюркой, в которой цифры развития Сталинграда увеличивались в смелой и постоянной прогрессии, мы еще долго беседовали. И не было никакой паузы в рассказах о боях за город

ИВО АНДРИЧ
ЛИЦО ЗЕМЛИ

и о труде по его восстановлению. И равнозначными по своему смыслу казались мне эти сражения, в которых сперва выступало оружие, а ему на смену приходили труд и просвещение. Слушая эту беседу, я вспомнил зал большой московской библиотеки, носящей имя В. И. Ленина. Над зелеными столами склонились головы читателей, преимущественно молодежи, а поверх их голов красовался написанный по-латыни девиз: «Non solum armis». Это означало «Не только оружием». И в самом деле, эти люди, которые героически сражались с помощью оружия, продолжали сражаться своей организацией и наукой, своим самоотверженным трудом во всех областях. Не только оружием!

После ужина наш собеседник, попрощавшись, вернулся к своим новым делам.

На другой день рано утром мы покидали Сталинград. Я еще раз глядел вокруг, желая все запомнить, но уже сейчас я чувствую, что более всего из восстановленного и разрушенного у меня в памяти останутся жители Сталинграда, те, кого я видел на улицах, и особенно те, с кем довелось разговаривать. И я думаю, воистину этому многолюдному и огромному Советскому Союзу ничто не далось даром — ни победа в войне, ни обновление в труде. Чего только не довелось увидеть и пережить вот этим сталинградцам, какие усилия и какую ответственность не приняли они на свои плечи и не продолжают нести и сегодня. И я не слышал от них ни одного бранного слова, не видел недоброго взгляда или резкого жеста, но повсюду наблюдал лишь спокойное чувство собственного достоинства, каким я желал бы обладать каждому человеку. Раздумывая об этом возле готового к отлету самолета, я последний раз пожимаю руку одному из таких сталинградцев.

Мы снова летим. Теперь уже на северо-запад. Внизу опять равнина, изрезанная окопами и траншеями. Эта монограмма, которую завоеватель оставил на советской земле, бледнеет и исчезает. В глубине горизонта, где-то рядом с восходящим солнцем, мы еще на миг, в последний раз видим причудливую мозаику Сталинграда. На десятки километров протянулся город по волжскому берегу, узкий и длинный. Прекрасный город! Его нелегко позабыть и его трудно описать, потому что он не только памятник мужества, но и источник энергии, пример сознательного, непрерывного усилия, живой завет каждому, кто умеет видеть и способен учиться. Это Сталинград, таким он предстал перед нами однажды апрельским днем и таким он навсегда останется в моей памяти.

ПОЕЗДКА В АЗЕРБАЙДЖАН

Пребывание в Баку и недолгая поездка по Азербайджану стали для нас, иностранных делегатов, источником удовольствия и познания.

Это была возможность познакомиться с одной из богатых, любопытных и культурно развитых советских республик, с «орденоносным Азербайджаном», как пишут в советской печати, получившим это отличие за героическую роль, которую его сыновья сыграли при защите советской родины в ходе минувшей войны против фашизма.

Мы смогли бросить, хотя и опосредованно, взгляд на жизнь и творчество великого поэта Азербайджана Низами Гянджеви, насколько это возможно было сделать, не зная языка и не имея случая для более глубокого знакомства с обстоятельствами. Мы смогли получить представление о таланте и величии этого поэта, о богатстве поэтических форм, о чистоте и гуманности морально-общественных взглядов, которые отличали его, и таким образом хотя бы немного познакомиться с великим поэтом, годовщину рождения которого славил Азербайджан с помощью и участием всех советских республик, особенно же при поддержке русских писателей и ученых.

Это позволило нам познакомиться с культурным сотрудничеством советских народов. Большинство из нас достаточно читало и немало знало о структуре Советского Союза как многонационального государства нового типа, о жизни и взаимоотношениях его отдельных республик. Однако это празднество дало нам возможность получше присмотреться к делу и в конкретном случае, на практике понять природу и методы этого сотрудничества, почувствовать, какова связь культурных интересов и какой обмен ценностями культуры развился со временем между разноязычными республиками Советского Союза.

Обо всем этом я не буду много говорить сейчас. Однако об одном явлении, которое во время празднования 800-й годовщины со дня рождения Низами в Баку привлекло наше внимание, мне хотелось бы сказать здесь несколько слов. Это сам Союз советских писателей как организация, его деятельность, суть его работы и отношения между его членами.

О самой организации ССП уже достаточно известно каждому из нас, равно как и об отношении советских писателей к государству и государства к писателям, о роли писателей в Отечественной войне и миссии советских писателей вообще. Все мы об этом, несомненно, читали и слышали. Однако в этом случае мы, иностранные делегаты, могли своими глазами, воочию увидеть, какова моральная сила и технические возможности этого значительного и сильного учреждения, называемого Союзом советских писателей, каков дух, которым наполнен его труд, и каковы методы, используемые им в этом труде.

И на этом празднестве содружества советских народов были представлены все республики, от Латвии и Молдавии до Армении и Узбекистана. С первого взгляда было видно, что все эти писатели связаны

Переправа через ручей. 1815 г.

Из работ Джозефа Уильяма Тёрнера

Пожар в здании Парламента. 1835 г.

Мол в Кале. 1803 г.

Озеро Неми. 1828 г.

между собой весьма близкими узами, в большинстве случаев несомненной личной дружбой. Каждая республика прислала Азербайджану или перевод какого-нибудь произведения Низами, или исследование о нем, или портрет его для музея поэта. Это были те самые скромные подарки, которые, согласно французской пословице, поддерживают большую дружбу. Но много более того — это символы, видимое выражение добрых отношений не только межгосударственных и общественных, но и воистину достойных культуры и глубоко человечных.

Как на всяком юбилее, здесь было немало различных торжественных собраний, банкетов и выступлений, но характерная черта Союза советских писателей заключается в том, что все его работники, подобно отлично сыгранной команде, делали здесь свое дело планомерно, хотя и почти незаметно, исполняли свою миссию, обладая для этого не только желанием и не только поддержкой государства, но и силой и практикой, которая превратилась в традицию и которая непрерывно ширится и совершенствуется. Одни выступали с речами (например, поэты Антокольский и Тихонов, Фадеев, Вургун); все вместе они организовали вечер советской поэзии — одно из самых любопытных собраний, какие я когда-либо видел в своей жизни, вечер, на котором одна шестая часть земного шара читала свои стихи на русском и языках других республик, на котором одна душа и одна мысль звучали на пятнадцати разных языках, объединенных гармонией великого русского языка. Вечер, где выступало более сорока поэтов и где, возможно, именно поэтому никто из слушателей после трех с половиной часов не испытывал ни утомления, ни пресыщенности.

Я сожалею, что не могу сказать здесь несколько больше хотя бы о самых известных из этих поэтов, каждый из которых является любопытной и многогранной личностью, как, например, Вера Инбер, Леонид Первомайский, Михаил Светлов, Гафур Гулям; особенно мне жаль, что я не могу побольше рассказать о самих хозяевах, азербайджанских писателях, людях жаркого сердца и живого пера.

И несмотря на загруженность, наши советские товарищи нашли возможность провести в Доме армии литературный вечер для военнослужащих. Веселые и простые люди, любящие смех и шутки, они все словно мимоходом, однако на самом деле планомерно и осознанно делали свое дело, выполняли свои обязанности полностью и в срок, не притворяясь ни занятыми, ни важными.

Любопытно также, что вместе с писателями в этих торжествах участвовало несколько директоров и главных редакторов издательств из Москвы и Ленинграда. Эти люди не являются писателями или деятелями искусства, но по природе своих занятий тесно связаны с литературой, отлично знают ее, и они хорошие организаторы. Каждый из них — специалист по группе каких-нибудь советских национальных литератур. Они составляют издательские планы, подбирают переводчиков, руководят редакторами, решают технические и финансовые вопросы. Это подлинные деятели культуры, уважаемые люди, тесно связанные с писателями в единый трудовой коллектив, являющийся одной из самых прекрасных особенностей общественной жизни СССР.

Таким образом, перед нашими глазами в бесчисленных своих формах двигалось вперед дело многоязыкой советской литературы, литературы нового общества в социалистическом государстве, двигалось и раскрывалось перед нами как часть жизни всего советского народа. Генеральный секретарь Союза Фадеев, обращаясь к трудящимся города Баку, в своем приветственном слове сказал: «Товарищи! В день светлого юбилея великого гения азербайджанского народа Низами будем, как всегда, каждый час нашей жизни, где бы ни трудились — у нефтяной вышки или за письменным столом,— двигать вперед наше великое всечеловеческое дело».

И дело это было таким, что мы, делегаты братских народов, могли найти в нем для себя не только пример, но и побуждение и ободрение.

В ДОМЕ ШОПЕНА

Поездка по Польше

С особенной нежностью относился И. Андрич к Польше и польской культуре, с которыми его связывали воспоминания юности. В канун первой мировой войны он приехал в Краков и стал студентом Ягеллонского университета. Однако начало военных действий помешало ему продолжить учебу. О своих первых встречах с Польшей уже тогда он рассказал в серии очерков «Письма из Кракова», напечатанных загребской газетой «Хрватски покрет» (апрель — май 1914 г.). Очерк о поездке в Желязову Волю был опубликован белградской газетой «Книжевне новине» 14 сентября 1948 года.

С 25 по 28 августа 1947 года в польском городе Вроцлаве проходил Всемирный конгресс в защиту мира. Программа его была обширной и потребовала от делегатов немало труда и доброй воли. А труд и добрая воля, по обыкновению, бывают вознаграждены. Одной из подобных неожиданных наград стала для меня организованная по окончании конгресса поезд-

---

ИВО АНДРИЧ
ЛИЦО ЗЕМЛИ

ка в дом Шопена в Желязову Волю, небольшой городок километрах в семидесяти от Варшавы.

Она была блестяще организована благодаря широкому и ненавязчивому гостеприимству, свойственному полякам.

Из более четырехсот делегатов всего шестьдесят или семьдесят человек воспользовалось возможностью увидеть Желязову Волю. Трудно сказать, что руководило участниками конгресса, когда они отозвались на это приглашение. Среди нас были представители больших стран с давней музыкальной традицией — из них поехало по одному человеку или вообще никто, но были делегации меньших стран, не занимающих много места в музыкальных энциклопедиях, которые отправились в полном составе.

Дом, где родился Шопен, стоит недалеко от шоссе. Это приземистое здание конца XVIII века, типичное жилище управляющего имением той поры. Оно окружено обширным, хорошо ухоженным парком, открывшимся перед нами внезапным оазисом посреди однообразной равнины, испещренной прямоугольниками полей, засеянных попеременно то свеклой, то пшеницей.

Мы на цыпочках ходили по историческому зданию, где польские музыканты и исследователи истории музыки выступали в роли сердечных и доброжелательных хозяев. Мы рассматривали портреты Шопена, его автографы и различные документы. Мы бродили по парку вокруг дома. Молча ступали по каменным плитам, переходили по коридорам буйных кустарников и редких деревьев и в полной тишине думали о музыке.

И музыка пришла. В большом зале начался импровизированный концерт из произведений Шопена. Играли прекрасный чешский пианист Паленичек, хорошо известный и у нас, затем бразильская пианистка Анна Стелла Сиц и старый польский мастер Кочальский. Две прелюдии, мазурка, вальс b-dur и баллада g-moll.

Я всегда оказываюсь в затруднении, когда мне приходится прямо и непосредственно писать о впечатлении, которое производит на меня музыка,— слова исчезают, строчки рассыпаются, высыхают чернила. Это один из тех случаев, когда человек остро и отчетливо чувствует границы своих возможностей выражения.

Могу лишь сказать, что я никогда не позабуду балладу в исполнении изумительного виртуоза Кочальского и могу лишь поделиться немногим из того, что во время концерта и после него я думал, чувствовал и заметил.

Зал, где стоял рояль, а также две соседние комнаты заполнили иностранные гости. Лишь немногим нашлись стулья. Одни пристроились у стены, оперлись на старинный камин. Другие остались посреди комнаты, скрестив на груди руки и опустив глаза. Не было слышно дыхания, половица не скрипнула под ногами.

Изредка я осматривался вокруг и по-прежнему видел всеобщую неподвижность и прежний экстаз на лицах этих людей, приехавших со всех концов света, какие можно представить себе лишь в мечтах. Вот на невысокой скамеечке сидит пожилой французский философ Жюльен Бенда, маленький и седой, точно византийский мудрец. Передо мной крупная сутулая фигура советского академика Заславского. Рядом с ним стройная смуглая женщина в индийской народной одежде — это архитектор с Цейлона. У стены — молодой малайский поэт и бледный худой делегат из Вьетнама; между ними — высокий седой профессор какого-то норвежского университета. И так по очереди, люди разных рас, незнакомые и безымянные лица, но все одинаково погруженные в себя и испытывающие восторг. Наши взгляды иногда пересекаются, но мы не видим друг друга, ибо в абсолютной тишине летнего дня в сердцах очарованных слушателей царит музыка.

Когда Кочальский кончил играть, мы хлопали ему живо и восторженно, но по-прежнему словно бы во сне. Точно так же мы ходили по комнатам, разговаривали между собой. И заметно было, как изменились голоса собеседников. А ведь все старались говорить как можно естественнее, чтобы не обнаружить своего волнения.

Художники и ученые из разных концов мира, принадлежащие к разным народам, обрели в этом доме общий язык и в упоении склонились перед величием прекрасного. Я наблюдал за людьми. Один задумавшись грыз горький листок лавра, сорванный в парке, другой записывал что-то на обороте концертной программки. И когда я глядел на них, мне казалось, что мир полон друзей, с которыми хотелось бы поделиться всем, вот эти окружающие меня люди — лишь отдельные их представители. Через них я чувствовал свою связь с миллионами людей. Под влиянием музыки, от которой все вокруг звенело и трепетало, лица выглядели более близкими, понятными, хотя большей частью мы не знали друг друга по имени и даже не всегда могли сказать, из какой страны кто приехал.

Уже завтра все они вернутся к себе на родину. Мы никогда не сможем и не успеем высказать друг другу то, что нас взволновало и сблизило за несколько этих мгновений в польском городке. Я знаю, никто из них никогда не прочтет эти мои заметки, точно так же, как, вероятно, и я никогда не смогу увидеть написанное ими, однако я убежден, что, пока мы живы, нас всегда будет связывать то, что мы увидели, услышали и испытали в доме, где родился Шопен. И в конце концов разве все на свете должно быть всегда сказано, написано, напечатано и переведено? Многое остается между людьми невысказанным и обойденным молчанием, но тем не менее живым и непреходящим. И чаще всего именно это остается лучшим и самым светлым.

На солнце у входа в дом по-прежнему слышны были негромкие разговоры. Они по-прежнему долетали до меня точно сквозь сон. Кто-то поблизости рассказывал о том, как гитлеровские орды, напавшие на Польшу, осквернили это священное для

польской культуры место, как оккупанты в своем безумном стремлении подчинить себе даже то, что никакой силе подчинить не дано, сперва запретили полякам вообще играть Шопена, затем разрешили, за исключением полонезов и мазурок, отражающих особенности национального характера польского народа; они так и остались под запретом.

Мы садимся в машины и возвращаемся. И хотя все молчат, мне кажется, что мои спутники спокойны и удовлетворены, будто всем нам преподнесли неожиданный дар.

Я радовался и за себя, и за этих людей, радовался, что мне выпало пережить этот день, радовался, что эта страна — страна Шопена — воскресла и обрела свободу. Я долго вглядывался в эту местность, по которой прокатилась волна нацистского нашествия, оставившая после себя тяжелые следы, но не сумевшая уничтожить ни этот дом в Желязовой Воле, а тем более польский народ и музыку, которая давно уже облетела земной шар и которую никакая сила не в состоянии заглушить или подавить.

Прав был великий польский музыкант Шимановский, много лет назад писавший о Шопене, что он «прекраснейшим и понятным для всех языком говорил всему миру о нашей непреклонной воле к жизни, обличая лживость мрачных слухов об окончательной, последней катастрофе».

В этом его сила и его величие. Радостно и утешительно думать об этом. Вдоль дороги, по которой мы едем, крестьяне вспахивают поля. Мужчины и женщины смотрят на нас синими, как васильки, глазами, типичными глазами поляков, глазами, в которых живо светятся то тихая задумчивость, то бешеная радость жизни, то детская доброта, то мужественное вдохновение и храбрость.

Я продолжаю вслушиваться в звуки чудесной баллады. Начало ее и конец совершенно и абсолютно одинаковы, точно две мраморные колонны. А между двумя этими колоннами открывается панорама не только прекрасной польской земли, но и всего мира, в котором все, и чувство и мысль, претворяется в великую реальность музыки.

Вот они — страны и народы. Вот они — трудящиеся земного шара, охваченные стремлением к справедливости, миру и свободе. Вот она — и моя далекая родина в ее многолетней борьбе за лучшую жизнь. Теперь видно окончательное завершение этой борьбы, и все ее жертвы обрели свой смысл.

Под магическим действием музыки дорога кажется и легче и короче. Я пробудился от размышлений, лишь когда перед нами возникли первые дома предместий и озаренные солнцем уходящего лета, покрытые славой варшавские развалины; в окружении светлых строительных лесов они казались моложе, и раны их словно закрывал целительный бальзам.

ВСТРЕЧА В КИТАЕ

В октябре 1956 года Иво Андрич в качестве представителя Союза писателей Югославии и его многолетнего руководителя, совершил поездку в Китайскую Народную Республику, отмечавшую тогда двадцатую годовщину со дня смерти великого писателя-демократа Лу Синя.

Очерк «Встреча в Китае» был опубликован белградской газетой «Борба» в мае 1957 года. Перевод сделан по газетному тексту.

Взгляду не дано насытить душу. Во всяком случае, полностью никогда. Красота, красота форм, происхождения которых мы не знаем и не можем охватить все их связи с жизнью, оставляет нас очарованными, но неудовлетворенными, подобно тому легендарному напитку, который вызывает тем большую жажду, чем больше его пьешь.

Это мучительное чувство неутоленной жажды часто сопутствует человеку на его пути по местностям, которые своей историей и своим образом жизни столь далеки от него, что являются не просто иной страной, но иным миром. И все время спрашиваешь себя: на чем основано то, что ты с изумлением видишь, каков смысл этих привычек и обычаев, древних стремлений, которые можно прочитать во взглядах и жестах живых людей, равно как и увидеть в любом куске обработанного камня, лакированного дерева, исписанного шелка или бумаги? Ответа, ясного ответа чаще всего нет. Мы уходим растроганные, вдохновленные, но обогащенные лишь предчувствиями и догадками.

Но случается и так, что перед нами возникает вдруг точный ответ на некоторые из этих вопросов, причем благодаря не столько нашим знаниям, сколько случаю или, еще чаще, помощи и совершенной предусмотрительности наших китайских хозяев. Тогда нам вдруг удается постигнуть человеческий смысл того, что прежде безмолвной красотой пленяло наш взор.

Это всегда драгоценный миг огромного духовного удовлетворения, которое словно бы некая награда за все «постные» и «алчущие» минуты наших скитаний и растерянности. Ибо мне давно стало ясно, что именно ради таких мгновений человек и ездит по чужим странам и что, скитаясь по миру, обивая пороги музеев и созерцая лица людей и фасады домов, он ищет по существу лишь одно: то, что в бесконечном разнообразии и кажущейся противоречивости форм является общим для людей всех времен на всех географических широтах.

Это мгновения полного постижения, когда новая и незнакомая среда вдруг изумляет нас чем-то знакомым и дает нам возмож-

ность испытать непосредственную близость и великую общность человеческого существования на земле. Такие мгновения, которые оставляют в нас глубокий след и длительный отклик, возникали в поездке по Китаю всегда неожиданно и в самых разных местах. Иногда — перед стихотворной строкой, выведенной над постелью давно умершей благородной дамы, иногда — перед улыбкой ребенка в каком-нибудь детском саду, где сегодняшний новый Китай создает новых людей нового общества.

Тогда я погружался в задумчивость, удовлетворенный тем, что еще раз, будучи человеком, мог понять людей и то, что является в них человеческим.

Одна из таких «встреч» произошла у меня в Пекине в скромном доме Лу Синя во время осмотра его библиотеки.

Конкретным поводом нашей поездки в Китай и была двадцатая годовщина со дня смерти этого прогрессивного писателя, родоначальника новой китайской литературы. Мне кажется, что трудно было бы найти лучший повод для такой поездки. Двадцать две писательские делегации из разных стран приехали в Пекин со всего мира и собрались вместе с китайскими писателями вокруг этого светлого имени, которое само по себе воплощает героическое стремление к взаимному знакомству и сближению народов, к объединению их лучших, прогрессивных начинаний и достижений в области литературы и культуры.

Я не буду рассказывать здесь об этой сильной и чистой личности. (Его сочинения выходят в наших издательствах. Его жизнь была посвящена борьбе за освобождение от чужеземцев, но в то же время и борьбе за освобождение от мертвой традиции, за достижение связи с духовной жизнью прочих народов мира.)

Мы ознакомились с ареной его жизни и его борьбы, начиная от родного города Шаосина и школьной скамьи, на которой он складывал первые буквы, до жесткой постели, на которой он умер в Шанхае в 1936 году. Путь привел нас и в дом Лу Синя в Пекине, превращенный ныне в музей.

Я долго стоял в комнатке, где была библиотека Лу Синя. По опыту я знал, что личная библиотека небогатого человека не является и не может дать полную и истинную картину его духовных устремлений и интересов. И, однако, я с благоговением и любопытством осматривал эти книги, хотя бы те из них, что на иностранных языках, на русском и на немецком, поскольку китайские, к сожалению, были мне недоступны.

Выбор произведений иностранной литературы был интересен и подтверждал теорию Лу Синя о необходимости знакомства с литературами иных областей мира. В одной из своих статей под характерным названием «О том, как брать» он, как пишет в своем любопытном эссе Мао Дунь, рекомендовал своим соотечественникам: «Все, что нам полезно, наше или иностранное, античное или современное, все это мы должны изучать, усваивать, пока оно не станет нашей кровью и нашей плотью».

Верный этому принципу, Лу Синь, говорит Мао Дунь, «особенно старался познакомить нас с литературами народов Восточной Европы, которые тогда еще испытывали давление чужеземного гнета».

Желтые тетрадки немецкой популярной «Универсальной библиотеки», которая тогда пользовалась известностью по своим переводам из всех литератур мира, занимали большую часть одной полки. Их названия показывали, что Лу Синь воистину уделял особое внимание народам Восточной Европы и Балкан. Здесь помимо нескольких известных восточноевропейских и балканских поэтов и новеллистов находился и Лаза К. Лазаревич с его избранными рассказами «Serbische Erzählungen» в переводе Йозефа Бекмана.

Мой спутник и я молча переглянулись. Кто-то из наших побывал здесь до нас.

Я и раньше не чувствовал себя здесь совсем иностранцем. Теперь перед моими глазами находилось очевидное тому доказательство. Тесная и сумрачная комната в первом этаже стала шириться, вокруг становилось светло и просторно. Собственно, это уже не была одна комната в одном доме в одном определенном городе. Это был мир духа, мир без границ, в котором человеческая мысль, несмотря на все препятствия и разнообразные помехи, летела свободно, как челнок на станке, и ткала все более тесные связи между дальними странами и народами. Здесь каждый имел свою долю и по этому своему, пусть самому скромному, вкладу имел право на целое.

В упоминавшемся эссе Мао Дуня говорится, что Лу Синь обладал своим индивидуальным стилем, но этот стиль был выработан на основе великих традиций китайской литературы при усвоении всего лучшего из иностранных литератур.

Нечто волнующее заключалось в мысли о том, что во всем этом «лучшем», до чего мог дойти Лу Синь в своем благородном стремлении, была и одна наша книга; что в этом помещении хотя бы на некоторое время открыла свои краски и ритмы скромная и патриархальная, но живая и человечная проза Лазы Лазаревича. Она здесь, и она, пусть при посредстве чужого языка, могла рассказать об обычаях и взглядах маленькой далекой Сербии, о людях и жизни вообще. Было приятно представлять себе, что наша тогдашняя проза, наряду со многими другими, оставила свой, пусть самый скромный, след в великом спектре человеческой мысли, который Лу Синь в этой самой комнатке стремился раскрыть для себя и своих близких.

Стоя перед книжной полкой с желтой тетрадкой рассказов Лазаревича в руке, я думал о том, что она помогает мне лучше понять Лу Синя, постигнуть во всем объеме его стремления и величие его духа.

◆

Среди книг

Издано в СССР

РЕШЕНИЕ И ДОВЕРИЕ

Анна Зегерс. Седьмой крест. Рассказы. Перевод с немецкого. Вступительная статья и составление Т. Мотылевой. Москва, «Художественная литература», 1975. 512 стр.

Только что вышедший в серии «Библиотека всемирной литературы» однотомник Анны Зегерс, в который вошли ее рассказы и хорошо известный у нас роман «Седьмой крест»,— подарок к семидесятипятилетию писательницы. В Анну Зегерс влюблены миллионы читателей. Влюблены в ее книги, в ее рассудительную, спокойную манеру повествования, за которой таится высокое напряжение мысли и чувства, влюблены в ее обаятельный человеческий облик — писательницы, революционерки, антифашистского борца. Анна Зегерс — выдающийся деятель движения сторонников мира, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», но борьба за мир для нее не просто нравственный или политический долг, а форма существования. Трудно встретить человека, более ненавидящего фашизм, войну, бессмысленную и тупую милитаристскую жестокость, чем Анна Зегерс. По ее книгам можно изучать немецкую и европейскую историю XX века (впрочем, не только двадцатого); в этих же книгах — вехи становления человеческой личности социалиста, коммуниста, того, кто прошел сквозь «транзит», познал смертельную угрозу «седьмого креста», затем — раз и навсегда — пришел к многообязывающему выводу, что «мертвые остаются молодыми» Герой Зегерс в условиях жесточайшей идеологической и политической битвы, развернувшейся после второй мировой войны, в условиях становления молодого германского рабоче-крестьянского государства принял единственно верное *решение*, а затем, уже в условиях новых идеологических испытаний, сердцем, кровью, всей жизнью выразил *доверие* социализму, марксистско-ленинской партии, Советской стране — родине Октября.

Вот почему Анна Зегерс притягивает к себе широчайшие читательские массы, вот чем дороги людям ее книги. Ни монографии, ни фотографии, ни самые удачные литературные портреты, к которым я отношу, в частности, впечатляющее эссе Кристы Вольф [1], не в состоянии до конца передать неповторимое человеческое обаяние Анны Зегерс, это сочетание непреклонной воли и необычайной доброты, мягкости (сочетание, столь родящее ее с нашими русскими женщинами-революционерками), а выражение ее лица, ее чуть прищуренных красивых глаз в равной мере отражает и высокий ум, и глубокую душевность.

Очень хорошо помню ее в дни своего первого приезда в ГДР в 1959 году, когда десятилетие республики совпало с двухсотлетием со дня рождения Шиллера и все — и Берлин, и Веймар, и первые индустриальные новостройки, и старинные очаги немецкой культуры — как бы открывалось нам в новом, символическом свете. Подозреваю, что Анна Зегерс как президент Союза писателей, работавшая тогда в тесном контакте с таким замечательным человеком, как Куба, немало сделала для того, чтобы наполнить шиллеровский праздник не просто мемориальным, «литературоведческим» содержанием, а продемонстрировать — не гостям, нет! прежде всего самим себе, миллионам немцев,— что в Германской Демократической Республике шиллеровский гуманисти-

[1] Опубликовано в «Иностранной литературе» № 10, 1974.

ческий и освободительный пафос подхвачен рабочими и крестьянами, взявшими в свои руки заводы, фабрики, землю. что гуманизм и культура стоят на твердых ногах, что за ними — сила молодого социалистического государства.

Анна Зегерс представила тогда нам, иностранным литераторам, многих талантливых писателей, которых мы до этого не знали и которых после ее высокой и щедрой рекомендации стали пропагандировать в своих странах. Так, именно от Анны Зегерс я впервые услышал о Франце Фюмане, о Вальтере Горрише, немного позднее и о Максе Вальтере Шульце...

В 1961 году вместе с Львом Гинзбургом мы побывали в качестве гостей на семинаре молодых писателей ГДР в Галле. И опять я вспоминаю Анну Зегерс, вижу, как она входит в зал в темно-синем платье с белым воротничком, с портфельчиком под мышкой, седая, похожая на школьную учительницу, вижу, как она торопливо (заседание уже началось) проходит в зал, садится за свободный столик, просит принести ей кофе, какую-нибудь еду (не успела позавтракать) и тут же включается в атмосферу заседания, лишенного какой бы то ни было парадности («среди нас присутствует наша многоуважаемая...») или скуки. Нет, разговор о литературе — это всегда разговор взволнованный, всегда разговор эмоциональный, всегда содержащий в себе долю поэзии. И Анна Зегерс, усердно прослушав с десяток ораторов, начинает в неторопливой, даже чуть замедленной своей манере говорить о том, что такое современность в литературе, как она, Зегерс, понимает отражение в литературе темы труда нашего времени. Нет, она никого не поучает, тем более не распекает, она кажется даже снисходительной к тем или иным просчетам, но это только кажется: об ошибке товарища она говорит как о своей личной беде, о своей собственной творческой неудаче, более того, как о неудаче всех, кто здесь, в этом зале сидит. И, возможно, поэтому ее слова действуют на того, кому они адресованы, с неотразимой силой. Помнится, Зегерс резко выступала против упрощенчества и художественной безответственности, отсутствия творческой самодисциплины, против скороспелок, против бездумного истолкования священного понятия «труд». И вместе с тем эта ее лекция, это ее выступление было проповедью социалистической морали, нового, социалистического взгляда на человека и его дело.

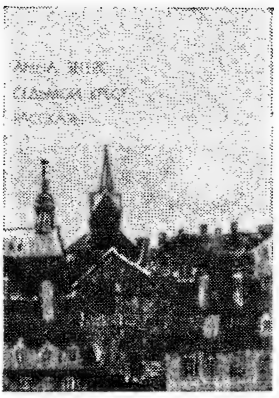
Слушателями Анны Зегерс были молодые писатели, в основном выходцы из рабочих и крестьянских семей, люди, еще только получавшие настоящее образование. Но Анна Зегерс умела говорить с ними, не унижая их нарочитой примитивностью, так называемой «доходчивостью» речи. Она говорила об очень сложных этических, эстетических и социальных понятиях, говорила с людьми, которых уважала и которых — не из притворства и не из «педагогических соображений» — считала равными себе, делающими с ней одно общее дело.

В этом совещании, помню, участвовали Криста Вольф, Эрик Нойч, Карл-Гейнц Якобс и другие, те, кто выросли в известных писателей новой, социалистической Германии...

Хочу сказать еще об одном. И тогда, в Галле, и позднее, на многих деловых и литературных встречах в ГДР, слушая Анну Зегерс, я обратил внимание, что одним из самых важных для нее предметов размышлений является русская и советская литература. Не так уж много среди зарубежных писателей столь глубоких знатоков и умелых пропагандистов нашей многонациональной литературы, как Анна Зегерс. С тщательностью ученого она вдумывалась в сочинения Толстого, Достоевского, Гоголя. Проникновенно и опять-таки с глубоким знанием дела она преподносила литературе новой Германии великие уроки Горького, принцип социалистического реализма.

Если внимательно вчитаться в эти статьи и выступления, то, наверно, можно немало полезного и нового извлечь для себя о творчестве, скажем, Константина Федина, которого связывает с Анной Зегерс давняя сердечная дружба, об Илье Эренбурге, об Антоне Макаренко, о Константине Симонове, Борисе Полевом,— впрочем, не берусь перечислять, знаю только, что в лице Анны Зегерс наша литература имеет не просто друга, но и внимательного, доброжелательного, а иногда и придирчивого, заинтересованного читателя...

В 1965 году в Германской Демократической Республике праздновалось двадцатилетие Освобождения, двадцатая годовщина разгрома гитлеровского фашизма. К этой дате был приурочен форум писателей всего мира, выступающих против войны и фашизма, а местом для этого форума был избран Веймар как один из крупнейших духовных центров Европы и как один из самых впечатляющих памятников человеческому страданию, воплощенному в Бухенвальдском мемориале. Тогда в Веймар прибыла большая группа советских писателей во главе с К. А. Фединым, виднейшие писатели из социалистических стран, такие выдающиеся деятели литературы, как Пабло Неруда, Уильям Сароян и другие. Со стороны ГДР нашими гостеприимными хозяевами были замечательные писатели-антифашисты Анна



Зегерс, Людвиг Ренн и ныне покойный Арнольд Цвейг, возглавлявшие делегацию своей республики.

Здесь не место излагать содержание тогдашних оживленных дискуссий, дружеских бесед, споров. Важно было то, что идея активного антифашизма, идея сплочения писателей против фашизма, неофашизма, реваншизма, против идеологов «холодной» и «горячей» войны одержала тогда в Веймаре внушительную победу. И как было не вспомнить состоявшийся в Париже за тридцать лет до Веймарской встречи конгресс писателей в защиту культуры, на котором Анна Зегерс произнесла свою замечательную речь под названием «Любовь к отечеству». В те времена для немецкого антифашиста слово «отечество» звучало горько, трагично, оно было чудовищно искажено империализмом и фашизмом, и Зегерс призывала писателей стран, подпавших под империалистическое фашистское иго, к «строительству новых отечеств».

В 1965 году это новое отечество росло, набирало силы, с каждым днем неуклонно рос его международный авторитет, и этот рост — это было ясно всем — уже ничто не могло ни остановить, ни сдержать. И немалая роль в становлении этого «нового отечества», которое было за что любить, за что защищать, было и чем защищать, отечества, которое за краткий исторический срок в содружестве с другими социалистическими странами уже успело создать внушительную новую культуру, во всем этом немалая роль принадлежит Анне Зегерс — человеку, коммунисту, писателю...

Мы встречались то в Москве, то в Берлине, встречи эти были не только торжественные, но и сугубо деловые, будничные, иногда слишком беглые. Но никогда не забуду, как в ноябре 1973 года среди членов Политбюро ЦК СЕПГ за столом президиума съезда писателей ГДР, встреченная громом оваций, появилась седоволосая женщина. Она открывала съезд писателей страны, преодолевшей неимоверные трудности, победившей величайшие невзгоды, воспитавшей поистине совершенно новых людей, страны, которая на памяти не только старшего, но и среднего поколения была тюрьмой, логовом фашистского зверя, а теперь превратилась в цветущую, свободную, славную своими делами социалистическую республику.

Речь Анны Зегерс на открытии съезда хорошо знают и немецкие, и советские читатели (у нас эта речь была напечатана в журнале «Новый мир»).

Скажу только, что главным ее настроением, лейтмотивом, были те два понятия, которые легли, пожалуй, в основу всего творчества замечательной писательницы, определили ее жизненный путь и — как девизы — явились названием двух ее знаменитых романов: **Решение и Доверие...**

От всех советских писателей, от многомиллионных читателей Советской страны горячо поздравляю выдающуюся социалистическую писательницу братской страны — Анну Зегерс — с ее светлым и прекрасным юбилеем. Долголетия ей, счастья, новых книг!

ГЕОРГИЙ МАРКОВ

ЯЗЫКОМ ЭЗОПА

Дэн То. Вечерние беседы в Яньшани. Заметки публициста. Перевод с китайского. Составитель и автор предисловия А. Желоховцев. Москва, «Прогресс», 1974. 151 стр.

На зеленой обложке — смешная фигурка растрепанного человечка в полувоенной униформе. Увы, те, о ком рассказывает эта маленькая книжка, совсем не так смешны — они держат в руках судьбы восьмисот пятидесяти миллионов человек и претендуют на то, чтобы вершить судьбами мира. Трудно представить, какая смелость потребовалась автору,— он знал, что ему предстоит, и испил чашу до дна. Но книга его осталась и сейчас снова ложится на стол читателя в Японии и Швейцарии, Гонконге и Советском Союзе.

До того как Китай охватила истерия «культурной революции», мало кто за его пределами слышал имя Дэн То. А слышавшие почти не выделяли его из общей массы функционеров. И хотя его голос тоже звучал среди тех, кто в силу своего положения должен был провозглашать дежурные здравицы, творчество журналиста вызвало у членов «революционного штаба» яростную злобу. Весной 1966 года Дэн То был объявлен «полководцем черной банды» и арестован, а осенью 1967 хунвэйбиновские «газеты больших иероглифов» объявили о его «самоубийстве».

Многое из того, что происходит в сегодняшнем Китае, поражает стороннего наблюдателя неожиданностью и кажущейся нелепостью. Миллионы людей, каждую свободную минуту зубрящие нараспев книжечку разрозненных изречений «председателя»; казарменный коммунизм так называемых народных коммун; нескончаемые и безудержные славословия в адрес «самого-самого красного солнца». Но знающего прошлое этой страны подобные парадоксы не слишком удивляют. Ведь все это уже было: на протяжении многих веков в Китае точно так же читали и заучивали наизусть афоризмы другого «совершенномудрого» — Конфуция, чье учение признавалось единственно ценным в океане знаний, а жизнь должна была подчиняться интересам общины и клана, в оковах которых личность не могла выкристаллизоваться до конца, и безоговорочной была власть «Сына Неба».

Но нельзя забывать и другое. Во все века Китай восхищался идеалом человека прямого и честного, возвещающего правду в

глаза неправому правителю, и те же конфуцианцы — недаром же их так не жалуют сегодня в Китае — признавали законным лишить власти тирана.

Говорить правду во всеуслышание всегда было страшно: редкие смельчаки заранее прощались с семьей, а подчас и семья не избегала казни. И в Китае родилась традиция иносказания: при деспотизме эзопов язык оставался единственной возможностью донести до слушателей крамольную мысль. Он достигал высшей степени изощренности; говорят, что, когда поэт Сыма Сян-жу подал императору оду «Великий человек», укоряя его за излишества, самодовольный владыка пришел в восторг, не поняв намека. Но персонажи Дэн То намек поняли. Понимали его и те, к кому обращался писатель: накаленная обстановка начала 60-х годов делала иносказания прозрачными, и мало кого вводили в заблуждение ссылки на древность или заграничные страны.

Вот с пылом, достойным, казалось бы, лучшего применения, обрушивается Дэн То на «буржуазных ученых», открывших биологический фактор памяти на молекулярном уровне. Но разве дежурная брань в адрес Запада — главное в этом эссе? Китайский интеллигент имел в виду совсем иное — обличение тех, кто хочет «поедать себе подобных, обладающих знаниями». И именно к носителю культуры, которому грозила постоянная опасность «быть съеденным», был обращен призыв Дэн То: «сплотиться и заставить людоедов собственной жизнью заплатить» за их злодеяния.

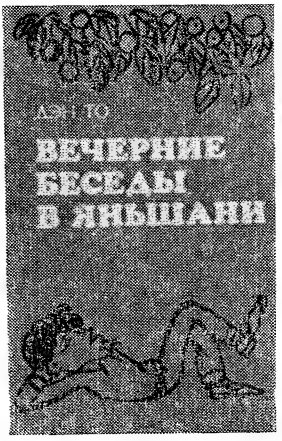
Еще более широкий адресат имели эссе, в которых Дэн То обличал деятелей, «страдающих потерей памяти», не помнящих собственных действий и обещаний, предлагая применить к ним «активные методы лечения», эссе, где автор имел смелость насмехаться над синицей, похвалявшейся сжечь море. После позорного провала «большого скачка» не нужно было обладать особым воображением, чтобы угадать в «синице» организатора и вдохновителя рискованной авантюры. И Дэн То не щадил этого человека, хотя тот давно уже был голубогом и изображался в ореоле солнечных лучей еще до эпохи хунвэйбинов. Посредством намеков и прозрачных аналогий писатель высмеял его безудержное хвастовство и чванство, неспособность помочь стране в трудную минуту, подвергая сомнению его мудрость. Не остались обойденными даже знаменитые поэтические опыты, в которых незадачливый автор не сумел соблюсти размер.

Обращение к русской басне о синице в годы, когда на все советское и даже русское начали смотреть с подозрением, не было для Дэн То случайностью. Он оставался другом Советского Союза и старался, чтобы читатель понял всю пагубность курса, который навязали Китаю его руководители. «Надо радоваться, если друг сильнее тебя, потому что у него можно учиться и расти самому»,— писал он в те годы, когда группа Мао, порвав прежние отношения дружбы и взаимопомощи с Советским Союзом, подспудно развязала против него кампанию клеветы и дезинформации. И хотя в своих «Законах дружбы» Дэн То от изысканий в области древней литературы сразу переходит... к спортивным соревнованиям, многим тогда было ясно, что его осуждение зазнайства и призыв «признать ошибку» имеют совсем иной адресат. Еретическим вызовом прозвучала его насмешка над теми, кто «отмахивается от учителя», «полагаясь на собственные способности»,— ведь «опора на собственные силы» была провозглашена официальным курсом политики КПК.

Короткие эссе Дэн То пестрят занимательными притчами, древними афоризмами и выдержками из недавних газет. Однако они — далеко не легкое чтение. Тот культурный код, который доступен для начитанного китайца, не всегда понятен зарубежному читателю. Но если он захочет «прикоснуться» к жизни сегодняшнего Китая, понять, что происходило в канун печально известной «культурной революции», он не пожалеет о затраченном труде. А труд этот облегчит и обстоятельное предисловие, где подробно говорится о единомышленниках Дэн То, и развернутый комментарий, делающий понятными незнакомые нам имена. Есть и неточности, но их немного. В целом сборник подготовлен со знанием дела, в чем немалая заслуга А. Н. Желоховцева — составителя и автора предисловия.

Прошли годы со времени трагических событий, приведших к гибели Дэн То, но политическая борьба в Китае продолжается. И сегодня, когда с нами говорит человек, который объявлен в Китае одним из идейных вдохновителей оппозиции, значение такой книги для нас очевидно.

И. С. ЛИ



ЗОЛОТОЕ СЛОВО БЕРБЕРОВ

Маргерит Таос-Амруш. Волшебное зерно. Сказки, легенды и песни берберов Кабилии. Перевод с французского О. В. Моисеенко. Перевод стихов Г. В. Сусловой. Предисло-

вие Ю. Н. Завадовского. Москва, «Наука», 1974. 231 стр.

Этот небольшой сборник вводит читателя в мир сказок и легенд, бытующих среди берберов Кабилии — горной области на севере Алжира.

Берберы — древнейшие коренные обитатели Северной Африки, предки которых еще задолго до нашей эры создали оригинальную систему письма — ливийско-нумидийский алфавит. Однако берберские писатели и ученые в силу исторических условий создавали свои произведения обычно на языках народов-завоевателей — греческом и латинском, позднее — арабском. В золотой фонд античной литературы вошли исторические и филологические сочинения царя Мавритании Юбы II — зятя Клеопатры и Марка Антония, писавшего с одинаковым изяществом по-гречески и по-латыни. Берберами-нумидийцами по происхождению были автор «Золотого осла» Апулей, выдающийся раннехристианский писатель Блаженный Августин и многие другие известные деятели античности и раннего средневековья. Немало лиц берберского происхождения мы находим и среди арабо-мусульманских авторов.

Берберы писали и на своем родном языке. На протяжении веков на берберских наречиях Марокко и Алжира была создана довольно значительная письменная литература как религиозного, так и светского характера, для которой берберы приспособили арабский алфавит.

Несравненно большее распространение среди народа имела, да и сейчас имеет устная литература, которую берберы почитают как свое драгоценнейшее наследие, как «золотое слово предков». Эта устная литература восходит, по мнению исследователей, к древним берберским царствам Магриба и отличается исключительным богатством и разнообразием.

Начав изучать берберские диалекты и фольклор в конце XIX века, европейские ученые были поражены сокровищами народной мудрости, открывшимися перед ними в поэзии туарегов, в эпических песнях и сказаниях шлёхов, в произведениях устного творчества других берберских народностей.

Берберы Кабилии, или кабилы, также внесли достойный вклад в сокровищницу берберской устной литературы. Больше всего кабилы славятся своими сказками, которых у них великое множество. Кабильские сказки давно привлекали внимание исследователей фольклора и ценились ими, как правило, очень высоко. Так, известный немецкий этнограф и знаток фольклора народов Африки Лео Фробениус писал в предисловии к изданному им в 1922 году четырехтомному собранию кабильских сказок, что кабилам принадлежит «первое место среди африканцев в искусстве построения рассказа». Высокие художественные достоинства сказок Кабилии отмечал и первый их переводчик на русский язык известный писатель-сатирик Владимир Азов (в 1923—1924 годах им были выпущены две небольшие книжки — «Кабильские сказки» и «Звери-пастухи», которые вместе содержат семь сказок).

«Волшебное зерно» — гораздо более широкая публикация образцов берберской устной литературы на русском языке. В книге помещены 23 сказки и свыше 80 народных кабильских песен. Перевод осуществлен с одноименного французского издания, опубликованного в Париже в 1966 году алжирской писательницей, кабилкой по происхождению, Маргерит Таос-Амруш.

М. Таос-Амруш — автор нескольких романов на французском языке, посвященных жизни народа ее родной Кабилии. Кроме того, она известна как собирательница и исполнительница кабильских народных песен.

Книгу «Волшебное зерно» писательница посвятила своей матери, известной берберской сказительнице Фадме Аит Мансур. Тексты, помещенные в книге, представляют собой литературно обработанные сказки и песни, впервые услышанные Таос-Амруш от матери еще в детстве.

Сказки «Волшебного зерна» многообразны по жанрам. Среди них — и волшебные сказки о чудесных похождениях наделенных нечеловеческой силой героев, отправляющихся на поиски необыкновенных красавиц, и сатирическо-бытовые сказки, высмеивающие пороки людей, и восходящие к глубокой древности сказки о животных. Впрочем, иногда все эти мотивы так тесно переплетаются, что сказку бывает трудно отнести к какому-либо определенному жанру.

Несмотря на все многообразие, сказки сборника представляют некое единство — зачастую в них действуют одни и те же герои, хотя и носящие подчас разные имена.

В ряде сказок положительным героям — доблестному принцу Шейху Смаину, храбрецу Мохенду, малышу Велажуду, напоминающему нашего мальчика с пальчик,— противостоят одни и те же отрицательные персонажи — свирепая, но несообразительная людоедка Цериель, коварная колдунья Сеттута и вероломная служанка. Герои

сказок могут легко менять свой облик, превращаясь то в рыбу, то в змея, то в свирепого кота, которого преследует его собственный хвост. В одной из сказок «верный негр» по желанию хозяина может принимать облик «белокожей женщины с роскошной прической».

Положительное, светлое начало в сказках всегда побеждает силы мрака и зла, ибо на стороне добрых и доблестных героев — окружающие их люди и животные, готовые в нужную минуту прийти на помощь.

Среди сказок «Волшебного зерна» читатель найдет немало таких, которые напомнят ему знакомые с детства русские народные сказки, а также сказки других европейских и азиатских народов. Тем не менее несмотря на это сходство сюжетов берберские сказки Кабилии отличаются глубоким национальным своеобразием.

Жаль, что литературная обработка Таос-Амруш отчасти лишила их первозданной наивности и непосредственности, неповторимости красок. В этом отношении сказки «Волшебного зерна» уступают «Кабильским сказкам» в старом переводе Азова.

В «Волшебном зерне» богато и разнообразно представлены также старинные и современные кабильские песни. Однако, в отличие от французского оригинала, в сборнике отсутствуют кабильские пословицы. Но наряду с некоторыми потерями в советском издании есть и приобретения. Я имею в виду обстоятельное предисловие Ю. Н. Завадовского «Волшебное зерно» и берберская литература», представляющее собой первое на русском языке общее исследование устного и письменного творчества берберов.

«Волшебное зерно» — новый шаг на пути все более углубляющегося знакомства нашего читателя с сокровищницей народной литературы стран Африки и Ближнего Востока.

Л. СТЕПАНОВ

Издано за рубежом

КАК СОЗДАВАЛАСЬ ПОЭЗИЯ

Милорад Р. Блечић. Како се рађала Југословенска револуционарна поезија. Педесет песника, Ниш «Градина». 1973.

Замысел этой книги возник около десяти лет тому назад. Молодой критик и журналист Милорад Р. Блечич обратился к авторам известных стихов и песен о народно-освободительной войне в Югославии с просьбой рассказать, как создавались их произведения. Поэтические тексты этих писателей и авторские комментарии к ним и вошли в основу книги «Как рождалась югославская революционная поэзия». В послесловии к сборнику его составитель Блечич поясняет, что поэзию народно-освободительной войны он рассматривает как одну из ветвей многогранной революционной поэзии народов Югославии в целом.

В книгу вошли стихи пятидесяти поэтов разных национальностей и поколений. Здесь Владимир Назор и Велько Петрович — старейшины югославской поэзии XX века, начинавшие творческий путь в конце прошлого столетия, и поэты более молодые, детство которых проходило в годы войны (И. Сарайлич, Г. Тодоровский, Б. Тимотиевич, И. Лалич). Одни к началу войны были уже достаточно известны (Д. Максимович, М. Дединац, И. Попович, О. Давичо), другие только готовились к литературной деятельности (М. Алечкович). Все они пережили глухую ночь оккупации, были бойцами партизанских отрядов и подполья, прошли сквозь испытания концлагерей. Некоторые из них отдали жизнь за свободу (И. Горан Ковачич). Сознание причастности к судьбам родины и народа объединило поэтов разных литературных школ. Вот почему так многоголоса эта книга — о войне писали и те, кто избрал для себя ясное реалистическое письмо, и те, кто тяготел к сложной (а подчас и усложненной) ассоциативности образной системы, и те, кого вдохновляли традиции народного творчества.

Каждый поэт в этой антологии представлен одним стихотворением и собственным комментарием к нему. Стихи, как правило, хорошо известны югославскому читателю — они не раз включались в поэтические сборники и антологии. Многие из них, по словам автора вступительного слова Р. Димитриевича, «...сразу становились нашим достоянием. Мы заучивали их наизусть, слушали на литературных встречах, да и теперь строки этих стихов живут в нас и мы вдруг с удивлением ловим себя на том, что произносим их вслух или про себя». Многие стихи известны и за рубежом. Наиболее яркий пример — поэма расстрелянного фашистами И. Горана Ковачича «Яма»: она переведена на русский, французский, английский, чешский, испанский языки. Во Франции она была издана с иллюстрациями Пикассо. Вспомним также сборник русских переводов югославской поэзии народно-освободительной войны «На марше» [1].

Особую ценность новой югославской антологии составляют авторские комментарии, которые убедительно раскрывают главную черту поэзии Сопротивления — органичность ее связей с жизнью и борьбой народа.

Так, например, из комментария Десанки Максимович к стихотворению «Кровавая сказка» (известному русскому читателю благодаря выразительному переводу Б. Слуцкого) мы узнаем, что оно было написано в ответ на чудовищное преступление

[1] «На марше. Народно-освободительная поэзия Югославии 1941—1945 годов». Москва, «Художественная литература», 1969.

фашистов — расстрел школьников в Крагуеваце:

Это случилось в одном государстве
балканском —
в горном, крестьянском.
Горькое там приключилось злосчастье
с группой ребят:
целым классом пали они в одночасье
смертью героев.

Кажется, нет в антологии стихотворения, в котором не возникал бы образ разоренной земли, не вспоминались бы кровопролитные сражения в долине Сутески или на Козаре («величайшим пеклом» второй мировой войны назовет Козару 1942 года Скендер Куленович). Но беды войны не сломили героического духа в народе. Силу его сопротивления и готовность выстоять, победить несет в себе и поэзия этих лет.

Я крепость, и сердце — это мое знамя.
Крепость, которая не сдается,—

напишет Ю. Каштелан в стихотворении «Крепость, которая не сдается» (перевод Ю. Левитанского). А в комментарии к нему скажет: «Когда весь мир покрылся мраком, я осознал, что самое значительное стихотворение, какое может создать человек, заключено в словах: смерть фашизму!»

Образ мужественного борца, коммуниста, человека ясной цели, страстно влюбленного в жизнь, привлек к себе многих поэтов: «На десять вооруженных врагов один пролетарий-герой»,— скажет Б. Чопич в «Песне мертвых бойцов пролетарской бригады» (перевод Л. Тоома).

Могли ли они повернуть обратно в
последнем пути,
когда впереди алел Коммунизмом
горизонт их желаний,—

напишет И. Сарайлич («Рожденные в двадцать третьем, расстрелянные в сорок втором», перевод И. Ивановой). В комментариях М. Алечкович, Б. Чопича, О. Давичо, С. Вукосавлевича этот возвышенный образ приближен к читателю воспоминаниями поэтов о конкретных живых людях, которые послужили прототипами для их героев. Стихотворение «Рожденные в двадцать третьем, расстрелянные в сорок втором» поэт посвятил своему погибшему брату и его сверстникам. Это стихотворение о бессмертии подвига, о долге живых перед теми, кто не вернулся. В комментариях Сарайлича возникает образ поколения 30-х годов — молодых романтиков и борцов, которые всей душой стремились в Испанию, зачитывались Горьким, пели в тюремных камерах о Волге.

Война оставила неизгладимый след в душе и творчестве писателей и старшего поколения и более молодых — тех, кто были в годы войны детьми. Может быть, поэтому такой тревогой проникнуты иные стихи и таким незащищенным предстает в них порой человек. В творчестве некоторых молодых поэтов звучат ноты пессимизма, и в комментариях к их стихам минувшая война видится сквозь призму отвлеченных категорий, как воплощение насилия, деформирующего человека (Б. Тимотиевич, Л. Симович). Подобные стихи встречаются в книге нечасто. Однако непростые пути развития современной югославской поэзии нашли, как видим, отражение и на страницах этого издания.

Возвращаясь к замыслу книги и оценивая его воплощение, можно с уверенностью сказать, что антология поэзии народно-освободительной войны помогла увидеть в новом свете эпоху и литературу, которые для современной молодежи стали уже историей. Книга заставила ощутить, насколько эта эпоха и созданная ею поэзия были проникнуты мыслью о будущем, верой в человека и высокие гуманистические принципы.

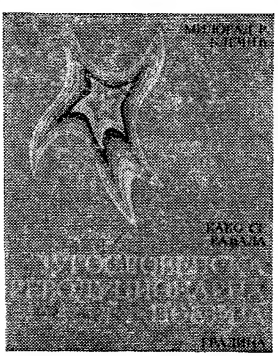
Р. ДОРОНИНА

ВСТРЕЧИ ШАЛАЙКО

Stevan Bulajić. Šalajko. Sarajevo, „Veselin Masleša", 1973.

Книги о детях, для детей и для взрослых, писали югославские авторы разных поколений, стремясь вскрыть в жизни то, что связано своими корнями с идеями гуманизма и социальной справедливости. Йован Йованович-Змай, Бранислав Нушич, Владимир Назори, Бранко Чопич, Десанка Максимович, Мирослав Крлежа, Мира Алечкович и многие другие писатели обращались к «детской» тематике не только для того, чтобы выразить свое отношение к проблемам воспитания и формирования личности, но и для того, чтобы дать панораму жизни в ее противоречивости и сложности.

Роман Стевана Булаича «Шалайко», получивший высокую оценку югославской критики, продолжает эти художественные традиции и пополняет число произведений реалистической литературы современной Югославии. Автор рассказывает о мальчике, вступающем на самостоятельный и нелегкий жизненный путь. Он рано лишился матери, почти не помнит ее, а отец, добрый, любящий сына, но безвольный и слабый человек, спивается: в холодное осеннее утро мальчик



находит его мертвым в грязной луже, неподалеку от полуразвалившейся хибарки, где они жили вдвоем, заброшенные и забытые всеми, перебиваясь с хлеба на воду.

Но мир, идущий к обновлению после победы трудового народа в жестокой борьбе с фашизмом, властно вторгается в жизнь героя. В книге показано, как формируется характер, рождаются добрые душевные качества маленького гражданина своей страны, не обездоленного и несчастного скитальца, а мечтателя и оптимиста, труженика и борца за справедливость.

Чтобы заработать себе на жизнь, мальчик нанимается на работу в частную мастерскую по ремонту автопокрышек «Йоца Бумбарвулканизатор». Стеван Булаич довольно откровенно описывает ужасные условия труда в этом предприятии «частного сектора», где, несмотря на осуществленные в стране социальные преобразования, беззастенчиво эксплуатируется детский труд. Рабочий день в мастерской длился с пяти часов утра до одиннадцати вечера. «Хозяин — настоящий эксплуататор».— сообщает новому приятелю беззубый мальчик Кеко, который уже давно работает в этой мастерской и живет впроголодь. Его неокрепший организм поражен туберкулезом. Дни его сочтены. Наш герой запишет позже в своем дневнике: «Хозяин сидел в передней части мрачной и грязной мастерской. Он был в застекленной кабине, куда меньше проникали дым и смрад от расплавленной резины. В глубине возле приспособления для вулканизации работали ребята, которым было столько же лет, сколько нам с Кеко. Одни накачивали отремонтированные автомобильные шины, другие в корыте с водой определяли наличие дыр на только что принятых в ремонт автомобильных камерах, третьи орудовали с расплавленной резиной, заливали дыры на автопокрышках, вокруг них непрерывно клубился дым и пар».

Во время скитаний мальчик встречается и с плохими и с хорошими людьми, но добрых и честных среди них больше. У этих людей мозолистые руки одеты они в простую рабочую одежду. И симпатии автора и его юного героя на их стороне. Всем сердцем привязался мальчишка к дружной бригаде молодых строителей железной дороги. Целыми днями пропадал он на стройке или возле бараков, где жили рабочие. Здесь его научили читать и писать, здесь получил он и свое новое имя. Работая в молодежной бригаде, мальчик сочинял и распевал во весь голос забавные песенки, заканчивавшиеся озорным возгласом «Шалай!». Так его и прозвали — Шалайко.

Позже судьба свела Шалайко со старым шахтером Лабинянином. Выйдя на пенсию, тот каждое лето пешком кочевал по морскому побережью, питался рыбой, пойманной собственными руками, спал где придется, порой даже под открытым небом. Ему есть что вспомнить о первых послевоенных годах: «Работали тогда по-ударному. Зароешься земле в брюхо и рубишь сплеча, откалываешь обушком громады лигнита, дробишь глыбы и стены, все нормы перекрываешь! Тогда Сиротанович в первой шахте давал по три-четыре нормы, да и мы, парень ты мой разудалый, тоже не спали! Угля... угля! — кричала вся страна... Обо мне и в газетах писали. Над моей фотографией — жирный заголовок: «Герой второй шахты — добытчик черного золота!»

Внешне грубоватый и суровый рабочий-минер Ниджо, с которым также подружился Шалайко, оказался сердечным и отзывчивым человеком. С любым он готов поделиться своим скромным кровом и обедом. Он такой же труженик, как и Лабинянин: «Я на пятидесяти стройках работал, бурил скалы, трассы прокладывал, новыми дорогами соединял горы с равнинами, реки с озерами, села с городами. Землю копаем и разравниваем, сооружаем насыпи через ложбины, скалы крошим, словно они из сыра сделаны, а потом все покрываем ровным пахучим асфальтом, чтобы резиновым автомобильным колесам было удобно и безопасно. Тридцать лет вот так работаю, за собой асфальт оставляю, а вот, видишь, еще ни разу по этим дорогам не прокатился!»

Есть что-то общее в судьбе и мечтаниях старого шахтера и этого неутомимого строителя дорог. Работая под землей, в шахте, тот мечтал о поездке к солнцу, стремился к теплу и свету. А Ниджо мечтает о дальних поездках по асфальтированным дорогам, которые он всю жизнь прокладывал.

Книга Стевана Булаича наполнена емким жизненным материалом, а маленький герой активно «помогает» автору в изображении социальной среды и быта современной Югославии. Форма романа — записки Шалайко, от имени которого ведется повествование. Точно передан стиль разговорной речи, насыщенной юмором, жаргонными мальчишескими словечками. Реалистически, без прикрас воссоздает Булаич мир, окружающий Шалайко: при этом писатель не обходит и негативные явления, мешающие движению общества вперед. Достоинство этой книги не в масштабных обобщениях, а в правдивости той картины, которая складывается из деталей, частностей, фрагментов и зарисовок с натуры.

Ю. БРАГИН

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ШЕЛ ЗА ВЕСНОЙ

Armand Lanoux. Le Berger des abeilles. Paris, Bernard Grasset, 1974.

Эпиграфом к роману «Пастух пчел» Арман Лану взял известные слова Расула Гамзатова из книги «Мой Дагестан»: «Человек и свобода на аварском языке называются одним и тем же словом. «Узден» — человек, «узденлъи» — свобода, поэтому, когда имеется в виду человек — «узден», имеется в виду, что он свободный — «узденлъи».

Любовью к свободе живут герои трилогии Лану, посвященной тяжким испытаниям минувшей войны. От романов «Майор

Ватрен» и «Когда море отступает», книги, отмеченной в 1963 году Гонкуровской премией, путь писателя лежал к «Пастуху пчел». Годы, отделяющие «Пастуха пчел» от предыдущего романа, были временем раздумий, поисков, упорного труда. К столетию Парижской коммуны Лану опубликовал ее историю, увиденную глазами художника,— «Вальс пушек» и «Красный петух». Писателю важно было обратиться к национальным революционным традициям, чтобы осмыслить в их свете трагедию порабощенной Франции и героизм движения Сопротивления. В романе «Пастух пчел» Сопротивление впервые у Лану показано крупным планом.

Действие разворачивается в стремительном ритме сарданы — старинного каталонского танца. Одинокая песнь флейты сменяется призывными звуками рожков. Сардана «рождается сама собой, по воле своего народа». Ее пляшут не вдвоем, не парами, а всей деревней, взявшись за руки в огромном хороводе. Сардана — танец свободы.

Под звуки сарданы, под напев La Santa Espina и начинается повествование. Летом 1938 года, в Русильоне, неподалеку от испанской границы, встречаются за чашкой кофе скульптор Аристид Майоль и Эме Лонги, художник и учитель. Разговор идет об искусстве. Майоль, седобородый патриарх с острым взглядом, провозглашает: «Жаль, что я так поздно взялся за скульптуру, иначе я лепил бы горы». Но разговор неизбежно переходит на войну — войну, что сегодня бушует за Пиренеями, а завтра перейдет границу Франции. Наступает 1939 год, «год смерти Испанской республики, год агонии, генеральной репетиции разгрома». Эме призван в армию, участвует в военных действиях, взят в плен (эта страница книги автобиографична: Лану был сам в лагере для военнопленных в Вестфаллен-гофе).

В 1943 году лейтенант запаса Эме Лонги, освобожденный из плена по тяжелому ранению, снова оказывается в Русильоне и однажды заходит в школу, где обучают искусству сарданы. Он пришел на тихий, чуть различимый звук песни La Santa Espina. Школа оказалась явочной квартирой местных партизан. Отсюда один путь — в Сопротивление. И лишь два года спустя, когда война кончилась, Лонги узнает, что в ту пору сардана была не только вольнолюбивой пляской. С помощью танца партизаны, макизары, поддерживали друг с другом связь: чередование длинных и коротких па давало цифровой ряд, который расшифровывался и означал либо важное известие, либо боевой приказ.

В Сопротивлении устанавливается надежная дружба между учителем Лонги и учителем Пюигом, командиром партизанского отряда имени Анри Барбюса. Правда, взгляды их во многом различны: Лонги, убежденный пацифист, намерен перейти испанскую границу, чтобы попасть в Алжир и присоединиться к частям регулярной французской армии, а коммунист Пюиг хочет бить немцев здесь, на родной земле. На каждом шагу макизары сталкиваются с нелегкими проблемами, не только военными, но и моральными, этическими. Проблемы самые острые — от них зависит жизнь людей. Надо ли нападать на захватчиков, если за смертью гитлеровцев неизбежно последует расстрел ни в чем не повинных заложников? Выбор трудный, но необходимый, продиктованный законами беспощадной войны, которую нацисты объявили мирным людям. «Черт возьми,— говорит Пюиг,— неужели ты думаешь, что нам доставляет удовольствие убивать бошей, которым у нас не хрена делать и которые навязали нам две войны подряд!» И добавляет: «Я люблю мир не менее сильно, чем ты, Лонги. Мало кто отдает делу мира столько, сколько отдал я. Но свободу я люблю больше мира».

В романе сталкиваются два взгляда на Сопротивление. Для одних Сопротивление — сбор разведывательных данных, тайные склады оружия, тактика выжидания; для других — саботаж на заводах, взрывы на железных дорогах, одним словом,— война. У читателя не остается сомнений в том, что сам автор — сторонник активной антифашистской борьбы. По мере того как развертывается действие, Лонги убеждается в том, сколь прав был в этом споре командир партизанского отряда. Правда, в конце романа Пюиг, возвратившись после войны в свою школу, полностью отказывается от политической деятельности. Очевидно, именно это заставило Андре Стиля, автора статьи, опубликованной в «Юманите», назвать его поведение и образ мыслей несколько странными. Дело в том, что некоторые высказывания Пюига, в частности о необходимости беспощадного террора, отдают политическим экстремизмом. Люди, подобные Пюигу, не могли смириться с отказом от вооруженной борьбы и переходом к политической деятельности в мирных условиях.

Как антипод участникам народного Сопротивления выступает некий майор Лагаргуст, восторженный поклонник генерала Жиро, которого американцы пытались противопоставить де Голлю; в лице генерала Жиро «сама судьба установит мир в нашей несчастной стране. Американцы выигрывают войну. Мы вместе с ними. Stars and stripes[1] на веки веков». Пюиг обрывает разглагольствования майора единственным вопросом: «А как быть с теми, кто одержал победу под Сталинградом?»

В романе приводится высказывание Андре Мальро, которому и посвящена книга: «Слово «нет», твердо противопоставленное грубой силе, обладает таинственным, идущим из глубины веков могуществом». Этим магическим словом отвечают захватчикам Пюиг, Лонги и пастух Капатас. Башмачник по профессии, пчеловод по призванию, Ка-

[1] Имеется в виду звездно-полосатый американский флаг.

патас перемещается со своими ульями вслед за солнцем, с места на место: с побережья — от миндальных и вишневых деревьев — на гору Канигу, где его питомцы собирают вересковый мед. Пастух пчел — это человек, который шел за весной (таково было первоначальное заглавие книги). У пчел есть смертельный враг — бабочка «мертвая голова»: «В серой форме она явилась из ада...— рассказывает Капатас.— Эта эмблема была начертана на самолетах, которые бомбили Гернику... «Мертвая голова» объявляется перед бедствиями, страшными эпидемиями — чумой и холерой, перед катастрофами, войнами».

И действительно: «Мертвая голова» — эмблема эсэс — воцарилась во Франции. Но ей нет доступа на гору Канигу, где безраздельно властвует пастух пчел. Капатас, убеленный сединами старик, могучий, словно сама гора, пришел на страницы книги из легенды, из народного предания. «В общей ненависти к захватчику гора Канигу, Капатас и Сопротивление составляли единое целое, и иррациональные силы природы приходили на помощь прометеевскому рационализму Пюига и его товарищей.

— Это не люди оказывают сопротивление,— сказал Капатас.— Это Гора».

Речь идет, разумеется, о Волшебной горе. Но если у великого немецкого писателя гора была убежищем от житейских невзгод, местом, где можно, казалось бы, укрыться от надвигающейся войны, то в романе о пастухе пчел гора становится центром народного, уходящего в глубь веков сопротивления неправедной войне.

В августе сорок четвертого наступает трагическая развязка. Последняя часть книги называется «La Santa Espina». Терновый венец — удел мучеников Сопротивления. Солдаты с устрашающей эмблемой — черепом и скрещенными костями — окружили гору, где расположился со своими ульями Капатас. Когда макизары отбили лобовой приступ, гору накрыли смертоносным минометным огнем. Но стоило эсэсовцам двинуться за трофеями, как перед ними непреодолимым барьером выросла стена пчел.

В авторском заключении раскрывается история создания книги, первый набросок которой относится к 1961 году. Персонажи вымышленные соседствуют с историческими. В конце романа публикуется приказ о посмертном награждении партизан отряда имени Анри Барбюса. Но в отличие от документальных произведений роман Лану основан не на конкретном, точно зафиксированном факте, а продиктован творческой интуицией и художественным вымыслом. Так, эпизоды, связанные с партизанским отрядом, были написаны до того, как Лану узнал о маки́ на горе Канигу и о его предводителе (художник угадал даже профессию командира, который прежде учительствовал!). В первую очередь автор стремился воссоздать народную легенду о Сопротивлении. Этой цели подчинены и экскурсы в прошлое, и многочисленные параллели между человеческим обществом и миром пчел. В мифологическом ключе решен образ главного героя книги пчеловода Капатаса, который является и совершенно конкретным, реальным человеком, и вместе с тем олицетворением непобедимого народа, олицетворением могучих сил природы, которая приходит на помощь человеку. Миф для Лану — не ребус, рассчитанный на читательскую элиту, а средство как можно глубже проникнуть в жизненные пласты, воплотить в одном герое квинтэссенцию народного духа.

Заключение, озаглавленное «Тридцать лет спустя», не только подводит итог жизненным судьбам персонажей романа, но и проливает новый свет на книгу, в которой Лану удалось воссоздать достоверную и в то же время поэтическую картину партизанской борьбы французского народа.

Ф. НАРКИРЬЕР

КАК БЫТЬ МУЖЧИНОЙ

Philip Roth. My Life as a Man. New York, Chicago — San Francisko — Holt, Rinehart and Winston, 1974.

Неспокон веку люди задавались вопросом о своем предназначении на земле. Быть или не быть? И если быть—то кем? И если кем — то как?

Среди таких вечных вопросов, тревожащих юные, и даже далеко не юные души, непременно вставал когда-нибудь и вопрос о том, что значит быть мужчиной.. Действительно, мужчина, муж, возмужание, мужество — не пустой ряд слов. Что-то должно совершиться, что-то нужно совершить, прежде чем мы увидим пред собой «не мальчика, но мужа» Недавно свой вариант решения предложил американский писатель Филип Рот.

Рот обратил на себя внимание уже первым своим романом «До свидания, Колумб!», выпущенным в свет в 1959 году. Эта непритязательная история любви привлекала теплотой и меткостью характеристик Юные герои, Нейл и Бренда, уверены, что смогут вырваться из-под власти того мира, на котором несмываемым пятном позора горит слово «буржуазный». Оппозиция буржуазному миру— в понимании писателя он тождествен обывательскому—составит в дальнейшем основу всех романов Рота. Но его герои не обладают иммунитетом против того, что им кажется презренным и смешным в других: лживой добропорядочности, практицизма, обывательской косности. Все это Нейл обнаружил и в Бренде, но не стал за нее бороться, а в ужасе бросился бежать, спасая незапятнанность своей души, потому что лишь в ее изначальной целостности видится ему возможность спасения в грязном мире.

В метаниях героев первых книг Рота отразились настроения молодого поколения, вступавшего в жизнь в конце 50-х годов — «запуганного десятилетия», как точно окрестили его сами американцы, когда накапливавшееся недовольство еще не раз-

решилось взрывом «негритянской революции», мощного антивоенного и демократического студенческого движения. В то время неприятие действительности чаще всего ассоциировалось с бегством, со стремлением к полной изоляции.

Та отъединенность от людей, к которой волею судьбы приходит в финале Нейл, для героя следующего романа Рота «Попустительство» (1962) — сознательно избранная позиция. Но забаррикадировав все входы и выходы своей души, Гейб, вопреки ожиданию, не находит покоя и счастья. Более того, именно декларируемая им теория самодостаточности, кажущаяся ему надежной базой самоутверждения, вынуждает его усомниться в собственной личности, поскольку личность выявляется, вернее, осуществляется лишь через общение, и не формальное, а подлинное, захватывающее все сферы человеческих чувств. Тщательно оберегаемая позиция непричастности становится для Гейба не только источником мучений, но в конце концов обрекает на полное одиночество.

Последовавший затем роман «Она была такая хорошая» (1967)[1], как и два предыдущих, отмечен добротной основательностью повествования, в котором вновь ощутимо прорывается неприятие писателем окружающего мира. Действие романа развертывается в американском захолустье, потесненном, но все же невытесненном окончательно суперцивилизацией. Жизнь в этом медвежьем углу Среднего Запада до одури однообразна и мучительно скучна. Ее бесцельность, скрытая до поры до времени под покровом мелочной повседневной суеты, производит страшные опустошения в душах героев, нравственно калеча их. В этой картине можно уловить черты, напоминавшие о недавнем прошлом, связанные с тяжелым опытом 50-х годов, но вместе с тем затрагивавшие и коренные особенности американской буржуазной цивилизации, которая приводит к духовному бесплодию и нравственному вырождению.

Переломным стал в творчестве Рота роман «Жалобы Портного» (1969). Его герой, профессор Портной, кипит благородным возмущением. Объект его яростной и ядовитой иронии — несовершенство мира, погрязшего в скверне, ничтожного, вульгарного, предавшего забвению истину и красоту. Но столь, казалось бы, ясная позиция приводит к весьма неожиданному результату: неистовый автор дышащих непримиримостью филиппик находит утешение в любовных похождениях. Политика разменивается на звонкую монету секса, примиряющего героя с действительностью. По существу, писатель жестоко высмеивал современный «просвещенный либерализм», чей праведный гнев и требование социальных преобразований возведены на такую высоту, что никогда не опускаются на землю, оставаясь предметом размышлений и эмоций, не «осквернены деянием».

[1] Вышел в издательстве «Молодая гвардия» в 1971 году.

Оценивая состояние литературы США 60-х годов, известный американский критик Шон О'Коннел отнес Рота к числу тех писателей, от которых «мы получаем точное художественное постижение их вариантов «американской мечты» и их собственных американских историй как кошмаров, от которых они пытаются пробудиться».

В «Жалобах Портного» Рот избрал средством пробуждения от кошмара смех. Однако смех особого рода, смех эротического фарса, к которому он не прибегал в ранних романах, хотя они и не лишены едких саркастических нот.

Его следующий роман «Грудь» (1972) можно было бы назвать притчей, если бы за невероятной ситуацией — превращением героя в женскую грудь — просматривался некий метафорический смысл. Однако перед нами — не лишенная элементов пародийности фантазия, в которой полушутливо, полусерьезно возникают параллели с Кафкой и Камю. Как не вспомнить Грегора Замзу, видя полную беспомощность и бессилие героя романа, принужденного полагаться на милость других даже в отправлении первейших жизненных потребностей. Как не вспомнить героя «Падения» Камю — Жана-Батиста Клеманса, слушая подобные излияния о «пустоте»: «Я боялся, что если я привыкну к таким процедурам, желания мои могут со временем становиться все страннее и страннее, пока, наконец, я не достигну пика смятения, откуда упаду — или прыгну — в пустоту. Я сойду с ума. И уже не буду знать, кто я был и кем я был. Я не буду знать ничего. И даже если в результате я не умру, чем я буду, кроме простого сгустка плоти?»

Спасением для романа был бы перевод его в план откровенной комедии. Но юмор, оживляющий многие страницы «Жалоб Портного», на этот раз отказал писателю. Книга лишена того целительного, очищающего воздействия, которым обладает здоровый смех.

Появление романа «Моя жизнь как мужчины» (1974) было в этом ряду закономерным. Здесь действие вновь переведено в план реальности, но ее изображение по-прежнему насыщено непристойностью и подчеркнутой физиологичностью эротики. Надо сказать, что Рот далек от безмятежной наивности фанатика, одержимого пафосом выхода к «новым рубежам». Едва ли не с первых страниц становится ясно, что произведение Рота—плод искушенного в литературных изысках ума, рассчитывающего на немаленькую литературную подготовку читателя. Страницы романа пестрят именами писателей и названиями книг: Элиот, Бабель, Вирджиния Вулф, «Волшебная гора», «Анна Каренина», «Портрет художника в юности», «Моби Дик», «Нос», Свифт, Шоу, Аристотель, Гиббон, Г. Джеймс.

Композиция книги основана на принципе множественности отражений: история героя — писателя Питера Тарнополя, его же-

нитьба на Морин, развод и ее самоубийство, а также несколько любовных связей представлены сначала в опосредованном художественным вымыслом виде («перепечатке» произведений Тарнополя, названных им «Полезным сочинительством»), а затем — в его же изложении под заглавием «Моя истинная история».

Но не довольствуясь этим, Рот вводит в текст и критический анализ произведений героя, их полярные оценки — от самых благожелательных до уничтожающих. Смысл состоит не просто в том, чтобы столкнуть различные точки зрения и подвести читателя к осознанию множественности восприятия и крайней субъективности своей позиции, но прежде всего в том, чтобы направить внимание в сферу интеллектуальности, в противовес обычному эмоциональному отождествлению читателей с персонажами.

Взятые вместе три составляющие роман истории являют разительный контраст по стилю: игривость первой части («Зеленое времечко») сменяется мрачной жестокостью второй — «Навстречу катастрофе». Но чем более углубляешься в третью, тем более поражаешься тому, сколь мало они расходятся по смыслу. Это чувствует и Тарнополь, потому что, порядком углубившись в свою «истинную историю», с тревогой замечает, что «Тарнополь, как его называют, в конце концов начинает казаться столь же вымышленным лицом, как и мой Цукерман (герой первого романа Тарнополя.— **М. К.**), или, по крайней мере, столь же не имеющим отношения к автору мемуаров, а его откровения смахивают на новое «полезное сочинительство» и вовсе не потому, что я лгу».

Вопрос об объективном содержании событий вообще снимается, потому что на любом уровне очевидна небескорыстная заинтересованность «автора» мемуаров, одержимого сомнениями относительно собственной мужественности. Не находя способа положительно разрешить свои сомнения, он мстит женщинам словом, заполняя страницы отталкивающим воспроизведением эротических сцен.

Сферой утверждения мужественности герой избирает секс, и это неизбежно приходит в противоречие с его заявлением о том, что он «мечтал стать звездой не как животное», что он хотел стать «человеком, мужчиной».

Выбор подобной проверки своих мужских способностей Тарнополь подкрепляет ссылкой на художников, работающих в жанре автопортрета и потому ограниченных созерцанием собственной натуры. Аналогия как будто правомерная, особенно если принять во внимание «громадные трудности достижения правдоподобия», о которых говорит в связи с этим сам Тарнополь. Однако в ссылке этой был бы смысл, если бы Тарнополь писал о себе как о целостной личности. Вместо этого исследовательский микроскоп направлен на изъятую из общего контекста отдельную сторону, которую он пытается представить в виде целого. По этому поводу герой романа замечает: «Успех художника зависит, как и во всем остальном, от его способности остранения, денарциссизма». Но именно этого и не хватает Тарнополю — автору и «сочиненных» и «истинных» историй.

Исполненный желчи и яда по отношению к своим партнершам, он создает образы отвратительных монстров, отталкивающих как духовно, так и физически. Зачарованный собой, Тарнополь не способен критически взглянуть на себя. Если бы это удалось ему хоть однажды, он, наверное, увидел бы, сколь жалки и смехотворны его поиски мужественности. Если порой ему и приходит мысль о том, что по сравнению с «драмами социального разлада и человеческого горя» его собственные трудности выглядят житейской мелочью, он отнюдь не склонен подвергать сомнению свою позицию.

В известном смысле он пленник «комической тюрьмы», о которой американский критик А. Голдман писал в связи с особенностями развития романа в США в 60-е годы. Подъем литературы «черного юмора» — Ф. Рота нередко называют его представителем — Голдман рассматривал как положительное явление, свидетельствовавшее о духовном раскрепощении. «Черный юмор», писал критик, был «как катарсис гнева, страха и возмущения, доведенных до кипения в эпоху маккартизма». Однако со временем его функция изменилась: заложенная в нем «сатира выродилась в ритуальное убийство мертвых коней».

В «Жалобах Портного» некоторые американские критики увидели прообраз «американской литературы будущего», как отмечал, в частности, рецензент журнала «Тайм». Но опыт и современное развитие американской литературы, на наш взгляд, говорят все-таки о другом. Однако, в последние годы сам Рот двигался именно в том направлении, начало которому было положено романом «Жалобы Портного». Это особенно заметно на фоне того размаха, который приобрело в 60-е годы в Америке массовое демократическое движение. Уже говорилось, что герой последнего романа Рота несет как знамя свою непричастность времени. По существу, то же можно сказать и о самом Роте. Оторванный от животворного источника, он все более попадает в зависимость от рынка, требующего от писателя удовлетворения специфических требований поставщиков массового чтива. В этом смысле судьба Рота может служить наглядным примером того, что происходит даже с талантливым писателем, если он идет на уступки сенсационности.

Ограниченность интеллектуального и эмоционального кругозора, замкнувшая его художественные поиски поэтикой «черного юмора» и сферой порнографии, как и для ряда других современных американских писателей, стала для Рота тюрьмой.

М. КОРЕНЕВА

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

НОВАЯ МЮРИЭЛ СПАРК

Издательство «Макмиллан» выпустило новый роман известной английской писательницы Мюриэл Спарк «Аббатиса из Крева». Еще за несколько месяцев до выхода романа в интервью представителю журнала «Букселлер» писательница сказала, что «ее новое произведение будет политически заостренным, в нем отчетливо будет прослеживаться сатирическая линия, а читатели без труда узнают в романе пародию на Уотергейтское дело».

Сразу же после выхода в свет роман привлек внимание британских критиков. Питер Кемп в «Таймс литерари сапплмент» напечатал большую статью о романе под заголовком «Святой Уотергейт».

Бурные события, очень далекие от религиозной благообразности, разворачиваются в небольшом Кревском аббатстве, где недавно умерла старая настоятельница. Две молодых монахини претендуют на ее место. В борьбе за власть они пользуются не всегда позволительными и честными приемами. Стремясь досконально разузнать тактику и стратегию соперницы, одна из претенденток прячет в статуях святых аппараты подслушивания. Когда это открывается, скандал выходит за монастырские стены и приобретает мировую огласку.

Литературный ежемесячник «Лонден мэгэзин» в связи с выходом нового романа опубликовал обзорную статью о творчестве Мюриэл Спарк. Рецензент журнала высоко оценивает творчество Мюриэл Спарк, которая известна читателям своими блестящими едкими нравоописательными притчами, считая ее одной из наиболее талантливых романисток современной Англии.

Однако в последнем романе, по мнению рецензента, она явно взялась не за свое дело. Хотя книга Мюриэл Спарк читается с явным интересом, рассказанная в ней история, с его точки зрения, даже несмотря на политическую актуальность, кажется несколько примитивной и притянутой за уши.

ДИККЕНС ВСЕГДА ВАЖЕН ДЛЯ НАС

Спектакль, посвященный Чарльзу Диккенсу, с большим успехом идет в Лондоне в Роял-тиэтр.

Диккенс всегда важен для нас, его творчество — национальная гордость Англии, пишет Патриция Леман в «Морнинг стар», и потому каждый новый спектакль о нем привлекает к себе внимание, тем более если роль Диккенса исполняет такой известный актер, как Эмлин Уильямс.

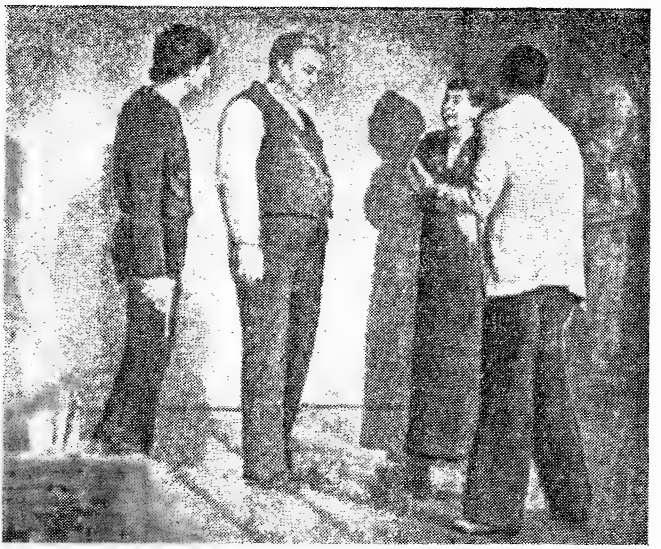
Впервые Эмлин Уильямс создал на сцене образ Чарльза Диккенса в 1951 году. Однако его новая работа в Роял-тиэтр ни в какой мере не дублирует старую.

В течение двух часов перед зрителем разворачивается бурная, наполненная событиями жизнь Чарльза Диккенса. В исполнении Эмлина Уильямса Диккенс предстает как беспощадный социальный критик современного ему общества и его основных институтов, как сатирик, зло высмеивающий

Эмлин Уильямс в роли Чарльза Диккенса.

(Журнал «Лиснер»)

английскую буржуазию, как писатель-демократ, протестующий против классовых различий, как глубокий психолог—знаток человеческих душ, как неподражаемый мастер гротеска. Интерпретация жизни и творчества Диккенса Эмлином Уильямсом, замечает Патриция Леман, иногда вызывает сомнения, но именно смелостью и оригинальностью трактовки объясняется популярность спектакля у лондонского зрителя.



Сцена из спектакля «Возвращение в будущее».

(Еженедельник «Литературен фронт»)

БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ

ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

В парижском издательстве Ж. П. Освальда в серии «Африканский театр» недавно вышла пьеса Бернара Зади Зауру «Глаз», а незадолго до этого в Абиджане состоялась премьера спектакля по этой пьесе. Но после второго представления Государственный секретариат по вопросам культуры запретил спектакль. Министр искусств и литературы заявил, что «пьеса шокирует зрителей грубостью», что ее нужно очистить от тяжеловесности и двусмысленностей, иначе она создаст за границей неверное представление о стране и ее гражданах. Какова же фабула пьесы?

Жене влиятельного сановника должны оперировать глаз. Для пересадки нужен глаз живого человека. Измученный поисками места, голодный безработный за крупную сумму денег и обещание работы соглашается отдать глаз своей жены. Однако жена его умирает на операционном столе, и смерть ее вызывает народное возмущение, которое подавляет полиция.

Бернар Зади Зауру не новичок в литературе. Он автор пьес «Мир останавливается», «Софы», «Дороги власти» о Патрисе Лумумбе и двух сборников стихов — «Острие пики» и «Аутонские острова». Пьесы его шли в Абиджане. Сенегальский критик Диоманси Бомботе ставит его в ряд наиболее ангажированных писателей Африки, считая, что пьеса «Глаз» очень точно вскрывает пороки современного общества.

В дакарском еженедельнике «Африк нувель» опубликовано интервью с писателем. Возражая тем, кто считает, что общество в пьесе изображено в искаженном, уродливом виде, автор говорит, что пьеса его — это простая констатация очевидных фактов, «вы наталкиваетесь на них ежеминутно, каждый день, на каждом повороте улицы. Можно не замечать этого, но долг писателя привлечь к ним внимание».

Свою пьесу автор считает предостережением тем, кто эксплуатирует, презирает и принижает народ, тогда как именно народ является подлинной реальной силой страны.

Именно театр, заключает свое интервью Бернар Зади Зауру, является средством активного воздействия на человека. Прежде такую роль играла сказка. Теперь, вместе с разрушением классических деревенских структур, сказка умирает и театр выступает как жанр, в этом смысле наиболее близкий сказке.

БОЛГАРИЯ

«В ГЛУБЬ ВЕКОВ»

В течение нескольких дней один из старейших городов Болгарии Велико-Тырново, празднично украшенный, был центром примечательного события в культурной жизни страны — национального смотра, посвященного раскрытию исторической темы в искусстве.

В день открытия смотра, как сообщает еженедельник «Литературен фронт», на холме Царевец состоялось величественное театрализованное представление, воссоздавшее памятные страницы истории. «В глубь веков» — таков девиз смотра, в рамках которого была организована художественная выставка с участием известных болгарских художников, графиков, скульпторов, конкурс мастеров художественного слова, конференция по проблемам болгарской драматургии. Но главным событием явился смотр исторической драмы, в котором приняло участие более 20 театров Софии и других городов, показавшие

спектакли как о событиях древности, так и о недавнем прошлом.

Лучшие пьесы и театральные постановки были отмечены премиями. Первой премии удостоена пьеса Кольо Георгиева «Возвращение в будущее», рассказывающая о борьбе против фашизма. Эта тема была представлена на смотре особенно удачно.

Вторая премия присуждена пьесам «Тихая ночь, святая ночь» Милко Милкова и «На войне как на войне» Пырвана Стефанова и Надежды Драговой, третья премия — пьесе «Патриарх Евтимий» Радко Радкова.

«В скором времени,— отмечает еженедельник «Литературен фронт», — нам предстоит отметить большие исторические даты — 100 лет освобождения Болгарии от османского ига, 1300 лет со дня основания болгарского государства. Национальный смотр «В глубь веков» — серьезная проверка творческих возможностей болгарских писателей, театральных деятелей, художников, музыкантов».

ВЕНГРИЯ

Режиссер Жолт Ковач и оператор Янош Кенди создали фильм «Когда придет Иожеф». «Мы стремились показать в этой кинокартине,— рассказывают ее авторы на страницах журнала «Фильм, синхаз, мюжика»,— взаимоотношения «отцов и детей», отразить те нравственные проблемы, которые актуальны для современной Венгрии».

На снимке: кадр из фильма «Когда придет Иожеф». В роли свекрови — актриса Ева Руттkai, в роли Марии — актриса Лили Монори.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

Анна Зегерс и Томас Манн.

ГДР

К ЮБИЛЕЮ АННЫ ЗЕГЕРС

В ноябре этого года исполняется 75 лет крупнейшей немецкой писательнице Анне Зегерс. В связи с этим издательство «Ауфбау» начинает выпуск собрания сочинений писательницы, в которое войдут романы, повести, рассказы. Специальным изданием для юношества в издательстве «Нойес лебен» будет опубликован роман «Седьмой крест» с предисловием Курта и Жанны Штерн и послесловием Курта Батта. Книга богато иллюстрирована Герхардом Кеттнером. Это хороший подарок прежде всего читателю—но и писательнице, которая в своем творчестве часто обращается к молодежи и всегда живо интересуется ее проблемами.

В приветствии Культурной конференции Союза свободной немецкой молодежи, состоявшейся летом 1975 года, Анна Зегерс писала: «Встреча молодых людей, которых объединяют общие цели, радует сердце не только потому, что вы молоды, но и потому, что вы полны жизненной энергии и трудового энтузиазма... Я желаю каждому из вас радости и творческих удач. Ведь именно радость творчества дает силу человеку, делает его жизнь прекрасной...»

Гюнтер Лампрехт — в роли Майвальда и Ортруд Бегиннен — в роли Эльвиры Шиндлер в телевизионном фильме «Местами гололед».

(Газета «Ди вельт»)

ФРГ

«МЕСТАМИ ГОЛОЛЕД» — НА ТЕЛЕВИЗИОННОМ ЭКРАНЕ

Известный роман Макса фон дер Грюна «Местами гололед» (см. «ИЛ» № 6—7, 1974) получил новое воплощение: западногерманский режиссер Вольфганг Петерсен совместно с Максом фон дер Грюном создали на основе романа двухсерийный телевизионный фильм. «Этот фильм безусловно достоин внимания зрителей,— пишет газета «Ди вельт».— Не надо только искать полного соответствия с романом, как это часто делают критики. В процессе экранизации что-то, естественно, теряется, но что-то и приобретается. Так, в фильме очень выигрышно показаны рурские рабочие, с их обычаями, с их живым народным языком».

Журнал «Шпигель» называет телевизионный фильм «Местами гололед» «социально-критическим детективом, который смотрится с напряженным интересом».

ДАНИЯ

ПОЭТИЧЕСКАЯ МОЗАИКА

В издательстве «Арбейдерфорлагет» вышла книга стихов рабочих поэтов «Мозаика». Это второй сборник в серии «Рабочая литература».

Автор предисловия к изданию пишет: «Поэзия — сильное оружие в борьбе рабочих за свои социальные и политические права. Эта книга адресована широкому кругу читателей».

В «Мозаике» представлены пятнадцать молодых и уже маститых рабочих поэтов — Грете Бейергард, Эрик А. Клаусен, Нильс Кристиан Нильсен, Поль Стеффенсен и другие. Кроме того, сюда вошли карикатуры и фотографии, повествующие о труде и досуге рабочих, об их производственных и личных проблемах.

Поэты и художники — авторы сборника — делятся с читателем своими размышлениями о современном обществе, о политике и классовой борьбе.

«Традиционная профессиональная поэзия зачастую уводит читателя в сторону от актуальных общественных проблем, порой сводится к чисто формалистическим изыскам и экспериментам. Рабочая же поэзия, пусть даже не всегда достигая высокого художественного уровня, правдиво отражает сегодняшний день нашего общества»,— отмечает литературный обозреватель газеты «Ланд ог фольк».

ЕГИПЕТ

ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВУ

Египетская пресса сообщила об очередном присуждении государственных премий по литературе и искусству.

Главной премии по литературе, присуждаемой за совокупность произведений, удостоен известный писатель и общественный деятель Абд ар-Рахман аш-Шаркави (род. в 1920 г.).

Аш-Шаркави начал печататься еще в тридцатые годы, однако подлинное признание пришло к нему после публикации романа «Земля» (1954 г.) — яркого реалистического произведения, повествующего о жизни египетской деревни и о борьбе феллахов против феодального гнета при старом, монархическом режиме. Роман «Земля» завоевал широкую популярность и переведен на многие языки мира. Жизни египетских тружеников посвящены также три других романа аш-Шаркави — «Пустые сердца», «Дальние улицы», «Феллах» (роман «Феллах», посвященный проблемам современной египетской деревни, переведен недавно на русский, а также на некоторые языки советских союзных республик, например, украинский и литовский).

Аш-Шаркави пользуется также известностью как поэт и драматург. В своих новаторских по форме стихотворениях (сборник «Письмо египетского отца», «Поэма о Ленине» и др.) он затрагивает актуальные проблемы современной общественной и политической жизни. Аш-Шаркави много сделал для развития арабской поэтической драматургии. Ему принадлежат драмы в стихах «Трагедия Джамилы», «Юноша Махран», «Хусейн — повстанец и мученик», «Моя родина Акка», «Красный орел». Как в пьесах, так и в других произведениях (например, в книге «Мухаммед — посланник свободы») писатель часто обращается к героической истории арабов, к арабскому классическому

наследию, переосмысливая их с передовых, прогрессивных позиций.

Аш-Шаркави ведет большую общественную работу. Он один из руководителей движения сторонников мира в Египте, член руководства Союза писателей АРЕ, главный редактор прогрессивного политического и литературного журнала «Роз аль-Юсеф». В 1973 г. ему была присуждена премия Гамаля Абдель Насера.

Лауреатами поощрительных премий по литературе стали писатели Аббас аль-Асвани (роман «Высокие стены») и Сабри Муса (роман «Гиблое место»). Тема романа «Высокие стены» — трагедия художника в обществе, где все подчинено наживе. Роман «Гиблое место» — романтическое повествование о золотоискателях в Аравийской пустыне на востоке Египта и о крахе их иллюзий. В рецензии, помещенной журналом «Ат-Талиа», критик Шамс ад-Дин Муса высоко оценивает оба произведения.

Главной премии по изобразительному искусству удостоен видный египетский художник Салах Тахер, чьи картины пользуются заслуженным успехом как в Египте, так и за рубежом.

ИНДИЯ

ОБЪЕДИНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

В связи с активизацией реакционных сил в стране перед индийскими писателями особенно остро встает проблема революционной литературы и ее значения в борьбе народа. Радикальные направления, пишет еженедельник «Линк», все более четко выкристаллизовываются во всех национальных литературах Индии.

Инициативная группа писателей опубликовала проект манифеста, обратившись к своим коллегам с призывом подписать его и собраться для конструктивного разговора о задачах писателя в сегодняшней сложной социально-экономической обстановке. Около пятисот человек — представители литератур всех штатов и языков, молодые писатели и литераторы старшего поколения — поставили свои подписи под проектом манифеста.

На конференцию в г. Гая (штат Бихар) съехалось более ста писателей. Председательствовал ветеран поэзии урду Гхулам Раббани Табан. Открыл встречу старейший литератор страны доктор Абдул Алим, один из участников учредительного собрания Организации прогрессивных писателей Индии в 1936 г. Оратор напомнил собравшимся о роли прогрессивных писателей в освободительном движении индийского народа. Он призвал литераторов бороться против реакции, против фашистских тенденций в обществе не только пером, но и активным участием в общественной жизни страны.

Собравшихся приветствовали члены советской делегации и делегации ГДР. Гости отметили огромный личный вклад Рабиндраната Тагора в организацию национального движения прогрессивных писателей. С приветствием выступили на собрании видные деятели Индии.

После обсуждения проекта и внесения конструктивных поправок манифест был единодушно принят. Это свидетельствует, по словам обозревателя журнала, о глубоком единстве мнений среди национальных литераторов.

Отмечая, что народы Индии неустанно ведут активную борьбу за демократические права, за лучшие условия жизни, манифест призывает национальных писателей отражать в своих произведениях эту героическую борьбу и всеми силами разоблачать подрывную политику реакции, ее попытки любыми средствами уничтожить демократические институты страны и те, пока скромные, завоевания, которых добилась Индия в области экономической независимости.

На одном из заседаний конференции прошла дискуссия о направлениях в современной индийской литературе. С докладами о состоянии национальных литератур на сегодняшний день выступили такие известные писатели, как Раджив Саксена (литература хинди), Девен Рой (бенгальская литература), Каранджит Сингх (литература пенджаби), Р. Раджешвар Рао и поэт Малла Редди (литература телугу), Сатиш Калсекар (литература маратхи) и другие.

Как подчеркивали ораторы, задачи прогрессивных писателей в семидесятые годы значительно усложнились, в частности, в связи с тем, что политика реакции стала изощреннее. Представители ряда национальных литератур (бенгали, пенджаби и другие) с удовлетворением отметили, что многие молодые писатели «после блуждания во тьме нигилизма» встали на прогрессивные позиции. Об успехах говорили литераторы телугу, малаялам, где прогрессивное направление всегда занимало доминирующее место. Положительные сдвиги наблюдаются сегодня и в литературе маратхи.

В заключение конференция приняла резолюции по различным вопросам, в том числе по политическим. Наиболее важной и веской из них обозреватель журнала считает декларацию о 30-летии победы над фашизмом, которая призывает индийских писателей высоко держать знамя антифашистских писателей мира и решительно бороться против поднявших в стране голову сил неофашизма.

Принято решение создать Национальную федерацию прогрессивных писателей во главе с президентом, старейшиной бенгальской поэзии Бишну Де. Кроме того, избран национальный комитет из представителей всех индийских литератур и другие рабочие органы.

ИТАЛИЯ

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НЕОРЕАЛИЗМА

С момента появления кинокартины Роберто Росселлини «Рим — открытый город», ставшей своеобразным манифестом неореализма, прошло тридцать лет, Родив-

Алессандро Блазетти.

Витторио Де Сика.

шееся в боях с фашизмом, в дни движения Сопротивления (непосредственными предшественниками неореализма явились созданные еще в 1942—1943 годах ленты Алессандро Блазетти, Лукино Висконти, Витторио Де Сика), это направление киноискусства наиболее полно выразило нравственный подъем итальянского народа после разгрома фашизма.

Во многом автобиографичны были сюжеты и образы, созданные на экране и для экрана Лукино Висконти и Анной Маньяни, Серджо Амидеи и Нанниной Феррацциани. Но не только свои биографии воплощали они в кино — на глазах у зрителя разворачивалась истинная биография Италии, ее народа: римских безработных, сицилийских рыбаков, чочарских пастухов и, конечно, героических партизан — борцов Сопротивления.

Узкие улочки городских окраин, пыльные дороги послевоенной Италии, жалкие деревенские лачуги, суровые будни итальянских бедняков, горести и радости, их чаяния и надежды, развивающееся у них чувство солидарности — все это, увиденное на экране, по сей день поражает необычайной правдивостью, глубокой человечностью, тончайшим лиризмом. Биографию страны и народа очень часто воссоздавал на съемочной площадке сам народ: привлечение непрофессиональных актеров, съемки «долгим планом» (на грани фотографии, документа) — одна из характернейших особенностей неореалистических фильмов. Впервые попадавшим в Италию туристам казалось, что они уже бывали в этой стране. И дело здесь не только в фотографической точности воспроизведения обстановки и фона действия, но в первую очередь в раскрытии самого духа страны в черно-белых, на первый взгляд бесстрастных картинах жизни простых итальянцев.

Всему миру известны «Рим — открытый город», «Пайза» и «Генерал Делла Ровере» Роберто Росселлини; «Похитители велосипедов», «Чудо в Милане» и «Умберто Д.» Витторио Де Сика; «Нет мира под оливами», «Рим в 11 часов» и «Дайте мужа Анне Закео» («Утраченные грезы») Джузеппе Де Сантиса; «Во имя закона» («Под небом Сицилии») и «Машинист» Пьетро Джерми; «Земля дрожит» Лукино Висконти и «Два гроша надежды» Ренато Кастеллани. Этот список можно продолжить.

В создании шедевров итальянского кино периода его ренессанса, получившего название неореализма, особая роль, пишет рецензент газеты «Аванти!», принадлежит сценаристу, теоретику киноискусства и видному общественному деятелю Чезаре Дзаваттини. Дзаваттини — подлинный соавтор фильмов Де Сика, один из основных сценаристов картин Де Сантиса, Висконти и др.

Неореализм всегда привлекал к себе пристальное внимание крупнейших кинокритиков: о нем писали и Жорж Садуль, и Андре Базен, и Пьер Лепроон. И сегодня к нему постоянно обращаются исследователи кино. В Пезаро состоялся конгресс, посвященный тридцатилетию неореализма и связанным с ним проблемам. Но главное — сами картины этого направления, они по-прежнему глубоко волнуют зрителя и служат мощным стимулом развития искусства в Италии и далеко за

Лукино Висконти.

Альберто Латтуада.

(Журнал «Экран-75»)

ее пределами. Вслед за кино неореалистическое направление в Италии обогатило литературу и изобразительное искусство. Из недр неореализма вышли крупнейшие художники сегодняшнего итальянского экрана Микеланджело Антониони и Федерико Феллини, который начинал свою кинематографическую деятельность в качестве сценариста и участвовал в создании лент Роберто Росселлини (в том числе «Рим — открытый город»), Пьетро Джерми, Альберто Латтуады. Неореализм давно перешагнул национальные границы и в плане чисто эстетическом, он оказывал и оказывает благотворное влияние на развитие кинематографии различных стран Европы, Азии и Латинской Америки.

«КАК РОЖДАЕТСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА»

Так называется серия из шести телевизионных передач, посвященная творчеству видных представителей современного изобразительного искусства Италии — скульпторов и художников: Ренато Гуттузо, Джакомо Манцу, Джорджо Де Кирико, Пьетро Аннигони, Адженоре Фаббри и Марино Марини. Автор передач — журналист Франк Симонджини. Газета «Унита» приветствует эту инициативу.

Критик Дарио Микакки посвящает телепередачам две статьи: одну, обзорную, под названием «Анатомия произведений искусства» и другую — «Искусство Гуттузо».

КАМЕРУН

«НАДЕЖДА АФРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ»

В Яунде в издательстве «КЛЕ» вышел небольшой сборник стихов молодого поэта Самюэля-Мартена Эно Белинги «Камерунские баллады и песни». Белинга родился в 1935 году на юге Камеруна. Сейчас он преподает геологию в университете Яунде. Три года назад то же издательство выпустило его первый сборник — «Паритянские маски».

Стихи Белинги, пишет Камель Беншейх в еженедельнике «Аль-Муджахид кюльтюрель», полны веры в человека, они отличаются простотой и легкостью восприятия. Характерной чертой его поэзии является интернационализм.

«Новый сборник поэта, как и первый,— отмечает рецензент,— позволяет говорить об этом поэте как о надежде молодой африканской поэзии, смене Чикайи У'Тамси, Леопольда Седара Сенгора, Марио ди Андради».

КНР

ПОХОД ПРОТИВ ЕВРОПЕЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

В 1972—1973 гг. в КНР побывали на гастролях симфонические оркестры из стран Запада: Лондонский оркестр, Венский оркестр, Филадельфийский оркестр... Звучала музыка Моцарта, Бетховена, Брамса... Концертов было немного, и только для избранной публики. Рецензии китайских газет подчеркивали прежде всего политический смысл этих гастролей. «Дружба. Энтузиазм. Блеск» — так называлась рецензия Ин Хуа на выступления Филадельфийского оркестра под управлением Юджина Орманди. О «Пасторальной» симфонии Бетховена, исполненной в концерте, рецензент «Гуанмин жибао» отозвался как о «хорошо знакомом произведении, горячо любимом широким слушателем нашей страны».

Через четыре месяца картина изменилась полностью, и статьи в китайской печати стали по резкости напоминать разгар пресловутой «культурной революции». Начиная с 14 января 1974 года маоистская пропаганда вновь обрушилась на европейскую классическую музыку. В статье Чу Лань говорится о заслугах маоистов, подвергших музыкальную классику критике еще в 1963 году: «В 1963 году в Китае развернулась дискуссия по вопросу о произведениях Дебюсси. Эта критика нанесла сильный удар преклонению перед иностранщиной и возврату к старине... Так называемая классическая, импрессионистическая и модернистская музыка — это, по сути дела, отражение в музыке политического облика, настроений и чувств буржуазии...» С этих позиций маоистская критика открыто ополчилась на европейскую классическую музыку. «Произведения классиков буржуазной музыки, живших в период подъёма капитализма — Баха, Бетховена, Моцарта,— отражают мысли и чувства, политические требования буржуазии. Бетховен и другие классики, стоя на позициях буржуазии, не могли быть свободны от предрассудков собственного класса. Буржуазные гуманистические идеи, проповедуемые ими в произведениях, и тогда были фальшивыми. Возьмем хотя бы Девятую симфонию Бетховена, шедевр западной классической музыки. Хоровой финал этой симфонии пропитан буржуазным гуманизмом».

Нападая на музыкальную классику, китайская печать в той же статье Чу Лань одновременно вынуждена признать, что в КНР до сих пор, невзирая на «культурную революцию», существуют оппозиционные настроения. Чу Лань пишет, что ее оппоненты призывают «включать в наш репертуар всевозможные музыкальные произведения», и видит в этом угрозу стандартному маоистскому искусству, которое они именуют «пролетарским»: «Если дело так пойдет и дальше,— имея в виду Девятую симфонию Бетховена, тревожится Чу Лань,— то все феодальные, буржуазные и ревизионистские произведения литературы и искусства пролезут сквозь лазейку так называемых здоровых и светлых общечеловеческих чувств и станут отвоевывать позиции у пролетариата. Они не доставят удовольствия широким массам рабочих, крестьян и солдат, а отравят их».

КУБА

ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ АЛЕХО КАРПЕНТЬЕРУ

Как сообщает агентство Пренса Латина, в Париже, на торжественной церемонии, состоявшейся в отеле «Георг V», Алехо Карпентьеру была вручена Международная премия Чино дель Дука.

Она присуждается с целью «отметить и сделать более известным автора литературного или научного произведения, представляющего собой выражение современного гуманизма».

Алехо Карпентьер — первый латиноамериканский литератор, награжденный этой премией.

На церемонии присутствовали многочисленные представители литературных кругов и научного мира Франции. Ее открыл член жюри по присуждению премии, бывший министр иностранных дел Франции Морис Шуман, председательствовала учредительница премии г-жа Симона Чино дель Дука.

Алехо Карпентьер заявил, что присуждение премии принесло ему огромное удовлетворение, так как означает признание его творчества «выражением современного гуманизма». «Принимая эту премию,— сказал писатель,— я выражаю глубокую благодарность от имени кубинского народа, чей творческий гений, проявляющийся во всех областях жизни, сформировал и мою душу». Приглашенные на церемонию журналисты попросили писателя рассказать о работе над новым романом.

«Это будет самый длинный из всех написанных мной романов,—заявил Алехо Карпентьер,— называется он «Весна священная». Четыреста страниц его уже написаны. К концу 1975 года книга будет готова». Начало действия романа отнесено ко временам гражданской войны в Испании. Эти страницы посвящены судьбам тех прогрессивных латиноамериканцев, которые сражались на стороне испанской революции в рядах интербригад. «У меня была возможность,— сказал Алехо Карпентьер,— глубоко изучить события этой войны и участие в них значительного числа кубинцев, мексиканцев и американцев». Заканчивается роман описанием битвы на Плайя-Хирон, явившейся, по словам писателя, «первой победой латиноамериканской нации над империализмом США и в силу этого вошедшей в историю Америки как одно из крупнейших сражений».

По сообщениям арабской прессы, на конкурсе песни, организованном ливанским телевидением, первое место и золотую медаль завоевала семнадцатилетняя исполнительница классических и народных арабских песен Маджида ар-Руми. На снимке: Маджида ар-Руми.

(Журнал «Опиньон де Багдад»)

ЛИВАН

«МОЙ НАРОД БУДЕТ ЖИТЬ!»

В Париже во французском переводе вышла книга «Мой народ будет жить!». Книга представляет собой автобиографию молодой палестинской женщины, участницы движения Сопротивления Лейлы Халед, записанную с ее слов ливанским журналистом Жоржем Хажжаром. Л. Халед рассказывает о годах своей учебы в г. Хайфе, о вынужденной эмиграции в Кувейт после раздела Палестины в 1948 г., о том, как формировалось ее революционное сознание.

Как пишет обозреватель тунисского журнала «ИБЛА», эта книга «не претендует ни на историческую документальность, ни на научность, и тем не менее она захватывает».

НОРВЕГИЯ

НОВЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

В издательстве «Ашехоуг» вышел сборник стихов современного норвежского поэта Г. Нюгордсхауга. Сборник составлен из двух циклов стихотворений: лирика и гражданская поэзия.

«С большим публицистическим пафосом написаны стихи о Вьетнаме, Ирландии, Чили. Обращается поэт и к теме трагического прошлого Норвегии — к периоду гитлеровской оккупации. Нюгордсхауг призывает своих соотечественников к солидарности в борьбе против угрозы будущей войны, против сил реакции»,— пишет литературный обозреватель газеты «Фрихетен».

ПАКИСТАН

ФИЛЬМ ПО СЦЕНАРИЮ ФАИЗА АХМАДА ФАИЗА

В Лахоре заканчиваются съемки нового фильма по сценарию лауреата Ленин-

ской премии мира известного пакистанского поэта и журналиста Фаиза Ахмада Фаиза, носящего условные названия «До деревни счастья далеко» или «Мода на любовь».

Режиссер фильма — видный деятель пакистанской кинематографии А. Дж. Кардар, кинооператором приглашен англичанин Мервин Маршал. Все трое были участниками съемочной группы фильма «Придет рассвет», получившего золотую медаль на кинофестивале в Советском Союзе в 1959 году. В фильме заняты популярные актеры пакистанского кино и телевидения Имран Чишти, Хумайра Чоудхри, Зия Монуддин, Сурейя Чоудхри, Салим Назир и Латифи. Натурные съемки фильма проводились в районе города Татта, древней столицы провинции Синд, где по сценарию и развертывается действие картины. Музыку к фильму написал Камаль Ахмад.

А. Дж. Кардар говорит о фильме: «Сюжет картины— вечные человеческие поиски счастья и самовыражения— поиски, которые человек ведет на различных дорогах. Но человеческой жизни присуща своя диалектика социальных противоречий, которая приводит поиски счастья в столкновение с контрсилами, и, как это ни парадоксально, иногда поиск счастья находит свое завершение в страдании, диктуемом долгом...»

ПОЛЬША

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Польская печать сообщила о присуждении премий в области литературы и искусства за 1975 год. В области литературы премии первой степени получили Тадеуш Голуй, Александр Бохенский, Корнель Филипович, Артур Сандауэр, премии второй степени — Ежи Харасимович, Збигнев Флисовский, Веслав Келяр, Эдвард Редлинский, Богдан Войдовский.

Тадеуш Голуй, прозаик, поэт, драматург, лауреат многих премий, удостоен теперь премии министра культуры и искусства за творчество в целом. Его последние книги, «Розы и пылающий лес» и «Личность», сразу же получили признание читателей. Созданная на документальной основе, книга о Людвике Варынском, пишет газета «Жице Варшавы», пожалуй, первое произведение, так ярко рисующее образ замечательного революционера и его жизненный путь на историко-политическом фоне эпохи. Это относится и к последней книге Т. Голуя «Личность», написанной к тридцатилетию Польской объединенной рабочей партии, это книга о людях, которые после сентябрьской трагедии, в начале гитлеровской оккупации объединились, чтобы бороться с захватчиками за свободу и будущее своего народа.

За творчество в целом присуждена премия Корнелю Филиповичу, который знаком советскому читателю по рассказам и по выпущенному издательством «Прогресс» сборнику, куда вошли пять микророманов писателя: «Сад господина Ничке» (впервые опубликован в журнале «Иностранная литература» № 11, 1966), «Пленник и девушка», «Дневник антигероя», «Провинциальный роман», «Мужчина как ребенок». Один из критиков писал о Филиповиче, что «он в своих произведениях создает мир гуманистических традиций современными литературными приемами». Филипович — мастер рассказа, тонко и эмоционально он рисует окружающий мир и психологические портреты. Его книги имеют своих верных читателей.

О поэзии Ежи Харасимовича критики говорят, что «она пронизана «романтикой повседневности», ее корни—в окружающей действительности и природе родной страны, в краковских, бескидских пейзажах». «Его лирика, отмечает газета «Жице Варшавы», — очень своеобразна, колоритна и полна очарования». У поэта на счету много сборников, которые пользуются неизменным признанием читателей.

Александр Бохенский — эссеист, публицист, автор многих публицистических сборников. Премии удостоен его последний сборник «Путешествия по истории польской промышленности», в котором широко освещается история развития народного хозяйства Польши, это рассказ о захватываю-

Сцена из спектакля по книге Редлинского «Продвижение» в Гданьском театре «Выбжеже».

(Журнал «Театр»)

щих событиях и необыкновенных людях.

Артур Сандауэр, прозаик, эссеист и литературный критик, отмечен премией за критическое творчество, в частности, за книги «Теория и история» и «Литературные джунгли». Работы Сандауэра отличаются страстностью, бескомпромиссностью, интересом ко всему новому в литературе.

Прозаик Эдвард Редлинский, награжденный премией за книги «Конопелька» и «Продвижение» (см. «ИЛ» № 1 за 1975 год), принадлежит к молодому поколению писателей. Обе его книги, и «Конопелька» и «Продвижение», вызвали широкий отклик в печати. Повесть «Продвижение» пользовалась таким успехом у читателей, что сразу была инсценирована и поставлена во многих польских театрах, а также экранизирована.

За произведения о второй мировой войне, и особенно за книгу «Поморье — репортаж с поля битвы», получил премию Збигнев Флисовский. Этот прозаик и журналист отобразил в своих книгах борьбу польского народа на фронтах второй мировой войны. Будучи сам участником битв за польское Поморье весной 1945 года, Флисовский воссоздает в книге «Поморье — репортаж с поля битвы» атмосферу тех лет с такой достоверностью, что «эта книга,— как отмечает газета «Жице Варшавы»,— стала одним из самых интересных произведений документальной литературы». Отмечена премией и книга Веслава Келяра, относящаяся к жанру документальной антифашистской литературы, «литературы мученичества». Отмеченная премией книга «Anus mundi» повествует о почти пятилетнем пребывании Келяра в Освенциме, куда он попал подростком. Личные впечатления, подкрепленные документами, делают эту книгу наиболее значительной из опубликованного на эту тему в последние годы.

Награжденный премией за литературное творчество в целом, особенно за книгу «Хлеб, брошенный мертвым», Богдан Войдовский — прозаик и эссеист, автор отличного сборника рассказов «Каникулы Иова» и повести «Конотоп» — в своей последней книге рисует трагический образ еврейского гетто, жизнь и смерть, голод и унижение. Эта книга — призыв к живым никогда не забывать о том, какие страдания и жестокости несет с собой фашизм.

Премией министра культуры и искусства была также отмечена деятельность коллектива Государственного издательского института (ПИВ) во главе с руководителем издательства Анджеем Василевским за издание ценных серий произведений художественной литературы и серии книг по общественным наукам.

РУМЫНИЯ

ИНТЕРВЬЮ Д. Р. ПОПЕСКУ

Автор популярных в Румынии романов «Олтенское лето», «Ф», «Королевская охота», «Двое у горы Цебы» и пьес «Карлик в летнем саду», «Птица Шекспир» (см. «ИЛ» № 1, 1975) и др., главный редактор клужского журнала «Трибуна» Д. Р. Попеску неохотно делится с корреспондентами своими писательскими раздумьями и планами. Но на этот раз он сделал исключение для представителя журнала «Театрул». На вопрос, с кем полемизируют своими произведениями писатели его поколения, к которым можно причислить И. Бэешу, Т. Мазилу, М. Сореску и многих других, последовал ответ:

— Писатели моего поколения полемизируют прежде всего с самими собой, с теми, какими они были до того, как по-настоящему осознали себя художниками. Я думаю, что процесс творческого мужания неизбежно ведет к тому наивысшему моменту, когда творческое удовлетворение сливается с чувством писательской ответственности. Когда самоконтроль, полная самоотдача становятся обязательными для любого художника.

Корреспондент спросил:

— Как вы относитесь к давнему спору об отношении литературы к действительности?

— Мы должны постоянно помнить,— ответил Д. Р. Попеску,— что именно жизнь творит литературу, а вот литературе далеко не всегда удается правдиво воссоздать те или иные аспекты жизни. Что касается меня, то я никогда не был «кабинетной крысой», «папенькиным или маменькиным сынком». Мне в жизни пришлось пережить немало.

— Вы начали с публицистики,— напомнил корреспондент.

— Да, и я почерпнул из теории социалистического реализма, которую мы изучали в лицее, а затем в университете, ценнейшую мысль — о необходимости знания жизни. То было истинное откровение. Не столь важно было тогда, что получалось в результате нашего обращения к действительности, важен был сам факт постоянного общения с жизнью, изучения ее многообразных аспектов. Биография писателя — это, в сущности, биография целой общности людей, это то, что происходит не только с ним, но и со всеми теми, кто шагает рядом, с кем он соприкасается.

На вопрос, какие темы представляются ему наиболее злободневными, Д. Р. Попеску ответил:

— Только правда рождает самые важные темы. Кто-то недоумевал, отчего театр Чехова сохраняет и поныне свою актуальность и пьесы его ставятся всюду и в наши дни. А ответ прост: стремления чеховских героев созвучны нам и сегодня. Людям нужны герои, зовущие вперед.

СИРИЯ

«АВГУСТОВСКАЯ ЗВЕЗДА»

Как сообщает журнал «Ат-Талиа», в Дамаске вышел роман писателя Суналлаха Ибрахима «Августов-

ская звезда». По словам обозревателя журнала, «роман прослеживает этапы строительства Асуанской высотной плотины, рисует образы создателей этого великого сооружения — русских и египтян».

Во второй части романа рассказывается о спасении замечательного древнеегипетского памятника — храма Абу Симбел, которому угрожало затопление.

«Августовская звезда» — второй роман Суналлаха Ибрахима. До этого он опубликовал роман «Запах».

США

«ПОДЛИННЫЙ ТАЛАНТ»

Рецензент нового сборника рассказов Джойс Кэрол Оутс «Отравленный поцелуй» Дж. Д. Беллами взял на себя нелегкую задачу — ему предстояло написать о книге некоего португальского писателя Фернандеса, переведенной на английский Дж. К. Оутс. На суперобложке говорилось, что Фернандес является «соавтором» рассказов, вошедших в сборник. А в предисловии писательница утверждала, что, насколько ей известно, этот писатель никогда не существовал, однако, «если бы он не руководил мной, я никогда не смогла бы изобразить ту Португалию, какой она предстает в рассказах этого сборника».

В многочисленных статьях и интервью Оутс, пишет рецензент, не раз говорила о том, что не она выражает в своих произведениях то, что думает и хочет сказать, а скорее наоборот — завораживающие живые и яркие образы, властвующие над ее воображением, требуют от нее своего воплощения. Каждая новая книга Оутс, пишет критик, доказывает многогранность ее таланта, заставляет предполагать, что в этой хрупкой женщине уживаются несколько писателей разного творческого темперамента. Предыдущий сборник ее сатирических рассказов «Голодные духи» словно написан совершенно другим человеком.

В новой книге, утверждает критик, несмотря на всю ее необычность, несвойственный другим произведениям Оутс мистицизм и мрачный отблеск средневековья, кажущуюся отрывочность и незаконченность, писательский почерк Оутс узнается без труда. В очень разных по настроению рассказах, напоминающих то Чехова, то Травена и Гессе, созданные ею образы «настолько безупречны в художественном отношении, обладают такой поразительной убедительностью, что самые невероятные ситуации представляются читателю возможными». Критик пишет о виртуозном владении пером, проявляющемся в стихотворении в прозе «Муж и жена», об удивительной способности писательницы создавать почти физически осязаемый мир в таких рассказах, как «Наша святая Альферес, дарующая легкую смерть» или «Божий сын и его печаль».

В первом рассказе Оутс, например, заставляет читателя проникнуть в деревянную статую святой Марии и обнаружить запертую в ней тоскующую душу, обреченную на затворничество и вечное поклонение. Этот рассказ, по мнению рецензента, свидетельствует о способности Оутс «вдохнуть душу даже в камень».

ФРАНЦИЯ

НОВАЯ КНИГА ЖОРЖА ПЕРЕКА

«В., или Воспоминания детства» (издательство Деноэль) состоит из двух разных повествований: реалистического — воспоминаний детства писателя и фантастического — о негативном утопическом обществе на некоем острове В.

Воспоминания детства писателя далеко не обычны. Ранние годы жизни Жоржа Перека обожжены войной, отравлены преступлениями фашизма. Он родился в 1936 году в польской еврейской семье, отец его был убит, мать погибла в Освенциме. До самого конца войны мальчика передавали из одной семьи в другую, перевозили с места на место. Об этом времени у него осталось мало воспоминаний, но писатель решил вызвать из небытия потерянное детство. Он рассказывает о том, как, посещая места, где, по его предположениям, он жил, расспрашивая свидетелей, рассматривая старые фотографии, всматриваясь в немногие сохранившиеся в памяти образы, восстанавливал прошлое.

Между эпизодами воспоминаний вставлены отрывки фантастического содержания. Рассказчик в этой повести — дезертир. Он живет под именем Гаспара Винклера по фальшивым документам, полученным от некой тайной организации, помогающей всем, кто отказывается служить в армии. Однажды он узнает, что его новое имя принадлежало шестилетнему мальчику, исчезнувшему во время кораблекрушения неподалеку от Огненной Земли. Отправившись на поиски пропавшего, он находит остров В. и на нем — странное государство. У граждан вместо имен — номера. Но право на имя можно завоевать спортивными успехами — стать атлетом и тем самым получить привилегии: работу, одежду, еду и места на трибунах стадионов. Кто на это не способен, тот добывает пищу на помойках в драках с бродячими собаками. А когда на это уже не хватает сил, гибнет от голода.

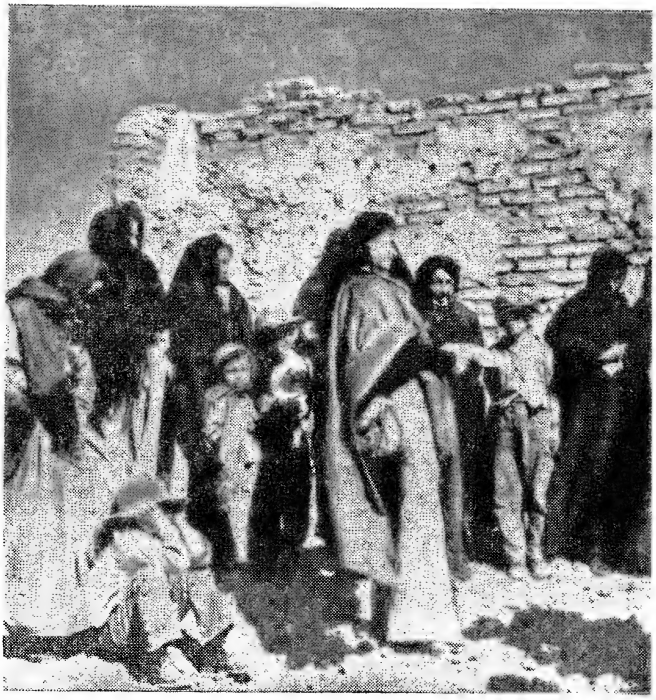
Тех, кто проиграл в спортивном состязании, подвергают разнообразным наказаниям: могут высечь, поставить у позорного столба или разорвать на куски, заставить бежать по гаревой дорожке в ботинках, утыканных внутри гвоздями. Но и того, кто выиграл, может постичь та же участь, потому что высшие власти иногда вдруг принимают решение о том, что игра велась по принципу: кто проиграл—тот выиграл. Коварные препятствия, хитроумные ловушки без конца меняют ход состязаний. Даже

самые лучшие атлеты ни в чем не могут быть уверены, так как на острове В. господствует логика абсурда и ужаса. Путешественник, прибывший на остров много лет спустя после его опустошения, обнаруживает там «следы того мира, который он считал забытым: груды золотых зубов, обручальных колец, очков, покрытую пылью картотеку, запас скверного мыла...».

Связь воспоминаний детства с вымыслом достаточно ясна. История об острове В. была придумана и нарисована Жоржем Переком, когда ему было 12 лет. В конце книги он пишет: «Я не помню, почему я в 12 лет выбрал Огненную Землю, чтобы поместить там остров В. Фашисты Пиночета внесли в мой фантастический вымысел элемент реальности — многие острова Огненной Земли являются сегодня концлагерями».

Роже Поль-Друа пишет в «Монд»: «В.— это систематизированный мир концлагерей, в котором погибла мать Перека».

Андре Стиль в «Юманите» пишет, что сочетание почти наивного реализма с фантастикой придает необычное звучание, особую убедительность произведению в целом.



Сцена из фильма «Операция на «Марухе». *(Журнал «Экран»)*

ЧИЛИ

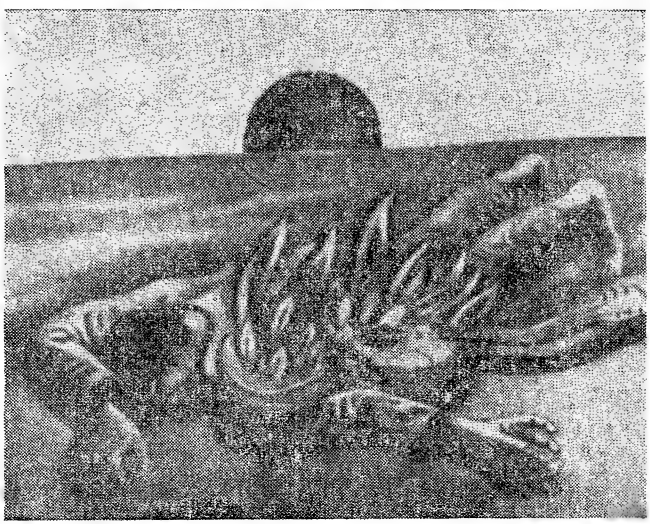
НОВЫЙ ФИЛЬМ МИГЕЛЯ ЛИТТИНА

Молодой чилийский режиссер Мигель Литтин, известный своими фильмами «Шакал из Наульторо», «Земля обетованная» и «Товарищ президент», посвященным Сальвадору Альенде, снимает сейчас в поселке Санто-Доминго в Мексике фильм о шахтерах.

Мигелю Литтину чудом удалось спастись от рук палачей хунты и эмигрировать в Мексику.

Новый фильм Литтина «Операция на «Марухе» основывается на действительных событиях, которые произошли на севере Чили на рубеже нашего столетия. В Чили тогда вспыхнуло нечто вроде золотой лихорадки, только причиной ее была селитра, огромные залежи которой были недавно открыты. В Чили устремились иностранные капиталисты, преимущественно английские, которые стали вести разработку селитры, вербуя на рудники рабочих из разных стран. Действие фильма

Рисунок Вольфганга Маттойера «Реквием Виктору Хара» из сборника «Чили. Песни и рассказы», вышедшего в издательстве «Миттельдойчер ферлаг». В сборнике приняли участие 200 писателей, художников и журналистов из 30 стран. *(Газета «Нойес Дойчланд»)*



происходит на одной из таких шахт—шахте «Маруха».

Рабочие жили в чудовищных условиях, хозяева обращались с ними бесчеловечно. Литтин показывает, как постепенно выковывается сознание рабочих, как они приходят к выводу, что надо бороться, и бороться не в одиночку.

В интервью корреспонденту польского журнала «Экран» Литтин сказал, что сюжет этого фильма является только поводом для разговора о сегодняшнем Чили и о фашистской хунте Пиночета, об этом свидетельствует и то, что декорации к фильму точно воспроизводят здание провинциального театра в городке Чакабуко, где чилийская хунта устроила один из самых страшных концентрационных лагерей.

ШВЕЙЦАРИЯ

ДНЕВНИКИ ТОМАСА МАННА

В соответствии с завещанием Томаса Манна его дневники должны были храниться в опечатанном виде в течение 20 лет после его смерти.

Недавно в Цюрихе, где находится архив писателя, были торжественно вскрыты четыре больших пакета, содержащих 29 дневников 1933 — 1955 гг. и 3 дневника 1918—1920 гг.

Как сообщил профессор Ганс Вислинг, заведующий архивом Томаса Манна, в дневниках содержатся ценные сведения о жизни и творчестве писателя, истории создания цикла романов об Иосифе, «Лотты в Веймаре», «Признаний авантюриста Феликса Круля» и других произведений. Последняя запись сделана 15 июня 1955 года, ровно за два месяца до смерти писателя.

Сейчас в архиве ведется работа по приведению в порядок этого ценного наследия, а затем дневники будут переданы семье Томаса Манна, которая должна решить, будут ли они целиком или частично опубликованы.

ЮГОСЛАВИЯ

«ЖИВЫЕ СВЯЗИ»

На телевизионных экранах Югославии с большим успехом прошел поставленный режиссером Антоном Томашичем многосерийный фильм по драме популярного словенского прозаика Антона Инголича «Живые связи». В годы войны писатель оказался в числе тех восьмидесяти тысяч словенцев, которых нацисты под угрозой физического истребления переселили в Сербию. Их изгнали с родной земли, выбросили из родных домов. Однако, оказавшись среди братского славянского народа, словенские переселенцы встретили в сербских семьях тепло и радушие.

«Повествуя о трагических событиях одной эпохи,— писала газета «Политика»,— Инголич исходил из того факта, что рассказ о глобальном движении истории становится наиболее убедительным через изображение судьбы отдельной личности... В драме показаны те, самые благородные человеческие качества, благодаря которым незнакомые люди в беде оказываются по-родственному близкими. С самого начала драматических событий Инголич замыкает этот круг человеческих отношений, основанных на дружбе и верности. Это проявляется и в сценах, которыми начинается действие, и в кадрах, изображающих встречу в Словении после войны, когда сербы вновь встретились со своими давними гостями в их родном доме. Однажды установленные связи оказываются постоянно живыми».

За последнее время телезрители Югославии могли видеть и несколько других многосерийных фильмов, созданных по произведениям известных писателей Бранко Чопича, Велько Ковачевича и других. Литература, таким образом, оказывается постоянным источником тем для своего младшего собрата — телевидения.

Кадр из фильма «Живые связи».

(Газета «Политика»)

Авторы этого номера

ИВАН ДОНЧЕВИЧ — IVAN DONČEVIĆ (род. в 1909 г.).

Югославский хорватский писатель — романист, новеллист, драматург. Участник народно-освободительной борьбы югославских народов. В русском переводе вышел его роман «Миротворцы» (с предисловием Б. Сучкова), в «Литературной газете» печатались рассказы.

Сборник рассказов И. Дончевича «Безымянные» («Bezimeni», 1945), из которого взят рассказ «Случай в автобусе», выдержал за послевоенные годы около десяти изданий, став одной из классических книг литературы военных лет.

■

БРАНКО ЧОПИЧ — BRANKO ĆOPIĆ (род. в 1915 г.).

Югославский сербский прозаик и поэт. Участник народно-освободительной борьбы 1941—1945 гг. Ныне академик, лауреат многих литературных премий Югославии, в том числе премии имени Негоша. На русский язык переведены его роман «Прорыв», книги рассказов «Случай из жизни Николетины Бурсача», «Сердце в буре», «Корова с деревянной ногой», «Горький мед», книги для детей. В 1975 году Б. Чопич выпустил новый роман «Удальцы под Бихачем» («Делије на Бихаћу»).

Рассказ Б. Чопича «Грустная песня» печатается по тексту собрания сочинений писателя; рассказ «Военный корреспондент» был опубликован в белградской газете «Књижевне новине» (февраль, 1975).

■

МОМЧИЛО МИЛАНКОВ (род. в 1924 г.).

Югославский сербский прозаик — романист, новеллист, критик. Автор романов «Осенние события» («Jesenji dogactaji», 1958), «Человек с мячом» («Čovek s loptom», 1961), «Скамья на краю света» («Klupa na kraju sveta», 1964), сборников рассказов «Красные кровли» («Crveni krovovi», 1960) и др.

Рассказ «В плавнях» был напечатан в сборнике «Военные рассказы» («Ратне приповетке», Нови Сад, 1961).

■

МИХАИЛО ЛАЛИЧ — MIHAILO LALIĆ (род. в 1914 г.).

Югославский черногорский писатель — романист и новеллист. Академик. Лауреат многих литературных и общественных премий, в том числе премии имени Негоша. С 1941 года участвовал в народно-освободительной борьбе против фашизма; попав в руки гестапо, был приговорен к смертной казни. Бежал из лагеря для военнопленных в Салониках и присоединился к греческим партизанам. Автор цикла романов о партизанской борьбе в Черногории, из которых три переведены на русский язык: «Свадьба» (1964), «Лелейская гора» (1968), «Облава» (1968).

Рассказ «Снег тает» взят из книги рассказов «Время непреходящее» («Време непролазно», Белград, 1966), рассказ «Арджан-озеро» печатается по тексту «Избранных рассказов»» («Изабране приповијетке», Цетинье, 1950).

■

СИМОН ДРАКУЛ (род. в 1930 г.).

Югославский македонский прозаик, переводчик, драматург. Автор сборников рассказов «Горы и дали» («Планината и далечините», 1953), «Водовороты в дождевых потоках» («Витли во поројот», 1956), романов «И звезды падают сами» («Звезде падаат сами», 1957), «Белая долина» («Белата долина»», 1962), нескольких пьес.

На русском языке рассказы С. Дракула были напечатаны в сборнике «Талый снег. Рассказы македонских писателей» (1965).

Рассказ «Друзья» взят из сборника «Избранные рассказы» («Одбрани раскази», Скопје, 1966).

■

АНТОНИЕ ИСАКОВИЧ — ANTONIJE ISAKOVIĆ (род. в 1923 г.).

Югославский сербский прозаик. Участник народно-освободительной борьбы югославских народов 1941—1945 гг. Автор нескольких сборников рассказов, отмеченных литературными премиями Югославии.

На русском языке рассказы А. Исаковича неоднократно печатались «Иностранной литературой», отдельной книгой вышел сборник «Папоротник и огонь» (1970).

Рассказ «Миг озаренья» взят из сборника «Пустынные холмы» («Празни брегови», 1969).

■

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ.

Югославская сербская писательница. Академик. Печатается с 1920 г. Автор многих поэтических сборников. Строки стихотворения Д. Максимович «Кровавая сказ-

ка» высечены на памятнике жертвам фашизма в Крагуеваце. В послевоенные годы вышли сборники ее стихов «Поэт и отчизна» («Песник и отаџбина», 1946), «Запах земли» («Мирис земље», 1955), «Пленник снов» («Заробленик снова», 1960), «Требую помилования» («Тражим помиловаље», 1964), романы «Не забыть», («Ne zaboraviti»), «Прадевочка» («Pradevosčica»), несколько сборников рассказов. Ей принадлежит также более тридцати книг в стихах и прозе для детей.

Публикуемый цикл стихов взят из книги «Нет больше времени» («Не мам више времена», Белград, 1973).

■

АЛИГЕР МАРГАРИТА ИОСИФОВНА.

Советский поэт, переводчик, эссеист. Лауреат Государственной премии СССР. Автор более двадцати книг стихов. Переводила Л. Арагона, П. Неруду, Н. Хикмета, Е. Багряну и др. В последние годы публикует ряд литературных воспоминаний (о М. Светлове, С. Маршаке, А. Ахматовой и др.).

■

ЖОРЖИ АМАДУ — JORGE AMADO (род. в 1912 г.).

Бразильский писатель, академик, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Всемирную известность принесли Жоржи Амаду его романы, пронизанные идеями свободы и любви к людям труда.

В нашей стране произведения Ж. Амаду издавались многократно на русском и других языках народов СССР. Советские читатели хорошо знают его романы «Подпольс свободы», «Бескрайние земли», «Красные всходы», «Земля золотых плодов», «Габриэла», «Кастро Алвес», «Дона Флора и два ее мужа», книгу повестей «Старые моряки». В «Иностранной литературе» напечатаны его повесть «Смерть Кинкаса Сгинь Вода» (№ 5, 1963), романы «Мы пасли ночь» (№ 2—3, 1966). «Лавка чудес» (№ 2—4, 1972).

В этом номере мы начинаем публиковать в журнальном варианте новый роман Жоржи Амаду «Тереза Батиста, уставшая воевать» («Tereza Batista cansada de guerra», São Paulo, Edições da Livraria Martins Editora S.A., 1972).

Послесловие к роману будет помещено в № 12 за этот год.

■

КАЛУГИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1906 г.).

Советский переводчик с португальского языка, заместитель главного редактора журнала «Латинская Америка». Перевел романы Жоржи Амаду «Бескрайние земли», «Земля золотых плодов», «Габриэла», «Дона Флора и два ее мужа», «Лавка чудес» и др., романы Эрико Вериссимо «Господин посол», «Пленник», «Происшествие в Антаресе», ряд произведений других бразильских писателей (Жозе Линс до Рего, Афонсо Шмидта, Моасира Лопеса) и португальских (Алвиша Редола, Перейры Гомиша, Феррейру ди Каштру).

■

ХОСЕ АГУСТИН ГОЙТИСОЛО — JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO (род. в 1928 г.).

Испанский поэт. Юрист по образованию. Опубликовал книги стихов «Возвращение» («El retorno», 1955), «Ясность» («Claridad», 1961), «Решающие годы» («Años desicivos», 1961), «Что-то случилось» («Algo sucedió», 1968) и др. Кроме того, он составитель антологий современной каталонской и кубинской поэзии и автор предисловий, предпосланных этим трудам.

(О нем и его творчестве в этом номере, в разделе «Критика», публикуется статья Хосе Мариа Кастельета).

Публикуемые стихи взяты из сборника «Псалмы на ветру» («Salmos al viento», 1956).

■

ГОРСКАЯ НАТЭЛЛА ВСЕВОЛОДОВНА.

Советский поэт-переводчик испанской и латиноамериканской поэзии. В ее переводах публиковались стихи Марии Бенейто («ИЛ» № 12, 1964), Глории Фуэртес, Хесуса Лопеса Пачеко («ИЛ» № 4, 1972). Переводы Н. Горской печатались также в ряде сборников испанской и кубинской поэзии, выходивших в разные годы.

■

БОБ ДЕН ОЙЛ — BOB den UYL (род. в 1930 г.).

Голландский писатель — новеллист и эссеист. Первый сборник его рассказов «Птицы смотрят» («Vogels kijken») появился в 1963 году и был отмечен премией Амстердама за лучшее прозаическое произведение года. Затем вышел сборник «Нежный звук флейты» («Een zachte fluittoon», 1968), за который писатель был удостоен премии имени Анны Бламан, известной голландской писательницы. Из этого сборника мы публикуем рассказы «Убийца» и «Человек без стадного инстинкта». Рассказ «Крабы в консервной банке» взят из сборника «Одной ногой в могиле» («Met een voet in het graf», Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij, N. V., 1971). Бобу ден Ойлу принадлежит также книга документальных очерков и эссе «Кто это там едет на велосипеде?» («Wat fietst daar?», 1970), сборники рассказов «Эволюция сердитого человека» («De ontwikkeling van

een woede», 1972) и «Пути господни неисповедимы и редко приятны» («Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam», 1975).

Рассказы Боба ден Ойла привлекают большое внимание голландской прессы, которая характеризует их как произведения, проникнутые стремлением к человеческой общности и взаимопониманию.

■

ХОСЕ МАРИА КАСТЕЛЬЕТ — JOSÉ MARÍA CASTELLET (род. в 1926 г.).

Испанский критик, эссеист, литературовед. Окончил Барселонский университет по факультету философии и права. С 1962 г.— литературный директор издательства «Эдисьонес-62» и «Эдисьонес Пенинсула». Автор ряда трудов: «Духовная эволюция Хемингуэя» («La evolución espiritual de Hemingway», 1958), «Каталонская поэзия XX века» («Poesía catalana del segle XX», 1963), «Четверть века испанской поэзии» («Un cuarto de siglo de poesía española», 1966), «Творчество Сальвадора Эсприу» («Obres complet de Salvador Espriu», 1968), а также литературоведческой работы, предваряющей составленную им антологию «Двадцать лет испанской поэзии» («Veinte años de poesía española», 1959), которая открывается стихами поэтов, долгое время запрещенных и замалчиваемых во франкистской Испании (Рафаэль Альберти, Леон Фелипе, Мигель Эрнандес, Луис Сернуда).

Мы публикуем отрывки из его книги «Поэзия Хосе Агустина Гойтисоло» («La poesía de José Agustín Goytisolo», 1961), получившей литературную премию «Баскан».

■

КАГРАМАНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.).

Советский историк, публицист. Автор ряда работ по новейшей истории, социологии и многих статей по вопросам зарубежной культуры.

■

ИВО АНДРИЧ (1892—1975).

Югославский сербский писатель, академик, Герой Социалистического Труда Югославии, лауреат Нобелевской премии и многих югославских литературных и общественных премий. Книги Иво Андрича переведены на десятки языков народов мира, в том числе на русский и на языки народов СССР. Советские читатели хорошо знают его романы «Мост на Дрине», «Травницкая хроника», «Барышня», повесть «Проклятый двор», рассказы. Произведения И. Андрича печатались в «Иностранной литературе» (см. № 7, 1966, № 10, 1972).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 5/IX 1975 г. А00166. Подписано к печати 16/X 1975 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. п. л.+1 вкл. Уч. изд. л. 27,65.
Тираж 586.000 экз. (1-й завод: 1—350.000 экз.) Зак. 2996.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394